ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

1994

НОВЫЙ МИР 11 1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. № 11(835) Ноябрь, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН"», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД — **В другом окне**, стихи 3
ИГОРЬ КЛЕХ — **Зимания. Герма** 5
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ — **Я надуваю пузырь тишины и уклада**, стихи 33
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — **Прокляты и убиты**, роман. Продолжение 37
ЛЕВ КОТЮКОВ — **Белая ночь**, стихи 102
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — **Прежние люди**, стихи 104
ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ — **Бабочка в саду**, стихи 105

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭКОЛОГИЯ, ЭТИКА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ — **Сергей Залыгин.** «Экологический консерватизм»: шанс для выживания. **Ю. Шрейдер.** Экологические ценности: три подхода 106

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ — **Записки пойменного жителя.** Предисловие Юрия Кублановского 119
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ — **Пражские годы.** Вступительное слово Екатерины Андреевой 136

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

АЛЕКСАНДР ШМЕМАН — **Воскресные беседы. 1969 — 1974.** Из неопубликованного Публикация С. А. Шмемана. Предисловие С. Николаева 183

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«СМЕРТЬ ПЕРВАЯ И ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОЕ». **Письма С. Н. Булгакова 1917 — 1923 гг.** Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания М. А. Колерова 200

(См. на обороте)

МОСКВА 1994

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — **Анархия — мать порядка?** 209

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — **Человеческий голос** 212
АЛЕКСЕЙ ПУРИН — **Архивисты и новаторы** 226

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ — **Он говорил от имени России** 235
ГРИГОРИЙ ШУРМАК — **Шульгин и его апологеты** 241
Е. Н. НИКИТИН — **Семейная честь или истина?** 247

КОРОТКО О КНИГАХ:

Феликс Икшин. — Павел Басинский. Сюжеты и лица. ♦ Евгений Добренко. — Игорь Голомшток. Тоталитарное искусство 250

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 253

КНИЖНАЯ ПОЛКА (8) 254

SUMMARY 256

«Новый мир» — 70-й год издания.
«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.
«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Не забудьте вовремя продлить вашу подписку!
Наш индекс — 70636 в каталоге издательства «Известия».
В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на «Новый мир» в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
Fax (089) 54-218-218

© Журнал «Новый мир», 1994.

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

*

В ДРУГОМ ОКНЕ

* *
*

Ф. Я.

Сколько с тобой поменяли домов!
Сколько с тобой поменяли бездомий!
Этот, видать, предпоследний кров
Всех неожиданней, всех незнакомей.

Окон непрочных мелкая дрожь,
Комнаты две, две тоски, две кровати...
Нежность, что нежностью не назовешь,
Стала дороже прежних объятий.

Ключник-разлучник, усохшей рукой
Не отворяй нам последнего дома,
Не прерывай длинный день городской,
Не обрывай бормотания грома...

* *
*

Пересоленное море,
Пересохшая гора.
Между ними в коридоре
Обустроиться пора.
Просолиться, прокалиться,
Ур Халдейский позабыть,
Помнить, что одна столица
В мире долженствует быть.

* *
*

Здесь песенка любая о стране —
Как заклинанье в хрупкой тишине,
Мольба о верности и о любви:
«Не оставляй! Останься! Позови!»

Так нежен, так протяжен каждый звук,
Как будто в нем предчувствие разлук,
И сам напев тоскует, предвещая
Возлюбленным изгнание из рая.

* *
*

Ф Я.

Как славно, что ты со мной
Что мы еще на земле...
Только твой кашель ночной
И пузырек на столе.

Снова тебя я жду —
Только в другой стране.
У неба всего на виду —
Только в другом окне.

За дверью твои шаги
По-прежнему ровно в пять.
Еще небеса не строги.
И можно рядом молчать.

* *
*

О если б я могла войти во Храм,
Когда осталась лишь одна граница,
Неспешно перейти ее и там
С любимыми навек соединиться!

Переступала столько я границ,
Боясь на провожавших обернуться,
Чтобы при виде дорогих мне лиц
С дороги неизбежной не вернуться.

Транжирила, не обретя взамен
Ни легкого дыханья, ни покоя,
Ни утоленья, ни надежных стен,
Ни милосердной свежести прибоя,

Ни веры, ни безверья, — лишь одна
Едва осознанная мысль о встрече,
И потому, по-детски смущена,
Я по субботам зажигаю свечи.

* *
*

Ф. Я.

Мы привыкли жить в тени.
Тени больше нет.
Ни причуды, ни оттенка,
Только гладкий, как коленка,
Неподвижный свет.

Облака без наледи.
Кипятком — прибой.
Выставлены на люди
Ты да я с тобой.

Только ты да только я
На запятках бытия.

ИГОРЬ КЛЕХ

*

ЗИМАНИЯ. ГЕРМА

1. ПРОВОДНИКИ ОСТАЮТСЯ...

...Дальше ты идешь один.

И вот ты совсем один – в шесть утра промозглым январским утром на безлюдной едва освещенной платформе львовского автовокзала, – польский автобус умудрился убежать от тебя еще дома. Минутная отлучка в сортир – впрок – обошлась тебе в сколько-то купонов и двадцать долларов, – когда ты гнал его на разбуженном таксисте, как зайца, преследовал, как «Летучего голландца», уносящего твой багаж с рукописями, журналами, адресами, телефонами, приглашениями — черт там помнит, что еще было! — выскакивая, как бес из мыльницы, по мановению милицейского жезла на трассе, — но на Украине, как и в России, любят растяп, и раздутые полушубками милиционеры, ухмыляясь, указывали жезлами на метущую посередке асфальта порошу, поднятую сколько-то минут назад пронесшимся автобусом, и предупреждали о собственных «фарах» и постах на дороге, — пока, где-то уже за Городком, посигналив в темноте удивленному водителю фарами, с идиотским вопросом: «Вы разговариваете по-украински?» — ты не завалился на собственное место в полупустом автобусе — вот она, сумка, значит, автобус тот! — отхлебнул из сразу подвернувшейся фляги, и вещи, в сером, крупитчатом перед рассветом освещении, начали тогда постепенно возвращаться на свои места, в это воскресное — будь оно неладно! — утро. Последним нашелся билет, — уже перед самой границей, когда рассвело.

Девять месяцев, — говорят, можно родить ребенка, — собирал ты разные бумаги, паспорта, визы, страховки, куда-то ездил, друзья вписали тебя в делегацию инопланетян какого-то фонда НЛО, на десять дней, — о, старая добрая русская традиция — убивать немецких послов! — не свою же эту шушеру, обсевшую чиновничьи столы, эту половецко-баскакскую администрацию, — никогда не пугали тебя лающие звуки, рожденные в волчьем горле, аббревиатуры: «Ка-гэ-бэ!» — но жуткая тоска, гадливость, позывы на рвоту были немедленным откликом на эту жалкую подставу системы, этот псевдоптичий посвист языка варана, это сочетание звуков: «О-о-вир!»

До того же был непорочен — сорок лет приближался к железному государственному поясу целомудрия, — не бывал даже в Польше, которая под боком, но ушла, как в отлив, — еще до твоего рождения подсохла, подобно Аральскому морю. Отлила затем и советская империя. Людей, затронутых этими процессами, сидидомцев и сидней, оставшихся на отмели, разлагающихся, как моллюски на солнце — с запахом задохшегося белка, прели и йода, — следовало бы называть пассивными эмигрантами: уехали страны, а не они, — на этот раз.

От СССР — этого свистящего шпицрутенами строя, через предвечную чащу Ч, Ш, Щ, Ы и ер'ов — кто выкатится, кто докатится до обещанного изначально р а я, подпрыгивая и сбавляя скорость на йоте: — Э-йЮ-йЯ?!..

Почти лабораторный эксперимент: сорок лет здесь — сорок дней там. Потому что в Гамбурге у тебя не будет другого выхода кроме как продлить еще на месяц срок пребывания в какой-то иммиграционной конторе, переполненной боснийцами, тамилами, неграми, замусоренной окурками где в кабинет входят по сигналу светофора, зажигающемуся над дверью, когда через другую дверь его покидает очередной посетитель. Тебя пропустят по бизнес-классу. Таки предприниматель... собственного письма. Как ни верти, — поездка служебная. Товар капризный: верх, низ, зонтик, рюмка, — кириллический алфавит.

Главное, не оборачиваться в поездке, — на все тебя не хватит. Ты уже получил урок на старте. Здесь ты сам должен будешь научиться справляться с собственными трудностями, — тебе не поможет никто. Сорок дней ты должен быть в форме: с первого дня заговорить на языках, и главное — понимать, что отвечают, держать глаза открытыми, бросаться сразу к желтым расписаниям, чтоб, расшифровав их message'и, не тратить на пересадку больше пяти минут, суметь объясниться с поднявшимся столбиком автоматом берлинской надземки с бездной загадочных надписей и кнопок, выплевывающим твою бумажную десятку, купить очки, чтоб читать планы городов, их U-банов и S-банов, в гигантском прессинге всех родов информации начать наконец ориентироваться, отличать существенную информацию от несущественной, понять, чего от тебя добиваются и какого черта трезвонят лихие велосипедисты с включенными ночными фонариками — всего лишь чтоб ты посмотрел под ноги себе и наконец увидел велосипедную дорожку, выложенную красным кирпичом по краю тротуара, или уже по пути в Мюнхен сообразить, как сделать так, чтоб тебя не сгоняли с места в полупустых поездах потому лишь, что по краю багажной полки или в дверях купе вставлены в прорези бумажки с указанием резервации мест, и, уж в крайнем случае, вспомнить географию: здесь можно сидеть до Касселя, а сюда пересесть после Франкфурта. И ни при каких условиях — хотя бы первые три недели — никого не ругать: немцев, турок, швейцарцев, негров, даже русских. Тебе дали шанс, подарили ни за что, — а мы ведь с какого-то возраста и ценим только то, что дается «так», ни за что! — тебе подарили другую загробную жизнь, целых сорок дней, когда в твоей «той» — другой, отсюда — жизни тебе приходил уже полный каюк, ты временно спасся, — так дай же теперь себе сам шанс увидеть что-то, испытать, понять — «шкурой» пока, не умом. Это область д о морали и п р е д, не суди, дли этот запоздалый праздник. Потому что больше так не будет уже никогда.

Промелькнет опрятная бедная Польша с «типаками» костелов под Корбюзье, с краковскими пивными и пассажами, и монструозным мрачно нависающим Вавелем, от которого перехватывает дух после средневекового, выеденного аляповатой рекламой центра, и приснится, наверное, пробирающийся через нескончаемый ночной Шлёнск контрабандистский поезд, лопающийся от тайников с сигаретами, — с попутчиками, что, как дети, хвалятся друг перед другом выкидными ножами, пересчитывают полновесную валютную мелочь в карманах, сгрудившись в тамбуре, отстегивают проводнику и кому-то еще и наконец засыпают перед самым Берлином.

И еще один поезд, четыре часа несущийся по бесконечной и безлюдной нижнесаксонской — чухонской — равнине; собака, отряхивающаяся в чистом поле от росы и мимолетного дождика. Носят кофе. Допивай, что там осталось у тебя во фляге. Потянулись вытянутые в струнку города с какими-то названиями обманчиво-знакомыми, будто еще снящимися. Вот он вырастает уже вдалеке, колет низкое небо своими шпилями, подпирает

башнями, перебрасывает мосты, стремительно надвигается, — проснись, Присыпкин, — это Гамбург. Ты под крышей огромного, как город, гамбургского вокзала. Ищи телефон, выход. Делай что-то!..

2. РЕПТИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Придуриваться бесполезно.

Пришелец из тех стран, где материя давно уже отказывается служить, — ты напоминаешь хунхуза, оказавшегося впервые в древнекитайском городе, как внутри взведенной мины с часовым механизмом, — или другого, — что, вернувшись из далекого похода, спустя несколько поколений вдруг обнаруживал, что разрушенный им Рим уже тикает и отстраивается внутри его. В отличие от них, ты вроде бы не увидел здесь ничего нового, — но тем большим был твой управляемый, контролируемый, казалось бы, шок. Главное — не сопротивляться: все стоки должны быть открыты настежь, заслонки подняты, отлаженные смазанные помпы работать день и ночь бесперебойно, — иначе наводнение впечатлений затопит тебя, захлестнет, ты выйдешь из строя и впадешь в ступор, — подъем воды не может продолжаться бесконечно, мужайся, переходи на верхние этажи. На кону все твои сорок лет, стóят они хоть чего-то, или ты растренирован вконец?! Это ведь довольно простенький экзамен. Что, ты не видел поездов, телефонов-автоматов, автобусов, магазинов, прочего? Но все это, хорошо знакомое, обладало здесь д р у г и м и свойствами и было повязано тонкими, не уловленными пока тобой связями. Главным шоком было то, что здесь в с е р а б о т а е т, и работает, пока, мимо тебя. Всему следовало начинать учиться заново. В любом сознательном возрасте трудно вдруг почувствовать себя полным идиотом, перевернутым чистым листом, — грудным младенцем с непомерно развитыми конечностями, включая колышущийся интеллектуальный отросток, — пока также бездействующий. В Гамбурге будет один человек, который в рабочее время будет разговаривать с тобой по-русски.

В начале «перестройки» где-то в Сибири обнаружено было небольшое поселение старообрядцев, бежавших от коллективизации. Года через два они все поумирали. Так вот, старика, который всех их вывел когда-то в тайгу, изо всех достижений цивилизации — а налетели телевизионщики с вертолетами, телекамерами, радиосвязью и прочими неслыханными изобретениями, — из всего, что он увидел, старика поразило только одно — полиэтиленовые кульки[1]. Он долго щупал, мял их непослушными пальцами, улыбался — как ты сейчас — :

— Стекло, а гнется!

Да, именно таков механизм чуда: это должно быть что-то хорошо знакомое, но вдруг обнаруживающее неожиданные, ошеломляющие, удивительные свойства. Такие вещи пересказу не поддаются. Все «то же самое» — здесь другое. Вся Германия, — и, надо думать, весь Запад, — один огромный полиэтиленовый кулек. Ты же оказался в точке пересечения двух галлюцинирующих друг другом, скрестившихся миров. Они иллюзорны друг по отношению к другу. Нигде еще не переживал ты так оптический характер этой иллюзии, иллюзорность этого мира внутри себя самого, как в бесконечных зеркальных пассажах, залитых, просто затопленных ниоткуда идущим светом, переходящих в циклопические, занимающие целые кварталы супермаркеты, засасывающие тебя внутрь своего пищеварения, подающие эскалаторами на все новые сбившиеся давно со счета этажи, подкручивая, словно волчок, и прогоняя сквозь рощи манекенов, спу-

[1] История эта, в свою очередь, поразила другого человека — поэта Ивана Жданова. Наблюдение принадлежит ему

танных, как кажется, уже окончательно с продавцами и покупателями, когда ты идешь в безукоризненно прозрачных зеркалах сразу в нескольких направлениях одновременно безуспешно пытаясь несколько раз сам себе уступить дорогу, где в шизофреническом ноздревском бреду – как в лотерее – меняется каждый раз сам характер предложений, – а покупатель из тебя всегда был, как пуля из говна – и, заехав в подземный этаж, ты оказываешься выброшен в конце концов не на ту всегда улицу, с которой зашел, – и тупо пялишься еще какое-то время на свои наручные часы Терпи Сразу.. что там делается сразу? Не помню уж Отпусти свое бедное совковое тело гулять чуть впереди себя, наблюдай, улыбайся про себя, видя, как вытягиваются и напрягаются их лица, как застывают они – увеличивая и без того сокрушительный счет в пользу манекенов – при виде прогуливающегося ничьего тела в летней китайской курточке, лопнувших сапогах, с советским полиэтиленовым кульком, славящим кругосветное плавание неизвестного здесь контр-адмирала Крузенштерна, как пытаются самые опытные из продавцов вступить с тобой в разговор, – не поддавайся на провокации, будь вежлив и обходителен – три дня ты не должен ничего покупать, договорились? Дистанция до «сэра», когда весь отдел будет выходить попрощаться с тобой и провожать до дверей, невелика и, вообще-то, тривиальна, — золотой ключик с первого дня внушительно оттягивает внутренний карман твоей бумажной курточки Будет еще время утопить в канале сапоги — два отличных рыбных домика, — покуда отвернется полицейский, иначе сидеть бы тебе в гамбургской тюрьме Держи паузу. Это же то, чего ты искал: выпав из всех связей, — не здесь и не там, — ты находишься внутри приключения, насладись же его вяжущим, горьковатым, освежающим, давно забытым вкусом. Вбери в себя весь этот Город Большого Стиля с его ветреной погодой, гигантским портом, потемневшими кирпичными складами, виллами Альтоны, собраниями живописи, уносящимися ввысь, как напильники, шпилями, органами — этой музыкой, производимой с помощью ног, мостами, каналами, эстакадами, рыбным рынком, туманом, пахнущим пивом, автобусами богачей, перуанскими карликами, поющими на улицах, шотландцем с волынкой под дождем, рискованными прогулками по Репербану, паркам и набережным, сити, а также магазинам всего на свете. Право, ты этого не заслужил Даже этих самозакрывающихся повсюду за тобой дверей и писсуаров с фотоэлементами. Кто выдумал тебя, город?

И ты, страна, продуманная до мельчайших деталей и тикающая, как не требующие завода часы?

И все же давление неопределенного, неизвестного столь огромно, что организм как-то должен перестроиться, обложить себя ватными прокладками, подушечками, чуть оглохнуть, все реакции в нем слегка замедляются; целыми днями ты не испытываешь голода и даже жажды и только всасываешь в себя, как моллюск в полосе прибоя, эту плещущую, перехлестывающую тебя жизнь, ловя ее приливы и отливы Работает только та часть ума, которая заведует вниманием и речью Все же остальное перманентно пьяным-пьяно и, судя по глубине резкости, вероятно, снится.

Вторая часть шока — это материализация имен, названий, образов, перевод географии в разряд прикладных дисциплин, — победа того — средневекового — реализма. Гамбург — это просто такой город, примерно как Рига... лет через пятьсот, если эти пятьсот лет вливать в нее миллиарды денег, почистить и надраить до полусмерти, надстроить, а латышей научить работать, желательно, уже в этом поколении; Вавилон тоже был такой город, — главные ворота его, высотой этажей в пять, находятся в Восточном Берлине, в Пергамоне; омаров лучше всего покупать напротив ратуши, там они отборные и самые свежие, в Берлине — на шестом этаже

KDW, а в Мюнхене — на Виктуалиен-маркт, там они ползают в аквариумах с морской водой, и, по-моему, из штата Мэн; Альтдорфера «Битва Александра с Дарием» висит в Мюнхене в Альт-Пинакотеке, — в залы ее просто страшно заходить; каталоги впредь должны состоять из одних имен, названий и технических сведений, а альбомы репродукций, включая и самые лучшие, следует снять с полок всех библиотек, — они врут всё. Сальвадор Дали рисовал очень маленькие картинки, мазка на них не видать абсолютно. И т. д. ...

Самим им все это уже давно приелось: этот огромный типовой универсальный город-супермаркет, от Парижа и Брюсселя до Неаполя и Вены, — с небольшими различиями в географии, архитектуре, кухне и языке. Удивительнее поездка в Украину — в туманное белое пятидесятимиллионное пятно, — или в Малайзию. Это, однако, их проблемы.

У тебя же волосы замерзли в луковицах корней, когда, прикидывая в Мюнхене по карте сверкнувший в уме план побега в Венецию, что было отнюдь не дальше, чем до Вены или Базеля, — ты увидел вдруг, что пересадку придется делать в Вероне. Нет, это уж чересчур! Дурной тон, каламбур, издевка! Всегда следует оставлять что-то на потом. Нельзя быть таким жадным.

...В какое-то утро на вилле в Альтоне, когда с Эльбы прилетят дикие утки и будут переваливаясь ходить по мху газона под самым окном, ты не найдешь ничего лучшего как вписать после завтрака в книгу отзывов в пергаментном переплете: «Теперь, если на улице ко мне подойдет незнакомый человек и попытается ударить палкой по морде, я буду, по крайней мере, знать, за что».

— Какой странный, прихотливый излом мысли, — скажет тебе, уже в самом конце путешествия, на другой вилле, жена гамбургского профессора-слависта. — Почему же палкой? По морде?..

3. ЛИЦОМ К СТЕНЕ

Формулу стипендиального путешествия придумать мог только поэт, своего рода. Она как минимум гениальна, — по-детски простодушна. Так ребенок говорит: «Эта птичка хочет Киюшей взяться!» Тебе платят деньги, чтоб ты... путешествовал Чуть поздновато, — как писали на клубной афише экранизация Чехова — «Квіти запіздалі», но почему не перетряхнуть подробнее сорок лет, сидящих в твоем горбу, как в вещмешке за плечами? Подбери сопли и вперед! Железным сквознячком по Германии, нанизывая бисер городов, сверяя север с югом, миллиардера с иммигрантом, арийца с баварцем, турком и славянином, врываясь в форточку Швейцарии, внутри которой уже давно весна, суммируя и тасуя пики впечатлений — ни один город не обманет тебя в этом, не вотрет очков, предъявляя свои козырные припрятанные карты.

ICE — серебристая мурена, иглой прошивающая Германию на скорости двести километров в час, оставляющая, накреняясь на поворотах, «порше» на дорогах, как пешеходов, не сбавляя хода, пронзающая тоннели Гарца так, что закладывает уши, — не садись у окна — вытянет, все встреченные дожди — горизонтальны, — но при этом скорость ее легка, и кажется, что нет ничего более естественного, нетрудного, комфортного, чем нестись на убийственной скорости без остановок, будто по трассе бобслея.

Скалы в дренажных трубках и склоны, обтянутые сеткой, — как нигде здесь уважают права материи. И тяжелая, неблагодарная, едва переносимая там — здесь она работает, пашет, как ухоженный тучный вол. В силу чего нарушены законы энтропии, почему материя здесь не распадается до тех мельчайших частиц, что зовутся у нас пылью, — загадка. Не иначе, что

земля здесь, как и ты, поддалась человеческому шантажу и пытается быть лучше себя самой.

Пупок развяжется!

Можно поставить на санацию всю Восточную Германию, в короткий срок перевести телефоны-автоматы на карточки, чтоб мы и третий мир не ломали их больше в поисках денег, можно платить миллиарды марок людям и странам, пожелавшим быть лучше самих себя, рассевая споры труда окрест вплоть до самых Дарданелл и Азии, — но в один прекрасный день лопнут от неслыханного мороза или вспучатся от невиданной жары все бесстыковые рельсы Швейцарии, от снега на севере остановятся хваленые гамбургские автобусы, будто гуси на льду, когда ты будешь опаздывать на прием, — и ты развеселишься тогда некстати: «Что, немцы? Снег, блин! Снежок, гололедица. Так-то вот, природное явление, снег на голову, — black ice. То-то же». Завалы мусора останутся на площадях и улицах немецких городов на следующий день после карнавала, и ветер будет шевелить их и гнать вдоль улиц в сторону неторопливо копошащихся мусорных бригад, крутя обрывки бумаг, пытаясь поднять несуществующую пыль, — может, потому еще тебе так понравился Дюссельдорф, растрепанный, виновато улыбающийся, махнувший на беспорядок рукой, — отсыпающийся, дико красивый!

Во всех музеях — св. Варфоломей, излюбленный сюжет немецкого средневековья: внизу сидит подмастерье, мочит и точит ножи, держа один в зубах, и подает их зверского вида катам, рожи которых сведены жуткими гримасами, — в четыре руки они снимают со святого шкуру, тянут ее и развешивают, как полотенца. На лице святого застыло выражение блаженства, будто это не казнь, а турецкая баня.

И это не выдумки. Иногда кажется, что здесь действительно лет пятьсот драли шкуры, чтоб не ходили потом на красный свет, — а как иначе этого можно достичь? И, действительно, не ходят. Ходят только в Западном Берлине в районе Кудама, — Курфюрстендамма, — где слышится чужая речь, где уже целые русские улицы, где снует с утра до позднего вечера полмира и где какой-то из немцев, не удержавшись, раз — да и последует заразительному примеру нетерпеливого приезжего или новожила.

В Швейцарии, после того как мы их «поставили» своими железными рублями на полмиллиарда франков (глупые швейцарские автоматы, дающие сдачу, никогда не видевшие русского рубля, принимали его за пятифранковую монету), в Швейцарии хотят провести закон, запрещающий русским скупать цюрихские банки, как это было уже сделано однажды в отношении африканских царьков в эпоху деколонизации.

Трудно сказать, как и почему здесь все работает. Может, все дело в повязывании не только материи, но и людей с младых ногтей тонкими связями, системой поощрения, подкупа? — нигде не видел ты такой воспитанной молодежи. Да через полчаса кёльнского карнавала — «розенмоннтага» — у нас уже бы потекли реки крови в сопливых берегах. Пусть говорят, что веселятся они тяжело, по приказу, — как умеют. Зато поезда ходят через каждый час, да еще по минутам, как и автобусы, трамваи, и все прочее. Видать, за все надо платить. По достижении какого-то возраста немцы, особенно женщины, не любят карнавала, но исправно надевают клоунские носы, рисуют на щеке цветочек. В Швейцарии тебя никто не предупредил о начале «розенмоннтага», и когда, на подъезде к Кёльну, женщина, которой ты помог закинуть на багажную полку тяжеленный чемодан, отлучилась и минут десять спустя на ее место вернулся крокодил с размалеванной пастью, ты смущенно подумал — ну мало ли чего? может, хочет кого-то разыграть, какого-нибудь престарелого партнера со стародевичьими замашками, встречающего ее на перроне; может, едет на вернисаж, какую-нибудь артистическую тусовку, — а может, и

«крыша», кто ее знает? — думал ты, поглядывая искоса на свою случайную попутчицу. И только в клубящемся вестибюле кёльнского вокзала, где двухметровые гренадеры вышагивали в обнимку с Носферату, размахивая банками пива, где перекрикивались с герольдами и рыцарями турки в фесках, спешили куда-то взлохмаченные девки в чулках на резинках, прошел старичок в котелке размером с кофейную чашечку, — ты понял тогда, что попал на чужой праздник и что постный вид твой неуместен и неприличен, — слава богу еще, что по протоколу, поскольку путешествие твое носило сугубо частный характер, от тебя не требовалось галстука — эти они просто обрезали ножницами, и удачливые охотники за трофеями, сжимая их в кулаке, встряхивали ими, будто пучком скальпов.

Орала музыка, под стеной Кёльнского собора вертелось чертово колесо, грохотали тележки аттракционов, группки ряженых таскали за собой на повозках бочонки пива, в узких улочках и кнайпах было не протолкнуться. Ты скрылся в стенах собора — Dom'a, и он поразил тебя своей грандиозной пустотой, холодом запустения, какой-то внутренней незаконченностью, растянувшейся на полтысячелетия. Стены собора гасили крики захваченного города. Сакрум можно было обойти по кругу, как эстраду. Два возмущенных пожилых клирика гоняли по храму, как курочек, молоденьких девчонок в белых чиччолиновских чулках с оборочками, подгоняя их к двери, — один из них размахивал железной кассой на перевязи для сбора пожертвований. В пазухах колоссальных готических сводов скапливалась и застаивалась, будто вздох под ребрами, не нарушаемая веками тишина. Лился тусклый, нечистый свет, горели свечи. Из-за закрытых главных входных ворот слышался гогот, нестройное журчание, по каменному полу внутрь храма пробирались потоки мочи.

Вот он — редуцированный отголосок того наводнения. Когда Рейн поднялся на десять метров, — а он может, это могучая, собирающая воды с Альп и Гарца река с неистовым течением, будто двадцать слившихся в одно русло Черных Черемошей, — и в Кёльне уже плавали на лодках, а в Бонне начинали выносить бумаги из бундестага, ты узнал тогда, нечаянно, — еще дома, — что Штокгаузен жив, и живет в Кёльне, и раскатал губу — вот чего хотелось бы на самом деле: концерта Штокгаузена в твой приезд в залитом наводнением Кёльнском соборе, где публика в вечерних туалетах чинно сидит в рядах, по грудь в воде, на привинченных к полу деревянных скамьях, — такой музыки!

Реальность, — к счастью, может быть, — имеет свои права.

После переполненных церквей восточных стран — уже Польши! — пустота этих храмов даже нецерковного человека поражает. Действительно, видимо, за все надо платить. Слишком много когда-то рисовали их предки особу с косой и до упаду с ней натанцевались, чтоб потомки не захотели видеть ее и слышать о ней вообще. Та новая башня с ультрамариновыми стеклами в центре Западного Берлина, где со сцены, под стилизованным крестообразным амулетом на голой стене, читает проповедь... женщина в строгом костюме, а в последнем ряду жмется с десяток прохожих с Кудама. Или те, совсем уж пустые церкви Северной Швейцарии, Рура, где органист продолжает играть, когда и ты, единственный случайный посетитель, покидаешь их, аккуратно прикрывая за собой дверь. Не для тебя он играет, — для Бога.

Не смей, не смей никого судить!

Породистые долговязые люди севера не раз будут впоследствии фамильярно подмигивать на парти, в офисах: — он был на «розенмонтаге» — на «корневале» в Кёльне! — будто это ты устроил все это веселое безобразие (что ж они такого там сами в молодости вытворяли?). И становится почему-то грустно. Всё опять размеренно трудится. Моются окна

каждый день и вытирается не успевающая скапливаться пыль, — чтоб не надрываться в конце недели. Потому что конец недели — это святое. Отдых здесь чтут. Не принято, неприлично звонить человеку с часа до двух дня, после семи вечера можно позвонить только давно и близко знакомому человеку, после же десяти — это просто непростительное свинство и может стоить вам репутации. Можно зато звонить в восемь утра, с шести-семи все уже на ногах. В семь вечера улицы вымирают. За полчаса до того закрываются магазины. Ценятся прогулки и походы в разного рода питейные заведения после десяти-одиннадцати, — в ресторанчики, к этому часу переполненные. Примерно в это же время на улицы в своих районах выходят проститутки. В Берлине в ходу светлые мулатки, красивые, как цирковые лошади, попадаются среди них и пони, — все в коротких курточках, ботфортах выше колена и белых махровых рейтузах, тугих и облегающих настолько, что уже как бы выворачивающих анатомию, — так разламывается в пальцах спелый абрикос или персик, — и на вид эти части их, прилегающие к центру удовольствия, выглядят столь же сладкими, аппетитными, сочными.

Есть во всем этом что-то от санаторного режима, выставившего охрану, выпустившего полицейские машины оазиса: воды не хватит на всех, песок, принесенный на подошвах третьего мира, выходцев с Востока, Азии, Африки, сравняет с пустыней этот огромный и такой крошечный полуостров цивилизации двух последних тысячелетий, обратит его в бескрайний бархан от моря до моря.

Не зря тревожилась смотрительница Эльба-хауса, гостевой виллы фонда в Гамбурге, фрау Луиза, изучая список гостей — каких-то музыкантов, фольклористов, этнологов со всех концов Европы:

— Вот этот — из Шотландии, профессор. Этот — из Финляндии. Из Венгрии... Фрау Ку́ма, она была уже здесь раз в прошлом году, — но вот откуда она? Словакия? Словения? Словония? Может, это где-то на юге, где-то в Румынии?

Что это за какие-то открывшиеся детородные органы, родильные щели Европы, откуда появляются и куда исчезают люди? Возможно, из врожденного чувства такта об Украине она даже не заикалась, спросила только большой ли город Львов; в миллион его населения, конечно, не поверила, но виду не подала. Может, это за всю историю? Или какая-то особая у них система счета?

— Но вот фрау Кума — из какой же страны она может происходить?? Она такая маленькая, черненькая, в очках. Словония? Или Словакия? Не думаю, чтобы это можно было найти на географической карте.

От всех этих переживаний, в конце твоего срока пребывания в Германии, она улетит на месяц к сыну в Калифорнию, чтоб отдохнуть на Гавайях, — в этой вполне определенной географически и интимно и давно знакомой точке локализации земного рая.

По ее словам выходило, что Гавайи существуют и туда можно улететь.

В Гамбурге достаточно хорошо знают Зимбабве, Гватемалу и Полинезию, — потому что откуда-то сюда везут бананы, олово, лес, орхидеи, — в самом большом в мире гамбургском порту есть причалы России, но нет причала Украины... потому что на сегодняшний день Украине нечего предъявить миру, вступить в его кругооборот, — ни в области товаров, ни в области идей, увы. Ничего, кроме — этнографии даже, — не истории.

Что ж, если миры эти взаимонепересекаемы и вертятся и трутся, не зацепляя друг друга, если граница между Востоком и Западом по-прежнему проходит по самому центру Берлина, который так и лежит не сросшийся двумя частями разрубленного тела, сбрызнутый мертвой водой, но не политый живой, извлеченной из глубин и расщелин бытия, — как наглядно огромна проникающая сила политического режима, ведь и те, что были до

сорок пятого, и западные и восточные, — ведь это все те же немцы, часто о д н и и т е же! — но люди, большей частью, не равны самим себе, и S-бан с запада на восток стоит одну цену, а с востока на запад — другую, эквивалент дает сбои, граница проницаема, но ненарушима, и берлинская стена, вдребезги разнесенная по миру на сувениры, временно распавшаяся до мельчайших деталей, до молекул и атомов, не соберется ли завтра и не сцепится в другом месте, в другой конфигурации??

Место это, впрочем, всегда одно и то же. И расположено в человеческой груди. Не случайно второе имя ее — клетка.

4. ZOO

В один день, к неописуемой радости эмигрантов, у тебя сломается и выйдет из строя все купленное в Швейцарии:

в фотоаппарате — «флэш»,

в диктофоне — «запись»,

в часах — будильник,

— рукава рубашки окажутся коротки, ботинки натирают, за стенкой — трансформатор, — ага, чего мы тебе говорили? — капиталистическая набараловка! Всего навалом, а того, что тебе надо, еще поди поищи! За квартиру и ковры платят, а на мебель «социал» дает только половину, зубы тоже оплачивает только самые необходимые, — а какие из них необходимые, если я еще молодой, сорок шесть всего! Вообще, тупые, вертеться не умеют, все пенсионеры по «лизингу» на таких моделях катают и каждые три года их меняют! а за разбавление бензина в тюрьму сажают, не понимают, что такое — деньги нужны, а сами такие же жулики — от кражи машин одни страховые компании страдают, потому что все в сговоре, и свет жгут, — как же, экономят они! Квартиру снял, и гори во всех комнатах хоть день и ночь напропалую, — домовладелец платит. Скандинавы, так те просто плебеи, каждому американцу в рот глядят, если признанный авторитет; то, как он им скажет — так и будет, они только утираются... Господи, да что ж это за не прекращающийся хамский самосуд: церкви пустуют...

Зато Zoo открыты. В каждом крупном городе.

В берлинский ты попал в дождливый день после Naturkunde, что на восточных, закрытых на ремонт, разрытых территориях. Naturkunde же искал специально — и не ошибся. Никакое любовное свидание не растревожило бы тебя так, как эта встреча с брахиозавром. Миллионов лет как не бывало, — какая цыпа! Какие немцы умницы, не жалевшие денег на такое, раскопавшие его в начале века в Африке, перевезшие затем в чемоданах, на верблюдах, по морю в Европу, построившие для него музей с огромным залом под стеклянным потолком, собравшие на металлическом каркасе его костяк, — и вот он, огромный, как лыжный трамплин, с головой, вознесенной под потолок, улыбающийся щербатым ртом, удерживающий на раскоряченных лапах колоссальный раздутый корпус травоядного, весь звучащий и поющий, как ксилофон, где последняя косточка на хвосте — размером с твой мизинец, умопомрачительно грациозный, — шедевр абсолютного гения, каких не знала земля.

Дети, сидя на паркетном полу, что-то зарисовывали в свои тетради. Блуждающая благодарная улыбка дауна не сходила с твоего лица, вместе с его миллионами лет улетучились куда-то и твои несколько десятков, — ни одна мысль, ни даже подобие ее, не портила сейчас выражения твоего лица.

В таком настроении ты оказался спустя часа полтора под проливным дождем под воротами Zoo. Брахиозавр сбил в тебе масштаб, и недомерками казались жирафы, прячущиеся от дождя под козырьком павильона;

стадо африканских слонов, разыгравшихся, как мальчишки под дождем, и несущихся в твою сторону, расправив боевые знамена ушей, подняв хоботы и победно и заунывно трубя в них так, что стынет кровь в жилах, — но, конечно же, вот он — забетонированный ров с шипами, непереходимый для их уязвимых подошв. И азиатский носорог, — Rinocern, как рисовал его Дюрер, — в бронированных доспехах с меховой оторочкой, с оттянутой спермой до колена мошной, теряющейся в складках свисающей с зада толстенной шкуры.

Но млекопитающие, теплокровные, — даже отборные ухоженные экземпляры, даже при видимом отсутствии решеток, — всегда невольники, всегда в плену. Не за этим ты сюда шел. Минуя неуместную под ледяным дождем стаю розовых фламинго, распространяющую окрест стойкий резкий запах курятника, мимо обезьяньих искусственных скал с гротами, где дурацкие народцы то ли ведут, то ли пародируют образ жизни беженцев в лагерях, в отличие от последних, в ус не дуя, — скорей, под крышу цели: в многоэтажный аквариум, где влажные тропики круглый год, где не слышно жалоб, нет обид и настроение одно на всех. Можно раздеться, выпить кофе. Брызги, визг. Дети пытаются погладить по спинам быстрых оранжевых рыб, снующих в бурлящем бассейне, сами чуть не сваливаясь в него, — матери придерживают их за ноги. И там, уйдя в полумрак и молчание запутанных аквариумных катакомб, ты увидел наконец то, чего не видел никогда.

Это была мурена, выбиравшаяся из зарослей минут пять. Грация всего движущегося по земле и воздуху, все лошади на лугу, все балеты просто не имеют права пользоваться этим словом, — какие жалкие имитации для бедных и грохот мешков с костями, какой хриплый, дерганый, построенный на жестах и междометиях пересказ по сравнению с этим переливающимся движением, которому нет подобия! Как же ты раньше этого не видел, как смел жить и еще что-то говорить, не видя этого?! И дальше — все. До самого закрытия ты не мог уже оторваться от этого немыслимого пира зрения, — бассейна с млечно-голубым видением медуз — ни на одной картине, ни в едином сне, даже близко! — а неподалеку такие же, только совсем маленькие и прозрачные, уже не медузы, а чертеж медуз, и этот прерывистый пунктир, этот контур, движется и живет! Какая-то рыба с клювом и гофрированной постоянно разутой пастью так, что виден задний проход, прогуливающаяся взад-вперед, будто наелась перца; скаты, планирующие на дно, чуть поднимая при посадке песок, какие-то дышащие внутри себя прозрачные стручки, как термометры, с красными отметками, бледно-сиреневые актинии в волнующейся бурлящей воде с играющими зайчиками света, какие-то замшелые камни с глазами, какие-то немыслимые тропикальные красавицы, где нечего делать вкусу дизайнера и модельера. Господи, какой был художник, работавший без образцов, без аналогий! Кто посмеет здесь, в этом месте, сказать, что Тебя нет?! Может, это и натурфилософский, но доподлинный храм в честь... повелевшего всему этому быть. Блаженны видевшие это детьми.

Пора уносить ноги. Сегодня же ночью. В Мюнхен!

* * *

Конечно, все это еще и деньги. Для нас огромные. Ну кто бы у нас, — не говоря уж о всем прочем, — дал какому-то таракану, на которого глядеть противно, кусочек банана, ананаса и дольку апельсина на блюдечке? Говорят, эмигранты сходятся посмотреть, как готовят корм обезьянам, — это публичное зрелище.

...Вернувшись, ты сходишь как-то с сыном в маленький зверинец при львовском скансене покормить медведя, давно переросшего собственную

клетку. Для лисицы у вас ничего не окажется, и ты попробуешь тогда закинуть ей сквозь мелкоячеистую сетку несколько подсушенных кубиками сухариков. Она будет ловить их почти на лету, громко хрупать, мести хвостом клетку и носиться из угла в угол, будто нервничающий, боящийся пропустить мяч в ответственном матче голкипер. Подъедут какие-то дети на велосипедах, вытаращив глаза будут смотреть на кормежку лисицы хлебом:

— Дядя, та шо ж вы робытэ? Вона ж хищник!

Лиса замрет, заломив лапы: «Не слушай их! Дай еще! У тебя доброе сердце, я — не лиса, на самом деле я — оборотень, девушка!..»

5. ГЕТЕАНУМ

От натурфилософии — к антропософии.

Была у тебя давно эта мысль — взять за уязвимое место Андрея Белого и иже с ним. За что ж не любишь ты его? Сказано ведь: не любо — не слушай, а врать не мешай!

Возможность представилась, — как Zoo в Берлине в последний день, так Дорнах, в последний день в Швейцарии. Из Базеля на трамвае в погожий солнечный день, — пригороды, платформы, лесистые холмы, как где-то подо Львовом, в двухстах метрах — Франция.

Распить с друзьями бутылочку вермута на пригреве под котельной Гетеанума, будто сошедшей с картины Босха: мило дымится длинная труба, расцветающая бетонными сучками, вырастая из какого-то раздвоенного зада-реактора. Сам Гетеанум — выше, на горе, откуда виден Базель. Что же построил ты здесь, доктор Штайнер, на что полетели наши Белые, как мухи на блюдце с вареньем? Деревянный Гетеанум, который строили Белый, Волошин и другие, отрабатывая трудодни, сгорел в новогоднюю ночь двадцать второго года, — горел весело. Тогда был затеян нынешний бетонный Гетеанум и осуществлен по собственноручному макету вскоре почившего Учителя, так похожего на некоторых фотографиях на Андрея Платонова (господи, он-то здесь при чем?!). Снаружи постройка выглядит впечатляюще, — на пересечении органики и конструктивизма, — циклопическая картофелина с глазка́ми... а может, улей.

Экскурсовод оживился, узнав, что русские (украинец, бывший с вами, стерпел) — к русским у антропософов давняя, идущая еще от Учителя, любовь, выродившаяся ныне до умеренной симпатии и требовательного интереса к дальним отпрыскам любимой когда-то — жизнь тому назад — особы, М. Д., Мировой Души, имевшей в молодости, еще до замужества, бурный и продолжительный роман с Мировым Духом. Воспламенившись, давно немолодой, строгий и весь какой-то подсохший человечек в отглаженных брюках изображал руками, будто учитель у классной доски, что-то вроде Жизнедухов, Самодухов, Духозародышей и Духочеловеков, показывал, как растет Духочеловек, становясь вдвое себя длиннее и вчетверо шире, как растягивается его «духовная кожа», как переливаются ее цвета в зависимости от цвета мыслей, как строился первый Гетеанум и как разразилась первая мировая война, когда Учитель в своих духовных исследованиях дошел до сто шестьдесят третьей страницы... Драматизм повествования все нарастал по мере подъема на новые этажи, а точнее, втягивания, углубления в недра дворца антропософской культуры, всасывания в чрево бетонного левиафана по химерно изломанным уступам лестниц с неожиданными скруглениями, нишами, расширениями под зловеще нависающими сводами, — и это было убедительнее, внушительнее, сильнее слов, которые так-сяк переводил вам знакомый швейцарец.

Были сакральные паузы — в огромном, расположенном амфитеатром зале для постановок мистерий и эвритмических танцев (ты увидишь потом

этих танцовщиц в Виттене в развевающихся полупрозрачных тканях, будто дурно расцвеченных цветными карандашами, с большими босыми ступнями... — и вспомнишь медуз). От освещения зала у тебя разноются зубы — дивный весенний день снаружи будет пропущен через ряд высоких окон, имеющих каждое свой цвет: фиолетовый, ядовито-зеленый, голубой, оранжевый. В толстом стекле каждого из них, будто стеклянным аналогом жука-древоточца, прорыт будет свой рельеф, символически изображающий сцены и стадии борений Мирового Духа. На самозабвенном, улыбающемся лице экскурсовода, впавшего в тихий интеллигентный транс, что-то токующего, полуприкрыв глаза, лежали зеленые трупные пятна на одной щеке и желтый покойницкий жир, чуть тронутый румянцем лихорадки, — на другой. Лица твоих спутников будто вынуты были из картин Кирхнера, Ван Донгена, Руо. С веселым недоумением заговорщиков вы поглядывали друг на друга, осматривались кругом. От цветной чересполосицы, бегущей по спинкам кресел, болели глаза, мутило.

Выйдя из зала, — все залы перед вами и после вас аккуратно отпирал и запирал на ключ экскурсовод, — и поднявшись еще на этаж, вы уперлись в большое оранжевое окно, с которого взирал сам Мировой Дух — широкая плоская морда, сделанная топорной рукой, вокруг прически которой — какими школьницы обычно наделяют принцесс — вились, как парикмахеры, какие-то крылатые существа, по всему видать, антропософы. Козел и еще какая-то тварь, стоящая на задних лапах, поддерживали завитки укладки. Что делалось внизу, лучше было не смотреть.

Всепонимающие глаза Мирового Духа молча указывали на запертые двустворчатые двери сакрума. За ними покоился доктор Рудольф Штайнер. Вас впустили туда. Из зала, заставленного «органической» скульптурой, витражами, макетами и иным рукоделием, крутые ступеньки вели вниз, к отвернутому входом от зала гроту, в котором находился саркофаг Учителя. Спуск был перекрыт музейной цепочкой. Отстегнув ее, вниз спустился один экскурсовод, что-то поделал у входа в грот (— доложил?) и, поднявшись к вам, принялся рассказывать о многометровой алтарной скульптуре из некрашеного дерева, обращенной к входу в грот. Изготовленная по эскизу Учителя, она единственная — по счастью — уцелела при пожаре того первого деревянного Гетеанума, поскольку к тому моменту не была еще завершена и установлена. Знакомые уже сюжеты низвержения лучезарным Люцифером злобного Аримана в хтонический ад у подножия композиции перекрывались выступившей на первый план фигурой первосвященника — Духоучителя, Антропософа, — который — с развевающимися волосами, — шагнув чуть вперед, царапал воздух тремя когтями поднятой вверх в благословляющем жесте руки.

Пора было выходить на воздух.
То была История, гениально наглядная
Гетеанум — свидетель.

* * *

Уже в Руре, — как померещилось тебе, по примеси запаха сернистого ангидрида в воздухе, по острому чувству ускользающей рифмы, — тебе показалось, что вновь всплывает антропософский «след». Исколесив всю округу, ты обнаружил-таки, не без труда, его источник и тогда только оценил и почувствовал все масштабы этого явления: богатейшие антропософские клиники, сотни и сотни вальдорфских школ по всему миру, антропософская архитектура, огромные средства, надежды в связи с оттаиванием Восточной Европы, — но полноте, то же ли это было явление?

Все это оказывались довольно милые, культурные, вполне адаптированные обществом люди, самоотверженно работающие с больными деть-

ми, пытающиеся на свой лад развивать то, что они почитают творческими способностями, терапевты, лечащие «эвритмией», и педагоги, внушающие своей пастве какое-то подобие «философской веры» для бедных, в разных концах света ощущающих свою обделенность глубинным, — или высшим, — смыслом.

Судя по всему, со смертью Учителя, и в последовавших исторических перипетиях, учение его потеряло свой глобальный, всеобъемлющий характер и стало чем-то вроде находящейся на самообеспечении прикладной дисциплиной. Главное — оно растеряло свой утопический воинствующий пыл, так же как, скажем, социализм-коммунизм: шведский... германский, — а что же другое их «социал», по которому живут, не работая, миллионы людей? Многие немцы, закончившие вальдорфские школы, хотя бы знают вполне прилично русский язык. По Штайнеру ныне выращивают огурцы и делаются музыкальные инструменты. Связано ли это с какими-то общими изменениями климата планеты? Или с изначальной бедностью и усталостью доктрины? Почему все же так безблагодатен оказался и этот проект, так скудна его мысль, суконен язык и за гранью всякой одаренности находятся художнические потуги??

Уютно расположились на коленях, пригрелись ручные киски идей, мурлычут... так похожие все же на тех тигров, что терзали некогда народы и царства.

При выходе из Гетеанума вы прошли, нечаянно, маленькой группкой сквозь какой-то антропософский съезд, — прием, — парти. Музейный буфет, заставленные столы, сотни полторы собеседующих немолодых людей, в косых лучах солнца, — все это выглядело в высшей степени пристойно. И только уже на выходе, почувствовав на плечах какую-то тяжесть, мешающую идти, обернувшись, ты увидел сразу несколько тянущихся из разных концов зала неподвижных, цепенящих взглядов, — поджарых стариков неопределенного возраста, расправивших плечи, приподнявших ноздри, — вероятно, на запах живой крови. Головы их отчетливо возвышались над продолжающей мирно гудеть и собеседовать массой.

6. ЛОБСТЕР И ДРУГИЕ

На каждом шагу в Германии, да и в немецкой Швейцарии, слышится: «Чу-уз», — «Привет, счастливо оставаться, я пошел!» — которое твоему нетренированному уху слышится исключительно и только как английское «чи-из» — «сыр», — и ты бросаешься немедленно при первой же оказии его покупать — и не только его, — и пробовать, пробовать, пробовать! Приезжие русские, говорят, большей частью индифферентны, да просто бесчувственны по отношению к открывающемуся им огромному миру вкусовых ощущений, — их заботы кажутся им важнее Вряд ли русский мир принципиально антигедонистичен. Скорее приезжает просто специфический тип все тех же разночинцев, которые так много проболтали за столом, что один из органов чувств у них в ходе исторического развития атрофировался, — язык обметало налетом идей, понятий, калорий, блокировавшим вкусовые рецепторы Вероятно, поэтому так удивляются и оживляются обитатели Старого Света, встретив основательно подзабытый ими тип русского, интересующегося вкусом того, что ест, и спешат познакомить его со все новыми, заслуживающими, на их взгляд, внимания, продуктами, яствами, вкусовыми ощущениями Собственно, германская кухня не представляет из себя ничего выдающегося, за исключением светлого пива и ветчин, — наверное, нигде в мире не могут так испортить умопомрачительные корнишоны уксусом, замучить обычный майонез и горчицу отдушками и сластями, селедку задушить яблоками со сметаной, от чего

невыносимо страдают эмигранты из Russland, да и Украины, истекая ядовитой, разрушающей желудки слюной.

Но, слава богу, четверть века уже благодаря экспансии итальянцев, турок, греков'и, не в последнюю очередь, благодаря книгам Элизабет Дейвид, — накатывает на континент волна средиземноморской кухни. Не говоря уж о незримом присутствии и влиянии Великой французской гастрономической империи, а также о предложении со всего мира того отборного, лучшего, что, где бы то ни было, имеется, ловится, растет... Лобстеры и устрицы, пармезан и горгонзола, семга и поджаренные гигантские креветки, осьминоги, равиоли-аль-пасте, «диалог лосося» с чем-то еще — не разобрать — и тарталеткой с «кавиаром», суп-пюре из брокколи и обжаренные цуккини, соленые артишоки, фондю с киршем и гренками и цирама-су, которое следует есть с закрытыми глазами, эспрессо и капучино, итальянское мороженое с лучшим в мире ликером Grand-marnier, марципаны, подсоленные фисташки и авокадо со вкусом талой воды — что это еще как не — нежданно свалившееся — еще и Большое Гастрономическое Приключение, напомнившее о грозной прелести мира?!

Как могут отравить русского человека итальянцы!

Отведав со своим редактором в итальянском ресторанчике равиоли с чесночно-базиликовой подливой, едва сдерживая неприличный стон, ты всем естеством — всем животом своим и спазмами пищевода — понял вдруг что-то в мотивах римского сидения Гоголя: в упорном кормлении Аксаковых собственноручно им приготовленными макаронами, предсмертном его смертельном посте, и зачем его духовник о. Матвей Константиновский наелся со дна разрытой могилы в Торжке какой-то липкой смрадной жижи, оказавшейся целительной для него, — и, конечно же, не мог не вспомнить последнего пушкинского причастия, — последнее его «прости» этому миру, — его гениальную моченую морошку.

...Когда в какой-то из первых дней ты приволок на виллу в Альтоне вожделенного, наполовину состоящего из филологии лобстера... омара... Гомера, — по-немецки Humer, — фрау Луиза неожиданно разволновалась, — твой поступок напомнил ей что-то от большого стиля прошлых лет, когда она была женой гешафтфюрера и отдыхала на Гавайях. Она спросила тогда тебя:

— Игорр, а как вы собираетесь его приготовить?

— Готовить? А как бы вы посоветовали, фрау Луиза? — нашелся ты.

— Вы знаете, я бы посоветовала вам приготовить его по-американски.

— Отлично, давайте приготовим его вместе, а затем съедим!

Твоей помощи в этом деле не потребовалось, — достаточно было следить. Закинув лобстера на две минуты в подсоленную кипящую воду и растопив тем временем на сковородке чесночное масло с пряными травами, она вывалила лобстера на блюдо и, выдавив на него лимон, проворно накрыла круглый столик в библиотеке у огромного окна с видом на Эльбу и вечерний порт.

— А что вы будете пить с лобстером? — спросила она.

— Пить, — а вот же я прихватил две бутылки отличного темного пива!

Ты искал его специально, хотя на вилле в погребах хранилось неограниченное количество светлого и белых и красных вин, — немецкие вина, однако, оставляют желать лучшего, редко какие из них хороши.

— Игорр, — сказала фрау Луиза, посерьезнев, — но вы не почувствуете вкуса лобстера! — И добавила решительно: — Вы знаете, у меня есть две бутылочки шампанского. Сейчас!

И поднявшись, по-девичьи легко взлетев на этаж, принесла из своей комнаты четыре небольшие бутылочки, каждая — на фужер шампанского.

— Оу, итс бьютифул! — приговаривала она, поднося ко рту очередной кусочек лобстера, сбрызнутый еще раз лимоном и обмакнутый в раскаленное чесночное масло, запивая его шампанским, раскачивая при этом головой и прикрывая глаза. — Итс найс ивнинг, — протяжно повторяла она.

Общий запас английских слов был у нас невелик.

Это действительно был «найс ивнинг», и ты просто чудом избежал опасности не почувствовать вкуса лобстера, сожрать его, словно жлоб, как грубоватого на вкус морского рака, запивая портером. Что тоже, вообще-то, может, было бы неплохо.

— Я ужасно боюсь акул, — сказала тебе в тот вечер твоя сотрапезница, когда, отказавшись от десерта и кофе, — а мало кто в Германии рискует пить кофе после двух часов дня, — ты отвалился в глубоком кресле от стола и закурил.

— У нас в стране никто не боится акул, — гордо ответил ты ей тогда.

Уместнее всего в финале этой главы было бы покаяться, поискать акрид, вспомнить — на худой конец — ту крысу с отгрызенной головой, обнаруженную накануне отъезда под самой дверью мастерской в подвале...

7. МЮНХЕНСКАЯ СТРАТЕГИЯ

Вина — отдельная тема.

Хорошее вино вовлекает тебя в своего рода любовную игру — и блажен, кто умеет длить ее бесконечно долго. Потому что пульсирует на постели ненасытный плотоядный цветок, — и финал этих игр всегда одинаков — взаимопожирание.

Таков символизм вина. Оно заманивает, вводя пьющего в те области, из которых не хочется возвращаться. А и зачем? Чтобы искать опять выхода из себя, постылого, на дорогах Эроса, Танатоса, Гипноса, производства всего небывшего, изнурительного вопрошания?

Похоже, человек не должен жить так долго. Надо быть или с головой вовлеченным в рутину существования, научиться до бесконечно малых величин дробить нежданно попадающиеся куски бед и радостей, — как то делают прирожденные кайфовщики, — либо иметь довольно веские, не вполне понятные резоны, чтобы жить после сорока.

Насос работает, — дергайся, паяц! Потому что этой ночью опять разгладятся морщины, надуют и разопрут тебя жизненные силы до отвращения, будто звенящий, подпрыгивающий матрац.

Зима, что делать нам в Германии?

Конечно, пить, мой друг Вергилий! Не велеть ли кобылку запречь? Блажен, кто имеет поводыря в мире напитков и городов, как ты в Мюнхене; потому что города — это не то... да се... — как сказал грек, — а обитающие в них люди.

Здесь ты оказался после пруссоватого, шестиэтажного, слегка чопорного, неопределившегося, никакого еще Берлина, который, как Киев, — разбежался быть большим городом, да не просто большим, а чем-то еще, но что-то не сложилось: все условия налицо, все части состыкованы и подключены, да что-то не играет. Где же тот инженер-настройщик, что ударом ноги по одному из расставленных на сцене ящиков заставит все это зазвучать?

— Мы четыре года уже здесь, в Западном Берлине, — жаловались тебе знакомые, преуспевающие вообще-то, художники, — и чувствуем себя — соответственно — четырехлетними детьми.

За одним из них в той, прежней, жизни ты донашивал его фотоувеличитель, проигрыватель. Собираясь сюда, ты думал, грешным делом: «Как бы не пришлось донашивать за тобой еще и Германию, брат».

И вот наконец, после опустошающего бумажник сидения в берлинском пансионе «Мэджэсти», — где с тебя захотят брать плату не в конце срока пребывания, а ежедневно, а в конце коварно слупят еще и за завтраки, — где безукоризненно застеленная красным покрывалом двуспальная постель каждый вечер будет приводить тебе на ум почему-то вдруг всплывший Мавзолей пятьдесят девятого года, с двумя лежащими под огромным общим красным стеклом дядьками, бородатым и усатым, что притворились спящими, сложив руки поверх стекла на груди, странная парочка, — но довольно этих галлюцинаций, порожденных пустыми вечерами, — наконец Мюнхен, писательский город, и это видно сразу — уже из окон трамвая, этих дребезжащих среднеевропейских вагончиков, пробирающихся по узким покрученным улицам миллионного города.

Здесь за бетонным забором в бункере «Радио Свобода» тебя в первый и единственный раз за все путешествие — исключая бывшую советскую границу — обыщут: попросят расстегнуть сумку, и, не заметив шпионского снаряжения — адской машинки с разноцветными проводами и будильником, курвиметра в ботинке, фотоаппарата со вспышкой в зажигалке, вшитых микрофонов с зипперной регуляцией громкости и тембра, донесения, написанного химическим карандашом под отросшей за три месяца шевелюрой и пачки украинских купонов, — гориллы охранники, с виду надежные и грозные, но безнадежно тупые, клацнув тебе на грудь прищепку «гостя», запустят тебя внутрь гигантского радиоприемника.

Здесь происходит визуализация звука — в замкнутых меловых трилобитных студиях кружат отголоски и хранятся отпечатки костей того ящера, для борьбы с которым и было возведено это укрепление, эта осадная «черепаха», подведенная под стену повыше китайской, эта идеологическая наседка — говоряшая голова с пораженной двигательной частью, вещающая двадцать четыре часа в сутки, тошнотворно неспособная к смерти.

Радиостанция, впрочем, как радиостанция.

Из недр приземистого бетонного монстра визуализовался твой знакомый, писатель и радиожурналист, подданный Ее Королевского Величества, с расплющенной славянской физиономией, носом-картошкой и мальчишеской верхней губой — откуда? за что? В жизни бы не узнал на улице! О, эта великая плющильная сила славянской скалки, раскатавшей лицо другого твоего знакомого в треть туловища, но пощадившей округлившиеся глаза под очками и — зачем-то — усы. Лучшие из лиц — из дежки славянского замеса. Какое странно счастливое чувство — быть русским! Так не велеть ли кобылку запречь? Что за вопросы — конечно, велеть!

В тот же вечер, совершив опустошительный набег на какой-то французский погребок, наполнив из бочек фляги с вином, пробуя его и обсуждая с хозяином, набрав в руки бутылок сколько сможете унести, вы закатитесь в гости на пирог и отсюда, смешав к концу вечера все со всем, получив заодно оскомину от заразной, скапливающейся в порах кожи и волосах, пронесенной под ногтями и в швах одежды политики, пойдете еще суворовскими, ошеломляющими противника бросками по мюнхенским пивным, беря их врасплох и, не задерживаясь, без сожаления оставляя для следующих побед, — пока в одной из них не въедете с ходу в двенадцатую «улиссову» главу — «Циклоп», — где рослый, тщательно выбритый немец с поджатыми губами, прикинувшись словоохотливым, разговорит вас за столом, за огромными литровыми бокалами молодого хмельного пива, чтоб взять сразу в карьер: — Ага! антикоммунисто! шпионо! немецкие деньги!.. «Что за наваждение!» — и, понимая через слово, ты в ответ наедешь на него, и, поняв, что вас все ж двое, он присядет и отодвинется.

продолжая что-то упорно бубнить под нос, но не для того же дается жизнь — и переливается через край, чтоб спорить в пивных с кем-то заядлым, недооцененным ею, и вы смените еще несколько кнайп, прежде чем тихо посыпавшийся снежок не обнаружит для одного из вас пропажу котелка и отсутствие в твоих карманах позабытого где-то мундштука. Пить надо все же в знакомых заведениях, в знакомом районе. Вы ткнетесь еще в несколько закрывающихся пивных, попетляете по вымершим полуночным улочкам. Ищи теперь ветра в поле! Мундштук на следующее утро найдется, ты уже изучил эту его паскудную привычку исчезать, чтоб в союзе с совестью проедать тебе на следующее утро дырку в голове.

Но - котелок! Ах, какой был котелок! Какой дивный небесный шляпник отлил тебя, по какой совершенной, изваянной рукой мастера модели?? Лицо твоего приятеля втиснуто было в него, как брюква в глубокую миску. В коридорах радиостанции в конце рабочего дня накануне возникло легкое замешательство, перешедшее в вестибюле в столпотворение. Хромые отбрасывали костыли, спеша протиснуться, прикоснуться в падении к твоему спутнику:

— Можно около вас постоять?

— Подождите минуточку!.. Я хочу, чтобы вас увидела моя жена.

— Вы могли бы не забыть завтра, идя на работу, надеть котелок? Я хочу с вами сфотографироваться!

Приглашения сыпались одно за другим. И чего это они так возбудились? В Западном Берлине ты видел даже прогуливающегося человека в цилиндре, — в белом кашне, конечно, — не говоря уж о том вышедшем из ресторана во фраке на тротуар перекурить и освободиться от ветров.

— Мундштук я нашел, а вы — шляпа! — скажешь ты своему приятелю день спустя, — намеренно жестоко, — стремясь рассеять последние остатки безжалостно подавленного восстания совести.

— Я шляпа, потому что забыл убрать с подоконника первый том Фабра — «Жизни насекомых», — ведь знал же, что когда приезжает другой писатель, все, все надо прятать, эх! — ответил он, искренне сокрушаясь об этом.

И несколько недель спустя добавит по телефону, довольный:

— Я привез себе из Лондона другую шляпу, нет, уже не котелок.

А злополучный этот котелок я посвящаю Вам!..

Той тихой, будто перенесшейся в Мюнхен из-под Диканьки ночью улицы города засыпало легчайшим, уж точно изготовленным на небесах, снегом. Утром субботы выглянуло солнце, и вы, с твоим приятелем и гидом, по колено в слепящем пуху, по этому блаженно смешавшемуся наконец с адом раю гронулись в сторону Виктуалиен-маркт, — потому что похмеляться в Мюнхене следует именно там: устрицами с белым вином. Небольшая площадь в самом центре Мюнхена, — собственно, рынок, — напомнила тебе в точности станиславский рынок конца 50-х — начала 60-х годов, — такие же примерно низкорослые павильоны, лотки и палатки, окруженные трех-четырехэтажной застройкой конца XIX века. Только здесь было все, что только есть на свете съедобного и вкусного: ползали в аквариумах морские раки, плескались в бассейнах четырехсоткилограммовые тунцы, на развалах фруктов и зелени, вперемешку со знакомыми, лежали какие-то странные плоды и формы жизни, акры брусчатки покрыты были переложенными стружками ящиками вин — французских, итальянских, испанских, - азартно играл на шарманке старик в пальтеце и меховой шапке с козырьком, помогая себе всем телом и притопывая ногой на морозце.

Полдня потом ты не мог ни смыть ничем, ни проглотить этот остановившийся в гортани и носоглотке вкус устриц — неразложимый, изначаль-

ный, как вкус ледяной сосульки в детстве или опресноков. «Открывшийся во рту морской грот», — как выразился — довольно, впрочем, точно, — твой поводырь. Но не морская соль, не сопли первого, всегда неожиданного, прилива вдруг открывшегося насморка, — что-то другое. Просто обыкновенные устрицы — со вкусом гениально пустым, как выдающийся актер, а потому приложимым ко всему, способным вобрать в себя и выразить все. Это утро, например.

Нет, мой свирепо-добродушный Вергилий, певец виноградной грозди, стернианец и сентиментальный путешественник, обходящий задворки Европы по радиусу сердца. Я все перепутал. Об устройстве ада я узнаю сам, — в надлежащее время. Лучше держаться от него пока подальше. Дай-ка я стану с этой стороны.

Твое дело — быть коллекционером кратких мигов счастья, моментальных его снимков, его сжатых в ладони белых камешков. По раскиданным и оброненным белым камешкам ты выйдешь еще когда-то из этого сумрачного леса. Будто все это кто-то написал давно, заманил нас внутрь, — и сам умер. Бог с ним, с велосипедом. Ссадины на коленках заживут. Я верю, что твоя стратегия не может не увенчаться успехом.

СТРАТЕГИЯ:

Удары следует наносить
в разных направлениях.
Зоны такие:
печень,
почки,
сердце.
Вдруг печень выдюжит,
почки не подкачают,
тогда, может, сердце?
Но печень держать
в перманентном шоке:
пусть себе плавает,
попеременно,
то в белом,
то в красном.
Почки же —
пивом.
Сердце —
спиртом.
И все одновременно.
Что-то да сдаст.
Главное,
не падать духом.[2]

Словно воспетый им Локон-Кокон, безжалостными ножницами стригущий радиоголоса — эти колышущиеся волосы эфира, диктор и диктатор причудливого мира тем и настроений, — доктор Ватсон, потерявший котелок, — и замерший посреди пустынной ночной улицы, с собственными волосами, растрепанными неощутимым для профанов феном, стекающим с Альп.

---

[2] Из «Стихов разных дней» — И. Померанцев. «Советский писатель». Спб. 1993.

8. ОКНА НАСТЕЖЬ

От визуализации звука можно перейти к визуализации как таковой. Перед следующей главой следует набрать в грудь немного кислорода. А он — в музеях, где живет и дышит живопись. Вот парадокс: не пыль и распад, не безжизненные слепки и позолота на костях, а органика, вызванная ничтожными средствами искусства, сделанная руками, почти пальцем — жизнь! Сомнений в этом не может быть. Лет пятнадцать уж ты думал как разлюбил живопись. Какая чушь! Великая живопись берет тебя за горло сразу, не давая опомниться. Дистанция между ней и посредственной живописью грандиозна, непереходима: вот это висят в Шарлоттенбурге мертвые немецкие романтики-штукари, а вот это ранний Каспар Фридрих. Те прибиты гвоздями к стене — и вроде бы все у них то же самое! краски, «сюжеты» — но это нарисованные окна, а это вот живое, настоящее, распахнутое настежь, — и оттуда тянет озоном, влагой, испаряющейся с водной глади, ночным ветром. Контраст просто сшибает с копыт. И это только цветочки! Настоящий пир — это мюнхенские собрания, и в первую очередь — Альт-Пинакотека, стóящая всех уцелевших лесов и рощ Германии. Когда ты уже попал в нее, выбраться из нее невозможно, — по тянущимся на километры залам действительно страшно передвигаться. Если в крохотном боковом зальчике, почти подсобке, висит Брейгель (конечно же, Питер, Старший!), а в полутемном проходном коридоре — Босх, — как меньшие, то в любой зал становится просто опасно заходить, — косишь взглядом: Альтдорфер, — нет, только не поворачивайся! — «Битва Александра с Дарием». Она. Дюрера «Автопортрет» — тот самый. Веласкез. Так! Из-за каждого угла кто-то невидимый силится оглушить тебя, сбить с ног то ли мешком, то ли дубиной. Гварди — вот она, твоя Венеция! — с плесенью, позолотой, облазящей змеиной шкуркой, различимым, наконец, плеском. Какой в ж... Каналетто?! — тоже замечательный, — но Гварди!.. Целые кварталы Кранаха, Боттичелли, Рафаэль, Гольбейн, Ван Дейк, испанцы, Коро, Курбе, Рейсдаль, Коро, Курбе, Рейсдаль... пустот уже не замечаешь, не обращаешь на них внимания, — Господи, сколько же их! Какие неслыханные, нечеловеческие, нами не заслуженные богатства, какая огромная, ничья, реальность, которая шевелит и вздувает прозрачные занавески, лучится светом, через эти откупоренные когда-то руками мастеров — Слуг то есть — устья! И только молишься про себя по-русски: «е... т... м..!» и «свят, свят, свят!..».

И это ведь еще не немец придумал живопись! Где-то есть еще Уффици, Прадо, Лувр, Тэйт и пр., да и у тебя еще впереди... Можно простить даже Дали, увидев его в подлиннике.

Докатился до дифирамба музеям. Посрамление глазу.

До рези в легких запойно надышавшись — вон на улицу! — в Швейцарию, — к свиньям собачьим, — с пересадкой в Карлсруэ! Немедленно.

9. ДЖОЙСОВСКИЙ ДЕНЬ

Те, кого следовало бы предупредить пропустить следующие две главы, вероятно, оставили чтение еще на первых страницах, — потому, думается, можно смело продолжать.

Есть тысячи разнообразных способов «делания красиво», и только одна — каждый раз — «десятка». Не важно, кто до нее доберется, — но считается только это. Уже слышу этот бред размягченных умов: «хороших и разных...» — без «десятки», однако, все это лишено смысла! В ней, в осциллировании около нее — их высшее, единственное, собственно, оправдание.

Ведь были же люди, которые это понимали, которые видели толк в «культурной вражде», в ревновании соискательства, — не присвоения. Эти люди понимали, что нет вещей неподвижных, им внятен был характер развивающихся и отмирающих явлений, видны движущие их силы — и их двигательные части. Вчерашнего, «старого» искусства, в каком-то смысле, не существует — об этом микроскопическая статья Шкловского «О · Великом Металлисте"». Она и сегодня может лежать раскрытой на каждом столе. Окна остаются, они ждут чьего-то глаза, — но проблема каждый раз еще и в том, чтобы найти, грубо говоря, двери.

Еще грубее, — как писал замечательный писатель нашего времени Вильям Похлебкин, — задача и трудность в том, чтобы понимать смысл происходящих в кастрюле, под крышкой, процессов, — только это делает повара поваром, — чтобы, в случае необходимости, изменить режим и суметь найти замену тому, чего не оказывается под рукой; все пойдет тогда в дело, и блюдо удастся. Бескомпромиссность опоязовцев поражает. Но были и другие. Знание ничтожно, как чесание в затылке, если оно не обладает минимальной проективной, прогностической способностью. Ходасевич, никакой не пророк, за много лет до «Дара» раскусил набоковского героя, придуривающегося то шахматистом, то шулером, то фальшивомонетчиком. Цветаева, — этот Маяковский в юбке, — ощутив со смертью Блока и Есенина пресечение идущей откуда-то очень издалека, еще до Ваньки Каина, песенной линии, заметила, что так просто многовековая традиция, и одна из констант русского строя, не обрывается, и предсказала появление рано или поздно «певца» с еще более грубым и хриплым голосом (как бы к нему, задним числом, ни относиться — речь не о качестве и калибре дарования, а о вакансии). И Эйхенбаум в тридцать четвертом году публично заявил, что футуризм почил не естественной смертью, что потенции и всех своих тенденций он не исчерпал, и приблизительно указал каких, и десятилетия спустя, при первой же возможности, в России появилось как минимум два конфронтирующих друг с другом футуристических поэта:

это «морфологический» Соснора со всеми оговорками, ведущий родословную от героического периода футуризма — Хлебникова, Крученых, того же Маяковского и Цветаевой, —

и «синтагматический» Парщиков, установивший толчковую ногу в усталом послереволюционном футуризме, в традиции, ведущейся от цифири, «проектов» и утопических поздних поэм Хлебникова, преломившихся затем в анималистических и сельскохозяйственных утопиях Заболоцкого, — присоединив к ним влияние южнорусского барокко в аранжировке отечественных структуралистов. И оба они противостоят последнему поэту акмеизма, давно его переросшему, — Бродскому. Это не чертеж. Все возможные оговорки и поправки принимаются, но существо и нерв проблемы — таковы. Здесь — в пространстве поэзии — перекрещиваются параллельные линии, — нечто выходящее за пределы индивидуального стиля: школы, то есть литературные «конфессии». Нет ничего важнее, может быть, для созревания литературы, чем наличие достойного «культурного противника», — какое захватывающее чтение представляют из себя высказывания подлинных литературных «врагов» — как много говорят они об обоих, о существе конфликта, какая острота наблюдательности в них заключена, какая отборная, крупная соль идет в ход! — работа на пределе достоверности и деформации, находящаяся в опасной близости к жанру клеветы.

Литература не горячая и не холодная (как ледяным бывает изысканное сумасшествие) верным путем шествует на свалку, — вся литература, написанная, как сказал один американец, на пишущей машинке пишущей машинкой, — и для пишущих машинок, можно добавить. Сегодня уместнее

звучало бы уже — на компьютере. Вся эта университетская поэзия, весь пафос которой, — как ядовито и метко отозвался Шкловский о студии Гумилева, — научить людей, пишущих плохие стихи, писать неплохие, — все эти выморочные американо-советские лэнгвидж-скул, вытягивающие ряды слов невыносимо скучных и еще более невыносимо значительных (а ведь ад и есть мир значений без смысла, как определил его — очень точно — один верующий), — все Ингольды и Айги в русских переводах, для которых в этой части литературной и смысловой вселенной, в которой обитаешь ты, просто нет слов, — читатель им судья.

И вот, несмотря на все это, находятся еще американцы, — да, впрочем, и русские, — которые, сидя годами в Западном Берлине, пытаются писать романы, — какое свинство! Именно что свинство, — это как подходит к тебе на улице или в магазине практически незнакомый человек, вручает папку и говорит: здесь восемьсот страниц, ты должен прочесть это за неделю, потом перескажешь своими словами. — За что?!

Какое неуважение к читателю! Липовые персонажи, какая-то психология, рассуждения, диалоги, жалкая, выморочная, да еще и жизнеподобная интрига, — неужели ты все это заслужил?! Сто лет назад Толстой требовал от своего — да и всякого — искусства иллюзии, так и писал «иллюзия». Реалистическая конвенция сродни конвенции, заключенной с иллюзионистом, который обещает тебе натаскать из цилиндра столько белых кроликов, сколько только ты пожелаешь, и проделать эту операцию на таком высокопрофессиональном уровне, что не только ты, но и кинокамера будет не в состоянии его изобличить. В этом его честь и гордость. Вот пусть и проделывает эти фокусы в цирке, если туда еще кто-то ходит, кроме детей.

Есть целый корпус такого рода мифологических текстов, по-своему он блестящ, точно отражает фиктивный строй ума своего времени и филогенетически занимает какое-то — часто важное — место внутри каждого человека, — так же как, скажем, «реалистическая» максимально иллюзионистская живопись. Но уже позавчера выходить, — выпотрошив его и слегка подмазав, — с тем же предложением, что двести, полтораста, сто лет назад?! После компота с сухофруктами еще тарелочку борща?! Пускай их, — пишут.

Тебе же лучше подняться на Цюрих-берг и на могиле Джойса распить бутылочку любимого покойным белого вина с другом-поэтом. Отвернувшийся чертик с тростью, скрючивший ножки, забывший о книжке в отведенной руке, курит, — такой маленький! Неизвестно еще, какой ты будешь после смерти, — может, тебя вообще можно будет утопить в чернильнице. Какая был умница! Как гениально сузил реалистически-модернистскую конвенцию до описания одного дня, до формулы и молекулы человеческой жизни, — достаточно долог и год, если прожить его мудро, говорили дальневосточные древние, — он пошел дальше: д е н ь.

Каким нервом пронзил он этот один день, — каким немыслимым богатством и хламом нагрузил эту лодку жизни и смерти, пропустив его через сито пародии, сделав невесомым колоссальный груз, — и как потрясающе закончил преддверием этот семисотстраничный роман под голубой обложкой, поставив тройное обрывающееся «да!..». Достойная гибель последнего романа.

Друг твой загрустил. Русские любят пить на могилах. Шел мелкий дождичек.

— Кто бы мне сказал пять лет назад в Москве, — сказал он, глядя в небо перед собой, — что через несколько лет мы встретимся с тобой в Швейцарии, в Цюрихе, и будем выпивать на могиле Джойса?!

Еще четыре с небольшим года назад у тебя не было опубликовано ни единой строчки.

Вы спускаетесь на трамвае к Цюрихскому озеру. Чайки берут здесь корм с руки, зависая в воздухе, как колибри, как Крупская с вытаращенными глазами, отчаянно маша крыльями, принимая клювом, как пинцетом, из пальцев хлеб и колбасные шкурки. Перейдя на другую сторону, вы засядете в «джойсовском» пабе — дублинской пивной конца прошлого века, купленной в свое время швейцарцами, разобранной, перевезенной в Цюрих и собранной в том же нетронутом виде, — с мраморными столиками, кожаными высокими спинками кресел, панелями, витражами, бронзовыми краниками, сумрачными мистическими пейзажами на стенках — здесь все было аутентично. Ты готов был расцеловать швейцарцев. Не пирамиду, не распиленный Пергамский алтарь! Всего-навсего — паб. Всего-навсего — Джойс. В Дублине ничего этого давно уже нет.

10. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЦУСИМА

Тема, однако, чересчур больная.

Где-то разыгралась литературная цусима, и отголоски ее еще только докатываются до нас. Можно, конечно, продолжать строить броненосцы и делать вид, что ничего не случилось, — тем горше будет пробуждение. И дело не в степени фиктивности литературы, — сумма ее в общественном сознании всегда более-менее константна, — но прохудились меха, и бочки отдают плесенью, и фиктивность, иллюзия вытекла из литературы, перетекла вначале на киноэкран, в жанр коллективного сновидения, а затем была всосана телеящиком — говорящей и показывающей скинией жизни, окормляющей миллионы. Фокус отрицательного давления: литературная сказка оказалась поглощена сновидением и уже в таком переваренном призрачном виде — игрой, воскресившей, кстати, как только техника это позволила, дописьменный устный жанр, магнетизм живого общения, — точнее, опять его иллюзию. Как на старинной гравюре: большие рыбы пожирают маленьких, так что головы их и хвосты торчат поочередно из пасти друг друга.

Надо договорить эту кажущуюся пошлость до конца, — поскольку нынешний вялотекущий кризис письменности напрямую связан с нежеланием осознать этот несомненный факт до конца. Можно прозаикам — продолжать писать каждый год по роману о белых медведях, поскольку искусство рассказывания историй бессмертно, и священная корова беллетристики во все времена будет отрыгивать свою жвачку и давать молоко; или поэтам — пастись вокруг колышков, вбитых в газоны университетских кампусов, ограниченный спрос на это также будет всегда; или критикам — подъедать послед литературы полувековой давности, смело ломая о колено Горького или Мандельштама, страшась взглянуть в лицо настоящему — а ведь кто не живет в настоящем, того просто нет, — и этим хуже всего. И можно продолжать петушке хвалить кукуха и валить все на время и обстоятельства, но не лучше ли всего-навсего поднять вверх голову и задаться вопросом: так что же осталось на трубе?

Да то же и осталось, что было, — письменность, письмо, ничем не заменимое и не восполнимое письмо человека, обращенное к самому себе. Причалил просто и стал на прикол двухсотлетний жанровый дредноут, умерли в очередной раз заболтанные слова, потеряли силу изжившие себя уговоры и конвенции не существующих больше субъектов, — но языковой-то океан остался и по-прежнему требует освоения. Эра географических, и не только географических, открытий никогда не может закончиться — здесь пока не закончится все это, пока не отомрут речи и не будут вынесены весы.

Эмигранты последней, может, литературной страны первыми столкнулись с этим новым миром, отведшим место словесности в комфортных ре-

зервациях и службе сервиса, — и многие стушевались. Слишком много проблем доводилось решать им одновременно. Требовалось не меньше усилий, чем начать писать после революции, — здесь говорится «после Освенцима». Изменились не просто формы жизни, кто-то вынул черт те где какую-то пробку, и утекли ценности, — нечто гораздо более неосязаемое. Мало кто просто посмел открыть глаза, дать себе шанс измениться, а не просто перемениться, приспособиться. Температура оказалась сбита, — фармакопея здесь отменная.

Кто принялся врать и выдумывать все; кто лизнул — и обиделся, когда не поняли; кто, поджав губы, продолжил делать то немногое, что умел, не слыша уже самого себя, не понимая, что вневременной тон 70-х — его высшее достижение — невыносимо фальшиво дребезжит в изменившейся атмосфере и должен быть приравнен к порче воздуха в общественном месте; кто обозлился и написал — семьдесят лет спустя — первый по-настоящему пролетарский роман; кто допился и с криками «мясо!» ловит чертей на столе, или идет по Берлину в одном ботинке; кто обрадовался, издал ослиное ржание и принялся в умоисступлении лягать поскользнувшееся на шкурке от банана Слово. Гандикап и допинг получили честные «бытовики» и анекдотисты. Литература вернулась в исходную точку.

Тяжело видеть перемещенные на Запад драгоценные оптические и версификационные приборы, расстроившиеся при транспортировке гироскопы и барометры, — расфокусированные, с ослабленной нитью, продолжающие неизменно показывать «ясно», — попадаются отрывки каких-то отчетов и неслыханных прогнозов, строчки, явно выпущенные в «десятку», но, под действием какой-то отклоняющей силы, вновь и вновь уходящие в «молоко». Если так пойдет дальше, можно будет в скором времени забивать ими гвозди, — или держать на каменной полке, как старинные безделушки.

Есть зоны умолчания у каждого. Каждый несет на себе рубец травмы и прячет его от посторонних глаз, пытаясь заглушить в себе тот неоспоримый факт, что литература питается «энергией несчастья». Пушкин, Гоголь, Джойс — это же настолько перед глазами! — все из интерната. Девять лет у Гоголя текло из ушей. Младший его брат просто умер на второй год — не захотел больше.

Все люди, и больно всем. Каждый пытается обложиться подушками, как в соллогубовском «Тарантасе», — путь неблизкий. Кто ловит среди ночи в немецкой общаге шаги запоздалой любви, — плохо спят здесь все; кто не расстается ни утром, ни вечером с бутылкой клошарского вина, — здесь не Америка, пить можно на улицах; кто с ненавистью глядит на молчащий телефон или, наоборот, сам часами висит на нем, — а это сто́ит; кто друг всех и вся, — и тем и интересен; кто работает безостановочно, как кролик жует, боясь приостановиться; кто путешествует, если есть деньги, забираясь в самые медвежьи углы Европы; кто заблудился, будто ток в компьютере, и капризничает — потому что где я сам как не в прихотях? — кто ругается и жалуется одновременно: «Да, я чиновник, ношу нарукавники, — но почему я должен читать его стихи?? Разве это не жестоко?!»

Будто в шахматах: кёльнская, франкфуртская, эрфуртская защита.

Кто бил когда-то на родине гусей веслом, здесь выдергивает за шею лебедей из Цюрихского озера, — твой друг, непременно надувший на себе, словно резиновый костюм, свой английский язык и весело, как хэлловин, катящий его по жизни, давя всех встречных и поперечных:

— Ну почему я должен учить здесь немецкий язык, ходить на курсы? Меня и так все понимают. Они же сами не разговаривают по-немецки. Это абсурд — учить немецкий в Швейцарии, где все говорят на диалекте. А у меня калифорнийский акцент, — меня здесь все понимают.

Правду говоря, и немцы и англичане охотнее готовы простить тебе твой буквальный почти «английский», чем напрягаться, пытаясь совладать с его богато интонированным «калифорнийским» Было и остается несколько звуков в английском, которые тебе всегда почему-то было стыдно произнести Интересно однако, было бы побывать в той веселой стране, где все разговаривают с «калифорнийским акцентом»

Твой друг сейчас меньше похож на Пушкина, скорее – на бесшабашного прикалывающегося негра, серьезного ровно настолько, чтобы не покатиться от хохота по тротуару,
а то – на немолодого еврея,
а то – на отдувающуюся голову Борея со старинных географических карт.

11. УДВОЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Говорят, кодаковские отпечатки со временем обесцвечиваются, сползают с бумаги и исчезают совсем, – неужели одновременно с генерацией, внутри которой были отсняты? Что-то в этом есть Бегают, бегают переводят бумагу, сердятся, – потом начинают выглядывать из окон, и однажды перестают

Один есть недостаток в странах, где все работает как часы в них имеется тенденция к тому чтобы ничего не происходило Молодым швейцарцам иногда выть хочется от своего оазиса усиленного режима Конечно же, происходит Точнее, случается. Но и случайности поставлены на учет. Слишком дорогую цену приходилось платить здесь каждый раз за спонтанность. Место драме находится всегда В опрятном старении, в частности. Раньше в сказках прогоняли зверье, заводили в лес детей, теперь бросают в перелесках старые автомобили. Что-то иногда взрывается, но чаще просто закрывается завод на десятки тысяч рабочих мест, как сейчас в Руре. Тихо на берегу Рура Ледяные подвески, как длинногорлые колбочки, свисают с прибрежной травы, едва не касаясь воды. Течение стремительное. Самое громкое — взлет лебедя. Сразу видно, каких древних он кровей и откуда досталась ему такая длинная змеиная шея, когда он начинает бежать по воде стометровку, оглушительно хлопая крыльями, словно скрипучими двустворчатыми дверями, силясь оторвать свое непослушное грузное тело от серой, несущейся под ним поверхности воды. Тише, тише. Нарушение тишины карается штрафом, если донесут

Лучшие в мире антифоны, – или, по-русски, беруши, — швейцарские. Они действительно великолепны В голубом пистоне – две желтые пули «дум-дум» двенадцатого калибра Они упруги, эластичны, вечны, – их можно стирать. Если вы их купили, вам уже будет что оставить в наследство.

Есть, однако, вещи, которые превосходят ресурсы понимания западного человека, — скажем, открываешь водопроводный кран, а из него не вытекает ни капли воды, — сюрреализм какой-то

В разгар «перестройки» во Львов приехала съемочная группа английского телевидения — снимать раскопки энкаведистских могил Детские черепа с пулевыми отверстиями в затылке привели к нервному срыву оператора группы. Он плакал, забросил камеру, ушел куда-то в город, пил, — нашли его только на следующий день После беседы он вернулся к работе. Была отснята большая часть материала, когда режиссер, рослый спортивный янки, живущий в Британии, – по повадкам кадровый офицер ЦРУ, — решил однажды заскочить по пути на съемки на чашку кофе в одну из городских кофеен. Стояло солнечное утро, двери кофейни были распахнуты настежь, внутри — прохладно и пусто. У кофеварки стояла продавщица и молотком методично отбивала ручки у кофейных чашечек,

которые ей одну за другой подавала уборщица. Чашки с отбитыми ручками аккуратно ставились на поднос. Режиссер остолбенел.

— Что они делают?? — задал он идиотский вопрос своей ассистентке.

Когда наконец до него дошло, тренированные его, крученые, как веревки, нервы вдруг, неожиданно сдали

— Так, — сказал он, заговаривая с собой и направляясь к двери, забыв про всякий кофе, — всё. Довольно! Сегодня последний день съемок. Завтра вся группа улетает в Лондон. Монтировать, переводить, озвучивать — все там. Там же доснимем, если потребуется. Довольно всего этого!..

Когда путешествуешь так долго, заговаривающаяся реальность начинает повторяться. Вначале смотришь на это с недоумением: как? эту же картину ты видел в другом городе?! и это литье Домье тоже!.. — затем входишь в азарт и ждешь с нетерпением следующей поклевки, смакуешь повторы, — как с антропософским «следом», всплывшим вдруг в бог весть каком городишке Рурской области и пошедшим водить кругами; или когда в берлинском Naturkunde, обернувшись, понимаешь, чьи это кости как кости вавельского дракона повесили на цепях поляки на стене своего гордого Вавеля; или когда в базельском Zoo перегнувшийся через ограду жираф, почти дотянувшись до твоей головы, показывает полуметровый серолиловый язык, переадресовывая его тебе от «Пылающего жирафа» Дали, до которого в то утро ты так и не добрался в закрывшихся на переэкспозицию залах Кунстмузеума; пока не начинаются как бы «случайные встречи» в узких улочках, сбегающих к Рейну. людей, давно знающих друг друга по отдельности, но в «той» жизни — всех вместе никогда не встречавшихся; и пока. наконец, эти дубли и намеки, эта множащаяся, уже начинающая вибрировать и крошиться реальность не бросит тебя окончательно в холодный пот.

Транснациональный экспресс Порта — Богемика, будто почуяв послабление твоего катящегося к завершению сюжета, еще по пути в Берлин начнет опаздывать на час, — и скатерть-самобранка будет стремительно сворачиваться по ходу движения поезда: вокзал Лихтенберг, — облупленный Дрезден, — последние международные телефоны-автоматы, — приграничная горная речка, — запустение Западной Чехии, уже неотличимой по виду от советских полустанков, — те же двадцать долларов, наконец, в Праге на такси, чтоб успеть перескочить с вокзала на вокзал, заехав еще в Гамбургское ж.-д. бюро за резервацией места и загрузившись пивом (уже кисловатым!), и, садясь уже в чешский спальный вагон, вдруг услышать: «Привет! Не узнаешь меня?.. Слышал неделю назад твой очерк по радио о самоубийце. Ну, виноват, не виноват... — занимаюсь сейчас бизнесом. Стихов больше не пишу. Как Рембо. Третий год живу в Праге».

И пока твой анонимный персонаж будет подсаживать твои сумки в тамбур, ты увидишь вдруг проступившую сквозь курчавую бороду глумливую, треугольную, извиняющуюся улыбку... сатира из берлинского музея! — мраморного, сидящего в обнимку с нимфой, —
нет, действительно, довольно!

Ты и так слишком много здесь всего повстречал, такого, чего и не ожидал. От самого себя в том числе.

Самым отдаленным из отголосков был дошедший через шестнадцать лет последний толчок карпатского землетрясения, тряхнувший тобой в Швейцарии. О нем рассказал тебе немецкий критик, репатриант из Румынии.

...В тот день ты вернулся домой как обычно в то время и прилег почитать на тахту. Минут пять спустя тахта как-то странно ожила, но ты не обращал на это внимания, подумав, что таки сегодня слегка перебрал, — пока не начала раскачиваться люстра. Открылась дверь, и в комнату во-

шла теща в халате и с повязкой на лбу, — повязку эту она носила десятилетиями. Она дико посмотрела на тебя, — в это время ты пытался взглядом остановить люстру, — и спросила тебя что-то незначащее значительным тоном. Ты ответил: «Нет», — и только когда дверь закрылась за ней, ты понял, что теща опасается, не без оснований, не поехала ли у нее крыша, — и, уже довольно улыбаясь, как идиот, вспомнил, что в таких случаях обычно надо становиться в дверной проем или залезать на подоконник.

С той стороны Карпат, со стороны эпицентра, все выглядело иначе. В тот день группа, как говорят, невероятно одаренных, молодых румынских поэтов решила отметить какое-то событие. Это могло быть замечательное, ни на какой карте и ни в каких программах новостей не отмеченное событие, — они собрались для этого все на одной квартире. Тебе приходилось уже задумываться, когда вскоре все начало расползаться, — а не была ли сама дружба — этот самый замечательный цветок минувшей эпохи — просто специфической формой выживания при социализме?..

В тот день в Бухаресте под обломками землетрясения погибла целая генерация румынской поэзии.

12. ВСПЯТЬ

И вот прощальный взгляд на Германию — перед самой гениальной картой, которую ты когда-либо только видел, — в витрине книжного магазина, — будто снятой аэрофотосъемкой из стратосферы.

Земля загибается к Северному полюсу, в месте скругления от ее поверхности отрываются расчесанные арктическими ветрами перистые облака, в тумане и дымке проступает южный берег Скандинавского полуострова, внизу виднеются Альпы с шапками ледников и глубокими тенями ущелий. Синеют лужицы озер, сбегают с гор и сливаются реки, выделяются пятна агломераций с натянутыми между ними нитями дорог, леса зеленеют, будто мох, ясный день, в углу видны Базель и Цюрих, Цюрихское озеро, — кажется, если взять лупу посильнее или микроскоп, то увидишь, как побегут поезда, баржи поплывут против течения рек, зашевелится кашица на автобанах, — но ни микроскопа, ни лупы не было под рукой.

И с трудом отлепившись от карты, уже отойдя от витрины, ты вспомнишь, может некстати, другую — уже не карту, а маленькую черно-белую поразившую тебя фотографию в толстенном иллюстрированном томе биографии Гитлера из библиотеки миллиардера. Ничего особенного: снятая с какого-то пригорка, с высоты птичьего полета, колонна вермахта, уходящая на восток по пыльной дороге, тянущейся среди пустынных полей. Вдали темнеет лес или роща. Солнечный ясный день. Но клубится на горизонте во всю высоту фотографии огромное небо, вертикальной стеной громоздятся тревожно и грозно подсвеченные солнцем кучевые облака, оставляя между небом и землей узкую щель высотой в рост человека.

Это во времена Македонского, — и Альтдорфера, может, — люди еще обращали внимание на знамения.

Растянувшиеся батальоны узкой цепочкой уходили по направлению к сердцу Азии, втягиваясь в узкую щель между горизонтом и небом, чтобы в чем-то неведомом и страшном, скрытом до поры облачной грядой, — неотвратимо засасывающем их и лишающем воли их командиров, — исчезнуть навсегда без следа.

Все зверье Германии выйдет проводить твой стремительно уносящий тебя вспять и все более запаздывающий, выбивающийся из графика, пустеющий с каждой станцией международный экспресс. Прилетят опять ут-

ки с Эльбы, рыжая лиса выйдет к железнодорожному полотну, пугливо будут жаться к краю леса косули, провожая взглядом состав, подпрыгивать будут то здесь, то там, будто карликовые кенгуру, русаки, проваливаясь с головой в снег.

Поезд пойдет листать страницы книжки в обратном направлении. Время начнет вычитаться, как нумерация страниц. Не будет резких границ, схлопываться станут и уноситься города, слизываться пейзажи, железная дорога следом будет спешно разбираться, — шпалы, рельсы, столбы — складываться в заранее приготовленные ящики. Грязнее и беднее станет еще где-то между платформами Берлина, а дальше сползание станет уже неощутимо, неуловимо, неостановимо. Путь проляжет, как хорошо намыленная веревка. Будет весело. Исчезнут дегенеративные граффити с дебаркадеров, сделанные будто одной рукой, — коренастые, перепоясанные буквы, сцепившиеся, как борцы; бог весть что они тебе внушали и чего от тебя добивались. Да была ли эта Германия?? Вот разве что сумки, — башмаки, книги, сухой паек. Но сколько страны можно увести в сумках?

...И вот уже чешский поезд с откученными, снятыми кранами в туалетах. Проводник, извиняясь: «Вы знаете, люди такие, что воду не закрывают...» Какой-то целый народец, в тренировочных костюмах поголовно, бегающий за водкой и кипятком. И покрывшая все это наконец тусклая дождливая ночь. Карликовые страны, таможня на таможне. Стоянки часами. Рельсовые стыки начали стучать от самой границы, вагоны дергаться и раскачиваться на ходу. Последнее, впрочем, неплохо, в некоторых случаях — даже хорошо.

* * *

Проснуться в Чопе. Какой филолог от бога дал такое название этому пункту, расположив его в месте стыка!.. чего с чем? Части не стыкуются. Есть такие приграничные станции, — все в них упирается — Чоп, — но значительны они, и помнят о них ровно столько, сколько в них пребывают. И все же, когда на перроне вокзала в Чопе ты увидел укрепленные на кронштейне круглые часы без стрелок и, взглянув на свои электромеханические швейцарские на столике, увидел, что и они остановились, то громко сказал, ни к кому не обращаясь в гулком пустом купе, отделяя каждое слово: «.....! Да сколько же можно, — я же не полный идиот!.. Да за кого вы меня принимаете?!»

В следующий раз проснуться теперь уже в родных горах. Боже, какое это незаслуженное счастье! Под прямым углом к восставшему, поворачивающемуся за окном склону, — столь вертикальному, что сосны кажутся уже как бы нарисованными на нем. Зимой горные речки становятся еще прозрачнее. Потоки на дне ущелий исчезают подо льдом и снегом и вновь подмывают проталины, переливаясь в них своим упругим стремительным телом, будто скрывающийся в облаках дракон, — когда громоздкий поезд гремит всем своим составом по мосту, сложенному еще при Франце Иосифе. Жалко, что не довелось заглянуть в альпийские ущелья. Один раз, когда сумасшедший закат, не уступающий твоим карпатским, повис над Баварией, где-то между Мюнхеном и Ульмом, из вагонного окна ты увидел, как поднялись в нескольких десятках километров абсолютно отвесно заснеженные Альпы, — будто земля раздвинулась, не желая быть пораненной их пиками, — и, помаячив, выхваченные закатом, минут пять на горизонте, исчезли в вечерней сизой дымке.

А здесь тянулись пунктиры изгородей, обнаженная планиметрия селений и анатомия хозяйственных дворов, распиленные бревна, обложенные дровами стены сарая, брошенный трактор, школьник, бредущий по дороге в маленьких кирзовых сапогах с отвернутой халявой, бегущая за ним на

некотором отдалении собака с задранным хвостом, следы на снегу, – кто-то пошел зачем-то в гору к столбу и, не дойдя, вернулся к дороге; зачем он ходил? ты не узнаешь этого никогда.

Не будучи знакомым, ты знал этих людей, – как они живут, где берут деньги, как закупают хлеб на неделю. И этот охранник – пацан с автоматом, в полушубке – на въезде в туннель, живыми бараньими глазами провожающий эти идущие издалека поезда. Может, так и задумано было, — чтобы жить было трудно? И уже в одном из туннелей, когда в полном мраке поезд остановится и станет тихо на свете и в вагоне так, что никто не посмеет шелохнуться, не то чтобы словом оскорбить эту тишину, — ты почувствуешь в носоглотке, в гортани – опять – откуда-то вернувшийся вкус устрицы: прилива насморка, соли, горькоты, — и очнешься и замрешь, боясь сглотнуть оттаивающий комок этого возвращающегося чувства земли и дома.

Кто мог подумать, что эта пошлость может приключиться с тобой...

Горы переходили в размеренную и безмерную тоску равнин, и чувства притуплялись. Попадавшиеся пригородные поезда были столь грязны и закопчены, что не видно было даже сквозь стекла, есть в них пассажиры или нет. В Стрые между путями рос ковыль, летали галки, на углу товарного вагона, свесив ноги, будто скворец, сидел пожилой рабочий в промасленной фуфайке, с разводным ключом. Цистерны товарняков были того цвета маренго и гой рельефной, наросшей за годы, фактуры, над которыми Бойс бился месяцами.

Мидиократия закончилась. Все текло, таяло. Зарядил дождик. На перроне, на вокзале, в городской толчее трудно было к чему-либо прикоснуться. С возвращением на помойку, герр путешественник...

* * *

Несколько дней спустя в твоей мастерской соберется тошный суд в полном составе. Когда ты выйдешь и через час вернешься, тесная подлодка-малютка окажется переполненной большей частью малознакомыми и нетрезвыми людьми, которые будут падать со стульев, отрывать ручки дверей и хвататься за грудки. Говорить все будут одновременно, чтоб, вытянув из тебя одну-две фразы, лишить слова и спорить дальше до хрипоты, что устрицы — это одностворчатые моллюски, присасывающиеся к скале, и под видом устриц он ел, вероятно, какую-то гадость, что ничего он там не видел по-настоящему, а если и видел то не понял, что академическая жизнь швейцарских университетов устроена таким-то образом, что надоели все эти похождения слонов в жопах тараканов и что один знакомый рассказывал...

Один из присутствующих был офицером запаса и в шестьдесят восьмом году входил в Чехословакию. Еще один несколько раз бывал в Польше. Эти были твоими давними приятелями Те, что были друзьями, давно отсеялись.

Ну что ж. Это и есть, наверное, жизнь.

14 марта – 3 мая 1994
Львов.

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

*

Я НАДУВАЮ ПУЗЫРЬ ТИШИНЫ И УКЛАДА

* *
*

Единого не было бога в моем дому:
Яриле, Зевсу, Тору — и никому!
И если Символ Веры я перейму,
То я из уст твоих его перейму.

Три тыщи язычников — родом из наших мест.
Три тыщи безбожников — вышло из наших мест.
И если я когда поцелую крест,
То я на твоей груди поцелую крест.

* *
*

Дюймовочка, Снегурочка —
Изгваздана в снегу,
Бахрушинская дурочка,
В слезах домой бегу.

А дома — ноты стопкою
Да книжные тома,
А дома спросят: «Кто тебя?»
А я скажу: «Сама!»

«Вольно ж тебе с хулиганьем!» —
В сердцах воскликнет мать,
Но дед покажет мне прием,
И я пойду опять...

А у татарки-дворничихи
Трое татарчат,
Они с утра в окне торчат
И гадости кричат,

А Санька, белокурый бог,
Заедет мне под дых!
А что прием, когда врасплох?
И мне никак не сделать вдох,
Не добежать до них...

Но крыша возле чердака
Звенит, как зыбкий наст,
Но чья-то грязная рука
Скатиться мне не даст,

И я вдохну все звуки дня,
Весь двор — со всех сторон, —
И никогда уж из меня
Не выдохнется он!

* *
*

Заземлите меня, заземлите, я больше не буду!
Ну смеялась над физикой — так не со зла ж, не назло!
Я не верила, что электричество водится всюду,
Чуть притронулась — и затрещало, и всю затрясло.

Кареглазый учитель, явись из глубин лаборантской,
Что-нибудь отключи, расконтачь, эту дрожь пресеки!
Никогда я поступок свой не повторю хулиганский:
Не дотронусь до юной твоей долгопалой руки.

Заземлите меня! Если надо — землей закидайте:
Я читала, ударенных громом так можно спасти!
Ну хотя бы учебник, учебник по физике дайте —
Там уж, верно, укажут, куда мне заряд свой нести...

Из Китая

Треск резинки — и взлетает
Резкий, хрупкий вертолет.
— Пап, откуда?! — Из Китая.
Пятьдесят девятый год.

Зонтик лаковый, бумажный
В трубку толстенькую сжат,
И шуршит на кукле важной
Неснимаемый халат.

Круглый веер с ветко́й дуба:
Шелк натянут — в пальцах зуд,
Но, сияя белозубо,
Кеды взнузданные ждут!

Воспитательница Сяо
В детской книжице жила:
С детских слов письмо писала,
Тонкой кисточкой вела.

С папой книжку полистаю,
Суну нос в цветочный чай...
Я когда-нибудь слетаю
В этот праздничный Китай!

* *
*

Я раздеваю солдата,
Спящего праведным сном.
Вот кобура уже снята
И гимнастерка с ремнем.

Я раздеваю солдата —
Как же еще поступать?
Легче ведь без автомата,
Да и без обуви, спать.

Я раздеваю солдата
Прямо-таки до белья.
Знаю, скандалом чревата
Бесцеремонность моя.

Я поднимаю солдата,
Спать уношу без помех...
Боже, всего и труда-то!
Я их раздела бы всех.

* *
*

Катятся праздники — лишь поспевай:
Пасха, субботник, а там — Первомай...

Только вчера отхрустели мацой,
Глядь — уже пахнет ванильной пыльцой.

В булочной запись идет на кулич,
Архиерей выверяет свой спич,

Бабушки в гетрах сидят во дворе,
Речи ведут об озонной дыре.

Господи! Вот оно, царство Твое, —
Двууглекислое наше житье.

Отче Всеблагий! Прости нам опять:
Воздух насущный не дай растерять.

Вешним дыханьем да входит в уста
Пасха, приспевшая после Поста!

Иже еси
На небеси —
Пенье церковное
По Би-би-си.

* *
*

Бабушка, видишь, я мою в передней пол.
У меня беспорядок, но, в общем, довольно чисто.
Глажу белье, постелив одеяльце на стол,
И дети мои читают Оливер Твиста.

Бабушка, видишь, я разбиваю яйцо,
Не перегрев сковородку, совсем как надо.
В мире, где Хаос дышит сивухой в лицо,
Я надуваю пузырь тишины и уклада.

Бабушка, видишь, я отгоняю безумье и страх,
Я потери несу, отступаю к самому краю:
Рис еще промываю в семи водах,
А вот гречку уже почти не перебираю.

Бабушка, видишь, я в карауле стою
Над молоком, и мерцает непрочная сфера...
Вот отобьемся — приду наконец на могилу твою,
Как к неизвестному воину, бабушка Вера!

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Роман

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Ожидалось, что штрафную роту тоже бросят на переправу, в огонь, первой, но переправляться она начала только под утро, когда над обоими берегами нависла усталая, дымная мгла, из которой, клубясь, оседало серое, паленым и жареным пахнущее месиво, багрово от земли светящееся.

Река настороженно притихла, как бы отодвинулась от земли, пробовала робко загородить себя чистым занавесом тумана, за которым сбивался в один клуб с темнотою удушливый зловонный дым. Тьма стояла над плацдармом, казалось, будто в больном, усталом сне рот наполнился толстым жирным волосом, и чем ты его больше и дальше тянешь, тем он длиннее и толще....

Битва успокаивалась. Огневые позиции противника в большинстве были разбиты, патроны расстреляны, мины и гранаты израсходованы. Отброшенные к противотанковому рву на высоту сто, поредевшие подразделения противника больше не атаковали. Лишь дежурные пулеметы, злобно взрычав, выпускали длинные очереди во мглу.

На середине реки сгущался туман, и эти белые, течением влекомые полосы подживляли надежду на то, что жизнь на земле не кончилась. На невидимом берегу раненые ждут помощи, живые ищут друг друга, командиры налаживают взаимодействие меж полками, батальонами и ротами. С обвалом в совсем, казалось, уже бесчувственном сердце узнают люди, что со многими взводами, ротами и батальонами связи нет и не будет — они перестали существовать. И лишь десяток-другой черных от копоти и грязи, полураздетых, почему-то бесконечно виноватых людей соберутся под яром — выберут старшего и пошлют доложить, что вот пока все, что уцелело, нашлось от их подразделения.

Отторженно себя чувствовавшие штрафники переправились почти без потерь. Плыл еще и какой-то чиновный люд, смирно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской и всякой поклажей и другим инвентарем, позарез нужным на передовой. Отдельно, связанные в пучки, белели черенками штыковые да малые солдатские саперные лопаты, в игрушечные чехольчики вдетые. Этого бесценного груза, как всегда, было очень мало.

Переплыв на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои манатки, быстренько стриганули под навес яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок устланы трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые.

Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Одна свежепросмоленная лодка шла отдельно от тех плавсредств, что плавили «шуриков» — так насмешливо именовали себя штрафники. В ней лоцманила под пионерку стриженная, ликом злая и по-дикому красивая военфельдшер Нэлька Зыкова. Санбат стрелкового полка организовал на левом берегу медицинский пост, владели им две всему полку известные подруги — Фая и Нэлька. Фая дежурила на медпосту, а Нэлька взялась переправлять раненых. Но сколько же она может взять в свою лодку раненых? И позволят ли немцы? И куда делся и жив ли бравый командир батальона Щусь? С ним, с этим капитаном, вместе тесно, а врозь тошно. Опять этим художником командир полка Бескапустин заткнул дыру, опять послал его в самое пекло...

Сыскав среди раненых тех бойцов, кои умеют работать на гребях и заменить ее на корме, Нэлька мигом загрузила свою посудину и уже в лодке сноровисто перевязывала раненых, успокаивала, утешала тех, кто в этом нуждался, а кого и матом крыла. Нэльке и Фае предстояло работать на переправе до тех пор, пока хватит сил или пока немцы не разобьют их плавсредство.

Среди штрафников оказались и медики. Они как могли помогали — перевязывали людей, оттаскивали их под навес яра, где уже полным ходом шли земляные работы. «Шурики» зарывались в берег, издырявленный ласточками-береговушками, среди этих дырочек выдалбливая себе нору пошире.

Феликс Боярчик пристроился в подручные к тощему, седой бородой, скорее даже седой паутиной, заросшему человеку, умело, по-хозяйски управляющемуся с ранеными и совершенно не способному к земляной работе. Феликс вымазался в крови, грязи и, забредя в воду — ниже каменистого мыска, на котором вразброс, точно пьяные, лежали трупы, — успел поблевать. Еще с суда, с выездного трибунала, начавший мелко и согласно кивать, Феликс закивал чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодянкой не промывает, а прямо-таки пронзает нутро. Умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так, замерши, и стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, только кивая.

— Эй, юноша, — теребнул его за рукав тот, тощий, с седой паутиной на лице, — вас как зовут?

— Феликс. Феликс Боярчик, — нехотя, почти невнятно отозвался Боярчик.

— А меня Тимофеем Назаровичем. Фамилия Сабельников. Такая вот боевая фамилия. Давай-ка, брат по несчастью, железный Феликс, укладываться. У вас давно это? — поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы Боярчика.

— Не помню. Кажется, с трибунала. Томили долго, перед тем как расстрел заменить штрафной.

— Да, да, это они любят. Это у них называется — нервы пощекотать.

Пробовали в две лопаты попеременке дорыть одну нору на двоих. Но скоро Тимофей Назарович развел руками и, пока Феликс углублялся в яр, рассказал о себе.

...Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взросший в семье потомственных медиков, Тимофей Назарович Сабельников как-то не очень вникал в ход текущих будней, все чаще и стремительней меняющих цвет — так, что к началу войны из революционно-алых они сделались уже серо-буро-малиновыми, если не черными. Перед ним мелькало в основном два цвета: белый — больничный, да алый, кровавый — с улицы. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросив, растелешенного человека, он не вслушался в информацию, не вник, что за раненый перед ним, он смотрел на рану и видел, что она смертельна. Однако человек был еще жив, нельзя было не попытаться спасти его. Начальник госпиталя и замполит, неизвестно зачем существующий здесь,

где, как во всех больницах и госпиталях, не хватало санитаров, сестер, нянек и другого рабочего люду, внушали главному хирургу, что он берет на себя слишком большую ответственность, рискует собой, да это ладно бы — на войне все рискуют, — но он рискует репутацией полевого орденоносного госпиталя. Непонятливому хирургу наконец разъяснили: раненый — командующий армией, как раз той армией, которой и принадлежит госпиталь, и лучше бы его, от греха подальше, отправить на санитарном самолете в тыл.

— Но он же умрет дорогой, тем более в самолете...

— Возможно, возможно. На войне каждый день умирают, и не одни только солдаты...

— Но есть надежда. Маленькая, правда... нельзя терять времени... никак нельзя.

— Вы берете на себя ответственность...

Вопрос не вопрос, наставление не наставление, скорее — отеческим тоном произнесенное дружеское внушение.

— Беру, беру...

Командующий армией, довольно еще молодой для его должности человек, испустил дух на операционном столе. Сабельникова судили моментальным, летучим трибуналом. Тот же замполит, справный телом и чистый душой, в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали: «Мы ли вам не говорили? Мы ли вас не предупреждали?..» — и на прощанье велели снарядить доктору рюкзак, туда сунули две булки хлеба, консервы, бинты и йод.

— И вот эту клеенку,— расстилая в земляной норе исподом кверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку, произнес Тимофей Назарович.

Они легли рядом, прижавшись друг к другу. Боярчик пробовал укрыть себя и доктора своей телогрейкой — ничего из этой затеи не получалось.

Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее стало реку, где ухали то одиночный, то по нескольку взрывов сразу, раздавались крики. После взрыва что-то шлепалось на берег, и река, растревоженная, никак не могла успокоиться, морщась, поблескивала на отмелях, хлюпала, причмокивала на песке. Туманом, все более густеющим, оттесняло заречье, осаживало на избитую землю серо-желтую муть, гасило цвета и запахи битвы, точнее бойни, происшедшей на клочке истерзанной «руськой» земли, где почти тысячу лет назад произошло крещение народа и первые кровавые битвы здесь же произошли.

Тимофей Назарович привык в своем госпитале не есть и не спать, только работать, людей спасать, разговаривать с ними, успокаивать и утешать их говорком со спотычками от сбиваемого нездоровым сердцем дыхания и с почти незаметной картавостью.

Еду и оружие штрафникам не выдавали. Еще вечером за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки, перевитой сивыми нитками заморской консервы, да сунули кирпич хлеба, тоже на двоих. На этом снабженческие действия и кончились. Оружие-то выдадут, может быть, а может, как харчи, на двоих одну винтовку и по одной обойме патронов на брата, да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника. Но вот насчет пожрать... Феликсу не хотелось болтать, тем более рассказывать о себе, спать ему хотелось. Напряжение схлынуло. Землю копал, устал — это тебе не картинки в клубе рисовать, это фронт, война...

Кто-то сильно дергал Феликса за ногу, невежливо волочил из норки. Феликс проморгался на свету и увидел какого-то командира с погонами.

— Эй, деляга! — вытряхивал из земли Феликса командир.— А где второй? Говорун-то, напарник-то?

— Тут был, — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку. Он даже пошарил вокруг руками. — Тут был...

— Затвердил, е-на мать: тут был, тут был... Он к фрицам умотал?! — спросил и одновременно утвердил командир.

— Тимофей Назарович не может к немцам... Сщас... — Феликс сунулся в норку, выскреб рюкзачок Сабельникова, заглянул в него — ни бинтов, ни йода, ни санитарной сумки там не было. — Раненым он пошел помогать.

— К-каким раненым? Наши еще в бою не были.

Для него все наши.

К-как это? Он сектант, што ли?

— Доктор он.

— А-а, — протянул командир — Есть тут всякие, да отчего-то не идут...

— Тимофей Назарович не всякий..

— Ты давно его знаешь?

Второй день.

— Так какого ж голову мне морочишь? К немцам он умотал.

Феликс кивал, командир думал, что солдатик соглашается с ним. Он поматерился и ушел. А солдатик залез обратно в норку, съежился — одному холоднее, но малость угрелся, забывшись сном или тянучей, вязкой дремой. Да снова его задергали, затеребили за ногу. Не хотелось шевелиться, не хотелось вылезать из гнездышка, Феликс подбирал ноги, утягивался поглубже в норку. Тащили, не отступались. Феликс вперед ногами снова выполз из земляного гнезда и увидел Тимофея Назаровича. Тощий, остро обозначившийся в костях, он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на взошедшем солнышке. Гимнастерка, галифе и два носовых платка сохли, расстеленные на камнях.

— Вас же убьют. Маячите.

— Не убьют, не убьют. Супротивник сегодня не воюет. Выдохся. Спит. Боеприпасы подвозит... Очень много, знаете ли, раненых... По оврагам расползлись, умирают...

— Известно, раз бой был... Вас тут командир искал, грозился... к немцам, говорит, умотал.

— К немцам? Вот дурак!

Помолчали. Тимофей Назарович вынул из медицинской сумки два сухаря, один дал Феликсу, с другим подсунулся к воде, разгреб ладонями грязно-багровую пену, размачивая сухарь, пояснил, что взял их в вещмешке убитого солдата.

— Мертвый чище живого, — сказал он и, глядя поверх воды, добавил: — Очень, очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел...

Феликс отмачивал во рту сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка сгрызлась податливо, но под корочкой был закаменелый слой — зубам не давался.

— Феликс, я не могу пойти к командиру в таком виде. Поищите его, может, мне дадут бинтов, ваты, я подсушусь и...

Боярчик совался в каждую земляную дыру, спрашивал командира, и из каждой на него по-звериному рычали, лаяли — народ в этой части не расположен был к дружеству. Не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкали вместе людей, чтоб они нежничали, рассиропливались, до первого, и скорей всего до последнего для многих, боя.

Странный, пестрый народ штрафной роты был всем чужой. Боярчик, вечно кем-то опекаемый, жалостью и вниманием всегда окруженный, чувствовал себя здесь совсем потерянно. Пытался молиться, взывать к богу, как учила тетка Фекла Блажных. Бог услышал его, соединил на гибельном краю с Сабельниковым Тимофеем Назаровичем. Скорей всего соединил ненадолго, скорей всего до первого боя, в котором, Феликс точно знал, он непременно погибнет, потому что жить не хочет

Странные люди и странный, отдельно существующий мир открывались Феликсу. Офицеры, сведенные в штрафной батальон, пополнили штрафную роту, смешались с солдатней и бывшими младшими командирами. Особняком держалась только группа раскормленных армейских господ, иначе их не называли. Они увели — ни много ни мало — целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии, тысяч десять бойцов отправились на фронт в старом. Целая цепочка жуликов образовалась в тыяу, работали они нагло, безнаказанно, отправляя из запасных полков маршевые подразделения на рассеивание, развеивание, короче, на пополнение в действующие части, уверяя, что там их ждут не дождутся и как надо обмундируют.

Так оно и выходило: подваливали в места формирования отряды обношенных, в лоскутье одетых бойцов, тут, в действующих армиях, матерясь, их переодевали, как-то вывертывались. Жаловались, конечно, докладные писали, но все это в кутерьме отступления глохло, да и потери в ту пору были так огромны, что тряпья на всех хватало. И тогда-то, во дни самых тяжких боев и горя людского, началось повальное мухлевание, воровство, нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили: немец Москву возьмет, немец победит, и, пока не поздно, начинай расхватуху.

Расхватуха набирала размах, и однажды под Москву прибыла из Сибири и утопла в снегах в летнем обмундировании дивизия. От нее наступления требуют, она же дух испускает, и не вперед, на запад, а в Москву, на восток, идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей.

Вновь назначенный командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, мужик крутой, издерганный в боях, в латании горячих дыр и прорывов, которые он все затыкал да затыкал, до черноты уже не опаленный, а изможженный фронтовыми бедами, мотаясь по Подмосковью, наводя порядок, попал в ту Сибирскую горемычную дивизию. Видавший всяческие виды, даже он ахнул: «Вот так войско!»

Несмотря на аховое положение на фронте, дивизия была отведена в Перово, где ее одели, подкормили, подлечили и к началу зимнего наступления ввели в бой. Тем временем началось следствие, и Жуков сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берией доложит о пособниках Гитлера, орудующих в тылу...

С прошлой осени — эвон сколько! Почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вшей из солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты. На деньги играли. На плацдарме притихли, зарылись в землю, засунулись в норы и ни мур-мур, понимали, что еды отдельной в этом гибельном месте им не добыть, в атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиришки ретиво и зорко следят за ними и спуску не дают. Командир же батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет: «Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! Заградотряд сзади с пулеметами поставлю!..»

Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, свои же перестреляют, во-вторых, слух по фронту ходит: комиссаров, евреев и тыловых мздоимцев немецкие вояки стреляют тут же, на передовой, — таким образом наводят справедливость в действующих частях, таким образом и наших ворюг уму-разуму учат. Немцы красть, обирать своих же собратьев не посмеют, это у нас: кто нагл и смел, тот и галушку съел...

Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами, отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоимстве, — надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, этого задарить, такого-то и вовсе убрать: подвел под монастырь, стервец, понаговорил, понаписал...

Но командиры батальонов, рот, взводов, каких-то шарашек, парковых батарей, технических служб, пекарен, санслужб, потерявшие в харьковской переделке имущество или допустившие повальный драп, судимые согласно приказу 227, принимали происшедшее с ними безропотно, как веление судьбы, кривой зигзаг ее. Конечно, надо бы здесь, на плацдарме, быть не им, а тем, по чьему приказу они влезли в харьковский котел, и не подозревая, что — котел, да еще такой агромадный! В нем сварится не одна армия, масса людей превратится в кашу, сдобренную кровью. Два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на казенный немецкий колпит. Не угодившие на казенные немецкие харчишки — к товарищу Сталину на правеж, тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупить.

Один тут был занятный тип в танкистском шлеме, не снимал его ни днем, ни ночью, реку переплывая, сохранил. Под рубахой, видать, держал. Рябоватый долгошеий парень с шало вытаращенными глазами, все время всем козырявший, всем рассказывал, как послали его танк в разведку, в ближнюю. Танк в ночи заблудился. И мало того что заблудился, так и в плен чуть не угодил. Сам он, командир машины, родом с Катуни, с верховьев ее. А Катунь — что? Быстрина, напор, каменья, скалы — красота, одним словом. А тут речушка на пути — переплюнуть можно, но влетели в нее и забуксовали. И чем дольше буксовали, тем глубже в илистое дно зарывались траки. Опомнились, смотрят — на берегу немецкий танк стоит, пушку навел. Ну какая тут война может быть? Вежливые фрицы трос подают, надо трос принимать. Бродят фрицы по воде, бродят иваны по воде. Очень всем весело. Трос короткий, с берега до танкового крюка не достает. Тогда полез и немецкий танк в воду. Рокотал-рокотал, дымил-дымил, корячился-корячился — и тоже забуксовал. Все! Кончилась война! Отдыхай, ребята! У немцев шнапс нашелся. Распили его по-братски фрицы с иванами, сидят, ногами в воде побулькивают.

— У нас, как известно, все делается для счастья советского человека, и вот воистину приспел ко времени лозунг. Фрицы-то обогреваются в машине по внутренней системе отработанными газами, система же нашего обогрева что ни на есть самая древняя, с поля Куликова сохранившаяся, — печка, дрова. Зимой мы до смерти в танке замерзаем, летом от жары сознание теряем... И вот — не было бы счастья, да несчастье помогло. Командир танка, беспрерывно смотревший на три грушевых деревца, росших на берегу, соображал-соображал да и вспомнил наконец, что в машине у него пила и топор. Пошли иваны деревца пилить, под гусеницы бревешки скатили и, помаленьку, полегоньку подкладывая покаты, вывели машину на берег. Немцы сказали: «Гут!» — и приняли трос с русского танка. Вот это событие! По всему фронту пронеслось, как русский танк пленил немецкий танк. Армейская газета под названием «Сокрушительный напор» карикатуру на первой полосе поместила, стихи сочинила, экипаж машины был весь к награде представлен. На этом мажорном аккорде победоносная история и закончилась бы. Да ведь у нас как повелось: хвалить — так уж до беспамятства, ругать — так уж до хрипу. Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку, и культурно там отдыхать. Поехали. Хату нашли с жинкой и голосистой дочкой, пили, ели, песни пели, ну и всякое такое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще умишком слабенькая, все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Пела, правда, здорово. Как грянут дочка с маткой «Ой, нэ свиты, месяченько», аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило, решили еще горючки промыслить, водитель, смурной, не проспавшийся, вместо того чтобы вперед ехать, дернулся назад, в стену хаты танком долбанул, а когда отъехал, видит: девчушку, певунью-то, размичкал... Чего она за хатой в садочке делала? Беду не надо кликать, она сама тебя найдет... И тут мы все запаниковали — что делать? Водитель, никого не спрашивая, влево, вправо и вокруг вертанул гусеницами —

прикопал девчушку. Драпа мы из деревни дали. И не нашли бы никогда ту бедную певунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я, как командир танка, пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчиков, в штрафную и запятили. Водитель погиб в первом же бою, меня, окаянного, и пуля не берет...

Нашел Боярчик взводного по сапогу кирзовому, из норы он торчал, внутрь стоптанный. Подергал за сапог, взводный ноги под себя убрал, заматерился: «Какого, так тебя, надо?» Боярчик сказал, что Сабельников сам прийти не может, постирался он, в одних кальсонах гарцует. Тогда взводный катанул вниз две пухлые сумки с крестами и сказал, чтобы Тимофей Назарович развертывал медпункт на берегу, а в санитары взял бы себе его, Боярчика.

— И пусть, — донеслось из недр земли, — не расходует зря медикаменты. Под расстрел попадет.

«А пожрать?» — хотел спросить Боярчик, но по лютости голоса взводного и хмарности угрюмых матюков понял, что командир тоже не жравши...

Тимофей Назарович обрадовался сумкам с медикаментами и развел руками на предмет — «развертывать медпункт».

— Где и чего развертывать-то? Тем более что сейчас непременно налетят.

И только он так сказал, вдали, за бугром высоты сто, в небе, запорошенном высоко поднявшейся копотью, тетрадными крестиками обозначились самолеты. Тимофей Назарович собрал недосохшие пожитки и юркнул в нору. Феликс еще посмотрел на самолеты, грузно перевалившие за реку, где по ним замолотили зенитки и более уж не умолкали до конца бомбежки.

Большинство бомб угодило в овраги, эти грохоту давали мало, зато землю раскачивали что зыбку, и высоко выбрасывало комки. Пыль, тоже рыжая, смешалась с темной завесой дыма, и над плацдармом уже весь день, не оседая, висел грязновато-бурый занавес, сквозь который едва прожигался мерклый желтышок солнца.

С этого дня, с этого полуденного часа самолеты противника почти не покидали небо. И всякий раз, будто парнишки, опоздавшие к началу драки, появлялись советские истребители, храбро бросались вдогон, строчили по бомбовозам, взмывали вверх, кружились и, возвращаясь за реку, непременно покачивали над плацдармом звездными крыльями: все, мол, в порядке, родные наши товарищи, отогнали мы врага, поддали ему пару.

Батальон капитана Щуся рассредоточивался по оврагам и закреплялся. Разведчики, выяснив, где он, батальон, есть, какого места достиг без боя, устанавливали связь с помощью рассыльных и подбирали бойцов, тех, что потерялись, отстали, заблудились ночью.

Нашли и роту Яшкина, остатки ее, восемнадцать человек. Володя Яшкин, за ночь постаревший лет на двадцать и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися, красными глазами, потряхивал головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане. «Часы, — и показал на вырванный осколком мины клок гимнастерки, — в часы угодило», — и только после этого доложил, что задание выполнено. Рота Яшкина продержалась до переправы, но взвод разведки не спасла, от него осталось человек пять; в роте Шершенева тоже не больше десятка. Сам Шершенев тяжело ранен, а его, Яшкина, и черти не берут. Попив, Яшкин посидел на закаменелом комке глины и, запьянев от родниковой воды, неожиданно скосоротился:

— Если мы так будем воевать, нам людей до старой границы не хватит. — И тут же закатился за ком глины, свернулся в комочек.

Щусь прикинул Яшкина телогрейкой, рявкнул на кого-то, угоняя подальше, долго глядел, как из широкого устья оврага, заткнутого белым помпоном тумана, появляются и устало бредут люди, полураздетые, без оружия и боеприпасов. По приказу комбата и ротных их заставляли вернуться на берег, взять оружие и патроны у мертвых, достать со дна реки, украсть, раздобыть какими угодно способами и средствами — батальон, моя, не богадельня, а воюющее подразделение, и ему нужны боеспособные люди, а не стадо безоружных баранов.

С того памятного дня, с первого, незабываемого дня, на плацдарме и началось воровство оружия, боеприпасов и всего, что плохо лежит. Пойманного лиходея стреляли тут же на месте, но воровство не унималось. С прибытием штрафной роты оно приняло бедственные размеры.

Когда батальон ночью двигался в глубь правобережья, Щусь, чтобы внезапно не напороться на немцев, все время посылал вперед разведчиков и одному взводу приказал продираться по оврагам слева. Боком чувствуя горячее место, где засел, рассредоточился и густо палил по переправе противник, сторожко двигающаяся сила невольно отодвигалась в сторону от жгущегося места и нигде не встречала заслона.

«Повдоль берега нет плотной обороны!» — открыл Щусь. Немцы все силы сосредоточили именно там, где будут переправляться наши войска. Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага, как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину, каковой она была и у фашиста и у Советов, — войска валили, валили через реку по ранее разработанной в штабах диспозиции, в ранее на картах размеченные пункты сосредоточения: быть к утру в указанных местах, оттеснить противника туда-то и на столько-то, занять оборону в надлежащем районе — точка!

Еще ночью, достигнув северного ската высоты сто, уточнив по карте, что это именно та, нужная высота, Щусь послал пару боевых ребят в штаб полка с просьбой изменить направление главного удара — всем полком, оставив заслоны, пройти по следам первого батальона, неожиданно, с тыла, ударить по противнику и занять господствующую высоту, углубив, таким образом, плацдарм почти на два километра. Но в ответ получил от командира полка нервно писанную, трубкой прожженную писульку: «Нишкни! Выполняй задачу!..»

Задача же у первого батальона очень простая: пройти как можно глубже по правобережью, закрепиться и ждать удара партизан с тыла и десанта с неба. Когда начнется операция партизан и десантников, первому батальону надлежало вступить в бой, наделать как можно больше шуму и, соединяясь в тылу противника с партизанами и десантниками, продолжить наступление в глубь обороны немцев с охватом левого фланга, чтобы в дальнейшем отрезать и окружить группировку, пытающуюся опрокинуть наши войска в реку. Оставалось одно: наскрести под свое начало как можно больше перепуганных славян и как можно скорее получить «конец» с левого берега — и ждать, ждать, не пуская вражескую разведку в места сосредоточения батальона и приданных ему подразделений.

Но связи не было, и по стрельбе, ширящейся на берегу, комбат понимал, что его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного бойца за другим предупредить, чтобы воинство, переправившись, уходило из оврагов влево и соединялось со своими у высоты сто. Сам же тем временем соображал, как дальше жить. Как он настаивал, чтобы вслед за первым взводом, за первой ротой не гнали за реку табуном и полк и отдельный его батальон! Чтобы дали нашей артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу. Воевать при нарушенной связи, разобщенно, в ночи немец смерть как не любит. «Да, да, да», — соглашался Бескапустин, но тут же тряс головой, говоря покорное «да, да, да» штабникам и новому командиру дивизии, требовавшему одновременного мощного удара по врагу в лоб. «Товарищ полковник, — втолковывали комбаты командиру полка, — не получится одновременного

мощного — река, ночь. Надо в передовые отряды отбирать тех, кто хоть мало-мало умеет плавать, бывал в боях, обстрелялся. Не надо табуном брести в воду, не зная броду...» «Да, да, да... Вы правы, ребятушки, совершенно правы...»

Но «ребятушки» знали заранее: погонят войско, табуном погонят в воду, в ночь; не умеющие плавать потащат за собой на дно и утопят умеющих. Необстрелянные бойцы, хватив студеной воды и ошалев от страха, побросают патроны, гранаты — все побросают.

С рассветом было подсчитано и доложено: у северного склона высоты сто собрались и окапываются четыреста шестьдесят боевых душ. Это не было неожиданностью для комбата Щуся, но он глухо простонал, услышав цифру: четыреста шестьдесят, четыреста шестьдесят... Это из трех-то тысяч, назначенных в боевую группу! «Боже мой! Каковы же тогда потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую, лез на крутой берег? Да нет, — убеждал себя комбат, — тут что-то есть, какой-то хитрый замысел... Не сорок же первый год, чтобы гнать и гнать людей на убой, как гнали несчастное ополчение под Москвой. Повоюем, повоюем, — потирал руки комбат. — Вот партизаны ударят, десант с неба сиганет, боевой наш комполка связь подаст...»

Но связи не было.

Проныры разведчики, шарившие по окрестности, приволокли рюкзак падалицы — груш и яблок, — обсказали, что разведали: родник бьет из склона высоты сто, затем делается ручьем; немец по ручью водится, но редок и спит — уработался; в устье речки-ручья, называемого Черевинкой, обосновались артиллеристы майора Зарубина, майор ранен; у артиллеристов есть связь с левым берегом и штабами обоих полков.

Щусь встрепенулся:

— Кровь из носа, поняли?

— Это далеко, провода не хватит.

— Сами в нитку вытягивайтесь, но чтобы связь к артиллеристам была подана.

Заспанные, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих Щусь помнил — ничего ребята, исполнительные, в меру рисковые. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, свойски улыбающегося исшрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчей отмеченным лицом, комбат вроде помнил и вроде не помнил.

— Пойдете все. — Глянув на катушки, жестко добавил: — Поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, класть линию трофейным проводом...

— Не хватит же, — снова начали шапериться связисты.

— Как твоя фамилия? — спросил потасканного комбат.

— Шорохов.

— Так вот, товарищ Шорохов: класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки, тырить только у своих.

— Понятно. Из линии — нельзя, но целиком катушку сбондить можно...

— Ох и догадливые вы у меня! — похвалил связистов комбат, и они расплылись в довольнехонькой улыбке, започесывались, проснулись окончательно: мы, мол, орлы те еще! Комбат знал эту российскую слабость: хвали солдата, как малое дитя, — толку будет больше. — Когда закончите эту самую главную на сей час работу, са-мую, са-мую главную, — раздельно повторил комбат,— двое, ты, Шушляков, и ты, Кислых, возвращайтесь сюда, но уже через штаб полка, с приказаниями комполка. Шорохов, останешься на берегу для постоянной связи с артиллеристами. Ясно?

— Как не ясно. А кто кормить меня будет?

— Командование доблестной Красной Армии всех нас кормить будет, — Щусь загадочно усмехнулся, — но скорее всего вечный наш кормилец — бабушкин аттестат.

— Вот теперича совсем все ясно! — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твердо решив, что на бога, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плошать.

В этом батальоне Шорохов недавно, но, встретившись с комбатом, узнал в нем того помкомроты, что щегольством удивлял бердский доходной полк, и если Щусь его не узнал — хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает, — еще лучше. И еще Шорохову понравилось, что комбат помнит своих связистов пофамильно, каждому солдату приятно, что его лично помнят, жалеют и берегут, как родное дитя.

Мансуров, посланный на поиски связи с пехотой, парень ходовой, ловкий. Увернувшись от пулеметной очереди, почти тут же нарвался на очередь из автомата, запал в воронку, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Сразу же замелькал огонь, автомат частил и как бы пришепетывал, выплевывая скорлупу орешков, — палили из пэпэша.

— Эй вы! — опав обратно в воронку, крикнул Мансуров. — Че патроны зря жгете? Небось уж диск пустой?

Примолкли. Перестали стрелять. Во тьме совсем неподалеку — сдержанный говор: шло оперативное совещание иванов, по слуху — двух.

— Хто будешь?

— Бескапустинец.

Давно уже в шутливый солдатский пароль превратилась, своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка, а он только хмыкал, довольно крутя головой: «Вот художники! Н-ну художники!»

— Ляжь на место! — приказали Мансурову и, тактически грамотно окружая его, с двух сторон подползли два бойца.

Эти двое тоже блуждали в ночи и тоже искали своих. Мансуров попробовал их спровадить, но они ни в какую не хотели уходить: дескать, под обстрел попадали не раз и на немцев нарывались, а те с испугу вопили: «Рус капут! Сдавайся!»

— Фиганьки имя! — заметил один из пришельцев молоденьким голосом. — Ероха имя кэ-эк катанул картоху! Кэ-эк шарахнуло — аж к нам землю аль фрицево говно донесло... А мы тикать. Бегали-бегали, кружили-кружили — ночь жа. Порешили до утра не бегать — наши с перепугу знашь как палят! Обидно, коли свои жа и убьют.

Эти-то двое, назвавшиеся Ерохой и Родькой, и сказали Мансурову, чтобы поверху не лазил, — засветят и укокошат. Остается одно: лежать в воронке до рассвета.

У Ерохи и Родьки было курево, сухари были. Мансуров облегченно вздохнул — втроем любое дело легче — и еще поверил, что встреча с неунывающими солдатами сулит ему удачу. Он подчинил их себе как старший по званию, а те были рады любому человеку, тем более командиру, охотно пошли к нему под начало и, покурив, отдышавшись, двинулись за ним следом.

Раза два они попадали под всполошный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму Черевинки, где, озаряя белым огнем кусты краснотала, рычал пулемет, лупя вслепую повдоль ручья.

— Наш это, — тихо сказал Мансуров.

— Откуль там нашему-то быть?

— Заблудился небось и палит со страху, как вы палили по мне. Эй, славянин! — громко крикнул сержант — в ответ из затемнения так уверенно шаркнула очередь, что и Мансурова и спутников его мгновенно вынесло из поймы Черевинки наверх. Тут же от устья речки окапывавшиеся

там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблеял, пулемет умолк.

Мансуров рванул от речки, солдаты за ним. Запоздало секанула по ним автоматная очередь, да и потом лупили то там, то тут обеспокоенные немцы, но на берег, к воде, не совались.

Поредело грохотали взрывы, иногда угадывали поверху, и тогда с яра сыпало каменьями и что-то долго шлепалось в воду. Работала десятая батарея. Вся остальная артиллерия с левого берега устало, как бы по обязанности вела огонь в основном по рву, по высоте сто, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых.

Шестаков спустил лодку ниже устья Черевинки, приткнул за мыском, обросшим осокой, по кромке уже сопревшей и полегшей, с берега не видно, а вот с воздуха ежели заметят — расщепают. «Ну да сослужило корыто боевую службу — и на том спасибо».

Не знал, не ведал в ту минуту Шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр, где, всхрапывая, работали лопатками несколько бойцов. Бойцы все появлялись и появлялись из огня-полымя, будто нюхом чуя, что есть в этом месте хозяин. Без командира-хозяина на войне, как в глухой тайге без проводника, одиноко, заблудно. Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижиных. «Ну война! Ну война! — ахнул Лешка.— Ведь никто не учил, сами смекнули, какой тут профиль щелей требуется».

Он и себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего пожилого бойца. Как выяснилось из разговора, Финифатьев был родом с Вологодчины, из села Кобылино, а вот колхоз он как парторг поспособствовал назвать именем Клары Цеткин. Переправлялся он с отделением боепитания на просмоленном полукилевом баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатьева, потомственного рыбака. И мудрый Финифатьев чуть было не привел баркас, полный боеприпасов, к цели. Кто же знал, что эти гады зажгут остров! Едва посадил баркас Финифатьев, как был обнаружен. Уж и потешились фрицы! Однако люди его убегали из-под огня в полной боевой готовности, с личным оружием, с лопатами, прихватив еще и ручной пулемет с ящиком патронов.

Хоть и говорил Финифатьев как можно тише, майор все же услышал его круглый говорок.

— Эй, солдат! Как тебя?

— Финифатьев я. Сержант. Вы кто будете?

— Майор Зарубин. Александр Васильевич... Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут хана. Утро скоро...

— То-то что утро. Немец приутих. Утомился. Отдохнувши примется добивать.

Помолчали.

— Бог даст туману, — выпыхтел Финифатьев.

— Коммунист небось, а приперло — и к богу.

— Да будь ты хоть раскоммунист! К кому жа человеку адресоваться? Не к Мусенку жа... Он вон спит на том берегу, небось с бабой в обнимку...

«Проницательный народ эти вологодские», — сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал.

— Ранены?

Майор не ответил. Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился.

— Э-э, да в мокре... Не дело, не дело это. Счас я, счас. Как знал, шинеленку сберег. Над головой ташшыл и... баркаса не кинул. — Финифатьев завернул майора в свою шинель, его мокрую набросил на себя: пусть сохнет на теле. — А я мужик горячий, хоть и северной. Шестерых робят

вгорячах сотворил... Ишшо бы дюжину слепил, да харч в колхозе слабый.— Финифатьев колоколил, но о деле не забывал.— Э-эй, робяты, промыслите товаришшу майору сухой подстилки!

— Сейчас бы нам полковника Бескапустина промыслить, — тоскливо сказал майор.

И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым, сбродным прикрытием, как рассветет, им тут хана.

Догорала на острове растительность, выхватывая отсветами покинуто темнеющий баркас. Угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия, и, почти не отмечаемые слухом, рвались снаряды по-за берегом. По воде брызгало и брызгало пулями. Слабые, одинокие крики доносились из тьмы. Трассирующие пули, играя рыбками, погружались вглубь. На левом берегу, за рекой, краснея угольями, светился горящий хутор, провоцируя огонь по догорающим остаткам человеческого прибежища.

Под навесом яра прижало белесый чад разрывов, угарно-вкрадчивым духом тротила забивало дыхание. Но от реки, от взбаламученной воды наплывала холодная сырость. По камешнику, по прибрежной осоке начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать, ненадолго обозначились предутренние мелко мерцающие звезды и ноготок луны. Явление божьих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что все в мире пережило катастрофу, все перевернулось вверх тормашками, рассыпалось, задохнулось и само небо истекло. А оно живо! Значит, и мир жив!

— Морось пошла, туману бог даст, — ворковал поблизости вологодский мужик. — Ну и што, што месяц? Осень на дворе, холод наутре. Будет, будет морок...

Майор Зарубин угрелся, начал задремывать под говорок общительного белозерского мужика, как опять поднялась заполошная стрельба. С немецким постоянством взвизгивали пули, взъерошивая воду в реке. Дежурный пулеметчик от бескапустинцев, а им оказался Леха Булдаков, врезал ответно по огоньку немецкого пулемета — в пойме послышался собачий вой.

— У бар бороды не бывает! — удовлетворенно молвил пулеметчик.

Финифатьев, только что взывавший к богу, ласково запел:

— Так их, Олеха! Так их, курвов!

Булдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует награды.

— Где жа я те курево-то возьму, Олеха?

— Не мое дело. Ты командир. Обеспечь!

Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежали несколько человек. Треск и скрип слышно было — вроде бы крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору.

— Мансуров?

— Я. Я жив. Все живы. Вы, товарищ майор, как? — Увидев, что майор лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели, Мансуров удовлетворенно произнес: — Вот это добро! — Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил: — Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота дала конец. И еще я прикрытие привел, небольшое, правда...

— Да! — вскинулся Зарубин, забыв, что он в норе, и, ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкло в глазах.

Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке.

— Да лежите вы, лежите. Полковник ждет.

Майор принял холодными, дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил: старый телефонный аппа-

рат, — и, прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал:

— Ну, Мансуров! Ну, дорогой Иван, если выживем...

— Да что там, — отмахнулся Мансуров, — скорее говорите.

Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж далеко и от немцев близко — метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет, да в этих оврагах ее и не будет. Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе — и бог миловал, ни одной гранаты на уступ не залетело, все скатываются на дно оврага, там и рвутся. Но по оврагам валом валит переправляющееся войско, немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходят — к утру будет легче.

— Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, — мрачно пошутил комполка.

Майор Зарубин доложил о себе, что находится с артиллеристами и присоединившимися к ним пехотинцами; если смотреть от реки, на самом краю правого фланга плацдарма, и, вероятно, его-то, правый фланг, в первую очередь и шуранут немцы, чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту же, просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают, знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще они, кажется, собою довольны — считают переправу сорванной и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут.

— А нам бы баркас, барка-ас к берегу просунуть! — простонал Бескапустин. — В нем наше спасение. Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно.

— Ваш сержант бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва крепче всех. Будем ждать и думать.

— Ой, майор, майор, шуточки твои... Как бы тебя на ту сторону отправить?

— Это исключено. У меня в полку нет заместителя, я сам заместитель. Да и плыть не на чем.

Бескапустин удивился:

— Как это не на чем плыть? У вас же лодка!

— О господи! Лодка! Посмотрели бы на нее...

— А между прочим, почти все наши славяне о ней знают, это ж такая им моральная поддержка.

— Ладно, полковник. Как Щусь? Как его группа?

— Там все в порядке, задача выполняется четко.

В это время в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная. Но щелкали и из пистолета, ахнул карабин.

— Стоп! Не стрелять! Что за банда? — забыв отпустить клапан трубки, заорал Бескапустин. — Фашистов тешите?.. Темно! Темно! А нам светло? Докладывайте!

Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и посветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег с шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть разорвалась в воде, пара, по-поросячьи взвизгнув, жахнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой.

— Осторожнее с огнем, робяты! — предупредил Финифатьев.— Не сердите уж его, окаянного. Он и без того злобнее крысы...

Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы меньше делается лицо майора, под глазами, над верхней губой и у ноздрей уже и земля выступает. «Пропадает Александр Васильевич... Пропадет, если застрянем здесь...»

Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену.

— Вызывай наших, Мансуров. Я пока отдышусь маленько.

Но, удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Понайотовым, голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, и после, когда Зарубин говорил с командирами батарей своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить с отмели баркас, и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг хорошо знал Зарубина и, когда кончился официальный разговор, спросил:

— Тяжело тебе, Александр Васильевич?

Майор Зарубин насупился.

— Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось...

— Слушай! — возбужденно кричал Бескапустин Зарубину.— Все ты, в общем, правильно наметил, остальное уточним утром! Сейчас главное — по своим не стрелять. Твои художники пушкари напали тут на нас! И чуть не перестреляли...

— Какие пушкари?

— Да твои! Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были, все тебя искали. Во нюх! Один из них как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал...

Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда не к месту. Происходя из володимирских богомазов, обожал все тихое, сосредоточенное, благостное и оттого не совсем вежливо оборвал полковника:

— Дайте, пожалуйста, старшего.

— Даю, даю. Вон руку тянет, дрожмя дрожит. Больше фашиста тебя боится.

«Да что это с ним? — снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню комполка. — Отчего это он взвинчен так? Уж не беду ли чует?»

— Товарищ майор! — ликующим голосом, твердо напирая на «щ», закричал младший лейтенант Боровиков, командир взвода управления артполка, правая рука майора. — А мы думали...

— Меня мало интересует, что вы там думали, — сухо заметил Зарубин. — Немедленно явиться сюда! Вычислитель жив?

— Жив, жив! А мы, понимаешь, ищем, ищем...

— Прекратить болтовню, берегом к устью речки! Бегом! Слышите — бегом! И не палите — здесь везде народ.

— Есть, товарищ майор!

«Ишь, восторженный беглец, — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело, — так радехонек, что и строгости не чует...» Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. «Чего доброго, попадут не под немецкий, так под наш пулемет...»

— Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен — времени не было, да и на немцев в оврагах не мудрено нарваться.

«Резонно», — хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться? Втроем они побежали, заныряли от взрывов; по берегу, густо и бестолково населенному, переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали, большей частью рвались в воде. Но минометы били убойно, клали мины сплошь по цели — в людскую гущу.

— Уходите из-под огня в овраги! В овраги уходите! — не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра.

И по берегу эхом повторилось: «В овраги, в овраги! Сюда! Сюда!» — звали помощники Мансурова Ероха и Родька — вояки они были уже тертые, велели вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые устья оврагов. «Сюда, сюда, товарищ сержант!» — позвали и передали из рук в руки телефонный провод. «Может, немецкий?» — не веря в удачу, засомневался Мансуров.

— Щас узнаем,— прошептал Родька и, чуть посунувшись, громче позвал: — Эй, постовой! Ёсь ты тута?

— Е-э-эсь! Да не стреляйте! Что это за беда? Со всех сторон все палят! Кто такие?

— Бескапустинцы!

— Тогда валяйте сюда. Да не стреляйте, говорю, перемать вашу! — ворчал в углублении оврага дежурный.— Головы поднять не дают, кроют и кроют...— И дальше, куда-то в притемненный закоулок оврага, доложил: — Товарищ полковник, тут снова наши причапали!..

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Наутре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязце, продырявленный ощерившийся щепьем баркас. Немцы вслепую били по протоке и острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в золе корешки и кучами желтели треснувшие от огня, изорванные трупы.

«О Господи, Господи!» — Финифатьев занес руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что он коммунист и партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах.

И экое вот люди с людями утворяют, — угрюмо молвил Ероха. Он не успел кончить фразу: и баркас и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты сто шестиствольного миномета. Солдаты попадали в грязь под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться поднятая в воздух жижа, и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лилась мутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат.

Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопной, осклизлой тварью из протоки на берег лез раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку — может, какие санитары подберут. Да что-то не видно санитаров на плацдарме и не слышно никакой медицины. Ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно. Бойцы взняли на горбы по ящику с патронами и гранатами, мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка.

Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о баркасе, он обрадовался:

— Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба напрямки к Зарубину.

— А где напарник раненого? Родионом, кажись, зовут?

Родька, с разбитым, черно провалившимся ртом, со слипшимися от крови губами, немо откликнулся. Ему обсказали о друге его Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Возле островка вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника, руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы все плотнее и плотнее к навесу яра клали мины и не переставая лупили в мертвый остров. Одной совсем уж шалой миной взрыхлило и откинуло сухую глину на прикопанном солдате, обнажило грязное, мокрое туловище Ерохи. Родька взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой.

По берегу, где кучно, где вразброс, валялись сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули меж камешков, в щетине осоки. Что тут мог значить еще один успокоенный солдатик? Он-то уже не знает, похоронен, прибран ли, ничего не чувствует, не ведает, не боится.

На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки: одна на корме с веслом, другая на лопашнах. Лодка пристала в устье речки Черевинки, девки представились: Нэля и Фая, приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лахонина.

— Где он есть, этот Зарубин?

Фая и Нэля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют, да приказ есть приказ — велено раненого взять, значит, надо брать.

— Здесь я, здесь, — отозвался майор из ниши. — Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите. А я еще ничего, да и замениться некем. Я подожду.

— Ну как знаете, — сказала Нэлька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную цигарку.

У лодки распоряжалась Фая, прибранная черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал не помогал, но балаболил: «У бар бороды не бывает» — Леха Булдаков, однако, убедившись, что не будет ему здесь успеху, подсел к Нэльке:

— Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется, аж ночевать негде...

Нэлька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по Лехе — наглая широкоротая рожа, нос картофелиной рос, да ножкой гриба подосиновика оборотился. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться недосуг. Нэлька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову: «Отсыпь», — и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более, чем надо, — брели, ползли, ковыляли.

— Нужен мужик покрепче, — властно сказала Нэлька и сдернула с себя плащ-палатку, укрыла ею раненого, оставшись в теплой безрукавке, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры.

«Лейтенант!» — отметил Леха Булдаков и с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда не пробовал и попробует ли на этом плацдарме — положительно не решишь.

— Так, значит, не поплывете, товарищ майор? — переспросила, занеся ногу над бортом лодки, Нэлька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходом бросила: — Ну как знаете. — И под нос себе: — Герой, едрена мать... А ну, кавалер, толкни! — приказала она Булдакову.

«Во баба! Во бомбардир!.. Ну нету времени поближе познакомиться»,— наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков.

Как только тяжело груженная лодка зашорохтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нэлька, державшая на коленях раненного в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со взводом, даже не шевельнулись, не поклонились визгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня.

— Не чеши муде-то, не чеши, — проворчал из-под земли Финифатьев, — девкам плавать да плавать, пулемет мешат. Што как заденет?

— Де-эд, я один на фронте? Хер с им, с тем пулеметом!

— Хер с им, хер с им! А сам перед ей хвост распустил: «У бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает...»

— И не зря! Табачком вот разжился! Она б тут на часок обопнулась, дак и ишшо выпросил бы.

— Ох-ох! Так уж бы вот и выпросил! Вопше-то про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартейнай: нет таких крепостей, каки бы большевики не взяли! Давай суды табак, в кисет ссыплю. А то выжрешь весь.

— Де-эд, в кишках вой — жрать охота.

— А поди, поди по речке, рыбки пособирай, яблочков, пулемет-то попутно и засечешь.

— Де-эд, а убьют.

— Ково-о-о? Тебя? Не смеши-ко...

— Э-эх, де-эд, никакого в тебе сочувствия. Сплотатор ты, хоть и коммунист.

С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра. Оказавшись в речке Черевинке, зорко огляделся, еще бросок сделал — и никто бы сейчас не узнал в этом еще минуту назад ваньку валявшем оболтусе, лениво препиравшемся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился, и кошачье-гибок, стремителен сделался.

Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Финифатьева, упал спиной к осыпи.

— У-уффф! Ну война...

В мешке Финифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала Черевинка к устью, и сразу туда бросались несколько человек за теми яблочками, и не одного уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Было и штук пять картофелин.

— Олех, а картошки-те где взял? Бог послал, аль по огородам лазал?

— Бог, бог... он пошлет... Бомбами из огородов в ручей закинуло, я и подобрал. А пулемет не нашел. Молчит, падлюка! Нажрался и спит небось. А тут голодный воюй и промышляй. Лодка приплывет — палить начнет. Ты вот командир боевой, нет чтобы шумнуть тута, немца потревожить, залез в землю и бздишь горохом.

— Хорошо бы горохом-то — фриц бы сразу отступил.

Финифатьев возился под яром, огонек разводил, препирался с Булдаковым — добытчик будь здоров, этакого на всем фронте поискать! Но уж богохульник, но уж грубиян!.. «Дак че с ево возьмешь? С детства без догляду, родом из холоднющей Сибири, из Покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшенные смертоубивцы, оне веревку, аркан, на человека набросят, на лед, в темь его уволокут, разденут догола и в прорубь спустят... Спаси и помилуй, господи! Что и за земля, что и за народ? Вот опять бога всуе помянул. Часто он тут вспоминается. А эть коммунист, будь я проклятой. Ну да Мусенка поблизости нету, и все вон потихоньку крестятся да шепчут божецкое. Ночью на воде кого звали-кликали — Мусенка? партия, спаси? А-а! То-то и оно...»

Как только была подана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой щетиной, не отчистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно темнеющие глазницы, его толстые губы, губы доброго человека, обметало красной сыпью.

— Чего же не уплыл-то? — упрекнул комполка Зарубин.

Тот слабо отмахнулся:

— Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора, давно созрели...

Уточнили месторасположение батальона Щуся, данные разведки соседних полков и сникли горестно. Выходило: завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега, а в глубину до километра. Группа Щуся не в счет, она пока и знака не должна подавать, где и сколько ее есть.

На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, не считая урона в людях (их привыкли и в сводках числить в последнюю очередь: народу в России еще много, сори, мори, истребляй его — все шевелится) — по грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие же ошеломляющие.

А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов потери есть, и немалые.

— И это первый плацдарм на Великой! Какова же цена других будет? — выдохнул Авдей Кондратьевич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала.

Тут как тут возник Финифатьев, дал командиру полка махорки, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошинки.

— Вот те на! — удивился полковник. — И в самом деле солдат наш суп из топора спроворит! Ты поешь горяченького, Александр Васильевич, поешь да и отправляйся в укрытие. Я ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару...

— Сегодня не жар, сегодня пар будет, жар с завтрашнего дня начнется, — уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку, и, боясь показаться жадным, все равно частил ложкой, черпал горяченькое, от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма наваристое и вкусное.

Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду, пригреб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком. Не сразу, но догадался: обсохла закровенелая вода...

Призраками бродили, что-то собирая по урезу воды, солдатики — рыбу, щепки? Скорей всего и то и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике, фигуре ли близко бродившего солдата.

— Феликс? Боярчик?

Солдат приостановился, вглядываясь в окликнувшего его человека.

— Я. А вы кто?

Спустя какое-то время соседи-штрафники Феликс Боярчик и Тимофей Назарович Сабельников были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье речки Черевинки.

Тимофей Назарович, приговаривая обычное докторское: «Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас», перевязывал раненых, вызнавших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка и, может быть, еще придет, вот и скопились здесь.

Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя — в полости скапливается жидкость, — Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать: если бинты прополоскать в холодной воде — пригодятся.

Видя, что в устье Черевинки копошится уже многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и закапываться, раненых укрывать, потому как, только сойдет с реки туман, непременно налетит «рама», все высмотрит и вызовет самолеты.

Солдаты не очень споро орудовали лопатами, по звяку лопат о камень заключил майор — из побережного кустарника бил и бил неугомонный пулемет. Леха Булдаков, работавший со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее, делавший вид, что работает, говорил сержанту Финифатьеву, что он его окончательно запрезирает, если тот не засечет фрицевский пулемет, и добавлял, пугая напарника: «У бар бороды не бывает», — и все жаловался на слабость, головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисее когда на «Марии Ульяно-

вой» работал, после загрузки дров тайменя на пуд зараз уписывал, стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку, так целую связку за один присест.

— Мели, Емеля, — отмахивался от него Финифатьев.

— Н-ну Боярчик! Н-ну Феликс! В штрафной! — все время удивлялся Булдаков на гостя. — Это, бля, нарочно не придумать! Это цельный анекдот. И не охраняют, а?

— А чего нас охранять, зачем? Охрана осталась на левом берегу. Там безопасней.

— Значит, и не охраняют и не кормют? Так воюй? Во блядство так блядство! — Булдаков в который уж раз требовал, чтоб Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафники.

— Потом, потом, — мелко моргая и беспрестанно кивая, отмахивался Боярчик и, озадачивая напарников по работе, выдыхал: — Под колесо я попал.

— Под како колесо?

Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом:

— Скажи, доктор, умная голова, вот дрочить вредно или нет?

— Н-ну, если хочется и есть сила в руках...

— Держи лапу! — Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку.— А то все и везде: кар-кар-кар, кар-кар-кар, вредно и постыдно, вредно и постыдно! А где ж школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть, коли у них во всей необъятной стране одна шмара, Дунька Кулакова, для наслаждения и ладонь в мозолях вся...

— Поразительно! — хмыкнул Сабельников. — Если этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый.

— Извините его, этого шалопая. Он, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить,— сказал Боярчик.

— Да уж ти-ип!.. Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?

— А? С женщиной? Я с Соней — жена это моя. А почему вы спросили?

— Да вот видишь, этот солдат... озабочен вопросами секса, все другие — чего поесть да поспать бы, а он, видите... разнообразия в жизни ищет...

— Этот человек без особых претензий к миру — водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.

— Грех это, юноша, большой грех — желать себе смерти.

— А жить во грехе? В содоме? В сраме? Среди иуд?

— Что же это, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло?

— Почему со мной? А с вами? А с тысячами этих вон? — Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега во взбитой пене мертвецов.

— Ах, юноша, юноша! Зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что если б мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать?

— А вы не устали?

— Я не имею права уставать.

— А я вот сломался, разом и навсегда.

— И хочется забыться разом и навсегда?

— Так, именно так.

Сабельников выдохнул протяжно, молчал не шевелясь.

— Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства! Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее?.. Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.

— За такую вот?

— И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни.

— А она есть, настоящая-то?

— Как понимать настоящее. Есть, конечно.

В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья за поворотом не один пулемет — там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще по Черевинке подозрительное оживление. В пойме накапливается противник, копает, оборудуется.

С тревогой глянув на реку, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал из-под яра планшет, и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение: чего тут мерить? чего чертить? Прицелься из пушки — и лупи.

— Ага, лучше всего через дуло,— насмехались высокомерные артиллеристы. — Глянул — и дуй!

Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей глянуть хоть разок в «ентот прибор», взвизгивал:

— Все как есть, знатко! Ну все как есть! — И, сраженно утихая, произнес: — Фри-ы-ыц! Живой! — И торопливо зачастил: — Олех, Олех, Булдаков! Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит.

— Н-ну, дед, ну и жопа же ты! — втыкая в землю лопату, заругался Булдаков.— Это тебе работать неохота, навык в парторгах придуриваться.

Но глянув в стереотрубу, Леха, все на свете видавший, все знавший, тоже сраженно сказал:

— Правда фриц! Он че, офонарел? Я ж его... Винтовку мне, дед, винтовку...

Но в это время ударили за рекой орудия, и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана выплыла лодка. На корме с веслом сидела Нэлька, лопашнами гребли два солдатика, и еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи лейтенант Бабинцев — его послали заменить майора Зарубина.

— Старше и умнее никого не нашлось? — раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нэльку: — Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, остаетесь здесь. Идите к наблюдателям. Окапывайтесь.

Нэлька, вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу:

— Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, заседают, планируют, сюда им плыть некогда.

И пошла к лодке в обнимку с раненным в ногу командиром пулеметного взвода. Устраивая раненого, Нэлька обернулась и добавила:

— Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить.

Майор Зарубин поморщился — этакое выражение, да еще от женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал удрученно.

— Ладно-ладно, видно будет...

Леха же Булдаков опять ко времени оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул и на этот раз уже жалобно произнес:

— Эй, подруга! Приплавь обутку сорок седьмого размера. Видишь, каков я? — И показал ботинки сорок второго размера, снятые с убитого солдатика: стоптав задники, наполовину всунув ступню, ковылял этот бухтило, как про себя нарекла его Нэлька. По слухам, он во время переправы лишился своей казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бикбулатову свои редкостные обутки, Булдаков на всякий случай не распространялся — украдут, пропьют.

Снаряды все шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок Черевинки. Пулеметы не работали, и, праздно положив кормовое весло на колени, Нэлька какое-то время не гребла, сплывая по течению.

Ладно, земеля, — отчетливо молвила она, — добуду я тебе прохаря по лапе.

— И выпить и пожрать!

— Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь! — засмеялась Нэлька, разворачивая лодку носом на течение.

Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову похоронить как следует Ерофея.

Но налетели самолеты, пошли на круг через реку, выставив лапищи, так вот и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Несколько штук угодило гостинцем к немцам — фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение.

Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега, — вот тогда начнется страшное: обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках.

Трупы на берегу которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые, так кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом валялся по земле, полоскался в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и приоткрытый рот насыпалось земного праху. Раздеть его донага не успели или не захотели — грязен больно, — ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту уже ходила, точнее кралась тайно, жуткая песня: «Мой товарищ! В предсмертной агонии не зови ты на помощь друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. И не плачь ты от боли, как маленький. Ты не ранен, ты просто убит. Я на память сниму с тебя валенки, мне еще воевать предстоит...»

Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ею дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо своего старшего товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот: один живет дальше, другой успокоился. И пожалуй, ладно сделал. Ничего ему теперь не страшно, не больно, ни перед кем он не виноват.

...Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилось, в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они не выбирали. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь: ты туда, ты сюда — и вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: «Бульба дробна, а дурак большой». Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: «Ложку-те, едрена-те, взял ли дрочену-те хлебать?!»

Родион двадцать пятого года рождения, призвался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали — кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ, и вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит — голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы.

На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их в свое отделение связи, поставив короткую, но точную задачу: «Связь должна быть на другом берегу!» Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахамудрии, был им выделен отдельный плотик — два бруса, связанных проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул:

— Легко сказка сказывается, да вот как дело-то сделается...

Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду — Ерофей, Родион, Паша, командир отделения Еранцев и приблатненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил:

— Кто полезет на салик — прирежу!..

Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, поталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга: «Ниче, ниче, уж недалече...» Их сверху осветили — и началось! На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его грузом вниз, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики: «...р-р-ре-од! р-ре-од, р-рре-о-од!» Связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались править на них, но завертело, закружило, то свет, то тьма и все заполняющий вопль: «А-а-а-а-а!» То промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебесье и огненным ошметьем опадающий вниз. Еранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись, командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей держась за плотик, ускользающий во тьму и взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке, плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало теперь от саранчой на него наседающих людей. В каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв людей, и тихо, голо всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его, снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний, безответный зов.

Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствию его — раз напарник жив и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотной гарью, вроде сама вода уже горит. И пусть окольцованы огнем, пусть... но двое есть двое...

— Родя! Роденька! — исторгался голос Ерофея, и младший понимал: держись, держись меня, мы живы, еще живы.

На них наплыл тонущий понтон, из которого, утробно булькая, выходил воздух, кренилась пушчонка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и отчего-то не падала. За свертывающийся, шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сронив в воду пушку, как серьгу с уха, все же опрокинулся, накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское меси-

во, Ерофей и Родион обрадовались: не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды.

— Заныривай! — тонко завопил Ерофей и потянул за собой Родиона.

Когда они выбились наверх и устало погреблись, услышали отдаленное хрипение, бульканье, вопли — на их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди.

Но их бог был сегодня с ними — не зря они звали его то оба разом, то попеременке. И услышал он их, услышал, милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то в конце уж, у сахарно белеющих в воде фарфоровых стаканов, осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, задавливали в себе крик, боль и страх, по возможности спокойно просили, нет, не просили, умоляли:

— Тихо, братцы. Тихо...

Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать не надо, не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший. Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой, затем, когда приблизились к отемненному, вспышками орудийных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели: «Греби! Греби! Бра-атцы! Бра-атцы-ы!»

Родион и Ерофей тоже греблись, чтоб не подумали, что они прицепились к бревну и плывут просто так, на дурика. Греблись изо всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: «Скорей! Скорей! Ско-о-орей!» Но и здесь, в этой смертью сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства, — они грудью, брюхом наваливались на это узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру бревешко. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, понимали: полезь на бревно — все и утонут. Они сдергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя: ведь всем, и Ерофею с Родионом тоже, хотелось туда, наверх, на бревно, и оттого, что хотелось того, чего сделать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, отрывали от бревна впившихся в него паникеров, кунали их в воду. Ерофей даже кулаком по голове одного паникера ахнул так, что тот забулькал ртом и уплыл куда-то. Возникали, появлялись другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, стараясь завладеть бревном.

Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Ерофей и Родион, уже набравшись опыта, погрузились в воду, боясь, чтоб руки от бревна не отпустились сами собой, выбросились, хватанули воздуху, во вновь прянувшем свете, ненасытно дыша, подивились своей везучести, потому как почти всех пловцов с бревна счистило. Пулемет, между делом смахнув пловцов с бревна, снова занялся основной работой, сек горящую темноту, сплетая огненные нити с тем клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, брызгал ошметками белого пламени.

Миновали главную полосу смерти, которая не то чтобы означена и чем-то отчеркнута, а определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты. Уговаривая вновь и вновь из воды возникающих людей: «Не лезьте! Не лезьте! Не надо! Нельзя-а-а...» — греблись еле-еле (все силы истрачены) и когда коснулись ногами каменистого дна, не сразу в это и поверили, еще какое-то время шли на коленях, держась за бревешко. Кто был посильней, подхватили ближних. Какой-то дядек, покалывая щетиной одряблую от

воды щеку Родиона, захлестнул его руку на свою шею — зачтется такая милость, верили и спасаемый и спасатель.

— Держись, браток, держись... Кому сгореть, тот не утонет.

Смутно стыдясь тайного чувства, Ерофей с Родионом и случайные их товарищи ликовали: они-то здесь, они-то на берегу, на суше! Они прошли сквозь смерть и ад... они жить будут... Потому как страшнее того, что было, быть уже не может.

Родион и Ерофей расслабились.

— Брато-ок, брато-о-о-ок! — тряс его кто-то за плечо. — Кажись, немцы! Фрицы, кажись.

И тут только вспомнили Ерофей и Родион, ради чего они тонули-умирали и спасались: они же воевать должны. Они не просто утопленники, которых в деревне если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работой цельный день, когда и два не неволят. Им же задание выполнять надобно — связь проложить.

— Немцы! — изумился Ерофей.— Зачем немцы?

— Бежим, бежим! — дыхнул рядом Родион.

И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега. Впереди кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, а нагишом. Зажав рукою причинное место, голый человек вскочил и рванул по каменьям в гору.

— Стой! Стой! — кричали из темноты по-русски. — Стой, в бога мать! Трусы! Стой, сто-ой, сволочи! Стой, изменники!..

«Немцы, а матерятся по-нашему», — удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней, ладонью прижал Родиона: никак его ноги в камни не затянешь... дохлые ноги, длинные, а дохлые. В бога, в рот немцы не матерятся — бывалые фронтовики говорили: немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему материться начинает, потому как наш русский мат самый в мире выразительный, но в бога и в рот только наши могут, потому как неверующие...

Громыхал под чьими-то сапогами камешник, матерились, палили в воздух, по камням и по кустам секли... Из тьмы разносилось:

— А-а, падла! Притырился! Смылся! Воевать не хочешь!..

— Бра-а-атцы-ы-ы! Да что же это, бра-атцы-ы-ы!..

Ерофей и Родион догадались: волокут человека по камешнику, волокуте, которым судьба выпала не плавать, не тонуть, а выполнять совсем другую работу — вылавливать нашего брата и гнать обратно в воду, в бой. Они свое удобное на войне место будут отбивать яростней, чем немцы-фашисты — свои окопы. Доведись Родиону и Ерофею так хорошо устроиться, тоже бы небось не церемонились. Вот только не получалось у смоленского крестьянина и вятского мужика удобного в жизни устройства, не умели они приспособить себя к этому загогулистому и жестокому миру — больно простоваты, бесхитростны умом. И когда, высветив притемненным фонариком, какие-то громадные клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и молодой и пожилой — рахитными были в детстве, младенцами ржавую жвачку в тряпочке сосали, да и после больше на картошке жили, — не грузные, с почти вывернутыми суставами ног и рук, волоклись, разбивая о камни лица, и не сопротивлялись, не кричали, не цеплялись за камни и песок, как один крепкий дядька, в котором была такая живучесть, что он все время с воплями выскакивал из реки, и тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взвился:

— По изменнику Родины!..

Хватило смоленского и вятского мужиков лишь на то, чтобы взмолиться:

— Не на-а-адо... Не на-а-адо-о-о-о! Мы сами...

О том, что нет у них оружия и сил нет, они не говорили, не смели говорить. Родиона ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от

недоеда зубы, хрустнув яичной скорлупой, провалились в рот. Родион выплевывал зубы вместе с песком. Ерофей подхватил напарника и вместе с ним опрокинулся в реку.

— Сволочи! Сволочи проклятые! — отчетливо сказал он и потолкал плотик вверх по течению.

Заградотрядчики работали истово, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало, и прибивало, и прибивало не к тому берегу, где им положено было быть. Отсекающий огонь новых, крупнокалиберных пулеметов «дэшэка», которых совсем не было на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Карателя набирали все большую уверенность; и тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим и даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом.

— Куда? Куда, суки позорные?!

— Нас же к немцам унесет.

Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, и поволокли связанные бревешки по воде Ерофея с Родионом. Пулеметчик из заградотряда, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпаса, всадил — на всякий случай — очередь им вослед. Пули выбили из брусьев белую щепу, стряхнули в воду еще одного из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо.

Убитых здесь не вытаскивали: пусть видят все — есть порядок на войне, пусть знают, что́ сделают с теми подонками и трусами, которые спутают левый берег с правым.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«Я попал под колесо»,— повторял Феликс Боярчик, сидя ночью возле умолкшей, пустынной реки и под редкие, уже ленивые пулеметные очереди.

Феликса Боярчика подранило на Орловщине почти легко, но неловко: рассекло надвое икру правой ноги. К лечебному месту определялся он долго, ехал, ехал — везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько намотали, что нога сделалась как бревно, рана в засохшем заглушье загнила, но, в общем-то, обошлось, в войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в тульском эвакогоспитале, оттуда и направили на пересыльный пункт.

Не засиделся Феликс на пересылке. Явился «покупатель» — майор в ремнях и орденах, — от артиллеристов явился, от лучшей пока на войне гаубицы, стодвадцатидвухмиллиметровой. И маневренная, и скорострельная, прямым попаданием снимает башню с танка, как папаху с казака, рассказывал майор, веселый, с мордой светящейся, будто минусинский помидор. Значит, и харч в этой лучшей артиллерии — лучший, порешили слушатели. А майор пел и пел про орудие, смертельно бьющую пушку будто про нарядную невесту или рысака редких кровей.

Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников: конечно, брешет «покупатель», но артиллерия все же не пехота — может, не так скоро убьют. В том, что его в конце концов убьют, Боярчик нисколько не сомневался — уж очень они не подходили друг другу: Феликс, ошептанный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный Феклой Блажных, — и война.

На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. Феликс угодил во взвод управления четвертой батареи. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери, была растрепана, изнурена и вот отдыхивалась, пополнялась, но все это на ходу, вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс

сразу заметил, что в четвертой батарее недостает двух орудий. Оказалось, что два орудия в ремонте, а третье вроде как припрятано в кустах, замаскировано чащей.

В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию (на легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пуль и осколков), новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронебойным, что прицельный прибор у него — панорамка, ствол в меру длинен, не то что у тульской лайбы, где ствол короче люльки, лежит, как поросенок в корыте, а у этой даже станины раздвижные, с острыми сошниками и упором (это если грунт тверд и закапывать сошники некогда, забей ломы — и упор готов). Но самое-самое главное — колеса, бескамерные, цельные: герметика! Угодит осколок или пуля в колесо — никаких аварий, лишь выпучится сырая резина, и все...

Поразили новоприбывших и прорези в козырьках фуражек офицеров-огневиков. Оказывается, глядя сквозь эти прорези, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево, вправо.

Наотдыхавшийся в госпитале, Феликс охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут уклоняются от этого нудного дела. И тут все понятно: в бою у орудия они разворотисты, но сидеть на лафете и глядеть в небо несколько часов подряд, порой и половину ночи, — это какая работа? Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий, думал про Соню, про жизнь свою в Новоляленском леспромхозе, о семействе Блажных...

В госпитале Феликс часто получал от Сони письма, даже фотокарточку получил, на которой снята она с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Феклой в честь среднего сына, погибшего на морфлоте, в Баренцевом море. Спервоначалу тетка Фекла предлагала назвать ребенка Иваном — в честь старшего сына, тоже погибшего на войне. Но Соня вежливо отвела это предложение: мол, шибко уж много Иванов на Руси.

У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение его охватило, что, казалось, вот-вот вздымется он и полетит, чтоб только подержать малого на руках. И хорошо, что не согласилась Соня на Ивана, — изысканный все же вкус у его жены! По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, он помнил не очень твердо. И вообще подзабыл ее, Соню-то, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, но ничего существенного не вспоминалось — сосуд был пуст, как говорят поэты. Но он не может, не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской не просто по дому Блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением обнаружил вояка, что по тетке Фекле, по семейству Блажных, даже по Аниске он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного — тетка Фекла и все семейство Блажных ему родные, близкие, с ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. А эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими называть, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы: так, мол, и так, война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молодая...

Так вот боец Боярчик, поплясывая в лесу возле пушек четвертой батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние от фронта до далекой Сибири, где уже лето в середину вошло. Семья Блажных урывками, после работы заготавливает сено. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого, Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молоком парным поит. Здесь ночь на исходе, а в Сибири уже день.

Боец-то Боярчик — уже обстрелянный, опытный, но все же боец и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог, хотя и успел заметить, что враг, немец-то, на нас танками прет, а по ним, по танкам, наши из пушек садят. Ну ладно бы в сорок первом году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим не заправленную. Но вот уж сорок третий, наступит еще и сорок четвертый и сорок пятый, полное наше во всем превосходство на фронте — но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться от бронированных соединений врага артиллерией? Оно, конечно, ежели поставить тысячу стволов, лучше десять тысяч стволов против сотни танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери, но и потери наши при этом будут в десять раз больше, чем у противника. Однако ж вот стратегия и тактика такие — крепче разума.

В героической Советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге — о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А ежели, спасая технику, человек погибал — его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать, высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтоб везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии. Его и в кино так показывают: отвалилось колесо — без колеса едет, провалился мост — он по сваям шпарит, да еще с песней: «Как один человек весь советский народ...» Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининым, когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили.

При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы допотопных времен, отливать орудия шнейдеровские в той самой Туле, где Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили, лайбы те тульские тоже выставлялись на прямую наводку, хотя, по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя. И как правило, с прямой наводки «домой» лайбы уже не возвращались, мерли, или их, подраненных, волокли чинить в самое родительницу — Тулу.

Разумеется, при таком раскладе сил новым-то, маневренным, скорострельным, высокоэффективным, орудиям сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчету очень трудно, но выжить хочется всем, стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк прежде, чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало, и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кой-чему научился, не пер уже вперед нагло, норовил за что-нибудь спрятаться либо уж применить совсем простую, да убийственную тактику. Выйдут, к примеру, на позицию десять танков. Пять, с заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют, пять продвигаются и на ходу перезаряжаются.

Героическая гвардейская бригада была почти выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги, хорошо битый, подстреленный, уходил за реку огрызаясь. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, на прямую наводку в районе совхоза под названием «Пионерский». Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепились от «студебекеров». Надо бы заряжать орудия, начинать стрелять — не дает фашист к ним подойти,

бьет, головы не поднимешь. Рекогносцировку не провели, ничего не успели разведать, наудалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу, расчеты частью погибли, частью рассеялись. Герои командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огнь меча и сулясь застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий.

Командир четвертой батареи пистолет никогда не обнажал. Он собрал командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил: «Все живы?» — хотя и знал, что далеко не все живы. Походил, держа руки за спиной.

— В общем и целом, ничего не хочу знать, но чтоб орудия были здесь! — И впечатал каблук сапога в землю.

Молодцы артиллеристы глядели и глядели до ломоты в затылке на понуро опустившиеся стволы. Брошенные орудия горестным своим видом взывали вызволить их, но подойти к пушкам фрицы не позволяли. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу: стали копать ходы к гаубицам, чтобы уцепить их тросами да и утянуть машинами в лес. Копали все: командиров насобиралось туча, все подухивают, стращают, под руку орут.

Как будто потеряв интерес к брошенным орудиям, немец полусонно постреливал, но как согнали «студебекеры» к опушке, как начали тянуть тросы — открыли такой ураганный огонь, что загорелось несколько «студебекеров». «Себе дороже», — буркнул комбриг и приказал увезти их с передовой, заокеанские эти махины ценней орудий.

Четвертая батарея исхитрилась-таки — утянула два орудия. Четыре же так и бедовали на высотке, избитой, изрытой, пожженной — даже не угадать, что на бугорке еще недавно росла картошка.

Неделю, если не больше, корячились артиллеристы, решили даже ворота́ деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать. Но тут началось общее наступление на данном участке фронта, и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, опустились, будто пленные иль беспризорные.

В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада, много там сосредоточилось всякого войска, и умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскурочивали брошенную технику. У орудия самое ценное — прицел-панорама, наводчики берегут их пуще глаза и потому, драпая, ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые и погибли, держа за пазухой, под телогрейкой, прицел. Не меньшая ценность — колесо. Его если артиллеристам прикатишь, считай, что канистра водки, вещмешок сала, ящик консервов честно тобой добыты.

Есть в артиллерийском полку, тем более в бригаде, подразделение под хитрым названием парковая батарея. Есть такое и в артиллерийской дивизии и в корпусе, но там у него уже и название посолидней — технический парк.

Своя, бригадная, парковая батарея пылит по полям войны, тащась за фронтом, громыхает железным хламом, что-то ремонтирует на ходу, подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает, но больше — развинчивает. Для несведущего человека подразделение это бросовое, неизвестно для чего и существующее, однако все полевые командиры, в том числе и комбриг, очень даже почтительны к хозяину парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, просто пляшут перед майором-помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог со своей ноги, а хромовые сапоги для офицера — все равно что картуз для маршала. Разворотливые комбаты и в гости майора-помидора позовут, попотчуют, связистку подежурить пошлют иль медсестру — срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины бутылек-другой редкостного вина хранится, сальце соленое, кружок колбасы, консерва в плоской баночке. Комбат, если он не дурак, а старшина у него не промах, сами не съедят лакомство, на крайний случай сберегут.

Увы, увы, майор-помидор в сапогах не нуждался, ни в кожаных, ни в хромовых. Все у него, как у персидского царя, есть. За холмами новоградволынскими да смоленскими, за болотами белорусскими, подо Ржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох как часто случалось: орудие на прямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут, пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском: воюй, патриот, стой насмерть, орел, — героем будешь. Ныне же даже у грамотея и начетчика — командира четвертой батареи притырено десяток-другой снарядов, в деревянном ларе, где противогазы должны храниться, свинья засоленная лежит, не хрюкает, мешки с мукой, просом, в бочонке водочка побулькивает, бидон повидла в загашнике, ящик с сушеными грушами, яблочками, перцем, лавровым листом, и дрожжи свои есть, и кофей, и чай, и конфетки в коробочках — на родину надейся, да сам не плошай!

Все есть на четвертой: и харч, и запчасти, и лекарства, машина грузовая, машина легковая сверх всяких лимитов в хозяйстве пасутся. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое!» Командир дивизиона, и комбриг, и всякая наблюдающая за порядком строгая челядь знают, что батареи прут вперед, на запад, крепко, по-боевому заряженные, морально и патриотически подкованные. Комбриг, если не зря к делу приставлен, имеет соответственную должности сообразиловку, ни одну комиссию до передовой не допустит, ублажит своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов, всякую надзорную хевру комбриг должен чуять нюхом, слышать ухом, подбирать команду по себе, давши понять, что не они, а он, комбриг, тут за все отвечает, с него, не с них спрос, и если они хотят, чтоб с него, а не с них голову вместе с папахой сняли, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной, сладко кушают, зелье попивают, мягко спят, с девчонками забавляются, ансамбли организуют, газетки печатают, боевую агитацию ведут — он никого не забудет, он кого нужно — приструнит, кому надо — по-отечески скажет: «Коля врать не умеешь, так не берись». Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, куда попал воевать Феликс Боярчик. Все при деле, все у всех есть, потери, правда, большие, но они и по всему фронту немалые — война. А вот «неоправданные потери» — с этим делом посложней, актик шелковой ниткой не сошьешь и в штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся. По цепочке снизу вверх мольба скачет-прыгает, и возвращается ответ: «А мне какое дело? Орудия бросить сумели? Сумейте и выкрутиться!..»

Четвертая батарея две гаубицы списала. Командир парковой, дай ему бог здоровья, помог, собрал свое утильсырье: стволы, щиты, станины, — все собрал, все сделал, за все отчитался; два новых орудия на передовую едут батарею пополнить, но кустами забросано еще одно, таится, ржавеет без колеса. Майор-помидор Христом-богом клянется: нет у него колес, все есть, а колес нету, потому как при любом крахе, при любом повреждении колесо непременно отпадает, укатится, травой зарастет. Древние литые колеса неуязвимы были, не то что нонешние легкоходные, герметика эта самая, будь она неладна. Изобрел же какой-то асмодей ту герметику! Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего, бесколесного орудия Азату Ералиеву:

— В общем и целом, дело так обстоит: спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу...

У Азата Ералиева мать — башкирка, отец — татарин, а вся остальная родня русская. И ото всех союзом живущих наций командир орудия чего-нибудь да отхватил: от татарина — жестокости, от башкир — лукавства, от русских — вороватости. Вышел утром из блиндажа Азат Ералиев, пристроился к сосне, поливает корни дерева, зевает и в то же время с дежурным по батарее, с новеньким солдатом, беседует:

— Ну что, выспался на посту?

— Нет, я не спал, я думал всю ночь.

— Об чем же?

— Да о доме, о родных, о жене, сынишке...

— Х-ха! Такой молодой, салага, можно сказать, а гляди-ка...

И наговаривая так, застегивая ширинку, Азат Ералиев как бы ненароком к третьему орудию приближается, на котором уж и маскировка успела подвянуть. Как бы нечаянно отбросив ногой кусты, Ералиев сраженно молвил:

— Колесо! А где же колесо?

Боярчик подошел и видит: в самом деле, нет колеса. Хотел удивиться — и не успел. Ералиев уже тряс его за отвороты бушлата так, что голова у Феликса Боярчика вот-вот от шеи оторвется.

— А-ах ты раздолбай! Проспа-а-ал! — И выскочившим на крик батарейцам чуть не плача: — Колесо! Колесо спе-о-орли-и!

Феликса Боярчика увезли в штаб бригады. Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой конопатый старший лейтенант при трех уже орденах — не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни продовольствием, — допрашивал разгильдяя, проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал-допрашивал, надоело ему это дело, и он раздраженно бросил ручку на стол.

— Не юли, не виляй, бери ручку и пиши...

— Что писать?

— Как проспал колесо.

— А-а, так бы сразу и сказали, а то — родина, армия, честь...

Феликс Боярчик взял ручку и написал то, что от него требовали.

Начальник особого отдела настоял, чтобы в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, не громоздкий и дело свое произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, на вопросы отвечал не юля, не запираясь, сожалел только, что комбат ни до суда, ни после не появился, — он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесо-то, но умелый, аккуратный командир четвертой батареи уклонился. А вот Азат Ералиев сочувствовал Боярчику, жалея его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала. Тогда Боярчик и сказал командиру орудия про ржавую ось.

— Ишь ты, какой наблюдательный! Токо раньше надо было о своих наблюдениях доложить, тогда я бы на твоем месте был, а теперь и не мяукай...

Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азат Ералиев налил ему чуть не полную кружку водки. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся — третьего орудия в лесном закутке уже не было.

Неловкость батарейцам была в том, что после суда подсудимого забыли на батарее, бросили, и он болтался без дела. «Да вы скажите, куда его доставлять?..» «Мы сами...» — услышал Феликс из землянки командира батареи.

Наконец в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика доставили в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один боец с четвертой батареи:

— Эх, парень, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо...

Еще один день на плацдарме, смертельный, длинный, подходил к концу, заканчивался в тяжелой тревоге и неведении: будут завтра живыми люди, населяющие клочок земли, волей провидения выбранный ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдарм в ночь.

Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себя доведшие до исступления и смертельной усталости, люди спали, набираясь новых сил у этой ими многажды оскорбленной и поруганной земли, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга...

К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире, лишь река угрюмо темнела меж сверкающих берегов, местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, позванивало крошево только что народившегося, но уже грязного льда. У немцев трещали движки и дымились кухни, начала работать агитационная установка, и так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, исполнявший обязанности ординарца, полил Яшкину на руки. Коля же дал Яшкину две горсти падалицы и комок размоченного, в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, чтоб на постах и в боевом охранении не вздумали прикемарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршит под боком, какая сила и сколько ее тут. Если проспят фрицев, старшему без всяких судов расстрел.

— Я прилягу, а когда связь подосвободится, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота, что запасной паек — два сухаря и банку консервов на брата — съели еще на своем берегу, чтобы врагу ничего не досталось.

Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полу телогрейки, откинулся.

— Да, вот еще что: по телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж тридцать шесть человек. Трепачи связисты вызнали: все представлены к званию Героя Советского Союза и, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете.

— Мы же отрезаны.

— Знаю. Но знаю также, что Нэлька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею.

— Нэлька, Нэлька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит, мы, покуль целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем, мы ведь ничего путного не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали.

— Отвлекали противника во время переправы — то не дело? Ну лан, я поехал,— совсем заторможенно промолвил Щусь и уснул, но еще какое-то время слышал Яшкина: как и в прежние времена, любил Володя поворчать:

— Если обуви не дали, значит, выдадут медали, как бает затейник Леха Булдаков. Лучше бы горячей еды да хоть сухарей выдали. — И отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты.

Боевой опыт, всякий опыт, и горький и сладкий, батальоном Щуся накоплен немалый. Но опыту тому году нет, а безалаберности и разгильдяйству российскому — тыщи лет. Тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Яшкин твердо знал: будут немцы шариться всю ночь под высотой, по ближним оврагам, чтобы добыть языка и вызнать, что тут и как. Коля Рындин собрал вон всю гремящую посуду, ханыгу какого-то, к тяжелой работе не способного, прихватил и по воду на ручей наладился. Хозяйственные немцы в ручье, неподалеку от его истока, устроили небольшую запруду, и не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться — водицы черпнуть и падалицы насобирать: всякая пища от бога.

Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина:

— Сцапают тебя, дурака, вместе с напарником возле запруды, в кусты, что козелка, уволокут. Помнишь, как на Сумщине было? Под сосной-то?

— Кто уволокет? Пошто уволокут? — Коля Рындин развернул богатырские плечи.

— Дурында! Сила есть — ума не надо! Сиди и не мыркай! Немец разнежится, разоспится, дам тебе пару автоматчиков — тогда и пойдешь. А сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни врага. Фриц подумает: новое у нас секретное оружие появилось, — и, глядишь, отступит...

«О господи! — растрогался Коля Рындин, думая о всех своих товарищах по бердскому еще полку, а о них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине.— Экую страсть пережил человек — и все ишшо шутит».

В Сумской области, возле старого городища, из доблестной роты Щуся немцы утащили двух часовых. Норовили и третьего утартать — не вышло, потому что третьим оказался Коля Рындин. Щусь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рындина и сказал ему, чтобы как следует выспался и с полуночи заступал на пост.

— Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах, после того как выспятся на посту.

— Дак, поди-ко, в третий-то раз и не придут? — вслух размыслил Коля Рындин.

— Во-во! — вскипел ротный.— На это и расчет у немца. Попробуй у меня усни!..

— Да не, коды я спал? На улке, да на посту, зачем же спать?

Заступил Коля Рындин на пост ночью. Неподалеку, в ровике боевого охранения, томилась неразлучная пара — Финифатьев с Лехой Булдаковым. Спервоначалу Финифатьев пробовал разговаривать с постовым, и тот охотно беседовал с ним. Но потом у постового ноги остыли, и он постукивал ботинком о ботинок — валенок ему не дали, ему и Булдакову по размеру так и не нашлось валенок во всей стране. Пошел в глубь леска Коля Рындин, негромко и протяжно напевая: «Господи, еси на небеси... — И сразу, без перехода, тем же тоном: — Мыного деушэ-эк есь в колефтиве...» Молитвы, говорит, подзабыл, так хоть во время дежурства повспоминает, а песне про девушек его на кухне обучали веселые люди — повар и старшина Бикбулатов. Хорошая песня, про Осипово напоминает, про Аньку-повариху. «Ух, счас бы ее сюда, во лесок, — много б супу мы с ней наварили! Горячего!» — тайно мечтает Коля Рындин.

На месте молодого, загустелого соснячка, в котором стояла изготовившаяся к наступлению дивизия генерала Лахонина, был когда-то лес, но его срубили селяне на разные надобности. Насадили новый, оставив — для красоты или осеменения — старые раскидистые сосны. Одна зеленая матушка обхвата в три, распустив ветви шатром, стояла в расположении роты Щуся. Под этой уютной сосной немцы и взяли двух языков. К чему им понадобился третий — поди узнай.

А его, третьего, так и тянуло под сосну, так и манило прислониться к теплой коре. Коля Рындин и прислонился, приосел, меж коленок поставленную на предохранитель винтовку держит, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, не шевелит даже ни единой веточкой, только шепчется хвоею, только пошурхивает отставшей от ствола золотистой пленочкой-коринкой, изредка покатится сверху шишка бурундуком или белкой, может, и птахой, в вершине заночевавшей, тронутая, пересчитает по пути шишка все ветки, шлепнется в притоптанный снег, и снова божье время — тихая ночь. Часовые тут, возле этой сосны, задремали — и додремались. «Где вот оне теперь? Че делают? Пытал их небось враг при допросе, иголками тыкал. А не дремли, не волынь, раз приставлен к ответственному делу. Ну, наши разведчики разговор особый — молодцы, из школьных

следопытов, из деревенского сословия, аль из конокрадов, аль из охотников, волка выследят аль медведя, ту же чуткую козу — и сучка не сломят. Но чтоб немца в его обутках, с его-то чужой поступью, городской сноровкой не услыхать — это как же спать надо?..»

На этом месте плавные мысли Коли Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него грузные белые тени, вырвали винтовку, по кумполу прикладом оглоушили, со скользом попали — темновато все же. Постовой дернулся, хотел заорать, но только рот открыл — тут же рот чем-то не шибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул кулаком. Тот, в кого он попал, хлюпнув и подавившись зубами, укатился в темь. Постовой наконец догадался, кто на него навалился, — немцы это, немцы! Он их поднял и понес на себе, как медведь на горбу, не понимая, куда и зачем врагов тащит, ноги сами правились к ближней обороне, к ячейке сержанта Финифатьева.

Взведя автомат, в проходе затих Финифатьев, моля бога, чтоб немцы или наши вояки с передрягу не метнули гранату — она по обмерзло накатанному, наклонному ходу сообщения непременно в уютную щель упрыгает, и конец тогда всякой жизни...

Коля Рындин донес-таки врагов до хода сообщения и вместе с ними свалился в ямину. От удара оземь изо рта его вывалился кляп.

— Ле-о-ох-ха-а! Не-э-эмцы! — рявкнул он на всю передовую и почувствовал, как ожгло тело под одеждой, — вдарили ножом, понял Коля Рындин и принялся крушить кулаками направо и налево, продолжая звать Леху Булдакова.

— Тут я, тут!

— Бей! — удушенно захрипел Коля.

Булдаков собрался крикнуть: «Котелки у меня!» — и даже протянул посудины, чтоб показать Коле: полны каши котелки-то, — но тут же, кинув звякнувшую посуду, бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана лимонку. Немцы не стали дожидаться, когда их возьмут в плен, дали деру. Разъяренный до последнего градуса, Булдаков подскочил к своему ровику, вырвал у Финифатьева автомат и полоснул длинной очередью вослед вражьим лазутчикам. Тут же вся отечественность застреляла со всех сторон и во все стороны. Примчались из роты Щусь и Барышников со взведенными пистолетами.

— Че у вас тут?

— Колю в плен брали!

— Взяли?

— Хуеньки! — первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач.

— Сильно ранен? — Командир роты осветил фонариком тесный ровик.

Коля Рындин все уливался слезами, но все же укротил себя, набрал в грудь ночного воздуху и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая:

— Ниче-о-о. Подкололи. Подумашь. У нас в Кужебаре на вечерках аль на лесозаготовках вербованные шибче режутся.

— О-ой вояки! О-ой вояки! — качался на бровке окопа ротный. — С вами не соскучишься. Идти можешь?

— А куды? — насторожился Коля Рындин.

— Куды-куды! В санроту.

— Да зачем она мне? Так засохнет.

— Схотели сибиряка голой рукой... — гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища — своего пакета не жалел.

С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни неба, ни светила, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далекое. Лес по обережью совсем проредился, торчали черные остовы стволов и сло-

манных ветел, хутор на берегу почти и не значился — груды каменьев да головешек.

«Не одним нам досталось», — удовлетворенно отметил Леха Булдаков, вылезший из норки, «из своей кривой кишки поливая камешки», как говорится в одном детском стишке. Вместе с Лехой Булдаковым испытала злорадное удовлетворение каждая сущая душа на плацдарме. Штрафная рота, поднятая по тревоге и выдворенная из береговых норок, вслух выражала свои патриотические чувства.

Человек придумал тыщи способов забываться и забывать о смерти, но, хитря, обманывая ближнего своего, обирая его, мучая, сам он, несчастный, приближал вот эти минуты встречи со смертью, тихо надеясь, что о нем она, может, запамятует, минет его, ведь он такой маленький, и грехи его тоже маленькие, и если он получит жизнь во искупление грехов этих, то зауважает законы, братство. Но отсюда, с этого вот гибельного места, до братства слишком далеко, не достать, милости не домолиться, потому как и молиться некому да и не умеют. Вперед, вперед, к облачно плавающим, рыже светящимся земляным валам, — там не затухающими свечами, пляшущими и плюющими в лицо огнями означен путь в преисподнюю, а раз так, значит, в бога, в мать, во всех святителей-крестителей, а-а-а-а-о-о-о-о — и-ии-и-и-и-и-ы-ы-ы-ы-за-а-а — ду-ду-ду-ду... и еще, и еще что-то, мокрой, грязной дырой рта изрыгаемое, никакому зверю не ведомое, лишь бы выхаркнуть горькую, кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх и тот сгорел или осел внутри, в кишках, в сердце, исходящем последним дыхом. Оно, сердце, ставшее в теле человека всем, все в нем объявшее, еще двигалось и двигало, несло куда-то. Всесокрушающее зло, безумие и страх, глушимые ревом и матом, складно-грязным проклятым матом, заменившим слова, разум, память, гонят человека неведомо куда, и только сердце, маленькое и ни в чем не виноватое, честно работающее человеческое сердце еще слышит, еще внемлет миру и богу, оно еще способно болеть и страдать, не разорвалось, не лопнуло, оно еще вмещает в себя весь мир, всю жизнь, все ее бури и потрясения — какой дивный, какой могучий, какой необходимый инструмент вложил Господь в человека! Что он, человек, без сердца? Пустота.

За невысоким бруствером окопа, в аккуратно, лопатой выбранной кроличьей норе, уложив уютно ствол пулемета на низкие сошки, прижав к плечу деревянную рогульку, к которой, чтобы не отбивало плечо, набита суконка и намотан почерневший бинт, упористо расставив ноги, расчетливо, без суеты вел огонь замещающий командира взвода унтер-офицер Ганс Гольбах. Помогал ему в этой работе, привычной и горячей, второй номер Макс Куземпель. Это был не первый пулемет на их боевом пути, и каждый, разбитый ли, брошенный при отступлении, имел окопное имя: «шарманка», «камнетес», «косилка», «цепная собака», «машинистка» — и так имен до десяти, даже «тетка-заика» звался один пулемет. Но с некоторых пор Ганс Гольбах и Макс Куземпель возлюбили грубые русские слова, и на это у них были основания, потому и звали они свой нынешний пулемет «дроворубом».

Ганс Гольбах — остзеец, Макс Куземпель — баварец, по роду-племени оба немцы. На этом кончается их родство и сходство. Гольбах происходит из рабочего класса, с пятнадцати лет ворочал тяжести в огромном ростокском порту, с пятнадцати же лет начал попивать, баловаться с портовыми шлюхами. Побегал он и в табуне коминтерновцев под пролетарским красным знаменем, даже одну или две витрины разбил кирпичами «на горе буржуям» в богатых кварталах, очки и шляпу с какого-то прыщеватого студента сорвал и растоптал справедливым башмаком борца за равноправие и свободу. Огромный ростокский порт — это мрачный и разгульный город в городе, он действительно располагался под горой, на берегу залива. Отту-

да «на гору» унес Гольбах два ножевых шрама, но «на горе», уже прибранный, дисциплинированный, ладно и складно одетый, делал «маршрен» в слаженной колонне таких же строгих мордатых остзейцев под звуки духового оркестра по гулким мостовым города. Млея сердцем, горя взором, толпа приветствовала своих героев-молодцов победными криками, юные фрау бросали полевые цветы под громыхающие башмаки.

Сооруженный по нехитрым чертежам рабочих кварталов, Ганс Гольбах уверенно носил крупную голову на широких плечах, был уже немного грузноват, косолап, волосат по груди и рукам, в то время как с головы волос почти сошел, лишь на квадратном темечке и по заушинам серела короткая щетина, сбегающая на глубокую складку шеи каким-то диким, в день по сантиметру отрастающим волосом. В этом волосе, в кабаньей щетине, кучно жили и огъедали голову Ганса немыслимо крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может и заедая ее, наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами: дождавшись, когда оккупантов в складке кожи накапливалось так много, что они валились, будто через бруствер окопа, с засаленного воротника мундира, унтер выбирал их горстью, бросал на землю и, по-русски матерясь, размичкивал, втаптывал подковою военного башмака в землю, в чужую землю, постылую и совсем ему не нужную.

Глаза Ганса Гольбаха так глубоко впаяны в лоб, что их и увидеть-то невозможно, широкий узкогубый рот, могучий подбородок, излишний объем которого будто срезан тупой ножовкой, серым горбом подпирающая голову спина — все-все в нем скроено и размещено так, чтобы русские бабы пугали им детей как нечистой силой, а советские художники рисовали на плакатах и листовках как самого страшного врага и дьявола.

Макс Куземпель мало того что родом с противоположного конца Германии, так и обликом и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким, будто картонным, носом, сын кустаря-мыловара, он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с нею цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался онанизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой. Ганс Гольбах к этой поре знал уже все портовые притоны, таскал выкидной моряцкий нож в кармане, перестал посещать церковь и звал священника по-солдатски — библейским гусаром. Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества — он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портил с ополоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе по рекомендации родителей и старшего брата был принят в отряд гитлер-югенда, оттуда прямиком в мокрые попал, стало быть, в рекруты, затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым, и тоже восхищал местное, малоповоротливое умом и телом население, к его ногам тоже падали цветы. Обретая мужество, Макс однажды увел свою соратницу по школьному кружку Эльзу на ту самую поляну, подножкой свалил ее на золотисто цветущие одуванчики. Эльза сопротивлялась ровно столько, сколько требовали приличия, и тогда же сказала ему, что он есть настоящий мужчина и она не напрасно ждала от него мужественного поступка.

Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Куземпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собою испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил и более или менее сдержанно относился к женщинам, был, как и все баварцы,

скуп, проницателен, самодоволен и, как малосильный мужчина, притаенно жесток.

Он, Макс, ища надежную опору и защиту, еще в тридцать девятом году, в Польше, влез в душу Гансу Гольбаху, высмеял его стремление быть всех храбрее, непременно получить крест с ботвой (высшую среди наград — железный крест, обрамленный дубовыми листьями). Макс сказал Гольбаху: если он хочет получить крест на грудь, а не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой остзейской башкой, которая совсем не для того богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах вшей. И еще сказал, что принц или граф, словом, какой-то титулованный сановный хер, скорее всего баварский, потому как остзейцам только бы маршировать да стрелять, влепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии населения восемьдесят пять миллионов, а в России — сто восемьдесят пять. Да, правильно, совершенно верно агитаторы орут и душка Геббельс поет-заливается: каждый воин фюрера способен победить двадцать польских и десять русских солдат, но придет одиннадцатый — и что делать?

Вот он, одиннадцатый, прет на «дроворуб», матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет! И что делать? Расстреливать? Устал. Выдохся. Не хочет, не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать.

— Макс! — Гольбах шлепает брызгами рыжей грязи, нажимая на спуск хорошо смазанной, четко и горячо работающей «шарманки». — Макс! Нас атакуют штрафники — по широким галифе узнаю... Приготовься. Скоро начнется благословение, нас пошлифуют и приперчат...

Гольбах орет, чтобы что-то орать, себя слышать. Он прекрасно знает: у Макса всегда все готово к деланию аборта, то есть по-русски к драпу, есть в ранце и чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, будто осел, скалится и во сне ворочается, что-то бормочет, скрипит зубами... Прежде спал как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские, досыта навоевался... Раз, один только раз не послушался упрямый этот унтер с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира хитромудрого окопного брата своего — и вот теперь на пределе орет во всю глотку.

Все награды любимого рейха есть в наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом. У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется, он пусть и хитрый мужик, да не заговоренный. Бренчи теперь на весь свет добытым в боях железом, гордись, торжествуй!..

— А-а, распрояттвою мать! — стараясь переорать Гольбаха, грохот, крики, шум, визг бобов (значит, пуль), свист и шлепанье брызг-осколков, ответно вопит Макс Куземпель, по-русски ругается: по-русски выразительней. — Я тебе говорил — сиди дома, не воевай...

«Дома сиди» — это значит в плену. У русских. По книгам, газетам, по кино выходит, что одни русские воевали в плену и бегали оттуда. Но вот редкий случай: Ганс Гольбах и Макс Куземпель смылись из русского плена. Еще осенью, под Сталинградом, сами сдались, а весной сами же бежать из плена сообразили. Перезимовали в тесных, зато теплых московских помещениях, на не очень сытной, но все же и не гибельной пайке, построили домики для советских военных чинов, для солидности называвших их военными объектами, полюбовались на столицу России, которую так и не сумели взять в сорок первом году доблестные нахрапистые войска вермахта, подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли — Крачкаускаса и Мачкаускаса — да и рванули вперед, на запад, в формировавшуюся где-то на российских просторах, на Смоленщине будто бы, литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целаскаускаса, что ли. В походе по русской разоренной земле за главного был Макс

Гольбах открывал рот затем только, чтоб поесть картошки. Макс с его размытым лицом, пустым, водянистым взглядом и мягким, слюнявящим акцентом: «Маленько прататут, мали-энько укратут», — брил под литовца чисто, но и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбаха, взревел: «Каки литовцы? Немцы это, бляди!..»

Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и Ганса Гольбаха, пока достигли они фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войсками насыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На московской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар, так он вместе с кухней и фельдфебелем переехал и немецкий и советский передний край. Кухня, полная каши, чая, гремит, отдельно бачок с офицерской едой звенит, всю-то ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих сторон, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как это ни странно предположить, не немец, не фриц, а русский иван. Наутре залез он в густой бурьян оправиться, тут на него кухня и наехала. Фельдфебель-дурак стрельбу открыл, и его убили русские, повара русский иван, взметнувшись с кучи, стащил с повозки и в плен взял. Его же, повара, русские заставили кашу есть — не отравлена ли. Затем ели кашу русские солдаты, пили чай с сахаром господа советские офицеры, все получилось очень хорошо — повар тот теперь уж для пленных кашу варит.

Никого не потревожив, Макс Куземпель и Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратной, но крепко дрыхнущей немецкой обороны, уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый, и он им не анекдот рассказывал, а наставление давал. И вляпались-то они на кухне: хотели поживиться съестным, чтоб следовать дальше на запад, но зевающий повар, растапливавший полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, воюющих насмерть, он заметил их и, приняв за партизан, выхватил карабин, стоявший на предохранителе, и, дрожа от страха и холода, скомандовал: «Хенде хох!» Посещения штабов не входили в расчет беглецов, путь их лежал в Гарц, где в высохшем лесном колодце в двух запаянных ящиках из-под патронов лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше: там они подчистую вырезали семью местного часовщика и, забрав золото и часы, сожгли вместе с трупами мастерскую, хранилища-кладовые, прилегающие постройки, не оставив за собою и малого следочка.

После блистательной победы над Польшей они, как герои войны, удостоены были не только наград и почестей, но и отдыха в санатории в Гарце, куда прежде доступ был только немецкой аристократии. Фюрер ценил людей по их деловым качествам и храброго солдата любил не меньше храброго генерала. Военный его пролетариат не должен был ведать никаких сословий, правда, умные люди и тогда уже пророчили, что эта игра в братишку утомит скоро и самого фюрера, и его приближенных, всяк будет знать свое место: кухарка — кухню, свинарь — свинарню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы.

Макс Куземпель, отдыхая в горах, посещал знаменитые пещеры, гулял по пронумерованным тропинкам, вдалбливал Гольбаху в его уже начавшую облезать голову, что надо надеяться только на себя, иногда, уж при самой крайней нужде, — на бога, хватит ему пить, хватит угнетать курортные бардаки, надо думать, и не только думать, но и спасаться. Свою долю и долю многих и многих верных воинов фюрера Макс Куземпель знал наперед: появится он на пороге родного дома израненный, разбитый, никому не нужный, родители его, мыловары, дадут ему помыться, поесть, переночевать позволят, затем отдадут сберкнижку, куда полностью, до пфеннига записаны все деньги, посланные им с фронта, и

выпроводят за порог с наставлениями: они не намерены отвечать за его нацистские увлечения.

«Гольбах, давай кончать этого героя. Нам нельзя здесь задерживаться. Нам надо спешить в Гарц», — бормотал Макс по-русски быстро, неразборчиво, как научились они переговариваться в плену. «Макс, — отвечал ему Гольбах, — я не смогу задушить этого жалкого ублюдка. Какого-нибудь хера, как русские говорят, с широкими лампасами с большим бы удовольствием придавил, а этого не могу. На мне много крови, Макс, кровь меня давит». «Гольбах, ёбит... твою мать, по-русскому тебе говорю, нас умучают проверкой и снова заставят воевать... У Гитлера больше некому воевать. Нас, нас, кретинов, заставят — ты меня понял, хьер моржьовый?..»

И заставили. И воюют. Гольбах, «хьер моржьовый», совсем осатанел, орет что попало, трясется как припадочный, кровь проливает, вшей на загривке плодит, грязь и лишения терпит, вместо того чтобы пить лечебную воду, хочется — так шнапс, наслаждаться видами, дышать здоровым воздухом, ублажать толстожопых немок, гулять по пронумерованным тропинкам в глуби леса, тоже пронумерованного, где, несмотря на исторический порядок, всегда можно найти полянку, чтобы выпить вдвоем, поваляться с женщиной на траве. «Ах, Гольбах, Гольбах! Ах, пустоголовый пьяница! Зачем меня господь связал с тобой?» — заправляя новую, пятисотпатронную ленту в зарядную камеру, ругался и горевал второй номер, Макс Куземпель. «Смотри! — Гольбах мотнул головой в сторону наступающих. — Охерел иван!» Макс Куземпель через прорезанную для пулемета щель увидел во весь рост мчащегося прямо на пулемет Гольбаха безоружного русского солдата с широко раззявленным вопящим ртом. «Убейте меня! Убейте меня!» — донеслось наконец до пулеметной ячейки. Три раза получал унтер-офицера Гольбах, уже и до фельдфебеля доходил, но из-за грубости и пьяных выходок никак не может вытянуть до офицерского звания. Макс Куземпель, между прочим, особое имеет дружеское расположение за это к своему первому номеру, временно замещающему командира взвода, — за войну произошла переоценка ценностей, выскочек Макс видал-перевидал больше, чем вшей из фильдеперсовых кальсон выширал. Сейчас разгильдяй и беспощадный вояка Ганс Гольбах сплюнет под ноги скипевшуюся во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского. Еще одного.

Гольбах и припал, и давнул уже не разгибающимся, закостенелым пальцем на спуск «косилки», очередь взрыхлила землю позади русского солдата и, как бы опробовав прочность почвы, длинно и кучно прошлась по свеженасыпанному брустверу, за которым залегли и по своим строчили русские заградотрядчики. Выбив рыжую пыль, Гольбах сделал там хорошую подчистку, солдата же, наскочившего на пулемет, подцепил на лету и, не тратя усилий, одной рукой метнул за спину, в подарок другу своему Максу Куземпелю. С любопытством оглядел Макс Куземпель содрогающегося, землю когтями царапающего солдата, продолжающего вопить:

— Убейте меня! Убейте меня! Я не хочу жить! Не хочу-у-ууу!

— Эй ты, хьер моржьовый! — сказал Макс Куземпель. — Не ори! Уже ты имеешь плен. Гольбах не убил тебя. Ему всякий говно стелалось жалоко... — Последние слова Макс Куземпель сказал громко, чтобы Гольбах непременно услышал их, несмотря на шум и грохот битвы.

Да Гольбаха разве уязвишь? Расстрелял ленту и не осел, а оплыл на дно окопа — его уже ноги не держат. Пока Макс Куземпель заправлял новую ленту, последнюю из принесенных ночью, он уже отстегнул от ремня бывалую, от пыли серую, мятую флягу, сверкнул ледяным взглядом из-под бурых от пыли бровей.

— Путем сторовье, еван! — И, воткнув горло фляги в рот, слипшийся от грязи, сделал несколько больших гулких глотков, деловито крякнул, сплюнул, подышал и еще отпил.

Окопы накрыло русскими минами и снарядами. Надо пожелать себе и Гольбаху «ни пуха ни пера» и уходить без музыки, стало быть, удирать, перемещаться на запасную позицию. Русские посылали штрафников в атаку, чтобы дураки немцы стреляли, умные русские их огневые точки засекали...

Гольбах и Макс все про войну знали, опасность, от нее исходящую, чувствовали заранее. Выхватив «дроворуб» из земляной прорези, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал по узкому ходу сообщения. Макс Кузempель, прихватив ранец и другие нехитрые пожитки, устремился за своим первым номером. И когда бежавший между ними русский замешкался, он отвесил ему такой поджопник, что тот сразу все понял и более от Гольбаха не отставал.

Так Феликс Боярчик нежданно-негаданно попал в плен, хотя изо всей силы хотел умереть. Произошло еще одно противоречие жизни, еще одна опечатка судьбы: кто хотел жить — остался лежать на земле, заполненной по щелям рыжей пылью и совсем уж рахитичным, испуганно подрагивающим серењким тысячелистником. А он вот жив и даже не поцарапан. Побаливает только колено — это когда его немецкий пулеметчик фуганул через себя, он в окопе ударился о железный ящик из-под пулеметных лент.

Одним из первых, как и ожидал Феликс, погиб Тимофей Назарович Сабельников. Они, Сабельников и Боярчик, наладились было на берегу открыть медпункт, но какой-то чин, прикрывший погоны плащ-палаткой, лаясь, что портовый грузчик, налетел, погнал в атаку. Без них, орал он, есть кому позаботиться об искупивших вину кровью. Феликс помнил еще, что подавал руку Тимофею Назаровичу, выдергивая его наверх из-под яра. Доктор бежать быстро не мог, ронял винтовку, задыхаясь, просил: «Погодите! Погодите! Не бросайте меня...» — потом, будто на острое стеколко наступив, тонко, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюже и лишне выглядевшую в его костлявых длиннопалых руках. «О господи! — успел еще выдохнуть. — Зачем это?..»

Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тревожный, наполненный худыми ожиданиями. Внутренне сопротивляясь, отгоняя наваждение, фронтовик пытался занять себя трепотней, рукомеслом, всяческим разноделъем. Казалось бы, одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти. Ан нет, там и сям, снявши амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигающую вошь. Уютно ж вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненом-перечиненом барахлишке, потому как летняя амуниция получена весной; шел уже октябрь месяц, к празднику революции, к 7 ноября, значит, вот-вот получишь новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то.

Интересно знать, как оно у немца: тоже к 1 Мая, празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование, а зимнее — к рождеству? Пожалуй что до рождества на фрице вша вымерзнет и сам он окочурится — российская зима сама свои законы пишет, никакой ей Гитлер не указ.

Щусь давно уже усвоил закон, последовательный и неотменимый: человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение, — он здесь живет. Работает и живет. В пехоте, в этом сбитом скопище, были свои сапожники, шорники, портные, парикмахеры, скорняки, спецы по производству самогонки, копченого сала и рыбы, прачечных дел мастера, архитекторы неслыханного толка, способные конструировать ячейки, блиндажи, наблюдательные пункты из подручного материала — кизяка, глины, песка, кустов, бурьяна. Катился слух по окопам: явились свету чудодеи, умеющие из травы полыни натолочь перца, из макаронин артиллерийского пороха гнать чистый спирт, а очищенные от химии макароны жарить по-флотски. Объявился даже гробовщик, но за ненадоб-

ностью иль растворился в скопе, иль отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттуда, если потребуется хоронить достойную гроба военную персону.

Чтобы отвлечься от нарастающей тревоги, капитан Щусь мотался по ходам сообщения, отрытым неряшливо и мелко. На солдат Щусь не рыкал, не придирался к своим командирам: лопат переправили мало, переломали их, биясь в твердой глине, — лопата на фронт пошла хилая, шейки тонкие, ломкие, полотна что картонки, снашиваются на непрерывной работе моментально. Кроме того, люди вторые сутки почти не евши, и что-то не слышно, не видно кормильцев с левого берега, столкнули, сбросили в воду — и с плеч долой.

Еще когда было оперативное совещание в штабе полка и до командиров-исполнителей в деталях доводился план операции, капитан Щусь, которому поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу, подумал: даже если благополучно переправится, непременно попадет вместе со своей группой в переплет, очень уж складно да ладно все было распланировано штабниками на бумаге, а когда на бумаге хорошо, на деле, как правило, получается шибко худо.

От партизанской бригады ни слуху ни духу, о десанте также ничего не слыхать. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы, пока не ропщут, но не пройдет и ночи как по окопам покатится: «Где та гребаная бригада, что должна нас поддержать и накормить? Где тот десант, те сталинские соколы, мать их расперемать?!»

К вечеру, когда захмурело небо и поднялся ветер, ждали разведчиков от партизан — самое время им, хорошо знающим местность, подскочить. Но вместо этого километрах в двадцати от плацдарма загрохотало отемнелое пространство, и Щусь понял: упреждая удар с тыла, немцы начали ликвидацию партизанской бригады, предварительно, конечно же, ее обложив в каком-нибудь дремучем по здешним понятиям лесу. Недаром же, перебив штрафную роту, немцы активных действий на плацдарме не вели, гоношились в тылу — копали, рыли, постреливали. «Рама» безвылазно шарилась по небу, бомбардировщики регулярно налетали. Одним словом, немцы давали понять, что они здесь и, когда управятся с делами, зададут жару русским, в первую очередь передовому дерзкому отряду...

Часа два длился бой и когда начал убывать, дробиться на отдельные узлы и кострища, вверху, в ночном небе, многомоторно загудели самолеты. Сталинские соколы выбросили в буквальном смысле этого слова десант, целую бригаду в тысяча восемьсот душ, до войны еще сформированную, бережно хранимую для особой операции и вот в эту первую — и последнюю, как скоро выяснится, — операцию наконец-то угодившую.

Сталинские соколы, большей частью соколихи, сбросили десант с большей против заданной высоты, десантников разнесло кого куда, немцы аккуратно подчищали небо и воду, расстреливая парашюты и парашютистов. До оврагов, до берега, где смотрели на все это безобразие бойцы, доносило хохот фашистов: «Давай, еван, гости, гости!» И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил: «Теще на блины!»

После выяснилось, что лишь одна группа оказала сопротивление, остальные разбрелись по заречью, перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам либо под огонь своих перепуганных постовых и боевых охранений. Большая же часть осела по окрестным лесам и селам, там их и повыловили полицаи. Лишь немногие, надежно попрятавшись по лесным хуторам, дождались зимнего наступления Красной Армии, явились в воинские части и были немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты — кто-то ж должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание.

«Ну вот, — тяжело вздохнул капитан Щусь, — все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Не позволят они, чтоб мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасти».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршили. В хозяйственном разгильдяйстве, допущенном в подготовке к войне, безответственней всего была приготовлена связь: собирались наступать, взять врага на ура, гнать, колоть, гусеницами давить — чего ж возиться с какой-то задрипанной связью? Вот и явились на поле боя военные рации устарелого образца, в неуклюжем загорбном ящике, с питательными батареями, величиной и весом не уступающими строительному бетонному блоку! Парой таскали рацию и питание к ней радисты, но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за пазухой батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась контактная, более-менее надежная рация, однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах и на более важных, чем передовая, объектах. Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался по средствам наземной связи — серебьким, жидким проводочком, заключенным в рыхлую резину и в еще более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежав четыре-пять часов на сырой земле, провод намокал, слабел в телефонах звук, придавленной пичужкой звучала по ним индукция. Командиры, гневаясь, били трубкой загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя — это он, невежда, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересажал, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые и без того нахимичили лишку. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность.

Чужеземный, более жесткий, чем русский, провод заключен в непроницаемую пластмассовую изоляцию — ничего ему ни на земле, ни в воде не сделается. Телефонные аппараты у немцев легкие, катушки для провода компактные, провод не заедает, узлы не застревают. У связиста спецнабор в коробочке с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки — назначение их не вдруг и угадывалось. Нашим же иванам вместо технических средств полагалось лишь несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудрию, имеющуюся на вооружении у фрица, иван-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял как заземлитель. Линия связи — узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволокой, бечевкой, обиты жестяными заплатами. Уютно осевшие на дно траншеи бойцы отводят глаза, когда уходят, выползают из окопа в разведку ребята. Так разведчики-то группой идут на рисковое дело. И сколько славы, почета на весь фронт и на весь век разведке! А связист, драный, битый, один уходит под огонь, в ад уходит, потому как в тихое время связь редко рвется, вся и награда ему — сбегал на линию и остался жив. Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился? В воронке лежал? Словом, как выметнется из окопа связист исправлять под огнем повреждения на линии, мчится, увертываясь от смерти, держа провод в кулаке, — не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони, их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемета, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо было искать днем с огнем. От неопытных

же на войне только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и авиация, лупила по своим почем зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо не тугих ребят, способных на ходу, в боях не только сменить связистское утильсырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтоб в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется, опять же под огнем починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан вмиг распознать тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии, и слухачей — тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца-командира не теряет присутствия духа, понимает, что пятьдесят пять и шестьдесят пять — цифры неодинаковые, если их перепутаешь, пушки ударят не туда, куда надо, снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тошно сидеть под огнем противника, под своими же того тошнее. Телефонист должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединенных к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того — бог ему должен подсоблять — различать голоса начальников: терпеть они не могут, особенно высокие, когда их голоса не запоминают. Для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить, звать или не звать «своего» к телефону, кому ответить сразу «есть!», кому-то ответить, что товарищ третий или пятый пошел оправиться. И всечасно связист должен помнить: в случае драпа никто ему, кроме бога и собственных ног, помочь не может. Так как драпать связисту всегда приходится последнему, то он всечасно начеку, как юный пионер, всегда готов собрать свое хозяйство и обогнать всех драпающих, не только пеших, но и на лошадях которые. И при этом манатки свои — плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые — ни в коем случае не терять: никто ему ничего не выдаст взамен, а с мертвецов снимать да на живое тело надевать — ох-хо-хо. Кто этого не делал, тот и не поймет, не почует кожей своей... Связист не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди

Прикарпатский еврей по фамилии Одинец словно бы сложен из частей, как бы совсем меж собою не соединенных — все по отдельности, гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе не застегнуты, пряжка ремня всегда набок, сапоги — один чищен, другой нет. Все как бы случайно, на бегу надето. В деле же Одинец собран, толков, и если бы панически не боялся начальства — цены б ему не было. Свое душевное смятение Одинец всячески скрывал, подражая громилам командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался одновременно вроде по-русски, вроде по-бессарабски. В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все знали: без него как без рук. Командир артполка Вяткин разносил Одинца часто и больно. Зарубин же всячески Одинца защищал, прятал, велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной мастерской, где среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов, вместе с ними и без них все чего-то сваривал, паял, клепал. По личной инициативе собрал спаренную пулеметную немецкую установку для защиты штаба и однажды на глазах у всех подшиб вражеский самолет. Все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу, и как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему Одинца представлять к ордену Отечественной войны, которого сам комполка не имел. Связь, налаженная под руководством Одинца и им же намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли.

Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил:

— Может, мне к вам переправиться?

— Сидите уж где положено, — раздраженно буркнул Зарубин.

Радение Одинца, его умение, ценный талант нежданно-негаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он каменно спал в земляной норке, когда его задергали за ботинок так, что чуть не разули.

— Что такое?

— К майору. Бегом!

Разумеется, бегом Лешка не побежал — потянулся, позевал, засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова.

Майор, совсем пожухлый лицом, полулежал возле телефона.

— Вам звонят, — сказал и протянул Лешке трубку.

Напрягшийся незнакомый голос, перекрывая скрип, шум и писк индукции, произнес:

— Товарищ Шестаков! С вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства... — Дальше сообщались звание, фамилия, но Лешка не запомнил. — Вы меня слышите?

— Шестаков! Ты где там? — ворвался на линию заполошный голос Одинца.

— Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?

— Да ничего у нас не случилось, — рассмеялся далекий начальник связи. — Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством... вы его лично знаете? (Лешка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства.) Так вот, командующий поручает вам переправить связь...

— Какую еще связь? — испуганно переспросил Лешка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе.

— Нашу, нашу! — продув трубку, кричал далекий начальник. — Вы меня поняли? Вы меня слышите?

— Ты понял? Ты слышишь, Шестаков? — снова объявился Одинец.

— Слышу.

— Я понимаю, все понимаю... трудно. Но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало... — Он еще что-то говорил и в заключение «по секрету» выдал: — Лично ходатайствую Звезду.

Быстро-быстро трепыхалась мысль, только бы ее не услыхали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадет: «Сказать — лодку разбило. Нету лодки! Нету несчастного корыта! Кто узнает? Оттолкну. Унесет, к чертям. Проверь попробуй...»

— Шестаков! Шестаков! — опять завелся Одинец. — Ты шо, не выспался?..

«Вот именно! — вспылил Лешка. — Я один, что ли, тут?» Но что говорить об этом Одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки, облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства боится как огня, а на проводе чин аж из корпуса. И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы. Умные какие все кругом, один он дурак с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи, на свою дурную голову.

Майору Зарубину тоже приходило на ум, что челн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме, — его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, и если на то пошло — и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме ох как обязаны ему, этому связисту! И нет ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, Зарубина, какие-то несообразительные, растяпы — давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство на всякий случай, предлагают переправиться на нем ему, командиру, но на самом-то деле тайно радуются тому,

что и командир и корыто здесь, с ними. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому.

— Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, — устало сказал Лешка и потопал к воде, отчего-то по-лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью Черевинки.

Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, на майора, высунувшегося из холодной норы, Лешка придумывал, как его, майора, отсюда вызволить.

— И правда плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там... — отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнес Лешка. — Может, бог нам поможет...

— Выполняйте задание! — вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу и уже в нос, для себя, выстанывал: — А я буду делать, что мне положено... Дьячки кругом, понимаете!..

Весла чуть постукивали, коротко, рывками подавалась к правому берегу гнилая лодка. Что-то сильно шлепнулось, Лешка вздрогнул. «Неужели рыба? Неужто не все еще поглушено?..» Из тумана возникали и возникали молчаливые чайки. Одна зависла совсем близко. Лешка замахнулся, чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила.

Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумеречь. Немец просыпался, начинал работать.

Для острастки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта чуфыркнула за лесом «катюша», отчего-то одна, прососался в тучах планирующий почтовик и, достигнув родного берега, плюхнулся в смятый бурьян полевого аэродрома. Накоротко уснувшая война продолжалась.

Лешку уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывшись шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стояли Понайотов, санинструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке.

Тыловые связисты оказались послушны и услужливы. Пока один из них, Яков, вычерпывал воду из лодки, его напарник по имени Ягор вынул катушки из реки — имущество все же, казенное. Закурили. Лицо Ягора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Леху Булдакова, но умом — куда там. Леха — это Леха! Где-то в межреберье все сильней и удушливей теснило, сдавливало сердце, и мысль одна-разъединственная, как ее ни оттоняй, все та же: не доплыть ему в третий раз, так быстро светает. Думать про это было нельзя, но Лешка ничего поделать с собой не мог...

Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя в корму катушку, на которой плотно, ниточка к ниточке (сам Одинец сработал!), была намотана красная жилка провода, катушка новая, облегченная, в свежей еще краске, провод трофейный, новый. Все так хорошо, все так ладно.

Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лешка оттолкнул лодку.

— Прощайте, товарищ капитан! Прощайте, ребята!..

— Нет-нет! — заторопился, зачастил Одинец, подбегая к воде. — До свиданья, Шестаков. — И, сложив руки трубочкой, повторил: — До свиданья, до свиданья!

— По туману проскочат, — подал совсем мирный голос с жалобной надеждой ординарец майора Зарубина Ухватов, моя в реке котелок из-под каши.

— На середине реки туман уже отнесло... солнце встает... лодка перегружена... — бормотал Одинец, стравливая провод с медленно вращающейся катушки. — Ах, шоб я счас не сделал, шоб им чем-то помочь...

— Ну, друг сердешный Яков, в степу или где ты вырос — грести придется.

— Да я могу, могу, — заторопился Яков. — Я на веслах гребся. — И, чего-то стесняясь, замялся. — У дому отдыха отпуск проводил, жэншынов на синей лодке по озеру катал...

Ягор, ободряя Якова, себя и Лешку, повертел головой.

— О-ох, ён бя-адо-овай! С бабами няского не чекается, раз-два — и усё-о...

«Пущай поговорят, пущай отвлекутся», — думал Лешка, помогая гребцам кормовым веслом, слушая, как лягухами начали шлепаться за борт грузила, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, а это почти полкилометра.

Ухажер и сердцеед Яков сперва греб худо, но с каждой минутой работа шла слаженней, связисты приноравливались к делу. Ягор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузила за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. На середине реки сильное стрежневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузила за бортом. «Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам!» Лешка во всю лопату садил веслом, без крика убеждал Ягора, чтоб тот безостановочно выбрасывал связь, и одновременно черпал, черпал воду — конопатку из щелей вымыло, бурунами било в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учуяв тревогу в голосе кормового, Ягор старался изо всех сил, с ужасом, однако, убеждаясь, что вода не убывает. Лешка-то знал: как только убавится груз, течь уменьшится, — и приказал выбросить за борт освободившуюся катушку.

— А як же отчитываться?

— Сказано! — рыкнул Лешка, и хозяйственный мужик Ягор с сожалением кинул железяку за борт.

Метров еще двести — триста, и лодка попадет в мертвую зону, под укрытие яра. «Неужто проплывем?» — обнадежился Лешка. Но тут за изредившимся туманом над одним из оврагов булькнула труба миномета. «Неужто по нам?» — втягивая голову в плечи, не переставая работать веслом, насторожился Лешка. Мина плюхнулась неподалеку, и не успело еще выбросить взрывом холодный ворох воды, как замелькали вспышки, запело, заныло над головами связистов, струями визгливых пуль взблинивало поверхность воды. Яков с Ягором упали на дно лодки, схватились друг за дружку.

— Грести! Грести-ы-ы! — завопил Лешка.

Он еще пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала, звонко билась о борт банка, загнутая что совок, и, красно змеясь в петли, круги, в бухту сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Ягор.

— Застрелю-у-у!

— А, божечка! А, божечка!.. — Яков хватал выскальзывающие из рук весла.

— Черпай! Греби-ы! — уже визжал Лешка, тыча веслом в Ягора, который снова выронил банку. — Сапогом! Сапоги-ы-ы! (Ягор не понимал.) Сапогом, сапогом отчерпывай!

— Яким сапогом?

Ничего не понимал Ягор... Лешка ударил его веслом.

— Сапогом, остолоп! Своим сапогом!

Видать, угодил Лешка веслом в голову связиста, и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Ягор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника.

— Ягор! А Ягор! Ти... тебя вбило? — Бросив весла, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища.

«Все! Теперь все!» — опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге Ягора, потянуло за борт. «Теперь вот в самом деле все!»

Лодка сильно кренилась вправо. Лешка налег на левый борт, пытаясь выровнять крен, хотел еще сказать, и как можно спокойнее: «Вы уйметесь?» — и не успел. С заглотом, чмокнув возле борта, плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом сноп воды. Захлестнутую лодку шатнуло. Черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со скрипом начала перевертываться. И чем круче зависала, вытряхивая в реку катушку, телефонный аппарат, людей, тем делалась поворотливей, шустрее. Опрокинулась же посудина вовсе резво — громко ахнула пустым нутром и успокоенно поплыла вверх дном, будто освободившись от непосильной работы и груза.

Бывший наизготовке Лешка успел оттолкнуться. Привыкнув купаться на Оби, он не испугался холодной воды, не впал в панику; держась за корму, поискал глазами связчиков, их нигде не было. Он собрался крикнуть, но тут совсем рядом взбугрилась вода и кочаном всплыла голова с широко раззявленным ртом. Не дав себе подумать, Лешка хотел схватить тонущего за голову, да не было на голове солдата волос... Тогда он сгреб человека за шкирку и потянул к лодке. Тонущий вцепился в него железной хваткой, поволок, сперва по течению, затем в глубину. «Вот теперь-то уж в самом деле совсем конец...» — успел еще вяло подумать Лешка.

Но тело его, сердце, голова, разум и инстинкт, жаждой жизни наполненные, все его существо боролось, упиралось. Подержавшись за лодку, Лешка успел отдышаться, и его сухонькое, гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинившись, выкрутилось из сцепленных на нем рук. Он на мгновение выбился наверх, хватил воздуху, изо всей силы ударил кулаком по голове тонущего и каким-то не ему уже принадлежащим усилием взметнул вверх колени, уперся во что-то твердое, с силою оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они, два за жизнь боровшихся существа, — один в кромешную глубь, другой к свету. Пловец Лешка был деревенский, не мастеровитый, но он мигом сообразил, что надо поскорее отплыть от проклятой лодки. Но стоило ему двинуться к берегу, как вокруг снова забулькало, кто-то стрелял с берега короткими очередями, настойчиво, расчетливо. «А-ах ты га-ад! — простонал Лешка. — Ну что я тебе сделал, что-о-о?» Пришлось нырять.

Не вдруг Лешка достиг мертвой зоны, пули чиркали по воде уже по-за ним, но мины густо и плотно хлестали по берегу, разбрасывая землю и каменья. Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лешка к желто и красно посверкивающей крепи берега. От перенапряжения, от сверхусилий, что уже и не усилия, а ползучая, жильная тяга, звенело в ушах, в голове, во всем заглохшем теле. Уже можно было встать, но он, хрипя, все молотил и молотил по воде. Наконец достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежал распластанно. Судорогой скручивало, выворачивало нутро. Тонко воя, он не глотал, он ел воздух вместе с песком, и с каждым взрыдом из утробы его вырывалось мутное облако недавно съеденной каши. Но Лешка ничего не чувствовал, он будто все плыл, плыл по бесконечной реке..

Шел бой. Немцы атаковали. Бойцам и командирам на плацдарме было не до какого-то солдатика, в одиночку выкарабкавшегося из лап смерти.

Предоставленный самому себе, Лешка дополз до камня, лег на него животом, переломился, и сколько из него вышло воды и слизи — не помнил. И сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный и вялый, тоже не знал. Все не сходила красная пелена с глаз. Когда же пришел в себя, убедился — и не сойдет: ссохшаяся за ночь пена красным пухом ше-

велилась на осоке, песок на урезе был черен от крови. Со стоном залез Лешка в укрытие, снял все мокрое, выковырял из земли узелок сухого белья, трясясь, натянул на себя, но согреться не мог. Он плакал, не утирая слез, не испытывая ни радости от спасенной жизни, ни горя, ни боли, — просто холодно, просто пустынно на сердце, просто жалко самого себя.

Разгоряченный боем, грязный, распоясанный, босой, скатился с яра Леха Булдаков и, нашарив Лешку, тряхнул его, прокричал, как глухому:

— Тебе облегчиться надо! Иначе не согреешься!

Лешка послушно встал на колени и в полусне пустил струю, которая текла и текла сама собой, а он продолжал дремать, раскачиваясь, и его все несло, переворачивало, стискивало водою. Булдаков разорвал мешок, завернул в него Лешку, укрыл ссохшейся телогрейкой, в которую тот укутывал телефонный аппарат при переправе, набросил шинеленку, в которой перебедовало несчетно раненых бедолаг.

— Тебе б счас, паря, стакан водки, — бормотал Булдаков, — а мне бы цельный котелок... Во бы я отважным сделался!..

«А мне бы уснуть и не проснуться», — подхватил Лешка.

Но он проснулся. Начавши выходить из забытья, попробовал шевельнуться — боль охватила все тело, казалось, все в нем наполнено иголками и они втыкаются в воспаленную плоть изнутри. С хрустом ломая себя, Лешка сел и увидел перед собой ухмыляющуюся рожу из тех базарных, что всюду вроде бы одинаковы и запоминаются как одно лицо — жуликоватого, разбитного малого, не утруждающего себя утомительной честной жизнью, блеклое, невыразительное лицо, но глаза цепкие, лоб не без «масла», в глубоких морщинах. Завершается все это чуть смятым, иссеченным шрамами подбородком. Ко всему лицевому набору приставлены такие же, как у капитана Одинца, лопухи — уши. Несмотря на войну, на постоянное изнуряющее напряжение, мужик или парень этот держался беспечным, разудалым ванькой с трудоднями.

— Тебе чего, Зеленцов?

— Ит-тыть! — ощерился собеседник. — Скоко тебе толковать-то? Не Зеленцов, а Шорохов. Шо-ро-хов, понял?!

— Видать, много за тобой концов тянется, и не только телефонных. — Лешка, взнявшись, задел головой верхотуру, насыпалось песку за ворот Вышаривая комочки из-под гимнастерки, вылез на свет божий.

Весь берег и река затянуты зыбучей, спутанной тучею отгара: работала во всю мощь артиллерия с обеих сторон, с утробным воем кружились самолеты, соря бомбы, шевеля, сгущая и клубя пороховую тьму.

— Ну че, дыбаем потихоньку? — подмаргивая, искривил один глаз Шорохов.

С головы его свисали телефонные трубки. Одну, обинтованную, Лешка сразу опознал и понял: совместили артиллерийского связиста с пехотным — не хватает народу на правом берегу.

Лешка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боль из суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но тошнота клубилась в чисто промытом, просторном нутре.

— Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина принесли, где они?

— Шусевцы-то? Оне долго на берегу кантовались, вроде как тебя ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чего приплавишь. Но как ты потонул, оне ушли.

— Давно?

— Да нет, токо што. Их любимый неустрашимый капитан заорал на них по телефону, оне и потопали

— Э-э, че ты патроны изводишь — планку-то не передвинул? — слышалась ругань командира Финифатьева сверху

Лешку опять скрутило, опять свело судорогой

— На-ко вобни, может, полегчает, — протянул ему недокурок Шорохов.

Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтоб только не тошнило, пососал дыма и зашатался, сломленно навалился на осыпь яра.

— Э-э, — тряс его Шорохов, — ты че? Ты че?

Лешка ловил ртом воздух, глотал густой кашей плавающий над ручьем отстой пороховой и тротиловой гари. От яра все время отделялись и катились по берегу камни, комки глины, иные с чубчиком грязной седой травы, достигали реки, шлепались лягушами в воду.

Шел бой. Все шел и шел бой.

— Болят члены? — Как и у всех земных путаников, у Шорохова манера — разговаривать дурачась, плести околесицу, потом неожиданно вывернуть что-нибудь.

— Все болит. Как майор?

— Майор ваш, — покривил губы Шорохов, — лежит в соседнем помещении, доходит, но командует, руководит.

— Ты подежурь еще, — попросил Лешка.

— Все равно спать не дадут, — пожал плечами Шорохов.

Вверху взрыкивал пулемет, дымящиеся гильзы, подскакивая, катились на осыпающуюся глину. Посинелых, окисленных гильз было много. «Где взяли-то?» — подумал Лешка и вспомнил: с баркаса. Пехотинцы вытащили баркас под яр, по трупам волокли.

— Э-эй, утопленник! Принимай в гости! — крикнул Финифатьев и свалился с яра, приосел, торопливо начал набивать диск патронами, перебирая вскрытую половину диска в руках что горячий блин.

— Как Леха?

— Жив, воюет... Не знаю, че бы сейчас отдал...

— Чтоб дать Лехе покурить, — неожиданно возникший из дыма и пыли, передразнил Булдаков Финифатьева. Рожа его, возбужденная, грязная, успевшая из пухлой сделаться костлявой, излучала угрюмую усталость и взвинченность.

— Леха! Сатана! — достав банку с табаком, начал оживляться и Шестаков, окликая давнего товарища.

Финифатьев сдернул Булдакова за голую ногу вниз, в окопчик.

— Пущай без тебя повоюют. Неча патроны жечь.

Леха свалился, сел, почесался и уставился на Шестакова. Финифатьев из угла окопчика вырыл сгармошенные кирзовые сапоги, кинул их Лешке.

— На. Ночесь подобрал — прибило к берегу. — Финифатьев довольно хмыкал, хозяйски распоряжаясь табаком.

Они, старожилы роты, и не земляки, а уже родня, расслабились в окопчике. Булдаков лежал на земле, закрыв глаза, отдыхал наработавшийся солдат. Финифатьев уважительно смолк.

Лешка завинтил крышку с драгоценными крошками табачка, порадовался, что не намокла махра. «Ах ты немец-подлец! До чего ж ты аккуратный!» — хвалил он противника за ловкое во всем устройство. Шорохов прошипел:

— Раздашь все!

Леха Булдаков не реагировал — курил, наслаждался, выпуская дым одной ноздрей.

— Невдали, за речкой, возле села, пальба была, — негромко сообщил он. — Не щусевские ли олухи нарвались на немцев? Лешка, отпрашивайся у майора. Чует мое сердце неладное.

— А Щусь? — Лешка вперился в Леху Булдакова.

— Здесь, здесь Щусь. На высоте командует, — приоткрыл один глаз Булдаков.

— Может, и откомандовался уж... — заметил Шорохов. — Давно к телефону не подходит. — И, надев вязки телефонных трубок на голову, заелозил в углу окопчика, вбивая себя поглубже в песок, чтоб теплее было.

Майор Зарубин лежал возле ячейки на подстилке из полыни, укрытый шинелью. Здесь его пригревало уже высоко вставшим, но сквозь дым и пыль едва светящимся солнышком.

— Сорвалось? — глядя мимо Лешки, спросил он.

— Сорвалось.

— Я и полагал, что сорвется, а на чудо надеялся. Да какое может быть чудо на такой войне... — Майор прикрыл глаза, обведенные голубыми кругами. Лицо его пожелтело, по щекам пошли белые пятнышки, будто цвело лицо, как у новорожденного младенца. — Как у них там?

— Лучше, чем у нас.

Майор пристально поглядел на Лешку, но ничего не сказал. Спустя время попросил:

— С телефоном давай ко мне сюда.

— Есть, товарищ майор. Сейчас телефонист будет.

Телефонная линия перегружена до накала, работа по ней шла беспрерывная, и по разговорам, хотя и закодированным («Ох уж этот русский код!»), Зарубин заключил, что на плацдарме находятся три стрелковых полка, универсально-саперная рота, рота «шуриков», взвод бронебойщиков, перетопивший пэтээры, разрозненные части да представители разных соединений: артиллерийских, авиационных и танковых. Дальше всех углубился по центру плацдарма полк Сыроватко, еще дальше — батальон капитана Щуся, без огня, в обход по оврагам проникший почти в тыл немцев. Ему-то сейчас больше всех и достается. Немцы во что бы то ни стало хотят отрезать от берега, сдавить в оврагах и уничтожить передовой батальон. По батальону Щуся немцы и наносили главный удар.

Полк Сыроватко, поддерживаемый гаубицами, ведя активные действия, клонился и углублялся на левый фланг с правого, боясь разрыва в центре плацдарма. Бескапустинцы, отвлекая на себя противника, не раз уже в глубине оврагов вступали в рукопашный бой. Правый, менее боеспособный, фланг немцы мало тревожили, все больше, сильнее и глубже наседали на полк Сыроватко, отделяя его от группы Щуся. В расположении полка Сыроватко находились представители штаба корпуса во главе с начальником разведки, и где-то там же дежурили командиры-наводчики от авиации — чины из штаба армии. Большое начальство требовало беспрерывного артогня и патрулирования с воздуха, так что майор Зарубин мог работать на себя, то есть всем полком бить по своим целям, заметно активизирующимся.

Лешка хотел кого-нибудь прихватить с собой, но вся живая сила вокруг была предельно занята войной, незнакомых же людей, что попрятались и затаились в береговых норках, никак из земли не выковыряешь, да и Шорохов, собираясь перебираться ближе к майору, сказал, что завсегда лучше в отрыв ходить, одному, мол, меньше гомону и вони.

Лешка броском перешел ручей, плюхнулся на осыпистый берег, с весны вымытый до синей глины, и пополз вверх по петляющей пойме Черевинки. Чем дальше он уходил от реки, тем глуше слышалась стрельба.

Великая река катила к морю, пересекая и ублажая одну из самых плодородных земель на планете. Но уголок, угодивший под плацдарм, слуда эта, был вроде коросты на ней, потому-то из путных хлеборобов по этому бесплодному берегу никто не селился, не жил, лишь выше по Черевинке, в изгибе ее, рассыпалось бедное, почти голое сельцо с громким названием — Великая Криница. Соломенные и камышовые крыши на хатах в селе сплошь снесло взрывами и огнем, сами хаты оттого, что вокруг них все повыгорело, гляделись раздето, пустоголово.

Чем дальше и выше по Черевинке двигался Лешка, броском минуя устья промоин и овражных отростков, тем чаще видел он сгустки телефонных проводов. Где-то среди них путалась и работала пока еще не обнаруженная немцами щусевская линия, и ушли, ой, ушли, отступились от нее ребята в поисках жратвы, и заблудились, ой, заблудились, ой, заплелись в этих непролазных джунглях: давно немцы стоят в обороне, давно тут лазят — обжили местность.

Вражеские огневые позиции по речке Лешка угадывал, замечал, запоминал. Вниз по течению Черевинки, по правую ее сторону, все выходы с плацдарма блокированы. С левой же по течению, нетронутой стороны в подмытом берегу никаких оборонительных сооружений нет, но кухни по воду сюда съезжали, коней здесь привязывали, за дровами спускались. В устье серенького овражка пучком росло несколько могучих тополей, сплошь увешанных черными грачиными гнездами. Лешка мимоходом подумал: дураки немцы будут, если не поселят в этих поверху не выгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Подумать-то подумал, но значения тому не придал, внимание его привлекла другая штука: по оврагу, по деревенской тележной дороге были проложены пучки проводов, и не просто проложены, но в канавки прикопаны, а где провод поперек дороги — вовсе закопан, чтоб при наезде не оборвали. «Здесь, здесь! Или штаб, или наблюдательный пункт», — подумал Лешка и, вылезши из затени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечина из тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. К поперечине было стоймя прибито две доски, образующих вход в блиндажик, завешенный плащ-палаткой, дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами, до окаменелости утоптанной площадке. На ней, укрепленная на треноге, стояла стереотруба, и на двух ящиках из-под патронов сидели наблюдатели, без мундиров, в нижних рубахах, перехлестнутых на спине помочами. Один, припав к стереотрубе, не отрываясь смотрел в окуляры и что-то говорил, другой, держа на коленях блокнот, быстро записывал и отрывисто выкрикивал команды.

Лешка переполз дорогу и, пригнувшись, устремился вверх, в видневшееся рыжее жерло — глину здесь брали для печей и подмазок селяне. Таких раззявленных ямин вдоль дороги было — что ласточкиных гнезд в яру. Залегши в ямку, Лешка отдышался, затем высунулся, увидел напротив ложок. Пологий ложок этот с густой дурью разливистой вершиной заползал в огороды и где-то там терялся. «Если ребята увились в огороды, пойти они могли только здесь», — заныло у него еще с реки не успокоившееся сердце, чуя беду.

Парни верно рассудили: этим логом немцы никуда не ходят — чего же рвать обувь и штаны о камни, об огрызки кустарников, цеплять на мундир репьи, когда кругом тропинок и щелей полно — иди куда хочешь без опаски, весь берег пока за ними, за оккупантами этими клятыми. В логу, совсем почти уж под крайними пряслами, из земли торчал осиновый желоб, из него в огрызенную скотом колоду сочилась вялая струйка воды. Переполнившая колоду вода растекалась лужею, скот, оставшийся без хозяев, привычно ходил сюда на водопой, размесил грязь, измочалил изгрыз до корней кусты.

Возле этого неприглядного, грязного, в каждой почти среднерусской деревне имеющегося места и сошлись русские с немцами. Кто из них забил овечку раньше — уже не узнаешь, обезглавленное животное валялось тут же, втоптанное в грязь, багровея голым боком, на котором заголена была полуснятая шкура. «Немцы, немцы забили и обдирали овечку. Наши бы забили и драли отсюда, чередили б скотину, как в Сибири хорошо говорят, в ручье, внизу. Немцам торопиться некуда, ободрали овечку, мясо и руки не торопясь обмыли...»

Похоже, что парни, напоровшись на немцев, сперва растерялись, быть может, заорали «хенде хох!», не углядев, что за оплесневелой каменной

оградой лежит и караулит добытчиков автоматчик. Он-то сразу же и свалил двух русских — оба вон лежат в отдалении, — остальные сгреблись с фрицами, занятыми делом, врукопашную, били прикладами, пытались стрелять. Рыжий мужик с норовисто закругленной макушкой каменно сжимал саперную лопатку, облепленную синими мухами. Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из которого не успела вылететь обгорелая гильза, широко и нелепо выкинув руки, увязив костлявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь лежал боец, при виде которого Лешка взвыл: «Васконян! Батюшки мои, Васконян!..»

Оборонял Тетеркин, этот российский Санчо Панса, своего славного рыцаря до конца и засек лопаткою бестию фрица, может, и не одного. Васконян успел выстрелить только раз, небось попал во врага, которого назначал себе уничтожить еще там, в Сибири, в зимней деревушке Осипово. Все следы человечьи, все лунки от копыт полны красной загустевшей жижей, даже на зелени заплесневелой колоды рыжими брызгами насохла человеческая кровь... Тучи мух, синих и рыжих, какая-то тля, липнущая к грязи и утопающая в ней, облепили смертный пятачок. Вороны расселись по оградам в отдалении, боясь приблизиться к месту водопоя и гибели, но к вечеру, когда поутихнет плацдарм, они налетят, они тут похозяйничают. Старый козел с козлушкой при приближении человека нехотя убрели от колоды, улеглись в глуши бурьяна, за полуразвалившейся кладкой каменной ограды. Козел, выставив рога из сохлого, пух сорящего бурьяна, задремал, дожидаясь, когда уйдет солдат. Козлушка настороженно прядала ушами — боязливо воспринимало животное стрельбу, битву, людей; но и козлушка начинала привыкать ко всему этому неспокою. Привык же козел-то, дремлет, по-шаманьи мудро прищурив глаза, жует что-то, уронив бороду в колючки.

Почти не таясь Лешка ушел вниз по Черевинке, мельком отметив, что в районе тополей, на наблюдательном пункте, все так же деловито идет работа.

В полдень с севера хлестанул порывистый ветер, волоча за собой мохнатые тучи, тяжело набитые снегом ли, дождем. «Юнкерсы», спеша до потери видимости проделать свою работу, не обращая внимания на плевки зениток, с нарастающим ревом ринулись на узкий клочок земли. Все живое, свободное от военной работы население берега забилось в норы, щели, примолкло в воронках, ожидая своей участи. Немцы полосовали ракетами, обозначая передний край. Боясь угодить по своим, «юнкерсы» с первого захода сбросили бомбы в реку. Ведущий авиазвена натаскивал ведомых, словно курица неразумных цыплят. На втором заходе низко, рисково и мастерски пошел он кромкой яра, оставляя зенитный огонь вверху, взялся класть яйца, благословлять иванов огнем так расчетливо, что яр обламывало огромными глыбами. Осевшей землей раздавило десятки таившихся в норах людей. Раскопавшись, выбравшись из могилы, солдаты протирали глаза, выковыривали землю из ушей, контуженно трясли головами. Многие раненые остались в яру навсегда, раскапывать их было некогда и некому — немцы начали очередную атаку. Бомбардировщики, повернув обратно, покачали крыльями над плацдармом своим фрицам: непогода-де помешала, а то бы дали еще жару иванам этим недобитым.

Все смолкло по обоим берегам — и немецкие и советские вояки перестали палить и орать: редко кому доводилось видеть такое воздушное диво, похожее на игру.

Чем дольше существовали на плацдарме люди, тем длиннее для них делались дни и короче ночи. Если и дальше облегчения не будет, не схлынет постоянно ломающая спину тяжесть — не выдержать им.

У немцев начался обед. Русские же попили водички, умылись, зарядили оружие и прилегли кто где.

— Эй, рус! Еван! Хлеб-соль! Чай-цукер! Кушай с нами! Красные пироги ставь на углы! Ха-ха-ха-ха!.. — кричали с немецкой стороны. Совсем вроде рядом кричали — садануть бы гранатой зубоскалов, да где она, граната?

— Экий весельчак, — сморщился майор Зарубин. — Фольклор наш изучил когда-то.

— Мошенники, они и есть мошенники. Саранопалы! — хлопал себя по бедрам Финифатьев. — Обедают и дразнются. Ну не ироды? Да доведись по еде вступить в соревнование социалистическое — Олеха Булдаков взвод фрицев умякает, облизнется и добавки попросит. Умякашь, Олеха?

Булдаков не отзывался. Он уволокся к артнаблюдателям и в стереотрубу увидел человека, перебежками двигающегося по ручью. «Вроде Шестаков?» Подлез Финифатьев. Артиллерийские наблюдатели, как и немцы, прервались на обед и, поскольку жрать было нечего, привалившись к стене ячейки, дремали. Стереотруба для Финифатьева была не просто детской игрушкой, а что-то необъяснимое из чудес света. «Ну чисто все знатко!» — всякий раз восхищался и до визгу радовался сержант.

Финифатьев оттер Булдакова от прибора, припал к нему и сразу напрягся, сглотнул слюну: с одного из тополей — Финифатьев упорно называл дерево осокорем — спускался человек. Спустился, отряхнул брюки и поковылял, разминая ноги, к речке, стащил рубаху, начал умываться. Взамен этого, совсем ясно видный, хватаясь за вбитые скобы, быстро и по-обезьяньи ловко на осокорь взобрался другой фриц.

— Не-эмец! Вот дак ушлай! Вот дак курва! — вслух изумился сержант и позвал: — Булдаков! Олеха!

— Че те? — нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикемаривший в пулеметной ячейке.

— Иди-ко сюда! — сошел на шепот Финифатьев. — Тут шче делатся-то!

— Да ну тя, дай часок соснуть.

— Я кому говорю?!

Ругаясь, Булдаков по короткому ходу сообщения переполз из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстраняясь от стереотрубы, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем, указывая другу поглядеть на какое-то диво. Бродяга, сплавщик, матрос с «Марии Ульяновой», плут и боец, перед которым Финифатьев всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге орясине этой генералом бы быть и не грех принять его верх, хоть и чином он не вышел. Зато уж если сержант повышал голос, Булдаков делался беспрекословным. Вымокший в холодной воде во время переправы, Булдаков маялся ревматизмом. А обувь где? Если фуфло это вологодское затеяло очередную детскую игруньку, попусту сжило его, только-только угревшего ноги, обернутые телогрейкой, — быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему черный кулак: первый нумер подносил своему второму нумеру его под нос всякий раз, как тот выводил его из терпения.

— Ты, парнечок, детскую сказку про Плюха и Плиха слыхал? Нет, конешно. А я иё детям читал. Вслух.

— Грамотные шибко все вы, вологодские! Тут дитю ноги судорогой свело, а ты какой-то херней тешишься!..

Финифатьев не внимал первому нумеру, он узил сияющие глазки, тараторил:

— Есть в этой сказочке слова: «Видит он моря, и горы, и еще там чево-то, но не видит ничево, што под носом у ево». Ты на лесину, на осокорь-то, хорошо погляди-ы! — уже со стоном пел Финифатьев.

Булдаков нехотя припал к окулярам, ухватил дерево с наблюдателем, ноздри его побелели, зашипели горячими поршнями.

— А-а, курвенство! У бар бороды не бывает...

Финифатьев почти рыдал:

— Это ж он, убивец, все насквозь зрит, мины пущает токо по цели!..

— Винтовку!

— Счас, счас, Олеха! Счас, миленький! — выплевывая пыль, задышливо частил сержант, бережно вытирая свою винтовку рукавом. — А ну сыпни, сыпни ему под хвост, шоб щекотно сделалось.

— Не мешай! — сказал Булдаков и, передвинув хомутик на прицельной планке винтовки, бережно ухоженной Финифатьевым, начал тщательно целиться.

— Молчу, молчу! — У Финифатьева, как у парнишки на охоте, напряженно ждущего выстрела, открылся рот.

Терпение всегда взбалмошного, размашистого чалдона — Булдакова — было поразительно. Дождавшись залпов с левого берега и разрывов на правом, он плавно нажал на спуск. Выстрел слышали только первый и второй номера. На осокоре в гуще ветвей и грачиных гнезд завозилась наседка, посыпалась труха, дымно клубясь, густея, и вот из трухи этой вывалился человек, обняв ствол ногами и руками, как Петька Мусиков — столб у бердских нар, все быстрее, быстрее наблюдатель катился вниз. На спине его задрался мундир, обнажая белое тело или рубаху, руки безвольно разжались, и он пошел турманом вниз. «Смородину исти», — понасмешничал Финифатьев. Наблюдатель уже в полете схватился за толстый сук осокоря, поболтался на нем, будто делая физкультуру на турнике, и рухнул в гущину речных зарослей. «Завопил небось, — порешил Финифатьев, — шибко любит вопить убиенный фриц. Да и Иван тоже, да и Тойво, и Жан, и Трестини, и Донеску — всякой твари, человеку тем паче, если больно, кричать хочется».

— Вот так-то оно и ладно, — подвел итог происшествию Финифатьев.

Булдаков молча выбросил из патронника гильзу, загнал новый масляно поблескивающий патрон, поставил затвор на предохранитель, высморкался и потребовал:

— Давай закурить!

— Да где же я возьму, Олеха? Нету табаку-то. Весь ты его вызобал, когда воевал у пулемета.

— Ничего не знаю. Ты командир. Обеспечь!

— Ох, Олеха, Олеха! Все-то тебе смехуечки! Уж такой вы безрассудный сибирский народ! Пазганёте человека, высморкаетесь — и вся тут обедня!

— Нет, не вся. Закурить чалдону завсегда после удачи полагается и выпить. Действуй давай!

В полдень же сразу после бомбежки позвонил полковник Сыроватко и сказал, что сейчас на правый фланг к артиллеристам придет представитель большого хозяйства кое-что обговорить.

Майор Зарубин попросил солдат пристально следить за поймой Черевинки, не давать немецким пулеметчикам особо резвиться.

— Какая-то важная птица к нам следует.

— Подполковник Славутич, — махнув рукой возле крупной головы, на которую была насунута солдатская пропотелая пилотка, доложился гость. — Заместитель начальника штаба корпуса. — И придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося. — Лежите, лежите.

Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно нескладного и усталого, пожилым казавшегося подполковника — значит, переправлялся вместе со всеми, и тонул, и утопил свое обмундирование, решил Зарубин, и ему не то чтобы легче, а как-то вольней сделалось от этого.

Тут в пещерку к Зарубину и сунулся сержант Финифатьев.

— Чего вам, товарищ сержант? — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов беспокоить его не станут.

— Тут такое дело... — начал Финифатьев и смешался. — Немца-наблюдателя мы пазганули.

— Ну и что?

— Дак наблюдателя-то Булдаков сшиб, ну, такой большой-большой боец. Матершынник-то.

— Ну и...

— Курить просит, ашшаульник этакой, за победу, говорит, завсегда, говорит...

Вспомнив про баночку-завертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту.

— Может быть, еще осталось.

— Нам на завертку токо, — дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. — Вот Олехе радость-то! Ему пожрать, покурить да выпить... — Перехватив взгляд подполковника, сержант протянул ему баночку. — Курите и вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части.

Славутич умело и быстро свернул цигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчало, словно бы прочистило дымом нутро, осадило в нем слизистую горечь.

Дела на левом фланге, у Сыроватко, совсем плохи. Противник забрасывает гранатами, мелкими минами овраги, где окопалась пехота. Ответить нашим бойцам нечем — гранаты на исходе, патроны на счету. С господствующей высоты сто немцы контролируют почти всю полосу берега.

— Надо ее взять. В лоб это сделать невозможно — выкосят. Нужен обход. Разведчики Сыроватко обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт. Малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается. Решено небольшой подвижной группой окружить и захватить этот пункт. Лучше всего сделать это в обед, когда немцы сойдут с огневых точек. Времени в обрез. Прошу выделить мне людей.

Все это подполковник Славутич говорил майору Зарубину ровным, отработанным голосом человека, привыкшего к докладам и умеющего делать их предельно ясно, без лишних слов и чувств.

— Вы что?! — вскинулся майор Зарубин.— У меня есть боевой офицер и сержант...

— Людей поведу я! — жестко отрубил Славутич. — Шел я сейчас по берегу и ловил на себе взгляды, один раз даже и услышал: «Вот она, тыловая крыса! Ползет в безопасное место...»

— Вы преувеличиваете, товарищ подполковник. Дармоедов и баловства всякого и правда много, но все же... в крайнюю минуту...

— Скажите, окружение — дело крайнее?

— Да уж...

— Так вот во время летнего наступления штаб нашей армии был окружен и атакован немецким десантом — и что вы думаете? Почти половина штабников оказалась без личного оружия! У господ офицеров по одной обойме в пистолете. Оружие не чищено со времен ликвидации сталинградской группировки! Это ли не бедлам? Воровство оружия и патронов тут же открылось. Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне и что в нем, в оружии, спасение. Танкисты Лелюшенко вызволили нас... — Славутич смущенно потупился. — Я могу у вас еще попросить закурить?

— Пожалуйста. — И крикнул наружу: — Шестаков!

Шестаков доложился майору, где был, что видел. Особо напирал на то, что обнаружил наблюдательный пункт, огневики этой части, очевидно, ходили к водопою и нарвались на наших, но скорее наши на них... и перебили друг дружку.

— Финифатьев, Мансуров, Шорохов поступают в распоряжение подполковника Славутича. Всем проверить оружие, зарядить диски, хотя бы и

последними патронами, взять по гранате. Шестаков при телефоне. Булдаков при пулемете.

— Есть!

— Этот боец плавал за штабной связью? — поинтересовался Славутич, когда Лешка полез вверх по яру, и, получив утвердительный ответ, удрученно продолжал: — Вот тоже и наш начальник связи... нет чтобы прибыть на берег, каких-то разгильдяев послал. Кстати, и здесь уже появился тылок, хотя место для него вроде бы узкое... Есть, есть, миляга, организовался... Прячутся за спины товарищей, ждут момента, чтобы смыться. А куда?

Подполковник, поднявшись, затянул ремень еще на одну дырку, хотя и без того уже был в талии как гончий пес...

Майор Зарубин работал, подгоняя огневиков, торопил их, просил не разлеживаться после сытного обеда, побольше поднести к орудиям боезапаса (дела на левом фланге, особенно на выносе его, в батальоне Щуся, ухудшились, надобно продержаться до темноты и тогда уж совместно решать, отводить передовую группу или оставлять ее на окончательное растерзание), и вдруг спохватился.

— Мансуров! Где Мансуров? — как бы очнувшись, твердил Зарубин.

«Какой-то наблюдательный пункт... Зачем он сдался? Этот подполковник Славутич... Что за блажь? Подполковник-то зачем пошел?..» Впавши почти в панику, майор Зарубин выкатился из земляной берлоги, скособочившись, хватаясь за бровку яра, торопливо, громко звал:

— Шестаков! Булдаков! Наблюдатели! Корнилаев! Вернуть людей! Бегом! Бегом! Вернуть подполковника! Нет, Корнилаев остается! А вы бегом, ребята, бегом!

Недремлющий вещун шарил в его груди брюшками пальцев, тыкал в сердце его — опоздал! С приказанием поторопился, с отменой его опоздал. Быть беде! Быть беде, быть...

Сухозадый, но пузатенький, что летошний кузнечик, немец по имени Янгель, насвистывая мотив полюбившейся ему русской песни: «Ах ты, душечка, красивая девочка», мыл в речке посуду и, несмотря на фыркающие над ним пули и рвущиеся неподалеку мины, думал о разных разностях. О нехорошем он думать не хотел, да и не думалось после обеда о нехорошем, пули, летающие над речкой, и прочее уже привычны. Янгель был налегке, без мундира, в офицерской шерстяной кофточке с закатанными рукавами, чтоб не замочилась рубашка. Пилотку он оставил в блиндаже. Голову, прикрытую поредевшими, жиденько вьющимися волосенками, пригревало солнцем, спину тоже пригревало, но вода в речке была холодная, приходилось мыть посуду с песком. Беленький, промытый песочек шевелился, разбегаясь струйками по дну ручья, нет, лучше по-русски — «ручей-ечка». Янгель не без удовольствия произнес вслух, отчетливо выговаривая букву «ч»:

— Ручей-ечка!

Он начал изучать русский, можно сказать, от нечего делать и на всякий случай, когда служил в винницком гарнизоне техником-связистом и на танцевальном вечере познакомился с веселой девушкой Ньюрочкой, которая, смеясь, говорила: «Обормот ты, фриц, по-русски ни бум-бум». Он спрашивал: что есть «обормот» и «ни бум-бум»? Насчет обормота Янгель так и не понял, а «ни бум-бум», когда ему Ньюрочка постучала пальцем по лбу, усвоил по звуку. Дивясь несуразности русского слова, весело смеялся. Ньюрочка была из трудармии. Солдатам и офицерам запрещалось вообще-то с ними вожгаться из опасения, что девочки могут оказаться агентами и партизанками. Но какой из Ньюрочки агент? Она была молода, все время хотела есть, и Янгель помогал ей питанием. Он же еще тоже есть молодой мужчина, и ему требовалась женщина... «О-о,

Ньюрочка! Огонь и пламя! Какого оккупанта ты сжигаешь сейчас на своем костре!»

Янгель имел отличия в службе, мечтал сделаться телефонистом международной линии и разжился (ах, какие все же в русском языке наряду с прекрасными встречаются нелепые слова: «разжился»! Как на ржавый крючок натыкаешься языком!) знакомством в ставке самого фюрера. В прошлом Янгель был трамвайным кондуктором, папа его был тоже трамвайным кондуктором, но в живости и остроте ума ни папе, ни Янгелю никто не мог отказать. Папа вообще был уверен, что восточный поход — это верный шанс для его сына, он непременно выбьется в большие люди. И Янгель старался изучать языки, на первый случай хотя бы русский, довольно сносно на нем изъяснялся, и это ему не раз уже пригодилось. Обер-лейтенант Болов сказал сегодня во время обеда: когда ему после ликвидации этого голодного сброда на берегу реки понадобится ехать к русским бабам в город, он непременно возьмет с собою Янгеля. Обер-лейтенант почти с русской фамилией Болов, не умеющий, однако, говорить по-русски, хотя воюет уже второй год в России, происходил из остзейских немцев и, как всякий остзеец, нахрапист, бесстрашен и туп. Янгель — из города Кёльна с великой его историей. Но дело, видимо, не в землях — дело в наследственности, которая и подсказывает человеку определенный образ мыслей и действий. Болов — выскочка, нерадивый ученик, которому рейх предоставил возможность отличиться, получить высокий чин и положение в обществе. Не хватает Болову благородства — забулдыга он. Ох, какое прекрасное русское слово: «за-бул-ды-га»! Как там еще? «За-дры-га», «зану-да», «за-сра...». Впрочем, что взять с человека, который два года на передовой, лишь изредка отдыхает от войны в каком-нибудь походном или зачуханном провинциальном публичном доме. Да, вот тоже слово трудное — «за-чу-хан-ном».

Любил, ох любил Янгель красивые мысли о себе и о мире божьем, легкое вино любил, доступные ему развлечения, например танцы под духовой оркестр. Он долго и старательно перенимал приятные манеры, посещая платные курсы фрау Ивальцен, дамы из знатного шведского рода, разорившегося во время послевоенного кризиса. В Виннице в каком-то важном отделе ставки фюрера работала шифровальщицей дама с незатейливым именем Гретхен. Конечно, она засиделась в девках, но Янгель умел вести себя тактично, и они провели приятно не один вечер, беседуя о музыке, литературе и даже об истории России, в которой столько необъяснимых глупостей. Ах, Винница, Винница! Подчистили тылы по приказу фюрера — видимо, русская пропаганда не напрасно орет о том, что у Гитлера резервы на исходе, но об этом молчок, мол-чо-ок!

Янгелю, однако, повезло и на этот раз: угодил он не в обоз, не в пехоту, по специальности угодил — в минометную роту, довольно безопасно пока ему. Конечно, с Винницей не сравнишь — там комната на двоих, чистое белье каждые десять дней, дежурства через сутки и эти незабвенные встречи с Гретхен. Унизительно, конечно, прислуживать обер-лейтенанту Болову, надраивать всякие пряжки и значки, которые обер так любит. Но разве трудно почистить обувь, вымыть посуду, повеселить его русским ядреным-ядреным анекдотом? Совершенно нетрудно. Зато вчера, вернувшись из села Великие Криницы, где они помылись горячей водой в низкой, дымом пропахшей бане, обер-лейтенант непринужденно кинул ему вот эту шерстяную кофточку: «Холодно ночами, Янгель. Носи». И еще сказал, что огневики-засранцы потеряли трех человек: ходили за село взять овечку, напоролись на русскую разведку, подняли стрельбу — трое убиты, двое ранены, а людей и без того не хватает. Слово «засранцы» Болов сказал по-русски, отчетливо сказал, чисто, и еще сказал, что зам командира роты завтра придет вместо него на наблюдательный пункт, а он отправится разбираться с этими огневиками и даст им по шопа. Такое простое и распространенное слово Болов произнес по-русски не очень

чисто. В общем-то, парень он способный, хоть и похабник — таскает с собою ворох развратных открыток, да еще показывает их солдатам.

Роте Болова поручено, кроме всего прочего, важное задание — чтобы ни одна щепочка, даже былиночка не переплыли в этот... на эту, правился Янгель, сторону. И снова обер-лейтенант проявил удивившую всех инициативу: посадил наблюдателя на дерево! Просто! Находчиво! Нагло! И конечно же, не напрасно обер-лейтенант жаждет скорейшей ликвидации, уничтожения этого действительно голодного сброда. Отпуск ему если не в Германию, то в ближайший город — может быть, даже в Винницу — обеспечен. Янгель заранее напишет письмо Гретхен, предупредит ее о своем приезде.

На дерево с утра полез давний спутник Болова, опытный вояка Отто Фишер. У него там между птичьих гнезд устроена засидка — крышка от минометного ящика привязана. Как и всякий южанин, любящий пожрать и поспать, Отто Фишер скорей всего привязался ремнем к стволу и задремал.

Янгель сложил мытые чашки, сверху прикрыв их фарфоровой тарелкой с золотой каймой, — посуда господина обер-лейтенанта, таков порядок. Разобрал котелки, крышки, прижал их к груди, свободной рукой потирая поясницу, распрямился, собираясь крикнуть: «Отто! Ку-ку!» — но крик в Янгеле сразу застрял: прямо перед ним за речкою-«ручейечком» (протяни руку — достанешь) стоял русский и приветливо улыбался изодранными, словно у драчливого кобеля, губами. Корешки зубов, среди которых особенно остро и страшно торчали два верхних кривых клыка, виднелись в глуби вздрагивающего рта, глаза же, бесцветные, остро и узко светящиеся, напряжены. Они делали броски по сторонам, мгновенно и зорко охватывали все вокруг. Но не по глазам, нет, по ноздрям, чуть вывернутым наружу, тоже вздрагивающим, нюхливым, угадывалась сосредоточенная работа внутри этого из ниоткуда возникшего человека. Ноздри пришельца пульсировали — вдох-выдох. Срывисто работало, билось сердце гостя. У Янгеля ничего не билось, не работало, ни сердце, ни ноги, даже крик в нем остановился. Янгель умер за несколько минут до своей кончины. Уже неживые, нет, мертвые руки его разжались и выпустили посуду. Тарелка обер-лейтенанта угодила ребром в белый речной песок, запрудила воду. Русский приложил палец к губам: тихо, мол, друг, тихо. Янгель согласно закивал, усердно, покорно, не сознавая того, что делает.

Русский кошачьим прыжком перемахнул речку, больно схватил в горсть перекошенный рот Янгеля и нанес два коротких, профессионально отработанных удара ножом ему в бок. Тарелка обер-лейтенанта закружилась перед Янгелем тысячью тарелок, беззвучно разбиваясь на белые осколки. Янгель понял: он умирает. Почему умирает? Зачем? А Гретхен? А Винница? Как же это? Что он сделал этому русскому? Он работал, изучал русский язык, готовился к будущей жизни. О, русский, русский, что ты наделал! Янгель последним, ему уже не принадлежащим усилием неожиданно рванулся и заверещал. Упав на колени, Янгель, как ему казалось, быстро-быстро на четвереньках убегал от русского в гору. На самом же деле он слепо вертелся на песке, и темная, нутряная кровь кругами расплескивалась по чистому бережку Черевинки.

В ту же минуту через речку метнулись еще несколько русских. Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, подбито подпрыгнул, метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Финифатьев, задержавшийся по приказу подполковника Славутича наверху бережка, выстрелил из винтовки. Уронив штаны, немец схватился за голову, ломая кусты, рухнул, повздымал зад, будто делал неприличные упражнения, и покатился в журчливую воду Черевинки, загребая ногтями песок, захлебываясь водой и кровью, и тут же из-под него заклубило и растянуло по речке красную полосу, смешанную с пес-

ком. В мути потревоженной речки укрылись малявки, подбиравшие в воде остатки еды, смытой Янгелем с обеденной посуды.

— Какого черта? Вы что, одурели? — раздалось в блиндаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова унтер-офицер Пюхлер, поднимая на ходу затвор автомата.

— Хенде хох! — тихо и яростно сказал ему подполковник Славутич.

В тот же миг сверху прилетела и игрушечной юлой завертелась яйцевидная синенькая граната.

— Ложись! — заорал Мансуров, скатываясь в песчаную вымоину.

Граната с досадным треском лопнула, словно кто-то пластанул напополам кусок брезента. Подполковника Славутича ударило в спину, уже падая, он выстрелил...

Немецкий наблюдатель, сыто подремывавший после обеда возле стереотрубы, оттого и не замеченный русскими, скатился с крыши блиндажа и, запинаясь о кусты, припустился вверх по ручью.

— Не отпустите, робятки! — закричал Финифатьев.

Но все были заняты, и, привстав на колено, сержант сам уложил драпающего немца.

Выскочив из блиндажа вслед за своим помощником, обер-лейтенант Болов дважды в упор выстрелил в спину Мансурову. Больше он ничего сделать не успел: Финифатьев со всего размаху ударил прикладом винтовки обер-лейтенанта и тем спас бойца, бросившегося к Мансурову и подполковнику на помощь. Сержант вложил в удар столько силы и злости, что не удержался, свалился вниз, уронив винтовку. Здесь его, заблажив, и пластанул штыком бежавший следом за обер-лейтенантом босой, в нижней рубахе солдат с бородкой. Перескакивая через барахтающегося Финифатьева, мертвого обер-лейтенанта, подполковника Славутича и Мансурова, немец, не переставая блажить, ринулся через Черевинку.

Лешка, спешивший вместе с Булдаковым к месту схватки, полоснул из автомата очередью и сначала увидел лишь белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уж наискось по груди расплывающиеся пятна. Еще до того как потемнели, наполнились кровью лохмотья рубахи, еще до того как, споткнувшись и далеко за речку отбросив винтовку, еще до того как убегавший солдат словно бы заглотнул свой крик и подавился им, — Лешка понял: он убил человека.

Наставив оружие в проем блиндажа, Шорохов крикнул:

— Кто есть — выходи! — И тише, зловещей: — Не то перестреляю!

Из проема донесло дребезжащий, тонкий голосок:

— Хитлег ка-а-апут! Хитлег ка-апу-ут!..

Держа автомат наизготовку, Шорохов вошел в блиндаж. В глубине, подняв колени до подбородка, закрываясь углом одеяла, вызевывая одно и то же: «Хитлег ка-а-пут!» — дрожал безоружный немец. Шорохов сдернул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтоб вытащить из угла, услышал притаенное журчание и не сразу, но догадался: вояка ослабел животом. Шорохов плюнул и начал шариться в блиндаже, распинывал банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немцу по уху

Булдаков вдруг рявкнул на Шорохова:

— Да уймись ты! Нашел время шакалить! Глотничать кончай! Не добивай фрица! К пулемету!

— К какому пулемету?

— К немецкому. Под деревом установлен. Первого номера сняли, второй в песок уткнулся — «Гитлер капут!».

— Во вояки у Гитлера остались так вояки!

— Всякие есть. Надо за майором.

— Да вон он, твой любимый майор, уже трюхает.

Опираясь на сучковатую палку, майор ковылял к блиндажу, поддерживаемый лейтенантом Боровиковым. За этой парой гуськом тащился во главе с топографом остальной служивый народ.

— Ну что? Как? Хотя вижу

— Подполковник и Мансуров убиты, товарищ майор. Финифатьев ранен, — доложил Шестаков.

— Ах ты, — поморщился майор. — Только что вот же живые были!.. Я как чувствовал... Мансуров, Мансуро-ов... Опытных бойцов совсем мало остается... — Майор приостановился возле разбросанно лежавших друг подле друга подполковника Славутича и Мансурова, перевел взгляд на убитого немца. — Пленные есть?

— Есть, товарищ майор. Нечаянно один сохранился.

— Немедленно его ко мне!

Лешка показал майору кивком на блиндаж и, слегка придерживая, помог войти в низкое помещение. Морщась, долго и неуклюже майор усаживался, сев, отвалился затылком к земляной стене.

— Вы связист? — властно спросил он пленного; немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам. — Отвечайте быстрее: вы — связист?

— Да, — коротко пискнул из-за печи немчик и услужливо добавил: — Связист Зигфрид Вольф. Я не стрелял, господин офицер.

— Связист Вольф, слушайте мой приказ: сейчас же возьмете телефонную трубку и скажете, что у вас тут дразнили русских — развлекались пальбой после обеда. Вы меня поняли?

— Да, — пролепетал Зигфрид Вольф, — я постараюсь, господин офицер. Я постараюсь...

— Гарантирую вам жизнь и лагерь для военнопленных.

Зигфрид Вольф взял трубку, продул. Майор настороженно следил за ним. Лешка поймал пальцем крючок автомата.

— Ах ты, дед, дед! Как же ты это?.. — растерянно твердил Булдаков, перевязывая Финифатьева.

— Он эть живой, супротивник-то, оборонятца,— плаксиво отозвался Финифатьев.

— Я те говорил: не ходи без меня никуда. Говорил?

— Да прекратите вы! — прикрикнул едва слышно майор.

Немецкий связист осторожно и боязливо дул и дул в трубку, в которой железно дребезжало.

— Вольф, алло! Вольф! Что за шутки? Чего ты дуешь в трубку? Я же слышу...

— Алло, Вальтер! — зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. — Алло, Вальтер! — уже бодрее продолжал он. — Что ты зуммеришь? Был обед... Хороший обед. — Зигфрид Вольф попытался улыбнуться, майор поощряюще кивнул ему. — А после сытного обеда, сам понимаешь...

Лешка снял палец с курка автомата.

— Так я спугнул тебя с кучи?! — засмеялся на другом конце провода связист. Слышимость у немецкой связи на зависть. — А что у вас там за шум был?

— А-а, это наши ребята пугали русских.

— Обер-лейтенант, конечно, культурно отдыхает, глядя на фотки с голыми бабами?..

Поперек узкого, хорошо снаружи высвеченного входа сломанно, задрав ноги, лежал обер-лейтенант Болов с уже вывернутыми карманами. Под ним все темнее делался песок. В светлых волосах уже рылись, хмелели от крови, увязая в ней, муравьи. Зигфрид не мог оторвать взгляда от убитого, но он хотел жить, очень хотел и, облизав высохшие губы, продолжил треп со штабным телефонистом:

— Ну а что же ему еще делать? Битва, бабы, шнапс — это и есть жизнь настоящего воина.

— Ну ладно, иди доделай свои дела, — бодро посоветовал Зигфриду штабной связист, — а то у тебя от натуги даже голос дрожит.

Майор поднял руку, будто притормозил что-то. Зигфрид Вольф послушно опустил трубку на дужки аппарата.

— Та-ак,— облегченно выдохнул майор, — одно дело сделано. Позовите ко мне Боровикова!

Булдаков принялся поить Финифатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок.

— Ты бы поел чего, Олеха. Тут от их осталось... Чужо все, погано, да че поделашь-то?

— Заговорил! — обрадовался Булдаков. — Жив, стало быть, вологодский мужик, жив!..

Майор бросил быстрый взгляд в сторону сержанта и друга его закадычного, махнул рукой Шорохову, чтоб убирался: времени на пустые разговоры не было.

— Скажите, — спросил он тихо Зигфрида Вольфа, — чьи наблюдательные пункты на высоте сто?

— Штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальонов.

— Где сам штаб дивизии и кто ею командует?

— Я не знаю, где штаб дивизии, — послушно и торопливо заговорил пленный. — Я мало чего знаю. Я не лгу, господин офицер. Слышал по телефону — генерал Либих.

— Гут, гут, — кивнул майор. — И на том спасибо, — добавил он по-русски. А про себя усмехнулся: «Вот истинный немец, работать умеет и знает лишь то, что положено знать. Наши связисты, не умея работать, знают все про все».

Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы. Зигфрид Вольф, положив руки на вздрагивающие колени, напряженно ждал. Зазвенел телефон. Зигфрид Вольф глядел на аппарат с ужасом.

— Гут, — удовлетворенно голосом азартного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. — Ответьте Вальтеру: мол, все в порядке.

Лейтенант Боровиков с изумлением смотрел на немца, разговаривавшего по телефону, на майора, у которого оживилось лицо, блестели глаза, и хотя он еще кривился набок, но вроде бы о боли забыл. Боровиков присел на нары, все еще не понимая, что тут происходит. Знаком показав положить трубку, майор взял у Боровикова свою кожаную сумку и, доставая сложенную карту, как бы между прочим поинтересовался:

— В случае повреждения связи кто должен выходить на линию — вы или Вальтер?

— Нам не велено отлучаться с передовой.

— Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта?

— Пятнадцать или двадцать минут.

«Эк у них отлажено-то все! Экие молодцы! Оттого и держат наполовину меньше наших челяди в штабах. При укомплектовании армий и дивизий численность людского состава втрое больше наших, а порядка — впятеро», — мельком отметил майор.

Все более входя в азарт, которого он в себе, пожалуй, и не подозревал, Зарубин начал быстро распоряжаться. Приказал Боровикову поставить пулеметы по берегам Черевинки, трофейный же с полным боекомплектом перенести к наблюдательному пункту

— По всей речке, подчеркнул он, — укрепиться, поставить боевые охранения. Противник, не смяв левый фланг, наутре непременно опробует фланг правый. Немцы сорить людьми непривычны, — пробурчал майор, — и голодом морить солдат не смогут — характер у них не такой. Под Сталинградом мерзлую конину по кусочкам делили. Мы тех коней изрубили бы, растащили, сожрали, потом скопом околевали бы с голоду...

Боровиков неуверенно прервал командира:

— А вам, товарищ майор, нужно немедленно переправляться.

— Да-да, — согласился Зарубин. — Но, лейтенант, тебе еще приказ. На берегу сколотилось много бездельников, об этом и Славутич говорил. Собери всех боеспособных, вооружи, заставь, убеди — как хочешь, но

надо держать оборону по речке, иначе мы все, и они тоже, тут погибнем. И еще — пусть артиллеристы немедленно оборудуют наблюдательный пункт. Свой. Эту крепость немцы скоро разнесут в пух и прах...

— Мы уже начали. Вам надо лечь, товарищ майор.

— Нет-нет, еще один фокус немцу на прощанье, еще один, — облизывая зашелушившиеся губы, бормотал Зарубин. И вдруг вскинул голову, показав рукой на выход. — Перережьте линию связи и захватите связиста.

— Есть! — козырнул Боровиков. — И все-таки, товарищ майор?..

— Да идите, идите! Я прилягу.

Рядом с блиндажом, занимая совсем немного места, прикинутые немецким одеялом, лежали подполковник Славутич и Мансуров. Чужое, запачканное глиной одеяло с тремя темными полосками по краям набрякло кровью.

Из блиндажа, кособочась, вышел майор, скользнул взглядом по все больше темнеющему одеялу, над которым уже с жужжанием кружились мухи, нахмурился, увидев за речкой в кучу сваленных мертвецов, у всех были вывернуты карманы, даже нагрудные, все они были разуты и раздеты до белья.

— Шестаков, ты что там, в речке, рыбу ловишь, что ли?.. Пулеметчики!

Два пехотинца выступили из укрытия. Майор оценивающе пробежал по ним глазами.

— Выберите место для трофейного пулемета. Довольно ему нас крушить. Всем в укрытия. У кого укрытия нет — спрятаться.

Эту команду солдаты выполнили с охотой, расползлись по ячейкам и щелям. Шорохов, уже перенесший свой телефон с берега в уютную ячейку наблюдателей, сидел на ящике, закрыв глаза, качался, вполголоса напевая коронную свою песню: «Дунька, Гранька и Танька-коса — поломаны целки, подбиты глаза...» В песне этой менялись только имена героинь, но дух и пафос оставались неизменными.

Боровиков с Булдаковым — лейтенант не хотел больше никого брать с собой — перерезали немецкий провод, нарядной вышивкой вьющийся по белому песочку, по травке, под кустиками смородины, и стали ждать.

— Ша! — выдохнул Булдаков.

По связи, пропуская провод в кулаке, бодро бежал плотненький немец в сапогах, за широкими раструбами — рожок, полный патронов, за спиной, побрякивая о ствол автомата, заземлитель, на боку ящичек телефона в кожаном чехле с застегнутой крышкой, на серо-зеленом, чисто вычищенном мундире связиста нашивки за тяжелое ранение, и детской игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде бы оловянная медалька — орден мороженого мяса, так звали ее немцы после Сталинграда.

Найдя обрыв и выругавшись, немец вынул из висевшей на поясе сумочки кривой связистский ножик, насвистывая, начал зачищать провод. В это время из-за спины протянулась лапища, по-русски сказали: «Дай!» — и нож отобрали. Невежливо, почти уронив хозяина, сорвали автомат.

— Вас ист дас?! — Увидев перед собою русского, пристально разглядывающего кривой нож, немец начал проваливаться куда-то в пустоту. — Вас ист дас?! — залепетал он.

Но русский громила грубо его толкнул: вперед!

Увидев отовсюду высунувшихся русских, затем и убитых немцев, Вальтер сейчас только до конца осознал весь ужас происходящего: он в плену! А тут еще сверху хищным коршуном свалился солдат, намереваясь обшмонать его, пленного, но обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и со зла пнул под зад.

— Как вы смеете?

Не ответив ему, майор заговорил по-немецки:

— Все, что надо, мы знаем. Нужно уточнить лишь детали. Советую говорить все честно.

Вальтер не успел удивиться или что-нибудь ответить, потому как увидел втолкнутого в блиндаж Зигфрида Вольфа, прикрывающегося мокрыми штанами. Он вспомнил голос связиста, как тот долго не брал трубку, и понял все.

— Убить тебя мало! — И резко обернувшись к майору, заявил: — Это не по правилам! Это противоречит...

— Прекратите болтовню! — оборвал майор. — Отвечайте на вопросы.

— Ответь господину офицеру на все вопросы — и он отправит нас в лагерь для военнопленных... — подал слабый голос Зигфрид Вольф.

— Я буду истреблять тебя всюду! Всюду! — вдруг подскочил, забрызгал слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху. — В плену, в Германии, на том свете!..

— Прекратите! — прикрикнул майор. — Заставили мальчиков воевать, да еще и стращаете их! Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет!

— Булдаков! — крикнул майор и, когда Леха зашевелился в проходе, приказал: — Воздействуйте на пленного.

— Щ-щас! — торопливо дожевывая, отозвался Булдаков. — У бар бороды не бывает, бля...

— Э-э, Олеха, — предостерег друга Финифатьев, — ты с им построжее, но не до смерти. Он нужон товарищу майору.

Зигфрид Вольф отступил за столик, прижимаясь голым задом к земляной стене блиндажа, дрожал, пытаясь натянуть мокрые штаны. Опористо, широко расставив ноги в сапогах с короткими мушкетерскими отворотами, набычился под низким потолком блиндажа второй пленный.

— Вальтер! — снова заныл Зигфрид Вольф. — Тут не театр. Все для нас кончено. Отвечай на вопросы.

— Это шче же он говорит, товарищ майор? — подал голос из глубины Финифатьев. — Шче пузырится?

— Не по правилам, говорит, взяли. Противоречит, говорит.

— А-а, маньдюк! Не по правилам! — протянул слабым голосом Финифатьев. — Тут, брат, как в нашем ковженском колхозе: кто рыбу не добывает — тот весь год ее употреблят, кто добывает — шче у проруби ухватит. Олеха все правила ему разобъяснит. Да Шорохова в прицеп возьмет — запоет и заплачет фриц.

Словно заслышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были плотно чем-то набиты. Он зыркнул по блиндажу, сразу уловил обстановку в помещении, вынул из-за голенища примитивный нож и начал срезать ногти. Увидев у русского с изорванными губами, который его больно пнул, темную, заеложенную ручку косаря, Вальтер тоже сразу все для себя уяснил: такие ножи он видел у русских не раз в деревенских избах и ощутил острие ножа не кожей, нутром — неслышное, бритвенно-тоненькое проникновение его в бок, в печень, вот так бьют жертву опытные убийцы, а что перед ним был матерый убийца, пленный уже усек.

— Я буду отвечать на поставленные вопросы, герр майор.

Зигфрид Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол, влепился мокрыми штанами в земляной пол и заплакал.

— Идите! — Майор махнул Шорохову рукой. — Идите узнайте, как дела у Щуся. Скажите, где мы. Ну, словом, приободрите товарищей. — И без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, спросил Вальтера: — Где штаб дивизии Либиха?

— В Великой Кринице.

— Генерал сейчас там?

— Да.

— Добро! — удовлетворенно потер руки майор и быстро нарисовал треугольник, сверху которого на острие значилось: «Высота сто». — Обозначьте укрепления на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту...

— О, боже мой! Боже мой! — Вальтер кулаками сжал голову, отыскивая глазами Зигфрида, неподвижно сидевшего на полу, плюнул в его сторону и начал набрасывать схему оборонительных сооружений, твердо уверенный в том, что полудохлые русские никогда высоты не возьмут. Пусть, пусть лезут!.. Когда же плацдарм будет очищен, он сам, лично расстреляет, нет, задушит этого подонка, что, сидя на полу, хнычет от мокра и страха. Воин великого рейха обделался!

Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко отчеркнул и вышел из блиндажа.

— Товарищ лейтенант, — подчеркнуто официально сказал майор Боровикову, — идите на берег, собирайте всех вольных стрелков, тащите сюда. Тех, кто будет вступать в пререкания или откажется идти, именем Родины расстреливайте на месте!

Лейтенант ел глазами майора, слушая его приказания, но сник, услышав последние слова.

— Что вы, товарищ майор... Я не смогу...

— Лейтенант Боровиков! — уже громко, резко произнес Зарубин, еще больше побледнев, попытался выпрямиться. — Если вы не выполните боевого задания, я прикажу расстрелять вас как саботажника и пособника дезертиров.

— Е-эсть! — Боровиков медленно поднял руку к виску. — Я постараюсь. Будет сделано, — вдогонку промямлил лейтенант.

Щусь сам взял трубку.

— Мы продержимся... Продержимся до вечера. Но на большее нас не хватит. До встречи. Помогайте...

Вызвав через полковую связь полковника Сыроватко, а через него представителя авиации, майор Зарубин попросил нанести штурмовой удар по деревне Великие Криницы и по высоте сто.

— А что там? Какие у вас разведданные? — спросил авиатор.

— Важные.

— Все-таки? Самолеты так просто не дают. Самолеты дороги, товарищ артиллерист.

— Я ничего не могу сказать вам по телефону. Сейчас к вам выйдут два автоматчика с картой. Вы сами убедитесь, что это очень важно, очень нужно для плацдарма. Сведения точные. Прошу вас верить мне! Ждите автоматчиков в штабе полковника Сыроватко.

На другом конце провода помолчали, и наконец авиатор сказал с легким выдохом:

— Хо-орошо! С этими же посыльными сообщите время, к какому планируете наносить удар.

Майор достал из брючного кармана часы, щелкнул старинной серебряной крышкой с дарственной надписью, из академии еще часы. Было без четверти три.

— Семнадцать ноль-ноль.

— Времени в обрез, но постараемся.

— Постарайтесь, прошу вас, — сказал майор несвойственным ему, очень удивившим телефонистов тоном. Майор был единственный человек в округе, которого всерьез побаивался даже Шорохов, уважал, как может уважать «Бугра» рядовой член подконвойной бригады.

Взяв трубку своего телефона, майор вызвал «Берег» и удивленно вскинул брови.

— Что со связью, Шестаков?

— Садится слышимость, товарищ майор. Капитану Одинцу да покойнику Мансурову надо спасибо сказать за то, что еще что-то слышим. Две катушки трофейного провода с твердой изоляцией — для прокладки по дну реки — они сработали. С нашим хиленьким проводком мы не продюжили бы и сутки, но и трофейная нитка составлена из обрывков, на стыках изоляция намокла..

«Вот так... вот так воюем, так побеждаем, — раздраженно подумал майор Зарубин. — Третий год каждый день натыкаешься на результат блистательной подготовки к войне. И ничего нам другого не остается как героически преодолевать трудности!»

— На сколько времени нас хватит?

— Думаю, на сутки, может, поболе.

— Добро. — Майор поскреб лицо, выпрямился.

К телефону подошел сам командир дивизии. Коротко и четко доложив обстановку, Зарубин услышал зажатый связью голос:

— Командиров тридцать девятой, сто шестой, шестьдесят пятой — на провод! А ты, значит, майор, скорректируй огонь своего полка и девятой бригадой высотку пригладь. Пригладь. Она у нас, голубушка, как больной зуб. Выдерните-ка его!

Сыроватко, у которого майор Зарубин потребовал дополнительную роту для штурмовой группы Щуся — чтобы выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончании бомбового удара и артобстрела атаковала, — впал в сомнение:

— А колы последние хлопцы полягут, кто нас заборонит?

— Война, — сухо ответил майор.

Сыроватко помычал, покашлял в трубку.

— Ты ввэрэн, шо высоту можно узясть?

— Почти.

— Аж! — громко, будто попав ниткой в ушко иголки, удовлетворенно воскликнул Сыроватко. — Колы б ты сказав — визмем! Заберем! Я б тоби хлопцив не дав. Пид той высотою моих хлопцив дуже богато лежит. Загубилы их те, кто был полностью ввэрэн у вуспехе.

— Нет, на войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. А хлопцев вы даете не мне.

В половине пятого начался мощный артналет на высоту сто. Долбили ее фугасами разрушительные гаубицы-полуторасотки, за ними, как бы присаливая, сверху густо сыпали снарядами два многоствольных полка из шестидесятимиллиметровых пушек.

Сидя на высоком, из ящиков устроенном постаменте, схватившись за стереотрубу, чтобы не упасть, майор Зарубин вел огонь одним орудием лучшего в полку расчета — сержанта Анциферова. Но и редкостный артиллерист Анциферов не мог попасть по укрытым за скатом высоты сто штабным укреплениям. Покато от берега начавшись, высота, подмытая ручьем с материковой стороны, круто в него и обрывалась. Снаряды Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею, в полого и длинно тянущемся к селу Великие Криницы косогоре. Немцы ходили по нему, жили тут, воевали, толклись. Такие длинные, унылые и одышливые косогоры в Сибири называются чудно и точно — «тянигусы». Его, этот заречный тянигус, и в мирное-то время с корзиной грибов или с возом зеленки одолевали, отдыхая по нескольку раз, у лошадей потели бока, пока они взбирались наверх, и фыркали облегченно, завидев дом с опрятными конюшнями, с вечно по двору летающим куриным пером. Сама природа здесь сделалась союзником врага.

— Анфицеров! Федор! — почти умолял Зарубин. — Надо попасть! По танкам из наших гаубиц стреляют только с горя, но ты выполни назначение свое: разрушь! Ты же разрушитель, Федор!

Меняя угол огня, коэффициенты, довороты предельные делал майор Зарубин, но получались недолеты или перелеты. И когда майор отчаялся, Анциферов предложил:

— Может, пару орудий на берег выкатить?

— Километр, полтора? — Майор Зарубин прикинул траекторию. — На берегу, на открытом месте — перебьют вас, а?

— Вас вон как бьют, ничего.

«Молодец! Ах, молодец Федор! Неужели я так отупел, что и такого пустяка сообразить не мог?»

— Сколько надо?

— Двадцать минут.

— Действуй, дорогой, действуй! — Майор отлип от стереотрубы, но не отнимал от уха телефонную трубку.

— Пер-рвое и второе орудия девятой батареи к ведению огня готовы! — раздался загнанный, но вроде как и ликующий голос.

— Мы не на учениях, младший лейтенант! — охладил командира огневого взвода девятой батареи майор. — Передаю данные. Слушать внимательно!

Уже пятым снарядом Анциферов попал плотненько, за скат высоты, и, дав волю голосу и чувствам, майор Зарубин скомандовал:

— А теперь по этим же раскатам обоими стволами беглый огонь! Сколь возможно быстрей разворачивайтесь!

Малое время спустя за рыжеватым скатом высоты, почти голым, закипели разрывы.

— Вот так-то! — Давно отучившийся вслух выражать чувства, майор Зарубин попросил водички. «Если сегодня замены не будет — умру»,— подумал он безо всякой, впрочем, жалостливости к себе, как будто даже испытывая облегчение от этой мысли.

Над рекой послышался слитный, все нарастающий гул, точно не по небу, а по булыжной мостовой накатывались, убыстряя ход, чудовищно звучащие машины. Низко, почти над самой водой затяжелело двигалось звено «ИЛов». Взмыв над яром, штурмовики забрались повыше и оттуда, будто алмазами по стеклу чиркнув, ударили ракетами, затем высыпали бомбы и принялись ходить над деревушкой и высотой сто, поливая ее из пулеметов и пушек. Не успели уйти «ИЛы», появилось новое звено штурмовиков, выше прошла пятерка белых, изящных самолетов, сверкающих раздвоенными хвостами, — дальние бомбардировщики. На плацдарме решили: не было в достатке штурмовиков, вот выслали дальние бомбардировщики; зайдя в тыл, не сбивая строя и хода, «петляковы» развернулись, заваливаясь в пике, и пошли почти отвесно на деревню, все ниже, ниже и стремительней. Из пике они вышли легко, взмыли в небо как бы играючи, за ними ушибленно ахнул, качнулся берег. Закрывая давно уже скосившийся церковный куполок, выбросились черные вороха взрывов. Взрывами подбрасывало небо, солнце качнуло, будто маятник старинных часов. Долго еще кружился дым над горою, падали сверху бревна, горела, реяла в воздухе солома крыш, камыши, будылья. Горячий воздух не давал земному праху опасть на землю, содрогающуюся от толчков.

Черные работники войны, навидавшись за день немецких лапотников, натерпевшись от них, радовались. Опытный вояка майор Зарубин и тот не мог сдержать злорадного торжества: уж и постарался авиатор!

Два «мессершмитта», постоянно дежуривших над плацдармом, вывалились из облаков, погнались за «петляковыми», но ведущий залепил по ним очередью из хвостовых турелей. Ведомые скрестили очереди на светящейся струе ведущего, и «мессершмитты» отвалили, боясь сунуться в эту вроде бы маскарадно, на самом же деле смертельно пульсирующую букву «ж».

«Вот бы завсегда так!» — единодушно думал плацдарм. А майора Зарубина продолжало точить недовольство: «А у нас? А у нас в славной девятой бригаде еще со времен Порт-Артура сохранились так называемые хоботные: этакий пердило мужик, как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы-шнейдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. А средства управления? А штабные и тыловые порядки?.. Однако ж брюзга я стал... Дохожу потихоньку, должно быть».

(Окончание следует)

ЛЕВ КОТЮКОВ

*

БЕЛАЯ НОЧЬ

* *
*

И гаснет последний свет,
И время не превозмочь.
Над черной рябиной снег,
Над бездной белая ночь.

И в белой, вечной ночи
Незрима душа моя.
И робкий огонь свечи
Прикрыла ладонь твоя.

Целую твою ладонь
Над пламенем не дыша...
И смотрит в живой огонь
Из бездны моя душа.

У времени на краю
В безмолвной ночной глуши
Целую ладонь твою,
Не помню своей души.

Кружит одинокий снег,
Уносится время прочь,
И черный, незримый свет
Сжигает белая ночь.

* *
*

Мчится время навстречу движенью,
Нет пощады живой красоте.
Белой ночью над белой сиренью
Расцветает дыра в пустоте.

Кто там белою ночью стучится?!
Телеграмма!.. К чертям!.. Разорви!
И любви несказанное снится,
Невозможное снится любви.

Снятся вишням пропавшие дети,
Снится рельсам погибший вокзал...

«Я уже побывал на том свете...
Я на этом еще не бывал», —
Шепчет спящий сухими губами,
Силясь время во сне превозмочь.

И на север уходит садами
Торопливая белая ночь.

Шепчет спящий: «Никто не узнает...»
И кричит: «Ничего не таю!..»
И сирень в забытьи обнимает
Как погибшую душу свою.

* *
*

Свет обращается в золу,
И сон — как пытка.
Стаканы бродят по столу,
Ползет улитка по стеклу,
Скрипит калитка.

Золе остывшей снится свет
И горний Город.
Кончается парад планет.
Горит Памир. Дрожит Тибет.
Во сне души со мною нет
И в сердце — холод.

И ловит душу мир иной
В земном эфире.
Бормочет время за стеной,
И страшно мне, что ты со мной
В безлунном мире.

И тщится разум распознать
Твою улыбку.
Который час? Неужто пять!..
Не хочет темень отступать,
И камень силится догнать
Во тьме улитку.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

*

ПРЕЖНИЕ ЛЮДИ

* *
*

Ложились рано — с курями,
вставали рано — с петухом,
были близко знакомы с краями
города и света...
Кругом
Времена туманные стояли.
И картошку меньше он ценил,
чем крупу и макароны,
едва ли
пуль боялся больше чернил.

А она девиц осуждала,
что рожать не больно хотят,
ангела с небес ожидала,
в проруби топила котят.
И стоял их домик под небом,
и светился ночью любой
разве снег на крыше,
и снегом
заносило их с головой.

* *
*

Мир делился на чужое и свое,
своего намного больше было в нем:
дом, и дворик, и домашнее зверье,
даже облако над крышей и двором.

Вся родня была своя — ходила к нам,
и встречали мы ее своей стряпней.
А чужие жили где-то по краям
гулкой сферы, переполненной родней.

Но скользила эта сфера по оси
и по бревнышку теряла на лету
старый сруб, такой обычный на Руси:
голубь сизый да наличники в цвету.

А внутри переносили хуже нет
с каждой новою весной такой полет,
только встав из-за стола, качнулся дед,
вот уж бабушка с постели не встает.

И все меньше оставалось своего,
и нездешним потянуло от стены.
И на собственную жизнь и естество,
вырастая, я смотрел со стороны.

Да, как будто это журавлиный клин,
полетел за горизонт семейный клан...
Выйдут сроки, и останусь я один —
и тогда сооружу аэроплан.

ГЕРМАН ГЕЦЕВИЧ

*

БАБОЧКА В САДУ

* *
*

Прислонясь к окну,
Вижу не звезду,
Даже не луну —
Бабочку в саду.

Вот она, с крыльца
Да на край стола:
Зыбкая пыльца,
Гибкие крыла.

Кто же ты? — скажи,
Не своди с ума:
То ли бред души?
То ль душа сама?

Легкая хандра
Плоти поутру?..
Как же ты, сестра,
На таком ветру?

Сквозь рассветный дым,
По сухому льду
Смерти... Серафим, —
Бабочка в саду.

Вот алоэ лист —
Прочный минарет.
Он зубчат, мясист.
Он живет сто лет.

Но мертвы черты
Света за окном.
Я на этом. Ты —
Все еще на том.

Из палаты в холл —
Порх! — и все дела.
День как миг прошел.
Ночь как жизнь прошла.

* *
*

Я на дне. Я печальный обломок.
И. Анненский.

Я свободой бесплатно владею,
Я лежу, как обломок на дне,
Вспоминая свою Иудею,
Потонувшую в красном огне.

Надо мною сгущаются тучи,
Неподвижно стоят облака,
Чьи тела, словно жирные туши,
Рубит дождь на манер мясника.

На плечах каменеет сорочка,
И на гребне вечернего дня
Бьется жизни кровавая точка,
Но уже в стороне от меня.

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭКОЛОГИЯ, ЭТИКА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ»: ШАНС ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Сегодня экология представляется мне как деятельность, направленная на преображение всех остальных форм деятельности современного человека: управленческой, производственной, социальной, здравоохранительной — всех без исключения. Ибо человечество подошло к тому пределу, за которым, если не будет пересмотрена вся наша жизнь в пользу сохранения природы, мы неизбежно должны будем погибнуть. Критический момент наступил.

Мы, современники, видим экологическую проблему в двух аспектах. Первый — технический. Это прежде всего поиск безотходных технологий, производства энергии и товаров потребления. Без этого дальнейшее производство немыслимо, если учесть, что в конечном продукте содержится не более 1 — 10 процентов от количества сырья, запущенного в производство, а 90 — 99 процентов идет в отход, загрязняя атмосферу и воды, способствуя вырубке лесов и эрозии почв. Второй аспект — сокращение наших материальных потребностей, сокращение вопреки научно-техническому прогрессу (НТП), главное назначение которого не только потребности удовлетворять, но и бесконечно их умножать. На фоне НТП сокращение потребностей представляется делом сомнительным и отдаленным. Мы относим это требование не к себе и даже не к своим детям, а к отдаленным поколениям.

Но вот в чем дело: если даже безотходные технологии в ближайшие десять — двадцать лет сократят расход природных ресурсов в два раза, а население Земли за этот же срок увеличится в полтора раза, а потребности хотя бы половины населения увеличатся в той же пропорции, как это имело место в течение последних десяти лет, темпы разорения природы, использования ее ресурсов не только не сократятся, но и очень сильно возрастут. Иначе и не может быть: бесконечность (бесконечное возрастание потребностей и результат этого в абсолютных цифрах) рано или поздно обязательно превзойдет конечные пусть и грандиозные, но все-таки конечные цифры природных ресурсов, таких, казалось бы, неисчислимых, как количество кислорода в атмосфере, запасы минеральных ископаемых, объемы пресных вод и т. д. Значит, исход очевиден как дважды два — четыре. Человечество, которое само себя загнало в экологический тупик, оставаясь таким, какое оно есть, выйти из этого тупика не сможет. Для этого оно должно принципиально изменить свои отношения с природой, должно усвоить и принять к действию тезис: человек вовсе не царь природы, он находится не над ней, а в ней самой, как ее часть, далеко не самая необходимая, но самая жестокая и эгоистическая, а в конечном счете и антиприродная. Природа — идеальный механизм самореализации, в ней нет неиспользованных возможностей и есть все, что только в ее условиях может быть (и нет ничего, чего быть не может).

Почему тот или иной вид растений, то или иное животное существует? Потому, что оно может существовать в природе, в ее климатических, почвенных и других условиях, в ее эволюции. Нечто может быть потому, что может быть, — это не тавтология, это мудрость природы и самодостаточный ответ на вопрос. Ответ вполне логичный при условии, что для каждого существа его потребности в пище, пространстве, размножении, в продолжительности жизни, одним словом, все без исключения его потребности определены раз и навсегда и все, вместе взятые, составляют некий баланс живого вещества и условий его существования, баланс, при котором имеет место полная самореализация природы, без малейшего нарушения равновесия между возможностями и потребностями. И только человек (с некоторого времени) стал определять свои потребности сам для себя, без учета возможностей природы и сверх ее собственной самореализации.

Так как же ему не быть существом антиприродным?

Отношение человека к природе может измениться только после того, как люди изменят свои *отношения друг с другом*.

Это явствует хотя бы из того, что огромная часть в потреблении природных ресурсов расходуется на содержание существующей ныне системы вооружений. Сколько металла расходуется на вооружения? Сколько хлопка, горючего, взрывчатых веществ? По разным сведениям, треть всего используемого сырья расходуется предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) и на содержание вооруженных сил при том, что ни для кого из нас лично это не является насущной потребностью, что для большинства уже сегодня это очевидный абсурд. Тем более, если учесть, что предприятия ВПК, испытательные ядерные полигоны — это еще и прежде всего главные отравители атмосферы, всей окружающей среды.

Установлено, что если бы эти средства были затрачены на мероприятия по охране природы, на очистные сооружения, восстановление лесов и почв, на вложения в те же безотходные технологии — в течение пяти-шести лет можно было бы коренным образом изменить состояние окружающей среды.

Но таково наше бытие — мы во власти абсурдов, созданных нашими же руками.

Итак, первейшая и труднейшая задача — научиться жить без войн и вооружений.

Когда-то это умение мы приобретем? Или — раньше погибнем?

Но ведь и помимо ВПК нецелесообразное расходование ресурсов и соответственно засорение окружающей среды происходит при яростной конкуренции товаропроизводителей, то есть при перепроизводстве, при сокращении сроков службы любого товара в результате все той же конкуренции. И не нужно думать, будто расточительно только богатство, нет, при дефиците товаров и нищенстве наступает беззаконная хищническая добыча природных ресурсов, никто не соблюдает правил охраны окружающей среды, никто эти правила не пытается установить. Надо иметь в виду, что богатство создается пусть и не всегда праведным, но хорошо организованным трудом, бедность же — результат неорганизованного и малопроизводительного труда.

В бывшем Советском Союзе могущество создавалось прежде всего за счет самого хищнического разорения природы. Если бы Россия не обладала огромными ресурсами и огромной территорией, она никогда не стала бы советской, тем более никогда не организовала бы вокруг себя «лагерь социалистических государств», пользующихся «советскими» природными ресурсами. *Богатство нищих никому не приносит пользы, ни богатым, ни бедным.*

Природа сама по себе эволюционна, а революции и войны исключают людей из природной эволюции, из самой природы.

Очевидно, что человечество давно миновало эпоху своего гармоничного сосуществования с окружающим миром (как это было в древней Греции и в древнем Китае), эпоху, когда люди уже перестали ощущать повседневную власть природы над собой, но еще и не почувствовали своей власти над природой. Когда они уже изобрели компас, но еще не знали огнестрельного оружия.

Само собой разумеется, мы не можем, а если бы и могли, то вряд ли решились бы вернуться к тем далеким временам, но, может быть, прошлое оставило нечто, что помогло бы нам сегодня «модернизировать» свои отношения с природой?

Мне представляется, что такого рода завещания (в предвидении нашей судьбы) нам были вручены религией.

Все религии экологически безукоризненно чисты и правомерны уже по одному тому, что признают наличие над человеком высших сил и отрицают его собственную власть над миром, все требуют от человека умеренности его потребительских страстей.

И в наше критическое время нам необходимо приобщение ко всему нравственно-значительному, что создано умом и верой человека, создано в истолкование и упрочение нашего собственного существования на Земле, а самым значительным, выраженным через слово, завещанием являются такие книги, как Библия, Коран, труды Конфуция и его последователей.

Да, нам необходимо новое приобщение к религиозным началам жизни, а за религиями остается обязанность значительно большего взаимопонимания и взаимной терпимости на основе не только историко-культурной, но и исходя из современного экологического сознания. Ни один народ не обходился без религии, и ни одна религия не возникла из пренебрежения к жизни и к природе в целом. Наверное, в нашем сознании нет ничего более традиционного, чем религия и религиозные догматы, но как бы ни был памятник прошлого грандиозен и значителен, день сегодняшний не может быть подчинен только поклонению этому памятнику. Современная духовная жизнь — тоже несомненный факт, а сопряжение современности с историей — это задача культуры. (Это она предоставляет нам возможность читать или же видеть на сцене древних греков и не менее древних китайских мудрецов в исполнении нынешних шошуди; так или иначе, но именно она совмещает религиозные догматы с запросами пусть даже и нерелигиозного юношества.)

Именно культура позволяет нам понять, что человек, если даже он и не знает имен изобретателя первой паровой машины, первого автомобиля, первого компьютера, все равно без особых потерь может пользоваться всеми современными техническими средствами, но если он не знает имен Христа, Магомета или Конфуция, это умаляет и его собственную жизнь, и жизнь в целом. Жизнь в этом случае лишается уже накопленного ею смысла, применительно к нашей проблеме — смысла экологического, а тогда и человек становится рабом безымянного НТП, того самого, который лишен памяти и ориентиров в восприятии настоящего. Тогда настоящее воспринимается только как необходимая ступень к будущему. К будущему с еще более развитыми и умноженными материальными потребностями. Так оно и есть — день сегодняшний всегда мешает НТП, который торопится в день завтрашний — скорее, скорее! — и этой своей торопливостью он будущее предает, потому что будущее — ничто без прошлого и без настоящего.

Для экологии ближе не энтээровский линейный прогресс, но евангельское изречение: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф., 6:34).

Нынче ученые начинают осознавать все ими в экологическом плане содеянное, а выход ищут в безотходных технологиях, больше им искать негде. НТП корректирует как может себя, но изменить себя он не может, стать экологически чистым ему не дано, не дано и провозгласить духовно-экологические принципы.

Однако же никому не дано и отменить НТП, а значит, дело опять-таки за культурой с ее способностью совмещать прошлое с настоящим, совмещать и в науке и в искусстве, тем самым работая на будущее.

Только экологизация культуры, включая в это понятие и всю разумную жизнедеятельность человека, должна снова, но уже в другом качестве, приблизить нас к природе.

Но что же такое сама экология, как ее определить? — спросим мы.

Экология — явление для человека новое, хотя и давно существующее в его бытии подспудно.

Экология возникла в середине прошлого века благодаря знаменитому ученому Э. Геккелю как очень узкая и специфическая отрасль биологии, призванная изучать взаимоотношение растительных и животных организмов между собой — и только! Кто бы мог подумать, что менее чем через сто лет объектами экологии станут вся природа и все человечество в их взаимоотношениях, в перспективе их дальнейшего сосуществования?! Теперь-то мы удивляемся — как это раньше, ну хотя бы в период европейского Ренессанса, экология не возникла под любым другим названием?

Дело объясняется просто: не было практической потребности в таком учении, человечество, пользуясь дарами природы, еще не противопоставляло ей себя. Но вот потребительское отношение к жизни завело жизнь в тупик, в темный лабиринт, в котором мы и бродим на ощупь, не имея представления даже и о границах этого лабиринта.

Вот и экология нынче тоже безгранична. Она не знает, что́ есть она — наука или массовое общественное движение? практика или теория? мышление или поведение? прагматизм или альтруизм? Является ли она постоянной или только эпизодической составляющей нашей духовности? Нам известно только, что она необходима, что без нее мы перестанем быть.

Экология сегодня — это, вернее всего, тот разумный консерватизм, который не отрицает завтрашнего дня, но и не рвется в него, пренебрегая днем сегодняшним. Для разумного консерватизма важно, чтобы завтра было хотя бы не хуже дня сегодняшнего (а еще лучше, если хоть немного, а все-таки лучше). Этот постулат уже сдерживает наши потребности, соответствует и реальной жизни, для которой один день и целая вечность равнозначны. А если жизнь прервется на одно мгновение, только на один-единственный день? Если это случится, жизнь не восстановится уже никогда...

Поэтому экология и ее этика и стремятся воплотить свой принцип в наше повседневное существование.

По существу, геккелевский термин «экология» давно устарел, но не будем ратовать за новые и новейшие обозначения — это не бог весть сколь важное и необходимое занятие, от нас зависит придать слову (и придавать в дальнейшем) иной, гораздо более широкий смысл, такой, чтобы прилагательное «экологический» находило свое место в сопряжении со множеством существительных, таких, как «религия», «культура», «страна», «государство», «жизнь», «образ жизни».

Ну а этика экологии — что кроется в этом словосочетании?

Многое кроется. Много чего вскроется, если все-таки наступит время, когда человек будет руководствоваться законами экологии. Если и в самом деле биосфера перейдет в ноосферу (по Вернадскому), то есть антропогенные процессы, вся деятельность человека впишутся в естественный природообразовательный процесс.

Предпосылки к этому — теоретические — налицо. Вернадский на них указывает, приравнивая, скажем, создание человеком новых видов животных, новой, самой разнообразной растительности (культурные растения) или же создание культурного слоя — почвогрунта — к таким природным процессам, как процессы геологические.

Вот они сольются в нечто единое — те и другие процессы и явления, — а тогда (по Вернадскому) биосфера эволюционно перейдет в ноосферу.

Теоретически — да, такая эволюция возможна и даже неизбежна. Если (опять-таки «если»!) мы сохраним биосферу и сами в ней сохранимся до того времени, когда этот переход одних качеств природы и человека в другие их качества встанут «в повестку дня» нашей планеты.

Современная экология по большому счету ради того и возникла, ради того и существует, чтобы обеспечить переход биосферы в ноосферу. Уникальная задача —

еще ни одна наука, ни одна человеческая деятельность подобных задач и целей перед собой не ставила. Конечно, было бы куда как лучше, если бы подобных задач не возникало никогда, но что поделаешь? — XX век со всей остротой задачу поставил, век XXI окончательно решит: быть или не быть ноосфере? То есть быть или не быть человечеству.

В такой-то вот ситуации экология уже сегодня должна выработать свою собственную этику — ни много ни мало, а этику не только жизни, но и смерти. Смерть — ни для кого она не делает исключений. Любая сегодняшняя жизнь должна уступить место жизни завтрашней, иначе жизнь очень скоро изживет себя, а этим незыблемым законом и должна руководствоваться экология. Скажем так: современные биология и медицина установили, что потенциал долголетия человеческого организма составляет... четыреста лет! Будут соответствующие условия — и этот потенциал может быть реализован.

К счастью или несчастью будет эта реализация? Такое вот противоречие между интересами человека и человечества? Конечно, человеку, нескольким поколениям, выпадет удача, ну а человечеству в целом? Планета, безусловно, не выдержит подобной нагрузки долгожительства, такого демографического взрыва.

Значит, уже сегодня перед экологией возникает этическая проблема: ей нужно решать, в какой мере следует способствовать долгожительству, нужно спланировать, какой вариант выбрать — первый, когда человек живет четыре календарных века, или второй — при котором четыре человека проживут по веку каждый? Или какой-то еще третий, четвертый и т. д. вариант?

Это пример из области экологической этики. Таких примеров можно представить себе множество. Но только нам не до них. В нынешнем хаосе, в нашем политизированном, амбициозном, коррумпированном, криминалистическом обществе мы ведь не столько живем, сколько выживаем, а выживание — это антипод жизни уже по одному тому, что нынешнее поколение заботится только о самом себе, будущее в его представлении как бы и вовсе не существует.

Мы вот все кричим: Россия, Россия — великая страна! Ну если мы великие, так и цели должны быть у нас соответствующие, экологические — прежде всего.

Я знаком и с практикой общественного экологического движения, и с практикой экологической науки — какое там величие? Общественность нынче погружена в апатию, кое-как она выживает по партийным признакам, ей не до всеобщих и глобальных задач.

В экологическом движении полный упадок и даже нет сравнения с годами начала перестройки, когда общественность остановила пресловутый «проект переброски рек», когда экологическая тема изо дня в день фигурировала на страницах периодической печати и депутаты всех уровней занимали депутатские места при условии, что они клялись защищать природу.

Что сталось с многочисленными общественными экоорганизациями? Я близко знаю ассоциацию ученых «Экология и мир», ее руководители в свое время тайно создали частную фирму на общественной материальной базе, живут за счет сдачи помещения в аренду, не только живут — процветают, но даже не позволили собрать общее собрание ассоциации, когда эта махинация была обнаружена.

Одно время казалось, что экологические проблемы потянут предприниматели. В самом деле, если предприниматель оценивает выгоды не только нынешнего дня, но и в десяти-пятнадцатилетней перспективе, экология представится ему одной из самых эффективных сфер вложения капитала. Но разве тот, кто сегодня выживает, заглядывает на пятнадцать лет вперед?

И предпринимательские начинания этого рода, такие, как «Кедр», ото дня ко дню угасают. Возникают новые, ну, скажем, очень представительная «Чистая Россия», однако и ей, по-видимому, не под силу преодолеть бюрократические препоны и тот развал, в котором никто не может найти самого себя, свой собственный путь.

А что делается в науке? На последнем общем собрании Российской академии наук большинством голосов из членов-корреспондентов в действительные члены

прошел Ю. А. Израэль, бывший председатель Гидрометкомитета СССР, ответственный за информацию, которую давала наша пресса по поводу чернобыльской катастрофы. Информация эта имеет уникальное значение для науки, и позже Ю. А. Израэль опубликовал ее и получил за свои труды золотые медали, но вот вопрос: если сравнить эту «золотую» информацию с той, которую автор публиковал непосредственно вслед за катастрофой, — будут ли данные идентичны? Этот вопрос поставил перед собранием академик В. П. Маслов, но ему ответили, исходя из принципа «кто старое помянет...», и даже комиссия, которая изучила бы этот вопрос, создана не была.

Не стали поминать старое и члену-корреспонденту О. Ф. Васильеву, одному из инициаторов проекта переброски речного стока, он тоже прошел в академики, он все еще придерживается своих прежних принципов — хотя бы в вопросе строительства Катунской ГЭС.

Академия наук с легкостью необыкновенной реабилитирует ученых, причастных к экологическим бедам нашей страны. Они ведь настырные, эти ученые, организуют звонки, письма своих коллег, и через собственные унижения перешагивают, и компромат на своих оппонентов не брезгуют применить, так не проще ли их принять, отвязаться от них раз и навсегда?

Да ведь не только в нравственной, но и в судебной практике России природоохранным проблемам не придается никакого значения. В США до 80 процентов всех проектов природопользования проходит через судебную экспертизу и суд, а мы до сих пор не знаем истинных виновников чернобыльской катастрофы, не знаем и тех, кто скрывал от нас ее масштабы и последствия.

И это тоже этика экологии — как научного процесса, как общественного движения.

Великие цели и унизительно мелочная практика... Что возьмет верх? Что бы ни взяло, но если сейчас же опустить руки, сейчас же отступиться, это будет самое большое из всех возможных предательств. И многие ученые и просто экологи на местах, несмотря ни на что, борются за разумное природопользование.

Потенциал российской природы огромен, он-то и обязывает нас не опускать рук. Вопрос только в том, чтобы не упустить время, чтобы это не было слишком поздно...

Ю. ШРЕЙДЕР

*

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: ТРИ ПОДХОДА

Экология как объясняющая и понимающая наука

Принадлежащее В. Дильтею и часто используемое в науковедении деление наук на объясняющие и понимающие обусловлено их, наук, размежеванием на естественные и гуманитарные. Первые — это науки, изучающие природные объекты. (К ним нередко относят и математику как необходимый инструмент описания природных объектов и объяснения происходящих в природе явлений, несмотря на то, что ее собственным предметом являются искусственно создаваемые или воображаемые конструкции.) Вторые — науки о человеке и обществе, призванные не только объяснять «механизмы» соответствующих феноменов, но и понимать их смысл как некую внеположенную этим феноменам сущность. Таким образом, «понимающие» науки интересуются не только тем, что с необходимостью происходит в силу действия каких-либо причин или природных «механизмов», но

и тем, что должно происходить в силу свободного выбора — предпочтения тех или иных ценностей.

Казалось бы, экологию следует недвусмысленно отнести к наукам «объясняющим», ибо она изучает природные системы как целостные сообщества организмов и их среды обитания (экосистемы), вскрывая «механизмы», ответственные за происходящие в них изменения — вплоть до катастрофических. Собственно, в известном смысле экология и есть прежде всего наука о «механизмах», объясняющих причины возникновения экологических катастроф, позволяющих их прогнозировать. Однако дело осложняется тем, что человек сам является частью всех достаточно крупных экосистем.

Человек — важнейший компонент планетарной экосистемы и один из главных факторов ее нестабильности. Разумеется, если бы человек был сугубо природным, биологическим организмом и его деятельность определялась бы (и тем самым могла бы быть объяснена) исключительно природными, от его воли напрямую не зависящими причинами, то учет человеческой активности лишь усложнил бы экологические концепции, способные объяснять развитие (в частности, устойчивость и неустойчивость) экосистем, но не изменил бы их принципиально. Но природа, включающая человека, уже не только и не просто природное образование. Действия человека в его отношениях с природой — это уже не природный феномен. Вот почему совершенно правомерна постановка вопроса о том, каковы должны быть правильные действия человека по отношению к природе. Более того, вполне естественно различать в этих действиях добро и зло, то есть классифицировать их на морально допустимые и дурные — аморальные.

«Объяснительные» возможности экологии, позволяющие прогнозировать динамику развития моделей экосистем под влиянием определенных воздействий, помогают осознавать реальные последствия того или иного способа обращения с природой. Понимать же смысл этих действий можно лишь на основе оценки соответствующих последствий, то есть понимания реального соотношения ценностей тех явлений, которые происходят в природе. Дело в том, что экологические последствия человеческой деятельности, наносящие непосредственный и очевидный ущерб природе, очень часто связаны с получением ресурсов, необходимых для поддержания и обеспечения определенного уровня жизни людей. Человек не может без существенного ущерба для себя не только прекратить использование природы, но даже резко ограничить это использование. Стало быть, речь идет о серьезном выборе, постоянно возникающем перед нами и требующем ясного понимания того, какими именно ценностями мы поступаемся, принимая то или иное решение.

В случае чернобыльской катастрофы ситуация с этой точки зрения была простейшей. Ясно, что авария нанесла огромный ущерб людям и природе. Ясно, что в основе этой аварии лежит вина тех, кто инициировал безответственный эксперимент, и тех, кто спроектировал такую систему управления реактором, которая позволила в результате неумелых действий пустить реактор вразнос. Какова цена радиоактивного заражения, можно было легко предвидеть без опоры на изощренные экологические модели. Гораздо более сложен вопрос об экологической приемлемости использования атомной энергетики. Он требует очень глубокого понимания далеко идущих и очень разветвленных последствий. Кроме того, здесь ответственность за решение как бы размыта, не персонифицирована, лежит на слишком широком круге лиц. А это означает, что никто из принимающих решение не обладает полной свободой выбора (тем самым ответственность каждого из них сильно ограничивается и усложняется). Особую роль здесь играет общее представление об экологических ценностях, вырабатываемое в человеческом сообществе.

Обычные моральные решения, связанные с отношением человека к другим личностям, опираются на общую для всех людей интуицию этического закона, в той или иной мере укорененного в их сердцах и душах. Когда же речь идет об отношении к судьбам человечества и природы в целом, то здесь этическая интуиция

почти совершенно не работает. Проблема относительной ценности развития человечества и абсолютной ценности природной среды не сводится простым способом к обычным этическим законам и нормам. Со всей остротой она встала только в XX веке в связи с ни с чем доселе не сравнимым развитием технической цивилизации и появлением порожденных ею средств массового уничтожения. И сегодня, быть может, как никогда прежде представления об экологических ценностях, равно как и ценностях, относящихся к различным возможностям дальнейшего движения нашей цивилизации, нуждаются в отчетливом артикулировании и обосновании.

Тут возникают проблемы, например, ограничения рождаемости или самоограничения технического прогресса, которые не имеют самоочевидного разрешения. Точнее, любая попытка принципиального решения такого рода проблем должна быть ориентирована на заранее установленную шкалу экологических, прагматических и моральных ценностей. А эта шкала, в свою очередь, обусловливаться определенными онтологическими предпосылками.

Мне, скажем, время от времени доводилось получать по почте настойчивые послания от некоего борца за сохранение природных ресурсов, упорно призывающего меня осудить выступления Католической Церкви против абортов, поскольку ограничение рождаемости и резкое сокращение численности населения может, по его убеждению, обеспечить выживание человечества как биологического вида. Автор этих посланий (я не запомнил его фамилию, но про его единомышленников можно сказать, что имя им легион) принимает как безусловную предпосылку абсолютную ценность физического сохранения человечества, но одновременно не считается с ценностью каждой отдельной человеческой жизни. Более того, он даже не задается вопросом о праве кого бы то ни было судить, за счет кого именно должен решаться вопрос о сокращении численности человечества — кто будет уполномочен осуждать на гибель или бесплодие целые группы людей, народов или регионов.

Ясно, что само обсуждение подобных проблем надо начинать даже не с экспликации шкалы ценностей, но прежде всего с обсуждения оснований, на которых такую шкалу можно строить. В принципе, на мой взгляд, возможны три рода таких оснований. Выделив эти основания, мы придем к трем возможным подходам решения проблемы экологических ценностей и тем самым к оценке тех или иных экологических стратегий.

Натуралистический подход

Начнем, так сказать, с нулевого подхода, который состоит в том, что все экологические проблемы специально решать не следует, они будут разрешены сами собой, в ходе естественноисторического процесса. Этот подход основан на онтологической презумпции о том, что человек является целиком и полностью природным существом, а человечество — лишь одним из биологических видов, получившим в процессе эволюции столь сильные возможности к природной адаптации, что оно (человечество) оказалось способно уничтожить значительную часть биосферы, исчерпать необходимые планетные ресурсы и поставить себя перед угрозой вымирания или деградации. Материалист, если он мыслит последовательно, должен признать такой финал вполне естественным с точки зрения природной целесообразности и согласиться, что человек не «венец творения», но лишь промежуточная стадия эволюции на пути к созданию природой неких еще неведомых мыслящих существ; что человечество в конце концов должно уступить свою экологическую нишу каким-нибудь «разумным крысам», которым суждено возникнуть под воздействием радиоактивных мутаций, вызванных необдуманным накоплением современными людьми критических запасов ядерного топлива. Человеку, таким образом, остается только смириться с грядущим уходом с авансцены или полным вымиранием. Если же этого не произойдет, то только благодаря тому, что наш вид «гомо сапиенс» содержит какие-то пока неизвестные нам ресурсы выживания, которые мы сегодня не можем принимать в расчет.

Этот подход «хорош» тем, что он вообще не требует размышлений о ценностях, но требует полагаться на естественный порядок вещей и естественные инстинкты. А значит, он и не требует сколько-нибудь серьезного и вдумчивого рассмотрения.

Следующий — первый на нашей шкале — подход учитывает свободу человеческой воли и выбора и их значимость для состояния окружающего мира.

Этот подход основан на представлении о том, что природа не создана как некоторая ценность, но сама породила человека, наделив его способностью различать ценности и выбирать между ними. Заметим, что ценность предмета или явления определяется либо их создателем, вложившим в них свой труд и мастерство, либо тем, кто способен оценивать, либо, наконец, тем и другим. Так, ценность картины, корабля или прочитанной лекции определяется количеством и качеством вложенного в них труда. Ценность природного пейзажа, нефтяного месторождения или звездного неба определяется тем, что некто любуется пейзажем или видом звездного неба, а некто способен использовать залегающую в земле нефть и прокладывать по звездам путь корабля. Если природа не имеет Творца, то она имеет ценность лишь постольку, поскольку она служит потребностям человека — экономическим, эстетическим или каким-либо иным. При таком подходе человек не несет никаких этических обязательств перед природой и при решении экологических проблем обязан их рассматривать исключительно с точки зрения собственной выгоды. Но и тут остается проблема: следует ли эту выгоду рассматривать с позиции человечества в целом? Можно поставить вопрос в этическом плане: если я, «человек сегодняшний», чрезмерно посягаю на природные ресурсы, то я тем самым отнимаю нечто принадлежащее будущим поколениям, то есть как бы совершаю кражу — морально недозволенный поступок. Но все не столь просто. Во-первых, что значит «чрезмерно»? Ведь нанося необратимый ущерб природе даже в минимальных размерах, необходимых для скудного пропитания, мы нечто отнимаем у потомков, то есть крадем их ресурсы выживания. Выходит, мы ставим вопрос не о недопустимости воровства, а о морально разрешенной «квоте» на воровство. Можно было бы сформулировать эту квоту как «прожиточный минимум», но какой законодательный орган способен его определить и какой судебный — проследить за соблюдением законной квоты?! Во-вторых, если мораль не имеет абсолютного характера, в частности не имеет под собой религиозного фундамента, то она сводится к общественному договору или условности, помогающей устойчивому существованию общества. Действительно, отказываясь от воровства как средства жизнеобеспечения, я как бы призываю сделать это и других, уменьшая вероятность самому пострадать от кражи. Аналогичное прагматическое обоснование можно дать и другим моральным запретам. Но это обоснование не проходит по отношению к потомкам, которые еще не живут, ибо они не могут поступить дурно с нами — и потому мы не имеем практических оснований исполнять моральные запреты по отношению к ним. Никакие практические соображения не мешают нам разворовывать их жизненные ресурсы, лишать их жизни путем контроля над рождаемостью и т. п. Поэтому столь нелогичным оказывается призыв «экологических фанатиков» искусственно ограничить рождаемость ради сохранения человечества. Фактически это призыв убивать, чтобы не воровать. Либо мораль запрещает и то и другое, либо моральные запреты не принимаются в расчет вовсе.

Забота о будущих поколениях этически обоснована лишь в том случае, если моральные запреты признаются абсолютом, действующим и по отношению к еще не живущим. Но если признавать моральный абсолютизм, то следует быть последовательным в своих выводах, то есть считать убийство не меньшим грехом, чем воровство. Если же сохранение будущих поколений не диктуется моральным законом, то оно не диктуется и ничем другим, ибо практической пользы для ныне живущего поколения в этом нет. Подчеркиваю: я не утверждаю, что не надо заботиться о потомках, но эта забота обоснована только тогда, когда мы

руководствуемся (сознательно или бессознательно) абсолютными этическими нормами.

Итак, экологические ценности могут служить существенным ориентиром человеческого поведения лишь в условиях действия абсолютного закона (морального долга по Канту или закона любви к Богу и ближним по иудео-христианской морали). Заметим, что одна любовь к ближним недостаточна для попечения о ресурсах для дальних потомков — нужна еще и любовь к Богу.

Однако и эти условия необходимы, но недостаточны.

Рассмотрим воображаемый пример, когда оказывается, что есть путь спасения человечества за счет его переселения в космос. Предположим, что можно создать пригодные для скромного человеческого существования космические станции, вмещающие все нынешнее и будущее человечество, но для этого нужно полностью переработать (то есть фактически уничтожить) всю земную природу. Если мы имеем моральные обязательства только перед человечеством, но не перед природой, то такое решение морально оправдано, хотя оно и включает фактическое уничтожение окружающей среды ради интересов выживания человечества. Не следует считать этот вариант слишком фантастичным. Опыт человечества — и отнюдь не в последнюю очередь Советского Союза — дал много примеров искусственного приспособления окружающей среды для якобы ее лучшего использования в человеческих интересах, которые привели к деградации природы и ухудшению ее качества во имя интересов человека. Особенно ярко это видно на образцах гидротехнического строительства. Еще больше можно найти примеров техногенной порчи природы, не оправдываемой перспективами ее улучшения, но только необходимостью разместить технические или военные сооружения. Огромные территории Севера испорчены геологической разведкой.

Конечно, последующее увеличение внимания к экологическим проблемам заставило хотя бы обращать внимание на ситуации такого рода. Но нельзя рассчитывать, что чисто практический расчет баланса пользы и вреда от жертвы природными ресурсами ради технического обеспечения человечества может застраховать окружающую среду от гибели. Повлиять на экологическое поведение человека могут только моральные запреты ввиду их абсолютистского характера. Экономические расчеты всегда можно склонить в сторону ближайшей ощутимой выгоды, в сторону ближайшего обеспечения неотложных человеческих нужд. Но объектом моральной оценки или моральных обязательств может выступать только то, что составляет ценность само по себе, является безусловным, а не относительным благом. В рамках обсуждаемого подхода это невозможно, ибо не сотворенная, не полученная в дар природа имеет ценность лишь в той мере, в какой ее оценивает человек. Можно, конечно, провозгласить в качестве «экологической универсалии» принцип, состоящий в том, что любой ущерб природе, любое уменьшение ее разнообразия и богатства в конечном счете оборачивается ущербом и для человечества (ухудшением условий жизни человека, обкрадыванием последующих поколений и т. д.). Принцип этот имеет массу эмпирических подтверждений, но он носит характер лишь эмпирического обобщения, а не абсолютно доказанного факта. Всегда остается возможность взять этот принцип под критическое научное сомнение. Потому он и не способен сыграть роль регулятора человеческого отношения к окружающей среде.

Пожалуй, в какой-то мере можно опереться на важный этический принцип отношения к вещам, сформулированный Робертом Шпеманом. Он состоит в моральном осуждении использования находящейся в распоряжении человека вещи в более низком качестве, чем то, для которого она предназначена. Скажем, новую рубашку не следует рвать на тряпки, разве что в случае, когда нужно перевязать раненого, а перевязочные средства отсутствуют в пределах доступности. В общем, не пристало микроскопом забивать гвозди. Точно так же аморально использовать природные ресурсы для относительно низких практических целей.

Однако тут возникает единственное «но», заключающееся в выражении «предназначенная для». В рамках обсуждаемого подхода оно просто не имеет смысла.

Предназначение, присущее некоторому объекту, придает ему объективную ценность. Корабль имеет ценность, поскольку он предназначен для плавания. Если корабль ставится на прикол и используется как обычное жилье, то присущая ему ценность не реализуется. Если же этот объект не имеет никакого исходного предназначения, то его ценность целиком определяется его фактическим использованием. Он не «предназначен для», но только «используется для». В таком случае бессмысленно говорить, что он используется для более низких целей, чем он предназначен.

Принципиальную разницу между условной и безусловной ценностью (условным и безусловным благом) удобно пояснить на следующем примере. Принимать касторку или ампутировать конечность — само по себе благом не является. Однако в ряде случаев врач может рекомендовать больному одно из подобных средств для излечения. Такое средство является для больного благом в его конкретном положении и потому обладает положительной ценностью. Но эта ценность условна, она является благом «для», но не благом (ценностью) самим по себе. Врачебный жаргон отмечает это различие тем, что о назначаемых средствах лечения принято говорить, что они «показаны» или «противопоказаны» пациенту, вместо того чтобы оценивать это средство как хорошее или плохое. Тем самым подчеркивается, что речь идет об условной ценности, о том, что является благом лишь при некоторых условиях.

Рассмотренные нами натуралистические воззрения на природу позволяют видеть ее только как условное благо, то есть благо лишь постольку, поскольку оно обеспечивает некие человеческие потребности.

Пока природа не имеет в наших глазах присущего ей предназначения, она может рассматриваться исключительно как условное благо, ценность которого определяется лишь его использованием для обретения некоего безусловного блага. Такое отношение к природе, заложенное в рассмотренном выше подходе, в принципе допускает любое ее использование, лишь бы его удалось обосновать интересами человечества. А за таким обоснованием дело не станет. В сущности, *такое отношение к природе ставит ее вне этического закона* со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Безусловная ценность природы

Теперь самое время перейти к тем подходам, которые предполагают онтологически присущую природе и, стало быть, безусловную ценность. Такие подходы основаны на признании источника этой ценности как некоего творческого начала, воздействующего на природные процессы. Это творческое начало можно мыслить как присущее самой природе и определяющее законы и тенденции ее развития. Подобное представление принято называть *пантеизмом*. Можно мыслить это начало и как персонального Создателя Вселенной и действующих в ней законов. Такая точка зрения называется обычно *теизмом*. Она приводит к признанию того, что ценность природных объектов и самой природы в целом определяется актом творения, в котором все сотворенное получило свою ценность и предназначение.

В контексте настоящего рассмотрения нам не столь существенно противопоставление пантеистического и теистического мировоззрений, хотя само по себе оно носит фундаментальный характер, ибо пантеизм — это лишь логически последовательная форма материализма, теизм же выражает религиозную картину мира. Однако для рассуждений об экологических ценностях гораздо важнее другое противопоставление: является ли творческий фактор (соответственно, акт творения) ответственным только за создание подлинного блага (позитивных ценностей) или этот фактор создает в равной степени добро и зло, благое и дурное, прекрасное и отвратительное.

В иудео-христианской картине мира исходным пунктом является признание, что Творец создал доброкачественный мир. Свидетельство тому — библейские сло-

ва: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт., 1:31). Более того, в Библии недвусмысленно говорится о предназначении мира для человека (Быт., 9:1, 7). Мир испорчен грехопадением, в нем возможно зло, но он доброкачествен в своей основе и принадлежит Богу, а не «князю бесовскому», как называется носитель зла в Евангелиях (Лк., 11:15; Мф., 9:34). Даже там, где сатана именуется «князем мира сего», соответствующий контекст ясно говорит об ограниченности его власти: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин., 12:31); «идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего» (Ин., 14:30); «князь мира сего осужден» (Ин., 16:11). Словом, сатана имеет возможность действовать в этом мире, в том числе в мире природном, но мир ему неподвластен и в творении он не участвует. Зло выступает в мире как несовершенное, неполное или иллюзорное добро, но вовсе не как фактор, равноправный добру.

Противоположностью христианской является манихейско-гностическая картина мира, предполагающая паритет дурного и хорошего творческого начал, одинаково участвующих в творении мира и в борьбе за власть над миром. Хаос (беспорядок), с точки зрения гностика, — это не отсутствие порядка, не дефект прекрасного мира, но результат активного действия в мире злого начала. Мир в основе своей недоброкачествен, но содержит в себе активное дурное начало, противостоящее добру. Манихейство имеет свои истоки в религии зороастризма, признающей двух верховных божеств — Ормузда и Аримана, находящихся в постоянной борьбе за власть над миром. В дальнейшем манихейство вошло как важный составной элемент в учение гностиков, в том числе в идеологию гностических сект, образовавших еретические течения в христианстве еще в самый ранний его период. Всплески этих ересей возникали и в позднейшие времена — вплоть до наших дней. В таких сектах мир рассматривался как созданный не Всеблагим Богом, но дурным творцом — демиургом, и потому оказавшийся во власти зла. Сами законы этого мира дурны. Это относится и к моральным заповедям. Обычно члены таких сект отрицают доброкачественность семейных уз, самого института брака и практикуют аскетику, направленную не на духовное овладение плотским началом, но на полное уничтожение плоти. Они одновременно разрушают моральные установления, предаваясь необузданному распутству и разгулу, и отрицают естественную ценность плотского, отказываясь от нормальной еды и брачных отношений. С гностической точки зрения, природа содержит в себе непоправимое зло, она дурно устроена и не только не заслуживает бережного отношения, но требует радикальной переделки. Гностицизм дает идеологическую санкцию на радикальную переделку мира — как социального, так и природного, — ибо признает этот мир дурным в своей основе, содержащим в себе зло как некую терапевтически неизлечимую раковую опухоль. Призыв разрушить мир до основания — это отнюдь не материалистический, а гностический лозунг. Настоящий материалист уважает материю как фундаментальную реальность. Гностик ненавидит материю как порождение дьявола. Коммунистическую идеологию и коммунистические ценности, равно как коммунистический пафос переделки общества и природы путем радикального уничтожения всего, что мешает этой переделке или просто не очень легко ей поддается, можно объяснить отнюдь не из материалистических воззрений, но прослеживая гностические основы этой идеологии. С гностической точки зрения, природа не просто не является самостоятельной ценностью, но оказывается антиценностью как результат творения и действия дурных сил.

Коммунизм, как и его родоначальник гностицизм, направлен не на совершенствование добра, но на уничтожение зла, которым, с его точки зрения, непоправимо заражен доставшийся нам мир. Поэтому он так нуждается в зримом образе врага, которого необходимо осудить и уничтожить. Поэтому он так нуждается в деятельности по переделке природы, организуя то освоение целины, то «стройки коммунизма», то несостоявшийся поворот северных рек, то варварски уничтожая Байкал и охотничьи угодья тундры. Все это не просто бесхозяйственность и нерачительность — это прежде всего организация деятельности по борьбе с миром.

Для гностического мировоззрения прежде всего важно осудить мир как безнадежно дурной, как антиценность, которую грешно любить такой, какая она есть. Подобное мировоззрение несовместимо с верой в естественноисторический про-

цесс, способный улучшать мир. (В этом прежде всего состоит радикальное противоречие коммунизма: теоретическое признание естественноисторического процесса и вместе с тем полное неверие в возможность достигнуть с помощью этого процесса хоть каких-то позитивных результатов.)

Настоящей альтернативой гностическому суду и отвержению мира может быть только христианская идея спасения. Иисус Христос сказал: «Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин., 12:47). Итак, мир не проклят как дурной и не отвержен. Этот мир Иисус завещал своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин., 14:27).

Думается, что эти слова вполне уместно экстраполировать на мир природный, учитывая цитированное выше обетование. Идея спасения природного мира как завещанного достояния может служить онтологической основой подхода к экологическим ценностям. Как предмет завета природа обладает онтологической, а не только потребительской ценностью. Она не только «используется для», но и «предназначена для». Более того, в контексте спасения и преображения мира природа понимается как нечто онтологически доброкачественное и ценное и потому не подлежащее порче за счет бездумного использования и радикальной переделки.

Тем самым этический закон запрещает бесконтрольную порчу природы. В этом смысле природа прежде всего Храм и только потом мастерская. Именно моральные обязательства по отношению к природе как достоянию, которое завещано человечеству Творцом, а не забота о самосохранении заставляют прекратить бездумное расточительство ресурсов, порчу природы ради политических и национальных амбиций и т. п. Если выполнение этих обязательств послужит еще и продолжению существования человеческого рода, то тем лучше. В действительности же, я уверен, само по себе стремление к самосохранению не приведет человечество к проявлению большей экологической разумности. Но понимание значимости экологических ценностей в контексте финального спасения мира может помочь найти практически эффективную стратегию экологического поведения.

Следование этическим и, соответственно, религиозным ориентирам всегда в конечном счете оказывается практичнее узкопрактического поведения.

Я не затрагивал здесь проблему выбора конкретной стратегии по отношению к природе и человечеству, гарантирующей оптимально благоприятное будущее для того и другого. Для этого требуются конкретные расчеты и реалистический взгляд на социально-политическую обстановку в мире. (Даже столь очевидные вещи, как атомное разоружение, ликвидация химического оружия и т. п., не столь просто провести в жизнь, ибо они требуют затрат, существенно задевающих интересы людей, и учета конкретно-политических факторов.) Я же стремился в меру своих сил осветить совсем другой, но, на мой взгляд, первостепенно важный аспект экологической проблемы: на какие ценности следует ориентироваться при разработке стратегии экологического поведения.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ

*

ЗАПИСКИ ПОЙМЕННОГО ЖИТЕЛЯ

Книга воспоминаний потомственного мологского крестьянина Павла Ивановича Зайцева (1919 — 1992), главы которой предлагаются ныне читательскому вниманию, пролежала в столе автора с 1975 года — жизнь научила Павла Ивановича осторожности. Ведь вспоминает он о быте, местах, укладе, безжалостно уничтоженных коммунистами, не пожелавшими, как известно, «ждать милостей от природы» и использовавшими полурабский труд своих подданных на бредовую, адскую перекройку ее вплоть до несостоявшегося (слава Богу!) поворота северных рек, который окончательно погубил бы Россию.

...«Родился я в сенокос, в конце июня 1919 года, в семье Ивана Никаноровича Зайцева, крестьянина деревни Новинка-Скородумово, Брейтовской волости, уезда тогда Мологского, губернии Ярославской. < ...> В избе моего дедушки Никанора народу тогда скопилось двадцать два человека, и обедать за стол садились за четыре приема. Сначала обедали дети, потом шесть сыновей Никанора, после садились шесть его снох, последними обедали сам хозяин со своей женой Анной и дряхлым стариком Феоктистом. Жили в тесноте, но спокойно и безобидно, все друг друга уважали, во всем старались потрафлять главе семьи. А он был спокойный старик, домовитый, за наживой не гнался, никого не обижал, и ему доверяли во всем все члены семьи».

Здесь, в недоразоренном даже коллективизацией, зажиточном и живописном уголке Верхневолжья с не растраченной еще фауной и флорой, и прошли детство и отрочество будущего автора записок.

А потом армия, война, фронт... Только вот после демобилизации возвращаться Зайцеву оказалось некуда — его родины уже не существовало. Поголовная высылка мологжан с последующим их расселением в отдаленные колхозные резервации — в одном ряду со сталинскими депортациями целых народов. С той лишь разницей, что была физически уничтожена и сама земля, на которой испокон веку жили эти трудолюбивые верхневолжцы. Варварское затопление Молого-Шекснинской поймы в 40-е годы — гибель целой за века отстоявшейся микроцивилизации (столица региона город Молога известен в нашей истории с XIII столетия).

Зайцев поселяется в Рыбинске. Работает на заводе, рисует, пишет маслом картины, в совершенстве осваивает ремесло плетения корзин из ивовых прутьев. Он и на склоне лет не растерял свою жизненную энергию. «Павел Иванович Зайцев ростом невысок, окладистая борода его и благородная седина в волосах внушают чувство, что перед вами русский патриарх, человек, умудренный жизненным опытом. Говорить он мастер, может подолгу беседовать обо всем на свете. Но конек его разговора — родина. < ...> К сожалению, о родине Зайцева сегодня приходится говорить в прошедшем времени, потому что не ступить на нее ногою, не прижаться там грудью к земле — многометровая толща воды над нею, образующая гигантское Рыбинское водохранилище» («Верхневолжская правда», 13.5.89)...

Делом своей жизни считал Зайцев написание воспоминаний о своей родной пойме. Это замечательное повествование — сплав факта со сказом — напоминает о творчестве Шергина и Писахова. Рукопись Зайцева (в первоначальном ее виде именно р у к о п и с ь: в большой тетради, старательным, аккуратным почерком) была доверена автором молодому рыбинскому краеведу М. А. Лукичеву, много потрудившемуся для ее популяризации. В полном своем виде, однако, она все еще ждет и, понадеемся, в ближайшую пору найдет своего издателя.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

Мне было семнадцать лет, когда отец купил для меня одноствольное курковое ружье, которое тогда называлось централкой. Заимев такую собственность, я, однако, не превратился в заядлого охотника. Но все же до ухода в армию (а оставалось мне до службы три года) частенько под осень выходил на ближние болота и озера то за утками, то — по весне — на тетеревиные тока.

В начале мая, когда вся живая природа в Молого-Шекснинской пойме просыпалась от зимней спячки, а южная жара день ото дня хоть и умеренно, но настойчиво поддавала тепла в наши северные широты, в это самое время ранними утрами, чуть только забрезжит рассвет, тут же в утренней тишине звонко польются песни тетеревов. На одном току их собиралось по нескольку десятков. Пору тетеревиных гульбищ можно было сравнить с театрализованными представлениями природы, с ее торжеством, которое она устроила почему-то именно на нашей земле. Чертовски интересное зрелище! Мне тогда казалось, что из всех видов охоты, существовавших в пойме, охота на тетеревов в весеннюю пору была самой волнующей и увлекательной.

Черные лесные петухи настолько бурно и азартно выражали радость приходу весны, что, казалось, никакая другая порода птиц не могла с ними в этом сравниться. В майскую ночь до прихода утренней зари мы забирались в шалаши, устроенные рядом с местами тетеревиного токования, и ждали: вот сейчас, только займется заря, к шалашам прилетят черные лесные петухи. И они прилетали. А мы всласть любовались их пробежками вокруг шалашей, восхищенно смотрели, как они взмахивали крыльями, как подскакивали от земли на несколько аршин, как дерзко дрались промеж собой. Тетерева взъерошивали оперенье, распускали крылья и плашмя возили ими по земле, вытягивали шеи и, неторопливо ступая, обнажали зады, показывая белые, как снег, перья. Они ворковали с раскрытыми клювами, издавая то гортанное клокотанье, то приглушенные шипящие звуки.

На току тетерев выводил обычно две песни: то ворковал длинными звуками, похожими на разливистое клокотание, то коротко шипел «чувш, чувш...», нередко при этом подпрыгивая. Первая воркующая мелодия по времени была намного длиннее второй. Воркуя и клокоча, тетерев закрывал глаза и опускал голову. В такие минуты он ничего вокруг себя не видел и не слышал. Подходи к нему и бери голыми руками. Охотники, знавшие повадки тетеревов, иногда убивали их в такие моменты приемом «с подхода». Но так можно было взять только одиноко поющих птиц. Когда тетерева токуют группой, прием «с подхода» исключен — в стае птицы довольно осторожны.

Нередко тетерева как будто специально дразнили охотников, разжигали их азарт. Бывало, сидишь в шалаше и ждешь, когда прилетит птица. Слышишь — летит! Прикидываешь, куда сядет. А тетерев хлоп! — и прямо на шалаш. Ведь его оттуда не достать! Не пройдет и минуты, возьмется над головой бедного охотника песни свои распевать. Сначала слышится «чувш, чувш», а потом «буль-ль, буль-ль, буль-ль...». Значит, надолго запел, пойдет теперь воркотня. Тетереву — радость, у охотника — все нервы на пределе.

До одури интересно было на токах. Но и грандиозные скопища тетеревов, и их весенние песни, и особое ощущение души при виде тетеревиных праздников — все ушло, остались лишь одни воспоминания. Да и помнят это теперь только пожилые люди.

Зимой в пойме обосновывались белые северные куропатки. Большими стаями они летали над полями вблизи деревень, искали корм возле риг и у токов.

Зимой белую куропатку заметишь не вдруг — она почти сливается с белизной снега. Куропатки любили зарываться в глубокий снег — там они прорывали петляющие норки-проходы. Бывало, идешь на лыжах вблизи деревни, и вдруг послышится «фнр-р-р, фнр-р-р...» — и вылетают прямо из-под ног живые белые клубочки. От неожиданности даже испугаешься. А это резвятся стаи белых куропаток.

Обычно птицы, сбившись в плотную группу, взлетали всей стаей и, когда оказывались в полосе видимости — на фоне леса, — были похожи на белых

мотыльков, которые в жаркий день лета летают над травянистыми лугами. Но искристая белизна снежного поля, зябко опущенные вниз ветки безлистного леса красноречиво напоминали, что то было не лето, а разгар студеной зимы и летают над заснеженными полями не мотыльки, а куропатки — белые птицы, которые так любят это время года.

В конце февраля — начале марта, когда на поверхности снега образовывался наст, некоторые жители поймы ловили белых куропаток силками. Мясо куропаток нежное, вкусное, не хуже, чем у любой другой дичи, не уступает даже куриному. По величине эти птицы меньше взрослой курицы, но с доброго цыпленка.

В последнюю неделю марта, когда днем снег начинал таять и оседать, а ночные морозы настойчиво превращали его в ледяную корку, белым куропаткам приходилось трудно. Такие условия не соответствовали их образу жизни, и они покидали пойму — улетали на север, в тундровую зону. Там их ждала привычная стихия — глубокий и рыхлый снег.

Вместе с белыми в пойме обитало много серых куропаток. Они жили обособленно, всегда держались только своими стаями, не допуская в них чужаков. Серые куропатки не умели ходить под снегом так ловко, как это делали их северные сородичи. Зимой они тоже часто зарывались в снег, но лишь для того, чтобы добраться до стеблей сухого травяного покрова и найти корм. Эти птицы не перелетали из края в край, жили в пойме постоянно — и летом и зимой.

В янских и весьегонских лесах поемного Молого-Шекснинского междуречья водились по большей части крупные звери. В лесных дебрях жили медведи, волки, лоси... Но и мелкого зверья — горностаев, хорей, лисиц, зайцев, даже выдр и куниц — тоже было немало. Особенно зайцев.

Казалось бы, ежегодные весенние паводки, захлестывающие большое пространство земли и так неблагоприятные для обитания зайцев, должны были пагубно отражаться на их жизни, но ничуть не бывало. Никаких трагедий с зайцами никогда не случалось. Они не гибли в водной стихии, а наоборот: усиленно и успешно плодились даже в столь суровое для них время. В отдельные годы этих зверьков в междуречье было на удивление много. По ночам они бродили в пойме крупными ватагами, словно стада овец.

Ходить на охоту за зайцами у меня почему-то пристрастия не было. Но однажды отец сказал мне:

— Я сегодня утром был у капустника, так там зайцы всю озимь уплясали. Сходи-ка вечером туда с ружьем, покарауль.

Отец, конечно, имел в виду, что я тех зайцев должен не только подкараулить и пугнуть ружьем, но и подбить одного-двух.

Здесь я немного отвлекусь и скажу еще вот о чем. Жители поймы в редкий год отваживались сеять рожь осенью, так как знали: посеянная под зиму, она весной от разлива может вымокнуть и пропасть. По особым приметам старожилов, которые в иные годы были налицо, тамошние жители все же засевали рожью небольшие участки полей на буграх. Год, о котором речь, был таким. Междуреченцы посеяли рожь. Конечно, рисковали, но в глубине души надеялись на урожай. Если в весеннюю пору озимое поле миновала большая вода, рожь на пойменных землях росла хорошая. Выросла она и в тот раз. Когда я по совету отца впервые пошел на зайцев с ружьем, колхозная рожь была посеяна на небольшом бугристом поле возле самого хуторского капустника.

Стояла глубокая осень. Выпал первый снег. По реке несло тонкие льдинки. Хуторская ребятня толпилась у берега Мологи и кричала:

— По реке сало несет!

Задевая о берега, по течению плыли припорошенные снегом льдины, которые, громоздясь друг на друга, издавали особый шум: как будто кто-то шипел в огромном речном логове. Эти небольшие ледяные торосы были действительно похожи на сало, застывшее в домашнем горшке.

Время шло к вечеру. Начинало темнеть. Надев поверх завсегдашнего своего пиджака отцовский овчинный тулуп с окладистым воротником и простор-

ные валенки, я взял ружье, несколько зарядов к нему и пошел к капустнику караулить зайцев. Осенний вечер приходит быстро. Когда я пришел в капустник и устроился в одном из его углов, стало уже совсем темно. С двух сторон вплотную к огороду подступало поле озими. Промеж его ржаных стеблей белизной просвечивал снежок. Подальше от меня вершинки стеблей молодой ржи сливались — озимое поле превращалось в сплошную темно-зеленую полосу, которая упиралась в лес.

Было тихо. Лишь со стороны Мологи глухо доносилось шипение плывущей по ней ледяной каши. В прореху темноватой тучи глянула луна и, чуть поласкав желтоватым светом небольшую плешину земли, опять скрылась за краем ночного облака. Осенний морозец холодил лицо. При дыхании с губ срывался заметный парок. Но было тепло — одежда даже томила тело.

В народе говорят: ждать да догонять — последнее дело, нет ничего хуже на свете. Сколько времени сидел я в углу капустника, дожидаясь увидеть, как «пляшут» зайцы на озими, не знаю. Должно быть, долго. Привалясь к жердям огорода, я уже начал клевать носом. И вдруг вижу: невдалеке от меня на темном поле зашевелилось что-то светловатое. Я приободрился. Как раз в это время доброе ночное светило — луна щедро озарила все вокруг. Я стал всматриваться в даль. Боже, что я увидел! Не сразу и поверил глазам своим. Может, это привидения? Но нет, они не исчезают. Я затаил дыхание; зайцы, да как их много! Осторожно повернувшись, сел поудобнее и облокотился на жердь огорода. Впервые в жизни я с упоением наблюдал за удивительным и диковинным зрелищем. Про цель, ради которой пришел в капустник, я тут же забыл. Мое тогда еще юное воображение было поражено.

Я решил пока не стрелять зайцев, а любовался живой природой. Она была прелестна. Вот пара зайцев, забавно приподнимая кверху задки, подскакала совсем близко ко мне, на десяток шагов. Уткнув морды в стебли ржаной озими, они чуть слышно чавкали, поводя рогульками ушей. Левее — еще одна пара, чуть дальше — троица, за ними — еще двое... Всюду наблюдалось движение светлых комочков. Ради любопытства я начал считать зайцев. Раз, два, три... семь... одиннадцать... шестнадцать... двадцать два...

Движения мирно пасущихся зайцев походили на лягушачьи подскоки: только вильнет заяц задком кверху, смотришь — он уже на другом месте. Спарятся двое — один становится свечкой, согнув перед грудкой передние лапки. Пара зайцев — самые ближние от меня — фыркнули, плотнее прижались к земле, завозились, подпрыгнули и отбежали в сторону. Что-то их напугало или же пришлось не по нраву.

В ту ночь я от души налюбовался «заячьими плясками». Сидя в углу капустника, я забыл про все на свете и с упоением смотрел на юркие движения зверьков, на пушистые и мягкие комочки их тел. «Что делать? Что делать? — думал я тогда. — Стрелять или не стрелять?» Решил стрельнуть, благо два зайца торчали из озими совсем рядом почти на одной линии, можно положить сразу обоих. Я осторожно протянул руку к ружью, ощутив мертвый холод металла, и опустил ствол на жердь огорода как на прицельную козлинку. Стрелять было удобно. Крепко обхватив правой рукой шейку приклада и уперев в плечо его затыльник, я быстро отыскал мушку на стволе и врезал ее в прицельную прорезь казенной части ружья. Потом взвел курок и вытянул указательный палец к спусковому крючку...

Какая неведомая сила расслабила меня — не знаю. Я не выстрелил, а только почему-то закрыл глаза, опустил голову и медленно, натужно возвратил курок в неударное положение. Затем тихонько ползком по замерзшим глыбам, разгребая широкими полами тулупа белизну молодого снега и держа в одной руке заряженное ружье, выполз из капустника, встал во весь рост и, глубоко вдохнув прохладного ночного воздуху, неторопливо побрел домой, унося в глазах своих заячьи видения.

...Скрипнула дверь, я переступил порог избы. Отец спросил:

— Ну как зайцы?

Я рассказал все. Отец не упрекнул меня за то, что я не стрельнул в тех двух зайцев.

Он только сказал:
— Ну что, правду я тебе говорил: пляшут ночью зайцы у капустника?
— Пляшут. Еще как!

В тот год, а было это в 1938-м, я в декабре несколько раз ходил к ржаной озими. Садился в том же углу капустника и, любуясь прелестью зимних ночей, засвеченных белизной снега, и мерцанием ярких звезд в морозном небе, ждал зайцев. Они появлялись. Я подолгу с восхищением смотрел на их пляски. Тогда я все же убил трех зайцев. Но влекла меня к полю не охота, влекли заячьи ночные пляски.

Характерно, что на ржаную озимь выходили по ночам только зайцы-русаки. Я ни разу не видел среди них ни одного белого зайца, хотя их в Молого-Шекснинской пойме было, может быть, даже больше, чем русаков.

Почти всегда во второй половине ноября снег в пойме выпадал хороший, зима в это время входила в свои права. Но в иные годы в конце ноября или в первые дни декабря вдруг наступала оттепель. Снег таял, и земля опять становилась голой. В это время особенно легко было обнаружить зайца-беляка. Идешь, бывало, по крестьянскому полю и обязательно еще издали увидишь возле какой-нибудь кочки или у кустика белый комочек. Это, затаившись, лежит беляк, успевший сменить свой летний серый пушок на зимний белый. А матушка погода вдруг нежданно-негаданно возьми и сойди с мороза на тепло, измени зимние краски на осенние. Оттого и белый заяц на фоне обнаженной светло-бурой земли как на ладони — отовсюду хорошо виден. Он, бедняга, таится, ему кажется, что его никто не заметит. А на деле подпускал к себе человека так близко — хоть руками бери.

Русака же отсутствие снега в начале зимы не пугало. Он даже был рад оттепели. Серый от умерших растений покров земли маскировал шубку русака. Во время оттепели зайцы-русаки часто встречались возле деревенских сараев, у стогов сена и копен соломы, на гумнах, у риг даже днем. Не таились. Но близко к себе никого не подпускали. Почуяв чье-нибудь приближение, услыхав шорох, заяц-русак еще раньше, чем его обнаружат, поднимался со своего лежбища и, петляя по полю, убегал в новое укрытие.

После ночной охоты зайцы-русаки частенько оставались на дневку в крестьянских огородах, возле скотных дворов. Выйдет иной раз баба в тын (так местные жители называли огороды), а из межи вдруг выбежит русак. Попетляет по тыну, юркнет в прореху частокола — и в поле.

— Ух ты, косой, беги полосой! — только и крикнет баба вдогонку.

Низина Молого-Шекснинской поймы была во многом единственной в своем роде. Для всего живого она являлась благим местом. В том числе и для рыбы. Сюда на нерест приходила рыба со всего волжского бассейна.

Родильным домом и колыбелью для рыбы всей европейской части России можно было назвать пойму. Миграция — далекие и длинные путешествия обитателей Волги и множества ее притоков — была свободной, ничто не затрудняло рыбе путь. Ежегодно она проделывала тысячекилометровые переходы, для того чтобы вывести свое потомство именно здесь, в Молого-Шекснинской пойме.

Рыба, обитавшая в недавнем прошлом в водоемах тех мест, была особым даром природы. Шершавые, как терка, нередко полупудовые судаки с темно-бурыми спинами, торопясь к своему исконному месту нерестилища, весной проделывали путь от Астрахани до Верхней Волги, чтобы попасть в Мологу и Шексну, а во время разлива этих рек метали икру на затопленных песчаных откосах междуречья. Нижневолжские и даже каспийские лещи с серыми бородавками на лбу и хребтине шириной с заслонку от русской печи косяками в тысячи штук выходили по весне из Мологи и Шексны на затопленные луга и поля, чтобы погреть багряно-медные бока на солнышке и сыграть икрометные свадьбы. Так было из века в век, многие тысячелетия подряд не только с судаками и лещами, но и со всеми другими породами рыб, обитающими в бассейне Волги.

И вдруг одним разом все изменилось. Весной 1941 года волжская рыба уперлась в переборскую и шекснинскую плотины, на ее пути намертво встала непреодолимая преграда. Той весной в районе Рыбинска и села Песочное рыбы в Волге скопилось столько, что ее ловили кто сколько мог и кто чем мог. Всю войну и несколько лет кряду после нее верхневолжская рыба в районе Рыбинска скапливалась по весне в огромных количествах. Тщетно пытаясь отвоевать у человека варварски захваченные владения, она настойчиво стремилась пройти на икромет в Молого-Шекснинскую пойму.

О количестве рыбы в любом естественном водоеме можно судить по наличию в нем хищных пород рыб. Если, например, много щук, значит, много и других пород. Почему? Известно, что в животном мире существует закономерность природного равновесия между хищниками и мирными жителями. Так устроено всюду: на земле, в воздухе и воде. Хищники — это своего рода стражи здоровья природных обитателей и ее самой, это помощники природы и ее санитары. Любой земной или подводный хищник питается преимущественно слабыми животными, лишенными активной способности к самозащите.

То же происходит и среди рыб. Щука, питающаяся в основном мелкой рыбешкой, скорее набросится на ослабевшую плотвицу, чем на здорового и юркого ельца, который сможет легко увильнуть от броска щуки. Поэтому наличие щук в реках и озерах говорит лишь о том, что в них много и всякой другой рыбы. Этот вывод подтверждается большим количеством как хищных, так и мирных пород рыб в водоемах Молого-Шекснинского междуречья.

Щуки, как местной, так и приходящей на икромет из волжского бассейна, в водоемах поймы было очень много. О количестве щук, выметывавших икру в пойме, можно было судить по следующим фактам. Ежегодно в конце августа и в начале сентября деревенские подростки сговаривались промеж собой: пойдем мулить селетков. Селеток — местное название щуренка, молодой щучки, родившейся весной текущего года. Это пойменское словцо звучало почти одинаково с научно-литературным названием молоди рыб — сеголеток, что значит рыбка, рожденная нынче, сего лета. Так вот этих самых селетков во всех пойменных водоемах было в теплое лето — как комаров в ольшанике. В любой луже, не успевшей к осени полностью высохнуть, селетков и всякой другой рыбьей молоди была тьма.

Мальчишкам же доставляло удовольствие не ловить, а мулить селетков. Через плечо поверх рубашек они вешали торбы-мешки из грубого домашнего полотна — холщевины, — брали на всю ребячью артель одни сеноуборочные деревянные грабли и шли за деревню, в поле, к какой-нибудь луже-болотцу. И таких луж у нас были тысячи. Подойдя к месту, мальчишки снимали рубахи, штаны, оставаясь нагишом, и принимались за дело: взмуливали воду в луже — кто граблями, перевернув их зубьями кверху, кто ногами, кто палками. Мальчишечьи ноги утопали в теплом иле как в пуховой подушке. Болотце взмуливалось, отчего для его обитателей наступало кислороднее голодание. Вскоре вся живность выходила на поверхность воды, чтобы глотнуть свежего воздуху.

Нас интересовали только селетки. Мордами кверху селетки-щучки выплывали вместе с разными насекомыми и мелкими рыбками. Тут мы их и брали — кто мамкиным решетом, кто наспех сделанным из мешковины неуклюжим подсачком, а кто и прямо руками, в пригоршни. Плавающие по поверхности воды селетки уже не сопротивлялись. Каждый клал их в свой мешок-торбу. Взяв улов в одном болотце, мальчишки с веселыми разговорами и смехом переходили к другому, где проделывали то же самое. Опустошив таким образом три-четыре болотца, довольная ватага возвращалась домой с богатым уловом.

У многих жителей поймы, кроме дощаных лодок, на которых они ходили в основном по Мологе и Шексне, были суденышки-долбленки — их использовали для езды по озерам и болотам. Те долбленки по-местному назывались осиновками, потому что делались из обрезка толстой сырой осины длиной в десять—двенадцать аршин. Управлялась осиновка кормовым веслом. Прелесть

было ездить на ней. Да и было зачем — рыбы всюду множество, особенно золотистых карасей.

Большое карасевое оживление наблюдалось в озерах поймы в конце июня — первой половине июля: в это время карась нерестится. Тогда вся природа благоухала. В чистой воде, изрядно прогретой солнцем, плавало несметное множество насекомых. Бывало, едешь в начале июля по озеру на осиновке-долбленке, глянешь в воду — на шесть-семь аршин всю живность разглядишь. Между стеблей осоки и водяного лопушника медленно карабкаются в воде болотные тараканы разной величины; как змеи извиваются смолисто-черные пиявки в полтора-два вершка длиной; в средних слоях воды, то и дело подскакивая, снуют в разные стороны, толкая друг друга, армады клопиков и букашек; на дне корневища травы-подводницы, как паутинные тенета, опутывают багряные стебли хвоща... По тихой глади озерной воды яко посуху бегают длинноногие пауки. А по берегам озер и болотин вперемежку с изумрудно-зеленой травой тянется окаймляющим венцом кудлатый кустарник.

Мой дедушка по матери Федор Илларионович Лобанов, по прозвищу Ерошкина Мать (такое у деда было ругательство), любил ловить карасей в Подъягодном озере, что находилось невдалеке от Ножевского хутора, где мы жили. Ловил он их крылатыми кужами и одровицами. Рыболовные снасти днями сушились на полянке возле озера. Под вечер дед приходил к озеру, веничком смахивал с них грязь, клал кужи и одровицы в осиновку-долбленку и ехал расставлять их по своим облюбованным местам.

Бывало, едешь вместе с дедом по озеру на осиновке и не налюбуешься! Совсем рядом от нас из рослой осоки поднимутся кряковые утки и, пролетев немного, усядутся в хвощевину. Верткие трясогузки, часто кивая хвостами-шильями, заснуют в прибрежном тростнике. Болотные кулички-маломерки с криками «кив-кив» перелетают от кочки к кочке. Шелестит о днище и борта суденышка лапчатая трава-подводница. От мягких ударов весла булькает вода позади осиновки. Опустишь руки в озерную воду, и она, как пушистой мякотью бархата, нежно щекочет ладони и пальцы.

Подъехав к кусту хвощевины, дедушка останавливал суденышко, брал кужу-крылену и ставил ее в воду на три колышка — один на хвосте кужи и два по концам ее крыльев. В прозрачной воде хорошо было видно, как кужа становилась на дно. Округлая, как бочка, с горловиной для захода рыбы и с раздвинутыми по сторонам двумя крыльями, кужа виднелась в воде треугольной кисеей нитяных ячеек. На другом подходящем месте дедушка ставил следующую кужу. И так дальше — пока не расставит все крылатые ловушки. Потом дед возвращался к берегу и брал одровицы. Их он норовил ставить в местах, где было помельче и виднелись кочки, обросшие травой. Одровицы ставились на один кол, с ними дедушка управлялся быстрее. Расставив все карасевые снасти и всласть налюбовавшись красотами озера, мы с дедом подъезжали к берегу, оставляли осиновку незапертой и шли домой.

Когда мне было десять—двенадцать лет, я любил вставать вместе с дедом — рано утром. Старался быстрее его собраться, а потом выходил из избы поглядеть на яркую зарю. Солнце пряталось еще где-то далеко за краем земли, а короткая летняя ночь уже отступала.

От полевой дороги за хутором узкая тропинка-глобка уводила нас с дедом к небольшому заливчику, где в густой траве ждал осиновый челнок. Усевшись поудобнее на носу юркого суденышка, я смотрел на деда и завидовал ему: как ловко он орудовал веслом на корме! Суденышко шло легко и плавно по глади озера, чуть раскачивая носом из стороны в сторону. Улыбка деда, спрятанная в седоватой бороде и в пожелтевших от табачных самокруток усах, выражала нежность ко мне и довольство красотой приволья.

Не доезжая до иной кужи несколько саженей, дед, улыбаясь и подмигивая, говорил, в какой куже много карасей. Об этом он узнавал издали по шевелящимся кужиным кольям, воткнутым в землю. Караси издали чувствовали приближение нашей осиновки и вели себя в ловушке беспокойно, суматошились в ней.

Улов из ловушки дедушка выбирал, уже подъехав к берегу. Там он перекладывал рыбу в корзинку и относил ее к двум сплетенным из прутьев кузо-

вам-садкам. Садки у деда были утоплены камнями в воду под густой ивой у берега озера. В большой садок дедушка опускал крупных карасей, в садок поменьше — мелких. Кужи и одровицы были у деда крупноячеистые, поэтому караси меньше трех вершков в длину не попадались. Подняв из озера все карасевые снасти и неторопливо управившись с рыбой, дед выходил на лесную полянку у озера и развешивал сушить кужи и одровицы.

За семнадцать лет своей жизни на Ножевском хуторе я ни разу не слышал от дедушки Федора жалоб на то, чтобы его снасти кто-то из посторонних поднял, выбрал бы из них рыбу и, побросав ловушки, ушел. Никто никогда не трогал у деда не только рыболовные снасти, но даже его превосходное осиновое суденышко, которое он оставлял безо всякого запора на озере.

Когда я ездил с дедом на рыбалку, он отдавал мне карасей по целой торбе, и я с радостью приносил их домой. Часто пускал карасей в кадку с водой, что стояла у нас на мосточке возле самой избы. Крупных карасей дедушка нередко приносил живьем на хутор и продавал за копейки сгонщикам, которые гнали лес по Мологе, или косцам, приехавшим на пойму из «горских» деревень на сенокос.

Караси Молого-Шекснинской поймы были лишены неприятного болотного запаха, что нередко ощущается в рыбах других водоемов. Наши караси были вкусны. Желтовато-белое, чуть сладковатое мясо всегда вновь и вновь манило тех, кто хоть разок попробовал его. Отсутствие болотного запаха объяснялось просто: все озера и болота поймы ежегодно прополаскивались весенними паводковыми водами, в них не создавалось многолетнего застоя и гниения воды.

Пойменных карасей с удовольствием ели и нищие и родовая знать. Мой дедушка по отцу, Никанор, как-то рассказывал, что до революции, когда в село Борисоглеб на лето приезжал граф Мусин-Пушкин (у него там было мологское имение), то слуги его приходили в деревню Новинку-Скородумово, где тогда жил мой дедушка, и заказывали мужикам карасей для графской кухни. Видимо, у графа губа была не дура.

У дедушки Федора, как и у некоторых других мужиков-рыболовов в пойме, был свой естественный садок для рыбы — небольшое, но глубокое озерко в Кочерихе, недалеко от хутора. В это озерко-садок дед отпускал пойманных карасей. Из озерка дед брал карасей когда хотел. Скажет, бывало, своим сыновьям, моим дядюшкам, Ивану и Федору, что заприхотничал поесть карасей. Те возьмут бредень, пойдут к озерку и выловят карасей сколько необходимо. Много раз бывало, что к дедушке приходили соседи-хуторяне или мужики из ближних деревень, прося дать карасей на какой-либо праздник. Дедушка только и скажет:

— Берите бредень и идите в садок-озеро. Сами вылавливайте...

Нежадный был мой дедушка Федор и шибко трудолюбивый. Его уважали все, кто знал.

Еще со школьной скамьи нам известно, что многие виды насекомых очень быстро превращаются из личинок в летающих мотыльков. В том числе и метелóк. Крупные личинки его за считанные минуты превращались в порхающих мотыльков. Они всегда появлялись в определенный час и тучами летали над рекой. Мириады нежных желто-белых бабочек величиной чуть меньше болотной стрекозы порхали над водами Мологи и Шексны и по их берегам. Это было впечатляющее зрелище. Тот, кому довелось видеть вылет метелков, легко представит себе красоту этого природного явления...

Над рекой стояла полночная июльская тишина. В белесоватой мгле под куполом ночного неба неярко светили звезды. Лишь отдаленные крики дергачей-ходунов изредка долетали из прибрежных зарослей кустарника. Беловатый парок жидкого тумана прозрачными клиньями стлался по реке. Тишина, казалось, наводила дрему на все окрест. И вдруг на самой середине реки раздавался шумный всплеск. Потом второй, третий... То были удары крупной рыбы, которая чувствовала великое превращение насекомых и на всем протяжении вылета метелка поджидала его, приходя в восторг от скорого чуда, дарующего ей добрую пищу

И ты стоишь в ожидании у самой реки: скоро, совсем скоро, вот и рыба своим шумом подает знак... И... Вот оно — чудо: среди разгара жаркого лета над рекой вдруг забушует настоящая зима — белые порхающие мотыльки. Они снуют туда-сюда, устраивая промеж себя толчею, и похожи на крупные хлопья снега, повисшего над рекой. «Ши-ши-ши-ши...» — над водой стоял сплошной шипящий гул от взмахов крылышек мотыльков. Не зря про вылет метлицы-поденки местные жители говорили: «Валится метелок». Он и впрямь словно с неба падал.

Во время вылета метелка любопытно было наблюдать само превращение личинок в мотыльков. Если встать у самой воды с фонарем, будет хорошо видно, как белая личинка карабкается из воды на прибрежную кромку земли и снимает с себя верхнюю оболочку, словно по волшебству оборачиваясь желто-белым мотыльком с двумя нежными крылышками по обеим сторонам своего тельца. Сначала из личинки появлялась головка мотылька с двумя точечками черных глаз; потом на спинке вздувался бугорок, и из него расправлялись крылья, которые тут же начинали двигаться — мотылек как бы помогал себе быстрее освободиться от тяжести младенческих оков.

Освободившись от оболочки, мотылек тут же поднимался с земли и брал направление к реке, где армады его собратьев уже толклись в сумятице брачных танцев. Спариваясь, мотыльки обнимались крылышками, горбились и, часто не в силах удержаться в воздухе, валились на воду, где их тут же хватала прожорливая рыба. Жаль, что шипящее месиво порхающих над водой мотыльков можно было наблюдать недолго. Вскоре весь этот содом прекращался. Живая белизна над рекой пропадала одним разом. Метлица-бабочка умирала мгновенно.

Мертвый метелок плыл вниз по Мологе. Он кашей набивался в тихих заводях за мысами реки, длинными желто-белыми полосами прибивался к береговым заплескам на съедение птицам. Прибрежные нитки берегов реки насколько хватало глаз были покрыты узкой белоснежной полосой: то была кожура личинок и умерших тел метелков. Метелок заполнял собой все. Так заканчивалось одно из бесподобных явлений природы — прекрасное мгновение короткой жизни метелков.

В ночь вылета метелка многие мужики и мальчишки прибрежных деревень не спали, караулили это диковинное зрелище. Среди ночи все выходили из домов на берег реки, всяк за своим делом: одни — чтобы собирать летающих бабочек для рыбалки, другие — поглядеть на природное волшебство.

Издревле наш Северо-Запад славился многими дарами леса. А Молого-Шекснинская пойма была почти что центральной его частью. На ее территории родилось помногу грибов и ягод. Без их запасов, наверное, не жила ни одна семья междуречья.

Ягод было неисчислимо! Малина и земляника, калина и смородина, клюква и морошка, ежевика и черемуха, черника и гонобобель, брусника и костяника местами густо покрывали пойменную землю. Природные условия словно специально были созданы для того, чтобы всюду росли ягоды. Этому способствовало обилие лесов, достаточное количество влаги и большое число солнечных дней в году. Почти каждое лето было теплым и солнечным. Леса, луга, водоемы, грунтовые воды, воздух — все вокруг было естественным, первозданным, не измененным хозяйственной деятельностью человека.

Черная и красная смородина любит, чтобы рядом росли ольха, ива, черемуха и дуб. Ольшаник вперемежку с ивой и черемухой создавал на территории поймы непроходимые чащобы. Летом это напоминало своеобразные северные джунгли. В такие чащобы из-за буйной листвы местами даже не мог проникнуть солнечный свет. Но черной смородины росло там в изобилии. Пойдешь, бывало, в последний месяц лета в ближний лес, нырнешь с открытого поля в кромку ольшаника, черемухи и ивняка, раздвинешь кусты — да так и замрешь, очарованный. На раскидистом смородинном кусте широкой лапчатой листвы подчас оказывалось меньше, чем черно-смолянистых ягод. Шагнешь чуть в сторону, оглядишься по сторонам — совсем рядом, окруженный крапи-

вой, красуется еще один смородинный собрат еще раскидистее и плодовитее первого.

С тех пор как люди поселились в пойме и до последних дней ее существования нередко бывало, что к веткам смородинных кустов, которые росли в ольшаниках большими колониями, рука человека не прикасалась по многу лет подряд. В таких местах ягоды склевывались птицами, но большая их часть, созрев, падала на землю и сгнивала. Ягоды черной смородины сидели на ветках не в одиночку, а гнездились целыми гирляндами, свисали к земле, словно крымский виноград. Бывало, обери ягоды только с одного куста — и добрая банка варенья будет стоять в голбце для чайной прихоти в зимнее время. Только вот варенье в прежние времена жители поймы почти не варили. Тогда не было столько сахара, как теперь. Чай пили не внакладку, а вприкусу, да еще и с оглядкой. С маленьким кусочком сахара выпивали его по целому самовару. Да и так-то бывало не в каждой крестьянской семье. Кто собирал в лесу черную смородину, тот ее сушил, а зимой пек с ней пшеничные пироги или заваривал ягоды кипятком и пил вместо чая, это считалось пользительным, как лекарство.

Красная смородина росла в пойме обособленно от черной. Она чаще встречалась в ивняке, на склонах оврагов, в низинах покосных лугов, по берегам озер, малых речушек и ручьев. Этот вид смородины тоже был плодовит. Ягоды были бордового цвета, кисловато-сладкие. Деревенская детвора любила красную смородину. В середине августа ягоды всегда заманивали ребят своей прелестью в кустарники. Дети лакомились теми ягодами не хуже, чем пряниками, наедаясь до отвала. Выберутся из смородинных кустов на поляны и лужайки перемазанные ягодой словно красной краской — лицо красно, руки красны...

Красную смородину никто из местных жителей не заготовлял. Ценная ягода из года в год вырастала, созревала и опадала на землю.

На лесных полянах тут и там были разбросаны приземистые стебельки земляники и костяники, на них ярко-красными пятнышками рдели сочные плоды. Эти ягоды служили лакомством лишь для одних тетеревиных да куропаточных выводков.

Высокие, стройные рябины осенью маячили гирляндами оранжевых ягод по кромкам лесов. В январские морозы и февральские метели горьковатой ягодой охотно кормились тетерева-шипуны. Им ее хватало вдоволь.

В плодовитости рябине не уступала и калина. По окрайкам покосных лугов и хлебных полей раскидистые кусты калины стояли словно девы, разряженные в бордово-красные наряды. Ягоды калины свежими не ели — они горькие. Набрав ягод не меньше меры, пойменские бабы засыпали их в глиняные пивные корчаги и ставили в жарко натопленную печь парить и томить. Ягоды хранили в тех же корчагах, в которых и парили, под полом — в голбецах. Брали их, когда надо к трапезе. Знаменитым третьим или четвертым блюдом, подаваемым хозяйкой к столу в завершение завтрака, обеда или ужина, было налитое в блюдо топленное в печи молоко с добавкой объемистого черпака пареной калины. Дети зимой то и дело просили у матерей или бабушек положить им пареной калиночки и разбавить ее коровьим молоком.

В кустарниках ивняка у покосных лугов, по отлогим берегам рек и ручьев, возле овражистых мест росло много ежевики. То была черная с синевато-оливковым оттенком ягода с приятным вкусом. По форме и размеру ежевика напоминала теперешнюю садовую малину. Ее было много по обоим берегам Мологи и Шексны. А на Борисоглебском острове природа словно специально отвела место для ежевики. Среди стволов ивового краснотала и черемухи стебли ежевики, как пружинистые кольца из проволоки, обвивали кустарник у самой земли жгутами длинных зеленых стеблей, выползали с травянистых лужаек прямо к реке на прибрежный песок. На вьющихся ежевичных стеблях в центре каждого лепестка-звездочки виднелась полувершковая ягода. Ежевику никто из жителей поймы не заготавливал, вся она из года в год пропадала.

В середине мая, когда листья на деревьях были еще не больше пятачка, зацветала черемуха. Посмотришь, бывало, на ближний желто-зеленый лес и в кромках зубчатых лесных полос увидишь во всех местах стройную, как укра-

инский кипарис, черемуху в белом наряде. Цвела черемуха густо. Нежные лепестки сплошь закрывали листву, издали кроны казались окутанными белым покрывалом. Проходило больше десяти недель, прежде чем созревали смолистые ягоды.

Многие старожилы поймы заготавливали ягоду на зиму — сушили ее. Отвар из ягод черемухи использовали ка лечебное снадобье при желудочных заболеваниях. И, говорят, это помогало.

Известная в те времена русская песня «В саду ягодка малинка призакрытая росла...» словами не подходила к нашей малине. В междуречье малина росла не в садах и не прикрытая, а в лесах — открытая. Малинник заполнял многие лесные вырубки, кустился в канавах, ползуче разрастался в кустарниках между луговых и хлебных полей. Пойменная ягодка малинка была крупная, сочная, душистая. Малины заготовляли много. Ее сушили, клали в кипяток вместо чая и пили, изгоняя простуду.

Повсеместно в пойме не росли лишь черника, гонобобель, клюква и морошка. Эти ягоды — спутники хвойных лесов. Такие леса преобладали на северо-западе поймы — к Весьегонску и Яне. Янские и весьегонские жители любили в старину печь пироги с черничной и гонобоблевой начинкой. Если говорить о клюкве, то она много столетий славила Весьегонск и Яну далеко за пределами Молого-Шекснинской поймы.

В старину тамошние мужики плели под клюкву специальные лубяные корзины из тонкой деревянной щепы-дранки. В эти корзины клюквы убиралось по полтора-два пуда. До революции корзины и мешки с весьегонской и янской клюквой по дешевой цене скупали через своих посредников у жителей тех мест пронырливые новгородские и псковские, рыбинские и мологские, устюжинские и весьегонские купцы. Цены на клюкву устанавливали не те, кто ее собирал, а те, кто ею торговал. За двухпудовую корзину клюквы тот, кто ее собирал, мог получить монету на два калача и одну жесткую конфету-ледяшку, обернутую в морщистую бумагу. И это для сборщиков клюквы считалось тогда доходом.

Часть весьегонских земель не ушла под воду рукотворного моря, лес на этих землях продолжает существовать вместе со своей спутницей клюквой. Весьегонские жители и ныне охотно собирают клюкву и сдают государству. Так что былая слава весьегонской клюквы пока не померкла. А вот янской клюквы не стало. Весь янский лес, который тысячелетиями стоял почти в центре Молого-Шекснинской поймы, в 1936 — 1940 годах был вырублен, а весной сорок первого оставшиеся после того леса пни скрылись под волнами Рыбинского водохранилища.

Пожалуй, редко встретишь человека, по крайней мере русского, который не любил бы полакомиться хорошо приготовленными грибами. В пойменных местах грибов росло множество. Редкая семья не запасала их на зиму. В пищевой рацион местных жителей входило девять видов грибов: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики — эти породы сушили; рыжики, грузди, серухи и волнухи солили. Остальные грибы, такие, как шампиньоны, лисички, сморчки, опята, сухарки, даже и не считались съедобными.

В каждой крестьянской семье были хорошие условия для сушки грибов. На жестяной противень, а то и просто на деревянную доску тонким слоем клали прямые стебли ржаной соломы, на нее накладывали грибы-сушеники и сажали в натопленную русскую печь. Пока они сушились, в избе стоял грибной аромат. Солили грибы в осиновых кадках, которые на зиму убирали в голбецы. Грибные солянки, пшеничные пироги с сушеными грибами, соленые рыжики и грузди, серухи либо волнухи со сметаной почти всегда украшали праздничные и будничные столы пойменцев.

В пору грибного сезона многие семьи на три-четыре дня отрывались от полевых работ, бросали дела по дому и на лошадях уезжали в лес за грибами, кто за какими хотел. Так в грибной сезон поступали во многих междуреченских деревнях не только в пору ведения единоличного хозяйства, но и позже, при колхозах. Правление колхоза выделяло специальные дни для сбора грибов. Такое решение было разумным и вполне себя оправдывало.

Приехав в лес за грибами целой семьей, крестьяне распрягали лошадей, чтоб они покормились лесной травой, и тут же неподалеку начинали собирать грибы — они были кругом. На подводу ставили по две-три гуменные корзины, которыми во время молотьбы носили мякину. Корзины за несколько часов доверху заполнялись грибами. Из лесу домой грибники шли пешком — грибов было так много, что у лошади выступал пот на спине.

Много белых грибов росло в дубовых рощах. Под дубьем они были низкорослые, упругие, с темно-бурыми шляпками, на корню в них редко заводились черви. Возле отдельных дубов белые грибы росли ежегодно.

В некоторых местах вековые коренастые дубы росли промеж собой нечасто, и во время сенокоса вокруг каждого дуба выкашивалась трава, как метелкой подметалось. После этого дубы возвышались над молодой завязью отавы, как огромные темно-зеленые монументы на большой и старательно прибранной площади города. Глянешь в просветы между дубами — и казалось, что молодая отава травянистого предосеннего луга похожа на новую сверкающую бархатную скатерть.

В конце июля или в августе подойдешь иной раз к какому-нибудь плодовитому на грибы дубу и в нескольких саженях от его корявого ствола и выпученных на поверхности корней залюбуешься увиденным зрелищем. Вокруг — бурые кругляшки-шляпки белых грибов одинаковых фасонов, но разных размеров, словно кем-то рассыпанные да плененные повзрослевшей травой-отавой. Под дубом белый гриб стоял так же крепко, как и сам дуб-исполин. Обойдешь, бывало, в августовское утречко три-четыре плодовитых на грибы дуба и не успеешь оглянуться — корзинка уже полна.

Дубы в пойме были примечательны еще и тем, что в них нередко жили дикие пчелы. В больших деревьях с толщиной ствола у земли этак около двух мужицких обхватов от времени иногда сгнивала сердцевина, из-за чего в середине образовывались вместительные дупла. В них птицы часто вили гнезда. Находили там убежище и дикие пчелы.

Прежде мужики говорили, что гнездовья пчел нетрудно найти, если внимательно проследить за пчелой, когда она собирала мед с какого-либо растения. Набрав нектара или пыльцы для построения сот в улье, пчела к месту своего гнездования обычно летит по прямой линии. По направлению этих полетов люди в прежние времена и распознавали пчелиные гнезда.

В далеком прошлом многие занимались специальным поиском меда от диких пчел, так называемым бортничеством. Но в последнее столетие существования поймы сбор меда от диких пчел не служил для жителей тех мест постоянным промыслом, а носил лишь эпизодический характер.

Случалось, что, найдя пчелиное гнездо, люди вынимали из него по полтора-два пуда чистого меда, а иногда и больше. Диких пчел искали по осени, а найдя не зорили их улья, а забирали домой. Для этого дуб срубали или спиливали под самый корень, осторожно валили его на землю и так же осторожно выпиливали место гнездования пчел. А потом клали выпиленный дубовый кряж на подводу и вместе с пчелами увозили в деревню. Там устанавливали ту дубовую колоду в огородах, и пчелы жили в дупле всю зиму. По весне из дубового дупла их пересаживали в колоды-домики. Так жители поймы одомашнивали диких пчел, размножали их. А пчелы служили людям, принося целебную сладость.

Мой отец многие годы держал пять колод-ульев, где у нас жили пчелы, которых он развел от диких пчел. Чтобы пчелам было тепло зимой и они не вымерзали, отец сделал даже для них специальный мшаник — приземистый деревянный сруб из толстых бревен с прокладкой в пазах сруба лесного мха. Поверх сруба была сделана пологая крыша. Ее покрывали ржаной соломой. Была в том срубе специальная дверь — в нее вносили колоды-домики с ульями. Ни один из ульев в том мшанике зимой не погибал...

В старину столица волжских бурлаков Рыбная слобода, позднее город Рыбинск, расположенный при впадении Шексны в Волгу, была важным торговым центром России. Молого-Шекснинская пойма находилась рядом с Ры-

бинском, и тогдашнее купечество охотно покупало по дешевой цене у мологских и шекснинских мужиков продукты земледелия и животноводства, дары лесов и водоемов. Но хлебом пойма торговала не так широко, как сеном. Небольшие хлебные поля в основном рассчитывались на то, чтобы собственным хлебом прокормиться самим да заплатить подати.

Основной зерновой культурой в междуречье являлась яровая пшеница, урожаи которой по тем временам нередко были высокими. Мужики говорили: «Нынче пшеница уродилась сам-тридцать». Это означало, что посеянный пуд пшеницы давал урожай в тридцать пудов. Рожь сеяли редко — боялись, что она вымокнет в водополицу. Сеяли также овес и ячмень. Ячмень шел для варки пива, а овес в основном для корма скоту, особенно лошадям.

Производство хлеба для прежнего крестьянина без лошади было немыслимо. До широкого применения машин в сельском хозяйстве Молого-Шекснинская пойма не дожила, и все полевые работы производились руками людей да силою лошади.

Все пойменцы сеяли зерновые из лукошка. Лукошко по форме походило на кухонную кастрюлю с двумя петлями-ручками по бокам. Оно изготовлялось из дерева, было прочным, легким, и в него убиралось до пуда зерна. За ручки-петли к лукошку вместо лямки привязывалось домашнее полотенце. В старину в некоторых местах России, в том числе и среди жителей Молого-Шекснинской поймы, существовало поверье: якобы домашнее полотенце, привязанное к лукошку на время сева, приносило людям богатый урожай. Это поверье просуществовало до исчезновения лукошка с крестьянских полей. Когда люди заканчивали сев, полотенце снималось с лукошка и, как божественный знак, хранилось в укромном месте до следующей посевной. Но привязывать полотенце к лукошку было необходимо скорее не в силу поверья, а для удобства. Ведь носить по полю полное лукошко зерна на тоненькой веревочке сеяльщику оказывалось не под силу. Нужен был крепкий, толстый и мягкий жгут, чтобы от такой ноши не резало плечо. Полотенце для этого очень подходило.

Сеять зерно требовалось так: повесив через плечо на живот лукошко с зерном, брать из него рукой горсть и, сделав умеренный шаг одной ногой вперед с одновременным поворотом слегка влево, ударить всей горстью зерен о стенку лукошка; зерно при ударе отскакивало и веером рассыпалось по пашне; затем бралась вторая горсть зерна, второй шаг — теперь уже с поворотом направо — и снова удар горстью зерна по деревянной стенке, и опять зерно веером рассыпалось по земле. Сеяльщик, делая шаг вперед, одновременно выбрасывал из лукошка горсть зерна; делал снова шаг и тут же выбрасывал вторую горсть. От этого все зерно ударялось о наружную стенку лукошка — обечайку — с одинаковой силой и равномерно рассыпалось по вспаханной земле.

Сеяльщик со стороны казался похожим на гуся, который ковыляет по зеленой лужайке: он шел по бурой земле вспаханного поля, переваливаясь из стороны в сторону. В такт его шагам с поля доносилось «вжи... вжи... вжи...» — ритмичные удары хлебных зерен о наружную стенку лукошка.

Шаг за шагом идет по мякоти хлебного поля человек. Утопает ногами, обутыми в лапти и онучи, по самую щиколотку в рыхлую, вспаханную землю. Сноровисто выбрасывает хлебное зерно из лукошка — горсть за горстью, горсть за горстью... Сутулясь и горбясь под тяжестью хлебной ноши, обтирая с лица соленый пот, застилающий глаза, он идет и идет, проходя нередко за день десятки верст. Сколько сотен, тысяч, миллионов верст было пройдено сеяльщиками по полям одной только Молого-Шекснинской поймы!

Раньше хорошо знали цену хлебу, умели уважать его и беречь. Не забуду, как мой отец, не такой уж шибко строгий, однажды крепко выпорол меня, тринадцатилетнего подростка, за то, что как-то я бросил в раскрытое окно куском в своего товарища Ваньку, потому что тот дразнил меня. После порки я больше недели не мог сидеть...

Большинство зерновых на своих полях жители Молого-Шекснинской поймы сжинали серпами. Ручными косами косили только овес, вику с овсом, горох и клевер. В прошлые времена из всех орудий сельскохозяйственного

производства серп для крестьянина был важнейшим. В старину про серп бытовала загадка: «Маленький, горбатенький, все поле обскакал».

Жали больше женщины. С утра, как только высыхала роса, они выходили на жнивье и работали до позднего вечера. С запекшимися от солнечного зноя и летнего ветра губами, с руками до крови исколотыми грубой стерней и соломой, русские крестьянки горбились на ржаных и пшеничных полях, жадно, с любовью срезая серпами захваты длинных стеблей со спелыми колосьями хлеба. Тогда нередко было, что рядом со жницей-матерью в тени уложенных в суслон хлебных снопов в мокрых пеленках барахтался ее грудной ребенок. На полях в старину, случалось, и рожали.

В период уборки хлебов жители поймы отказывали себе в отдыхе, а нередко и в еде, особенно в вёдреные дни, когда светило солнце. Жнитво в пойме проходило две-три недели. Перед молотьбой все главные зерновые сушились в ригах, где устраивались печи. Печь затапливалась в риге, снопы с зерном подвешивались на колосники-жерди под крышей над печью и сутки сушились. Бывало, возьмешь в руки пшеничный колосок из снопа, высушенного в риге, чуть потрешь его в руке, и все зернышки до единого выкрашивались из колоса.

Рядом с ригами строились крытые тока-навесы со специальным полом: земля под ними покрывалась жидкой глиной, которая засыхала и становилась твердой, как асфальт на дороге. Те крытые тока крепко помогали пойменным крестьянам. Под крытым током на таком глиняном полу молоти когда захочешь — хоть в проливные осенние дожди, хоть в снежные вьюги в начале зимы. Но жители поймы управлялись с молотьбой до вывалки первого снега. Все хлебные снопы заранее привозились с полей под навесы токов, укладывались в скирды, а перед молотьбой сушились в ригах. В хлеборобском деле пойменцы исстари руководствовались правилом: кончил дело — гуляй смело. Но мологжане и шекснинцы гуляли нечасто — только по праздникам. Весной, летом, осенью им для работы и световой день был короток.

Мельниц в пойме почти не было. Водяных мельниц не строили из-за поемности земли весенней водой, а ветряные сооружались редко, да и те маломощные. Поэтому молоть зерно приходилось на мельницах в «горских» селах и деревнях. По осени и в начале зимы к тем мельницам съезжалось так много мукомольных подвод, что часто случались завалы на помол зерна. Отправляясь на мельницы, междуреченские мужики всегда брали с собой харчи для себя и для лошадей. Просидит мужик двое суток, дожидаясь своей очереди, все харчи съест, и лошадь его все сено и овес умнет, а до помола еще далеко.

Пойменные мужики норовили ездить на мельницы раз в год, все больше осенью. Мельничные подводы навьючивали зерном так, что иной раз лошадям было не под силу ввозить их в гору. Тогда мужики сами впрягались или помогали лошадям сбоку.

Привезенного с мельницы воза муки крестьянской семье обычно хватало на всю зиму. Два раза в году ездили на мельницы только большесемейные крестьяне. За помол платили мукой и деньгами. Во время коллективизации всех мельников в «горских» деревнях раскулачили, но их убогие кустарные мельницы продолжали молоть зерно до самого исчезновения поймы.

Каждый житель поймы с детства приучался к труду, познавал не столь уж мудреные истины крестьянской жизни. Мой отец часто говорил: «Человек то и поживет, что он поработает». Отец всю свою жизнь работал без выходных дней, не знал, что такое отпуск, дом отдыха или санаторий. Ему было затруднительно объяснить, почему пожилым людям, выработавшим свой трудовой ресурс, выдавали пенсию. Он не понимал, почему физически маломощным пожилым людям нужны государственные пособия, когда в их семьях есть молодые люди, которым по законам самой природы положено содержать старых нетрудоспособных родственников. Так прежде жили все русские земледельцы, чьи шершавые и загрубелые от работы мозолистые руки обрабатывали необозримые поля, выращивали хлеб...

Как только спадал весенний лив воды, отец каждое утро вставал с постели чуть свет, запрягал кобылу Маруську в плуг и ехал в поле пахать до завтрака. Из семерых детей я в семье был старшим. Мои руки впервые ухватились за

плуг в борозде поля, за косу — на сенокосе. А было мне тогда всего тринадцать лет. В то время пахота и косьба являлись самыми тяжелыми во всем крестьянском труде. Помню, отец сказал мне тогда:

— Ну что же, Павлуша, надо учиться пахать землю плугом, тебе уже четырнадцатый год...

И утром следующего дня я зашагал рядом с отцом с хутора на пашню. Впереди нас шла лошадь, запряженная в лучок плуга. Поваленный набок плуг тащился за ней, расчерчивая землю полозом и ручкой двумя змейками-полосками. Мы шли молча. Отец держал в руках вожжи, правил лошадью и изредка бросал взгляд по сторонам узкой дорожки. В то утро весна бурно вступала в свои права. Пахучим хмелем пьянила растаявшая влага.

Начатое для распашки поле находилось невдалеке от хутора, и мы с отцом вскоре пришли к темно-бурому лоскуту земли. После короткого отцовского объяснения я ухватился за ручки плуга. От понуканья лошадь тронулась. Но, впервые взявшись за плуг, мои почти детские руки не могли удержать его в полевой борозде ровно и крепко. Плуг вильнул в сторону и вырвался. От такой промашки, оттого, что не умею по-крестьянски норовить плугом, я застыдился, почувствовал краску на лице. Отец был рядом. Он крикнул лошади: «Тпру-у-у!» — та остановилась. Попятив вожжами назад, вставив плуг в то место, где я начал пахать, отец сказал:

— Ты, милый сын, за ручки плуга не держись так, чтобы тебе самому не упасть, а старайся править плугом вот так...

И отец прорезал плугом пару саженей. Я трунил сбоку, любуясь, как широкий изгиб плужного отвала клал на себя кромку прошлогоднего поля, перевернутую ленту бурой земли.

— Тпру-у-у! — снова крикнул отец.

Лошадь опять остановилась, а отец спросил меня:

— Ты видел, как сплавщики леса сошат сохой землю по реке, когда останавливают гонку?

— Да.

— Так вот учти: плуг — это почти та же соха сплавщиков леса. Если ту соху держать отлого, то она в землю не войдет, сошить не будет, и от этого канат от гонки, привязанный к сохе, не натянется и гонка не остановится. Если же соху держать круто, она от натяжения каната сразу же влезет глубоко в землю, и тогда соху не удержать — ее вырвет из рук сгонщика, и опять гонка не остановится. Сгонщики леса сохой норовят. Так же и плугом в борозде поля надо норовить — пускать его в землю не мелко и не глубоко. А ну попробуй еще раз.

Я снова взялся за ручки плуга. На этот раз ухватился покрепче.

— Н-но-о-о, милая! — крикнул отец.

Деревянный лучок впереди плуга заерзал, и плуг от натяжения лошади сначала медленно, а потом быстрее пошел вперед. Меня закачало. Руки юлили из стороны в сторону. Я старался удержать плуг. Твердая опора уходила из-под ног — шагать за плугом мешала борозда, я вихлял всем телом. Но плуг все-таки шел за лошадью. Он то углублялся и натужно шипел, словно сердясь на землю, то выходил кверху и тогда убавлял ярость.

— Стой! — крикнул отец.

Я остановил лошадь. Глубоко дыша, почувствовал под рубахой теплоту. Повернулся назад, глянул на кривые ломти земли, только что перепаханной мной, на отца, идущего ко мне.

— Так не годится. Смотри, что напахал: где глубоко, где мелко. Надо ровнее, — тихо промолвил отец.

Он вынул из холщовых штанов кисет с табаком-самосадом, скрутил самокрутку, закурил и, присев возле плуга на корточки, сказал:

— На сегодня с тебя хватит. А теперь ступай домой и склади в поленницу по стенке сарая все колотые дрова.

Я долго стоял возле борозды, вспаханной под управлением отца. А он, покурив, тронул за вожжи лошадь, повернул ее обратно и начал пахать с того места, откуда начинались мои кривули. Я смотрел ему вслед и видел, как он, будто бы не тужась, играючи шел за лошадью, держа в крепких руках плуг,

показавшийся мне таким тяжелым и упрямым. Майский день щедро разливал по лугам и полям истому. Я стоял и любовался работой отца. Управляя плугом и лошадью, он дошел до конца поля, повернул назад и, воткнув в землю острие плужного лемеха, снова, теперь уже скрывшись за лошадью, двинулся по новой борозде мне навстречу. Я глянул по сторонам. На других лоскутах земли тоже пахали. Глядя на пашущих мужиков, я тоже захотел научиться делать великое крестьянское дело — пахать плугом землю так же, как это умел мой отец.

Через два дня отец снова позвал меня на пашню. Три попытки и на этот раз закончились для меня огрехами. Тащась за лошадью, плуг упорно не слушался мальчишечьих рук. Меня брала досада.

— Ничего, — ласково успокаивал отец, пряча усмешку в посиневшие от табачного дыма усы, — помучаешься и научишься...

Много было сделано мною попыток научиться пахать землю. Но только через два года я полностью овладел главным инструментом тогдашнего земледелия. В пятнадцать с половиной лет я уже мог пахать землю и управляться с плугом наравне с отцом. Про меня и на своем Ножевском хуторе, и в деревне Новинки-Скородумово начали говорить:

— Вона у Зайцевых-та Павлуха-та уж пашет...

Это была высокая похвала, признание полноценности парня, его повзросления. Девки на вечерних гуляньях нередко язвили какому-нибудь подростку-мальчишке, который хотел поиграть с ними ради забавы:

— Вперед научись плугом землю пахать, а потом за мою косу хватайся!..

Огромное водохранилище у города Рыбинска, именуемое морем, по своему возрасту еще совсем младенец. Ан сколько уже новых поколений на свет народилось! И мало кто из пришедших и уже выросших в этом мире знает, как это море появилось у Рыбинска. Разве что такие вот старики, как я, жившие на плодородных землях, захороненных под водой, могут еще рассказать о том страшном, трагическом для жителей поймы времени, когда было принято решение о затоплении их малой родины.

В 1935 году Совнарком принял решение о строительстве гидроузла на Верхней Волге. Это был первый проект по освоению волжских гидроресурсов для нужд народного хозяйства. Вначале плотину и электростанцию планировалось построить под Ярославлем, у села Норское. Но изыскательские работы показали: грунт у Норского для строительства не подходит. Более того, в случае строительства сооружений у Норского потребовалось бы затопить и сам Рыбинск. А ведь это уже тогда был большой промышленный город. Пришлось гидростроителям пересмотреть свои планы, найти более подходящее место. Начали искать. Было решено шлюзовую плотину для прохода речного транспорта соорудить на Волге, в Переборах, а гидроэлектростанцию отнести в устье Шексны. Место для строительства оказалось подходящим. Специально созданная организация Волгострой пять лет вела строительство гидроузла возле Рыбинска.

С 1937 по 1940 год на всей территории Молого-Шекснинской поймы вырубался крупный лес, обезвреживались могильники и кладбища, шла активная подготовка жителей поймы к переселению на новые места. Подавляющее большинство переселили в 1938 — 1939 годах. К весне сорокового всем, кто еще оставался в пойме, уже не разрешили по весне пахать землю и сеять хлеб. В начале лета моего отца Ивана Зайцева заставили разобрать на своем Ножевском хуторе все частные постройки: избу, скотный двор, сенной сарай, хлебный амбар. Пришло время навсегда покинуть обжитое место.

В то время меня в родных местах уже не было. В 1939 году я попал по возрасту под новый правительственный указ, омолаживавший Красную Армию. Меня увезли на Дальний Восток. Как наша семья переезжала на новое место, я узнал из писем родных.

Отец с болью ломал постройки. Потом валил их в Мологу, сплачивая из бревен большой плот. Плот получился не очень прочным. На плоту вместе с родителями было шестеро моих сестер одна другой меньше. Тут же лошадь, корова, овцы. Так они, горемычные, плыли сначала по Мологе, потом по Вол-

ге. В нескольких верстах от Рыбинска плот потерпел аварию. В ту ночь вверх по Волге буксирный пароход тянул караван барж. Одна баржа задела родительский плот. Сразу стало ясно: авария серьезная, надо было приставать к берегу. Только на восьмой день отец причалил свой плот возле Норского, под Ярославлем...

Оглядываясь на прошедшее, как назвать это великое переселение? Насилием? Конечно, разве легко покинуть насиженные места, родной кров. Но люди понимали, что иного им не дано, и повиновались обстоятельствам. Многие жители поймы переселились тогда к Рыбинску, в его окрестности, на Скомороховскую гору, к Слицу за Волгу, образовав возле города большой поселок Веретье, построились в деревнях Гладкое, Макарово, в других близлежащих сельских районах. Немало междуреченских семей расселилось на берегах Волги между Рыбинском и Ярославлем. Часть пойменных крестьянских хозяйств была обустроена в «горских» деревнях, примыкавших к правобережью Мологи и не затопленных теперешним водохранилищем. Шекснинцы во время переселения образовали новые деревни в Пошехонье-Володарском и Рыбинском районах. Словом, за три года до начала Великой Отечественной войны началось и все три года продолжалось великое переселение людей из Молого-Шекснинской поймы. Переселение тяжелое, болезненное, оставившее по себе печальную память и вписавшее не лучшую страницу в нашу историю.

За три года было снесено пятьсот сорок деревень и хуторов, десятки больших красивых сел и даже несколько городков. Тысячи крестьян навсегда распрощались с благодатными уголками земли, где они привольно и безбедно жили, где остались похороненными несметные природные богатства.

До одури намаявшись за время переселения, люди только начали с огромными трудностями и лишениями обустраиваться, как вдруг... Не успев даже прислушаться к шуму деревьев и пению птиц, зрелые мужики-переселенцы из поймы в конце июня — начале июля 1941 года ушли сражаться с фашистскими завоевателями. Где недостроенные, а где не до конца обихоженные мужицкими руками хозяйства остались на баб, стариков, детей. Основное большинство их так и не дождались своих работников и кормильцев с войны. Почти все они, защищая родину, полегли на полях сражений.

...Мой отец к зиме сорокового года, поднатужась, успел собрать дом и скотный двор. Он вступил в тамошний колхоз имени Калинина и по-прежнему, как и в пойме, начал крестьянить. Весной сорок первого он, как и другие колхозники, возил на поля навоз, сеял хлеб, садил картошку. Известие о войне его ошеломило. Ему в ту пору было сорок четыре года. Отец собрался на фронт. Но на фронт его взяли не сразу. Он был избран председателем колхоза, и на него полагалась броня. Воевать его призвали зимой сорок третьего, а весной того же года он погиб под Ленинградом. Так и закончилась жизнь моего отца Ивана Зайцева, уроженца старинной мологской деревни Новинки-Скородумово.

...Весной 1941 года как по взмаху волшебной палочки близ Рыбинска появилось почти настоящее море. Молога и Шексна по своему обыкновению разлились, затопляя все вокруг. Этих вешних вод ждали, к их приходу подготовились на совесть. Паводковая вода оказалась взаперти, разливаться ей было некуда. Словно в ковшик попала она в приготовленное пространство, оказалась запертой двумя построенными к этому времени плотинами: волжской в Переборах, шекснинской возле Рыбинска. Так весенний паводок 1941 года оказался последним паводком в Молого-Шекснинской пойме. Он навсегда затопил ее землю — около двух тысяч квадратных километров благодатной, хорошо плодоносившей земли, богатых лесных угодий, травяных лугов... Прекратилась жизнь природы, которая так истово бурлила и кипела, так обильно роди́ла свои богатства и так щедро отдавала их людям. Мощный живительный родник в центре русского Северо-Запада погиб.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

*

ПРАЖСКИЕ ГОДЫ

Николай Ефремович Андреев родился в 1908 году в Ржевке, под Петербургом, в семье педагогов. В 1919 году Андреевы были вынуждены покинуть Россию и поселились в Таллинне. Жили бедно, на семью обрушились несчастья: во время бегства умерли брат и сестра Николая, а также их няня.

В Таллинне Николай Ефремович окончил русскую гимназию и в 1927 году отправился учиться в Прагу. Здесь он окончил Карлов университет и стал членом Кондаковского института, написав докторскую диссертацию «О деле дьяка Висковатого» (она опубликована в сборнике «Философия русского религиозного искусства. XVI — XX вв.», М., 1993). В годы второй мировой войны, уже в должности директора этого научного центра, Николаю Ефремовичу пришлось защищать институт от произвола немецких оккупационных властей. Много помогал ему в этом князь Карл Шварценберг.

После прихода в Прагу советских войск Николай Ефремович был арестован «Смершем» и более двух лет содержался под стражей сначала в Чехословакии, затем в Восточной Германии, пока наконец, не сумев предъявить ему никакого обвинения, советская администрация не освободила его, заявив, что Андреев был всего лишь задержан для выяснения личности. Вернуться в Прагу ему не позволили, и Николай Ефремович остался в Берлине. Вскоре он, к тому времени известный ученый-историк, получил два приглашения на преподавательскую работу — из Англии и США. Приняв первое приглашение, Н. Е. Андреев в 1948 году стал преподавателем кафедры славистики Кембриджского университета.

Научные работы Н. Е. Андреева были посвящены русской истории времен Ивана Грозного и русской литературе; в Кембридже он вел семинары по истории Киевской и Московской Руси, о Толстом и Достоевском, по истории русской мысли.

Воспоминания, отрывок из которых публикуется ниже, создавались Н. Е. Андреевым в последние годы жизни. Перенеся неудачную глазную операцию и почти потеряв зрение, Николай Ефремович вынужден был бóльшую часть своих воспоминаний надиктовывать на магнитофонные ленты, которые впоследствии расшифровывались его близкими.

Скончался Н. Е. Андреев в 1982 году, так и не закончив своего последнего большого автобиографического труда.

Николай Ефремович был талантливым рассказчиком, до конца своих дней сохранял отличную память. Публикуемый отрывок ярко изображает русскую эмиграцию в Праге 20 — 30-х годов.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Оксфорд, Англия.

Предлагаемые вниманию читателей главы из воспоминаний известного русского историка Н. Е. Андреева (1908 — 1982) любезно предоставлены нам в рукописи его семьей. Публикацию предваряет предисловие дочери автора — английского историка Екатерины Андреевой. (*Ред.*)

Перед шестью часами утра кондуктора пошли по вагонам и прокричали, что мы подъезжаем к Праге. Поезд наш вошел в Вильсоновский вокзал. Было ровно шесть утра. Октябрь. Темно еще. Но все было залито электричеством. Над вокзалом стоял пронзительный запах, ибо утром все вокзалы в Праге обмывались растворами карболки. Запах, который у меня долго ассоциировался с въездом в Чехословакию. Когда, много лет спустя, я в последний раз покидал Чехословакию, меня преследовал другой запах — искусственного бензина из дерева, тоже очень острый. На платформе мы увидели высокую фигуру очень представительного розовощекого, чернооkого и черноволосого Володи Римского-Корсакова, который всегда держался очень статно и даже горделиво, всегда умел выступать как представитель гимназии, выпуска и даже России. И рядом с ним маленькую фигурку Константина Ивановича Теннукеста, этого знаменитого Костю Теннукеста, который имел «пальму первенства», но который, по-моему, никогда ее не заслуживал, будучи скверным актером, со страшным сентиментальным надрывом, с растопыренными пальцами ладони, которые обозначали у него наплыв страстей! Но здесь он выступал совсем в другой роли. Это был наш человек в неизвестной стране. Сейчас, покуда таскали вещи, мы определили, что пойдет на хранение. Перетащили на другой — Масариковский вокзал, откуда предстояло ехать в эту деревню, которая называлась Уезд Надлесы, где нас ожидали нанятые друзьями квартиры.

Мы с Костей Гавриловым вошли в новую жизнь. Настроение было подавленное. Я очень устал. И все, что было в Эстонии, мне казалось замечательно милым, дорогим, нежным, неповторимым, очень желаемым и совершенно недоступным. Приходилось взять себя в руки и начинать борьбу неизвестно за что. Сама Прага меня от усталости сначала мало поразила. Мы быстро поняли, что это очень большой город, другого типа, чем Берлин, много движения, не очень много автобусов, а больше трамваев. Чехи, очевидно, вставали рано, потому что, когда в семь тридцать мы вышли с вокзала, город был полон движения. Поразили меня надписи. Например, надпись, которая меня очень удивила вначале: «Позор». Позор, почему позор? На одной из молочных я увидел надпись: «Горьки млеко». Горькое молоко? Что за странности? На булочной было написано: «Черстви хлеб». Сухой хлеб? Почему? Странная страна. Я выпил молока, между прочим, по чистой случайности молоко было пригоревшим. У меня надолго осталось впечатление, что это отвратительное молоко, и я долго потом вообще не пил теплого молока.

Мы разделились. Володя принял шефство над Костей Гавриловым и повел его регистрироваться, а мы с Костей Теннукестом пустились в деканат философского факультета, чтобы установить, как надо поступить. По-чешски я, конечно, говорить ничего не мог. В чешском консульстве в Таллинне я даже никогда не слышал чешской речи, все они говорили по-русски. Было всего два человека. И жены их говорили по-русски, и все приходящие тоже. А если они что-то вставляли по-чешски, мы принимали это за русский язык. Мы пришли в деканат. Я немножко струсил, все было так серьезно, солидно. Всюду масса чешских объявлений, в которых я ничего не понимал. Вдобавок безумно устали. Почувствовал, что мне ужасно хочется спать. Мы пошли туда, разговаривали с секретарем, и секретарь смотрела наши документы и что-то говорила Косте. Костя мне передал, что все будет в порядке, но нам следует пойти к почетному эстонскому консулу, дабы тот подтвердил, что я Андреев, и когда он подпишет такую бумагу, я буду принят в университет без всяких экзаменов, ибо окончил гимназию «cum laude», то есть «с похвалой», а таких на первые три месяца освобождают от платы (вносится лишь маленькая сумма за регистрацию). Консул оказался очень любезным человеком, он был чехом, представлявшим эстонские интересы, и отлично говорил по-русски. Он очень обрадовался, что представился случай кому-то помочь, и моментально заполнил бумагу. Поставил огромный штемпель с эстонским гербом, с удовольствием подписал документ, и мы отправились обратно в деканат, где Костя совался во всякие разные окошки. Бумаги у нас отобрали, сказав, что все устроят, но что я должен завтра вернуться сюда.

С Володей и Костей Гавриловым мы встретились в «Русском очаге» графини Софьи Владимировны Паниной, который представлял собой великолеп-

ную библиотеку очень хорошо подобранную, с прекрасным читальным залом, который каждое утро пополнялся свежими газетами со всего мира, в том числе и советскими. Рядом с читальней имелся буфет, где можно было закусить или даже пообедать. Нам дали чай и пирожки к чаю. И стоило все это пустяки. Я успел заглянуть в читальню и посмотреть заголовки нескольких русских газет, отметив про себя, что сюда, конечно, буду захаживать. Была уже вторая половина дня. Мы отправились «домой» и приехали на маленькую станцию. Отсюда предстояло идти больше двух километров лесом по хорошо утоптанным дорожкам, это был Уезд Надлесы. С поезда шло довольно много народу, но никто не попытался помочь нам нести чемоданы, которые мы, кряхтя и охая, тащили вчетвером. У каждого было минимум по два увесистых чемодана. Оказалось, что Володя и Костя Гаврилов на полдороге нас бросают: они помещались в студенческом доме, который назывался «Оздравовна» (бывший санаторий). В доме когда-то жили выздоравливающие русские студенты, а теперь им просто сдавали частные комнаты. Нам, однако, нужно было идти еще полтора километра, на самый конец деревни. Мы свернули с главной дороги налево, справа тянулись поля, а слева — кирпичные новостройки. Предпоследняя такая новостройка, оказывается, была наша, в которой Константин Теннукест снял для меня и для себя одну общую комнату у бывшего чешского легионера, воевавшего в Сибири, Франца Ивановича Мусило и его жены — русской Федосьи Ивановны. Мы были искренне рады, что дотащились наконец до этого домика. Там было приятно и тепло. Хозяин, строительный рабочий, тоже только что приехал домой. Миновав кухню, где они ужинали, мы прошли в свою комнату, довольно большую, обставленную по-городскому. У нас были отличные кровати, между ними стояли ночные столики, имелся стол, который годился как для еды, так и для занятий.

Уговорились, что хозяйка будет нас кормить дважды в день: утром и вечером. Утром она подавала кофе с молоком, масло, хлеба сколько хотите и жареное (яичницу, свинину или даже, как ни странно, утром — горячие сосиски).

Деревня была населена большим количеством русских эмигрантов. Жили тут представители академического мира и наш профессор истории — знаменитый Александр Александрович Кизеветтер. Квартира была удачная, но цены все были выше, чем мы проектировали в Ревеле. И тут была отчасти ошибка Теннукеста, что он и признал: Костя равнялся на прошлогодние цены, не сознавая, что они могут подняться, а они поднялись. Не очень много, но поднялись, и в результате в месяц получалась большая разница. Если у студента не хватает каждый месяц пятидесяти крон, за год образуется большой дефицит. Мне не хватало на дневное питание: я все выплачивал за квартиру...

На другое же утро мы с моим хозяином отправились зарегистрироваться в местную полицию. На основании прописки я получил студенческий билет на проезд до Праги и обратно. Это значительно снижало расходы на транспорт. Затем мы с Костей опять побывали в деканате. Там все уже было оформлено, и мне вручили студенческий индекс, то есть книжку, куда вы записываете лекции, которые собираетесь слушать, и на первой лекции получаете подпись профессора, а в конце триместра — вторую его подпись, что вы их действительно слушали. При этом нужно было еще внести плату, но мне ничего платить не пришлось: по договору с Эстонией я, как окончивший «с похвалой», за лекции не платил. Меня просто зачисляли на первый курс. За лекции я ни разу не платил, потому что каждый раз сдавал минимум, который полагался, а иногда и больше чем минимум — для освобождения от платы. Был такой порядок: каждый триместр вы должны были сдавать известное количество зачетов на две высшие отметки (отлично — «выборне», или очень хорошо — «вельми добже»), и тогда, если у вас было определенное количество лекций, вас освобождали от платы на следующий триместр. У меня все получилось очень удачно. Я заплатил только, когда приехал, маленькую сумму за регистрацию, что стал студентом Карлова университета «Старославного учени Карлова», и это действительно была большая честь. До того, как выбирать лекции, я попросил моего хозяина отвести меня в Русский институт сельскохозяйственной кооперации, директором которого был профессор Маракуев, чтобы там тоже оформиться. Я не собирался сообщать, что являюсь студентом

философского факультета Карлова университета. Это их не касалось. Институт находился в центре города и занимал часть помещения в отеле «Беранек».

Профессор Маракуев оказался симпатичнейшим и, как мне тогда представлялось, очень пожилым господином. На самом деле он тогда еще не был таким. Позднее, восемнадцать лет спустя, когда он стал значительно старше, я был в большой дружбе с ним. Он отнесся ко мне очень мило. Маракуев, по происхождению донской казак, был очень образованным человеком, специалистом по сельскому хозяйству и кооперации. Секретарем у него был милейший, очаровательный человек, тоже донец, и, как иногда случается у донских казаков, с какими-то украинскими чертами — пушистые усы, и говорил он с легким украинским акцентом, что придавало ему совсем особую окраску. Я представился. Маракуев с удовольствием на меня поглядел и сказал: «Александр Павлович, ну-ка посмотрите бумаги этого мальчика». «Мальчик» был даже немножко недоволен, ибо сам себе казался довольно-таки взрослым человеком, завоевывающим новый мир, а его называют мальчиком. Но при этом ко мне отнеслись по-дружески. Объяснили, где и когда начинаются лекции. Начинались они через два дня, так что мы не опоздали. Лекции были после обеда. Получилось очень удачно, так как большинство лекций в Карловом университете приходилось на утренние часы. Таким образом я мог совершенно спокойно, не нарушая ритма лекций, ходить на те и на другие. Единственным исключением оказались лекции Кизеветтера, который читал всегда после обеда. Но это происходило раз в неделю, и один раз можно было сманкировать появление в институте. Очень быстро мне выправили документы, и я стал действительным (двойным!) студентом.

Итак, я вступил в студенческое звание, что было очень приятно. Я сразу осознал, что и в том и другом случае я не прерывал связей с русской культурой, а, наоборот, стал ее расширять и углублять в самом себе. Русский кооперативный институт был основан исключительно русскими силами. Было очень много самых разнообразных преподавателей. Программа у них оказалась довольно большая. Основной курс продолжался два года. А третий год был специализированный, когда полагалось писать дипломную работу. Этого я не делал. Потом объясню, почему. Был целый ряд общеобразовательных предметов. Высшая математика, основы высшей математики. Причем скоро выяснилось, что объем знаний, полученных в нашей гимназии, был очень высок, так что мне очень мало потребовалось добавить для программы этого института — лишь по математике. Математиком оказался сам Маракуев. Читался крайне интересный курс политической экономии. Это очень много мне дало. Введение в политическую экономию читал отличный лектор и прекрасный теоретик Дмитрий Николаевич Иванцов, профессор, кажется, Харьковского университета. Он же читал общую теорию права, гражданское право, основы уголовного права. Другие права читал Аркадий Николаевич Фатеев из Юрьевского университета. Очаровательнейший человек и великолепный лектор. По экономической географии и некоторым отраслям экономических наук, специально связанных с Россией, читал доцент Петр Николаевич Савицкий, один из лидеров евразийцев. Очень интересный и конструктивный ум. Я многим обязан общению с ним. По истории кооперативных движений читал профессор Татамианц. Но Татамианц не всегда оказывался в Праге: он читал тот же курс в Берлине по-немецки и еще ездил читать в Париж. Он все время странствовал, и его называли «блуждающий Татамианц». Читал он очень хорошо. Был почти слеп и узнавал всех своих слушателей по голосам. По тому, как ему сдавали экзамены, он запоминал слушателей на всю жизнь, довольно редко их путая. Бухгалтерию и основы счетоводства и все, что нужно для введения в кооперативное дело, читал Александр Васильевич Зеньковский, брат отца Василия Зеньковского, знаменитого философа, автора «Истории русской философии». Александр Зеньковский, по-моему, никакой философией не обладал, но был величайший практик. А читал с большим талантом, и мы слушали его с огромным интересом. Я могу по совести сказать, что все послеобеденные лекции, которые слушал в кооперативном институте, не были пустой тратой времени. Они меня очень обогатили, расширили мой кругозор. Это были великолепно подготовленные пособия. Почти каждый лектор написал свой курс, они были размножены на ротаторах, и мы могли получить полный свод лекций.

Зачеты или экзамены, которые мы сдавали весной, очень хорошо запечатлевались в памяти, и должен сказать, что целый ряд понятий о хозяйстве, об организации общества я получил благодаря моим русским преподавателям, получил в очень хорошей форме, потому что у них уже имелся опыт коммунистическо-социалистических теорий в России, и наши наставники относились к ним критически-сдержанно...

Очень быстро выяснилось, что нет нужды регулярно посещать все лекции, а только те, которые мне удобно, ибо система была как в русских учебных заведениях — зачетная. Когда вы были готовы, то могли просить профессора вас экзаменовать. Это могло быть и через два месяца, и через три, и через полгода. Поэтому не было такой курсовой нагрузки, как это получалось в чешском учебном заведении. Когда я не мог присутствовать на лекциях, это не вызывало никаких нареканий со стороны начальства кооперативного института. Я с интересом отметил, что третий год, то есть когда кончаются эти обязательные курсы и пишется дипломная работа, этот третий год иногда превращался и в четвертый и в пятый. Однако центр тяжести лежал на первых двух годах, когда вы вводились в проблемы кооперативного движения, экономики и сельского хозяйства России.

Тем не менее, несмотря на мой большой интерес к этим предметам, главное внимание я обращал на курсы на философском факультете Карлова университета. Философский факультет мы называли бы в России, вероятно, историко-философским, к программе которого добавились еще какие-то отдельные предметы. Но здесь все объединялось словом «философский». На философском факультете вам предстояло пройти четырехгодичный курс. Если вы хотели стать славистом, то ассистенты давали вам указания, на какие предметы лучше всего записаться. Первый мой триместр был записан по указаниям Константина Теннукеста, возможно, не самым блестящим образом. Он записал, конечно, что было естественно, русские лекции и русские семинары, прибавив к этому очень специализированный курс, который, в общем, никогда мне не понадобился, ибо требовал знания многих славянских языков, чего у меня тогда и в помине не было. Это был курс профессора Мурко по славянскому фольклору. Лишь после Рождества я стал понимать, что мне нужно и что не нужно на философском факультете.

Первые впечатления от факультета были абсолютно грандиозные. Лекции читались на высоком уровне. Профессор Францев читал лекции то по-русски, то по-чешски. Начинал, скажем, лекцию по-чешски, потом переходил на русский язык, потом опять кончал чешским. Он все время проделывал этот трюк. Может быть, оттого, что аудитория у него оказалась крайне смешанной. Присутствовало много чехов. Францев оказался мне очень полезен, потому что, во-первых, читал очень конкретно и за ним было очень легко следить, когда он читал по-чешски, к тому же часто главную мысль, высказанную по-чешски, он потом повторял по-русски и наоборот, что очень помогало в постижении чешского языка. Его материал мы быстро усваивали. Евгений Ляцкий читал по-русски, часто очень остроумно. К нему должны были идти люди, которые хорошо понимали русский язык, а таких среди чехов в мое время оказалось крайне мало. У Ляцкого существовал свой, более отвлеченный, а иногда и трудноуловимый аспект. Но это было интересно. Очень часто он высмеивал кого-нибудь из критиков, ядовито прохаживался насчет тематики авторов, что представлялось довольно любопытным. Семинар Ляцкого произвел на меня настолько потрясающее впечатление, что я даже помню, когда он начинался: в два часа во вторник. Он происходил в большом кабинете Ляцкого, где было поставлено двадцать четыре стула, все они были заняты, и кое-кто даже сидел на полу, скрестив по-турецки ноги.

Ляцкий пребывал в хорошем настроении и объявил, что предметом сегодняшнего семинара, первого в сезоне, будет обсуждение нового, модного в Советском Союзе в то время метода критики, так называемого формального метода. Об этом делается доклад, а затем наш коллега Ростислав Владимирович Плетнев, уже окончивший университет аспирант, который писал докторскую работу на тему о природе у Достоевского, затевает дискуссию. Его диапазон знаний и интересов был очень велик, и он оказался значительно старше нас. Это был потомок тех знаменитых Плетневых, которые фигурируют в

окружении Пушкина. Ростислава Владимировича я потом близко знал, но с первого же дня он поразил меня размахом своей памяти. Он прочел очень интересный и глубоко поразивший меня доклад, потому что выдвинул не только пункты, которые были сформулированы формалистами, но и проследил шаг за шагом, как они постепенно развивали свои теории и к чему пришли, сделав первую критику их. Надо признаться, что с такой эрудицией я тогда еще не сталкивался. Он наизусть называл десятки публикаций, даже указывая обычно года, когда и где они появились. Он приводил огромное количество цитат, и при этом все было не только ясно, не только учено, но и чрезвычайно интересно. Мы понимали, что перед нами действительно новый подход к литературе. Что же есть литература — главным образом продукт технических приемов, которые идут от автора к автору и как будто усложняются с веками? Или же это есть, как мы раньше понимали, только настроение автора, которое выражается в той или иной форме? Я так грубо ставлю ту проблему, какой она перед нами предстала. В прениях я не принял участия. Я сидел тише воды, ниже травы, так как был совершенно не знаком с этими авторами и с их теориями. Затем ряд вопросов был поставлен студентами-старшекурсниками, в том числе обрусевшим чехом по фамилии Железный и Жоржем Доксом, которого я еще не знал, но позднее с ним подружился. Какая-то девица, которая очень много занималась филологией и знала все работы Потебни, утверждала, что в теориях формализма Потебня играет решающую роль.

Ростислав Владимирович отвечал на все вопросы и на критику с большой убедительностью, со множеством ссылок и цитат, демонстрацией утверждений формалистов. В общем, он как будто соглашался с тем, что формалисты заходят слишком далеко и что хотя в некоторых случаях это очень интересная теория, но тем не менее объяснить литературу только склонностью авторов непременно перещеголять своих предшественников в употреблении приемов — это до известной степени авантюристическое предприятие.

Я вышел с семинара с головокружительным чувством собственного ничтожества. Боже мой! Какие знания! Какой язык! Ляцкий и Плетнев плюс еще эта девица оперировали понятиями, оттенками понятий, о которых я ничего не знал и мог только верить, что таковые существуют. Это было очень суровое боевое крещение, которое заставило меня серьезно отнестись к литературоведению. Если вы хотите быть литературоведом, то должны знать очень много и работать систематически.

Евгений Александрович Ляцкий, наш профессор по современной русской литературе (под этим термином понималась литература XIX века) и руководитель семинара, объявил некоторые темы, которые могли быть предметом работы студентов. Мое внимание привлекла тема «Гоголь как историк». Евгений Александрович мимоходом пояснил, что тема сравнительно спорная и малоразработанная. Я подумал, что это и интересно: я любил Гоголя, и мне казалось, что, возможно, это будет способствовать хорошему углублению материала. Тем более что я как раз ввиду того, что шли лекции по Гоголю, читал кое-что из библиографических источников о нем, в том числе книгу Котляревского о Гоголе, и поэтому вызвался.

Евгений Александрович посмотрел на меня и сказал, что даст рекомендательное письмо директору Славянской библиотеки. Я никогда даже не слышал о существовании такой библиотеки. Она находилась в Стромовке в отдельном доме. Библиотека была замечательная и совершенно уникальная по подбору книг. В основу ее легла частная библиотека библиофила, очень состоятельного до революции человека Владимира Николаевича Тукалевского, который при своей состоятельности был человек левых убеждений, близкий к эсерам. Его библиотека находилась за границей, и он продал ее министерству иностранных дел Чехословацкой Республики, которое не только дало ему хорошую сумму за его книжное собрание, но и назначило директором библиотеки. Тукалевский много пополнял библиотеку. Усиленно скупались русские книги. Их вывозили из Советского Союза. Оттуда, например, доставили проданную после ареста академика Сергея Федоровича Платонова его личную библиотеку, которая таким образом попала в Прагу. Позднее Славянскую библиотеку перевели из Стромовки в Клементинум. Это оказалось гораздо удобнее: рядом с университетом, в центре города, хотя постепенно она утратила свое своеобразие.

В 1927 году, когда я пришел туда, меня встретила секретарша, которую я потом много лет знавал как любезнейшую и чрезвычайно знающую библиотекаршу, всегда чрезвычайно помогавшую в нахождении нужной библиографии. Посмотрев на меня и на письмо, она сказала: «Сейчас доложу Владимиру Николаевичу», — и тот сразу вышел ко мне. Он был небольшого роста, черный, с пронзительными глазами, и по внешнему виду никак нельзя угадать, что он библиофил, действительно большой знаток книг и редких изданий, русских и заграничных. Относился он к своей библиотеке с большой страстностью, и основная его цель была — не допустить пользоваться библиотекой непосвященных людей, недостойных ее. Он сразу, с места в карьер, принялся уговаривать меня уходить, говорил, что это далеко, что все эти книжки есть в других русских библиотеках, что он просто не понимает, зачем Евгений Александрович Ляцкий послал меня сюда: «По рассеянности профессорской послал».

Я был немножко смущен таким приемом, потом вспомнил, что мне говорили о нем как о чудаке, и спокойно объяснил, что уже просмотрел все, что относится к Гоголю, в других библиотеках и там нет ничего из того, что мне надо, и поэтому если действительно исполнить эту семинарскую работу, то ее надо выполнить всерьез. А глубина может быть достигнута только при помощи книг, которые собраны им. Это немножко его смягчило. Он произнес: «Ну, хорошо!» А секретарше сказал: «Удовлетворите его книжные интересы», — и после этого я действительно провел там много часов, читая по Гоголю, главным образом не столько его самого, но и о нем. И это было очень интересное, увлекательное чтение, из которого вырос мой доклад, в котором я стремился не осмеивать Гоголя-историка, как это делали Венгеров и другие мои предшественники, а реабилитировать его, показав, в чем была прелесть Гоголя, как он это понимал и почему он стремился к обобщающим текстам, а не к мелочному перечню фактов, под которым, по-видимому, Венгеров подразумевал знание истории. Во всяком случае, я сначала собрал материал, а потом долго писал, потом мне опять пришлось немножко проверять по написанному тексту. Я читал доклад во второй половине февраля, к концу семестра.

Перед этим я пережил глубочайший кризис сомнений и даже собирался покончить самоубийством, считая себя бездарным человеком, но было не так легко, да и не хотелось, в общем, кончать с собой! Это было просто от отчаяния, отчасти от усталости, от ежечасной перегруженности делами: все время дела в разных концах города; несмотря на молодость и легкость ног, быстроту движения, это все-таки утомляло.

Я имел большой успех, доклад способствовал упрочению моего положения в университете. Из неизвестного, никому не знакомого «малыша» из Прибалтики, я вдруг превратился в подающего надежды студента, у меня завелись друзья, начиная с Ростислава Владимировича Плетнева, меня сразу заметили старшие студенты, и Ляцкий дал мне самую высокую награду, какую можно было дать за доклад, — 100 чешских крон — первый приз за семинарские работы. Об этом было объявлено на доске в Славянском семинаре, и все сразу начали считать меня чуть ли не будущим гением; естественно, отпал вариант с самоубийством. Таково было начало моих занятий, а во втором семестре я имел не меньший успех в семинаре Францева.

Профессор Владимир Андреевич Францев — член трех академий: Российской, Польской и Чешской, читал нам лекции на самые разные сюжеты (как, впрочем, и Ляцкий), не ограничиваясь отдельными столетиями. В его ведении были славянофилы, о которых он сам писал. Он также вел семинар о русской драме XVIII — XIX веков. По драме я читал у него о «Горе от ума» Грибоедова, что тоже способствовало моему успеху. Францев, правда, дал мне только 50 крон за доклад в конце второго семестра, но, главное, это явилось большой моральной победой, ибо он очень требовательный и немножко капризный руководитель семинара. Доклад мой о Грибоедове почему-то вызвал сенсацию, хотя ничего особенно оригинального там не было. Я просто собрал весь известный мне основной материал по «Горю от ума» — и из этого родилась тема «Есть ли пьеса Грибоедова оригинальное произведение, или это только реплика мольеровских комедий?». Я показал, что в прошлом веке и в начале теперешнего Алексей Веселовский, который много писал на тему о западном влиянии в русской литературе, выдвинул тезис: якобы комедия Мольера «Мизан-

троп» повлияла на «Горе от ума» и, в частности, герой «Мизантропа» Альцест — это прототип Чацкого. Веселовский приводил ряд параллелей и доказывал это более или менее в общих чертах. Однако в XX веке появилось несколько других работ: во-первых, исключительно интересная работа М. Гершензона «Грибоедовская Москва» со множеством иллюстраций, представляющая собой любопытную попытку показать фон грибоедовской комедии. По мнению Гершензона, комедия была чрезвычайно портретна, повторяла целый ряд живых персонажей (он приводил много доказательств этому) и не являлась простым переводом с мольеровских традиций. Гершензон даже особенно не занимался этим вопросом, он просто показывал, что грибоедовская Москва существовала и она получила великолепное, несколько сатирическое отражение в комедии «Горе от ума». Третья работа — Николая Кирьяковича Пиксанова — оказалась самой важной. Он начал писать ее еще до революции, а незадолго перед тем, как я стал готовить свой доклад, выпустил в Советском Союзе книгу «Грибоедов и Мольер», где убедительно показал несостоятельность теории Веселовского, а также то, что Грибоедов, несомненно, был во многом совершенно оригинален, даже в таких мелочах, как французские — аля французские — субретки, которых Веселовский принимал за субреток, срисованных с мольеровских комедий. Пиксанов показал, что в реальной Москве той эпохи действительно существовали русские камеристки, которые стали походить на француженок. Это было крайне любопытно, и я все это изложил, сделав вывод, что прав именно Пиксанов.

По истории у меня пока никаких больших побед не было, хотя на лекциях Кизеветтера я присутствовал. Я сдал Кизеветтера с удовольствием. Павел I и Александр I попали в первый триместр, но он меня все спрашивал об Александре I, и тут я установил интересную особенность Кизеветтера, которую позднее следовало учитывать: он требовал, чтобы студенты повторяли *его* формулировки и выводы. Это меня очень удивило, потому что позднее я не всегда был согласен с некоторыми его формулировками. Но с моей стороны это, конечно, было дерзостью, и я вполне понимаю, что как педагог он был прав, желая оставить в умах слушателей определенную схему русской истории. Это была либеральная схема — та самая, которой Кизеветтер служил всю свою жизнь. Она перекликалась со схемой Корнилова и целой плеяды либеральных историков, а кое в чем — и с С. Ф. Платоновым. Платонов в изложении материала XIX столетия был более осторожным, чем либеральные историки. Успешных результатов я достиг в следующем году в семинаре профессора Горака, где читал доклад о «Хаджи-Мурате» Льва Толстого. Я сделал доклад на фоне двух факторов: с одной стороны, это толстовская кавказская традиция рассказа, а с другой — в этом произведении отталкивание автора от собственных дидактических стремлений, которые в то время были очень сильны. Я много прочел об этом в текущей советской литературе, чем поразил Горака, который, по-моему, просто не знал целого ряда публикаций. Горак очень меня зауважал и дал мне тоже высшую награду — 100 чешских крон. Для меня это оказалось крайне важным, ибо тем самым я обрел свою репутацию у трех славистов: Ляцкого, Францева и Иржи Горака, которым, по существу, предстояло заниматься моей будущей судьбой не только как студента, но и (если бы я захотел остаться при университете) им пришлось бы играть определенную роль в одобрении или неодобрении моей кандидатуры. И позднее это дало уникальный результат, потому что я, оказывается, имел хорошую репутацию у самых разнообразных преподавателей, которые между собой иногда расходились во взглядах, как, например, Францев и Ляцкий, пребывая постоянно в разных конфликтах, а относительно меня были единого мнения.

Одновременно, поскольку я очень интересовался литературой, по приезде в Прагу я сразу постарался выяснить, где и что в литературном отношении делается, и очень быстро узнал, что существует литературное объединение «Скит», некоторые даже добавляли: «Скит поэтов», потому что большинство членов были стихотворцы. За разговором с Костей выяснилось, что он, Теннукест, уже там побывал и даже читал стихи, но они не произвели впечатления, и он чувствовал себя обиженным и обескураженным. У меня никаких стихов не было, но литературное общество меня интересовало, и я отправился туда. Они собирались в Русском педагогическом бюро, очень важном учреждении,

так как именно там родилась идея, которая и распространилась потом по всей эмиграции: празднество русской культуры в день рождения Пушкина.

Это бюро представляло собой три комнаты, битком набитые разными изданиями — текущими журналами, газетами, книгами. Мы собирались там по вечерам, и этот книжно-газетный фон по стенам даже представлял собой своеобразную, неповторимую и, в общем, подходящую обстановку. А посередине, за столиком, освещенным электрической настольной лампой, сидел маленького роста, с бородкой, с огромным лбом, похожий на некоторые портреты Достоевского Альфред Людвигович Бем. Позднее его всегда называли профессором, но, строго говоря, он профессором не являлся, хотя и был таковым по своему характеру, по знаниям.

В прошлом он работал в Академии наук в качестве библиографа, а когда попал в эмиграцию, ему это очень мешало, ибо еще в России у него не оказалось преподавательского стажа, он не был доцентом, а дорогие коллеги за границей всеми силами старались ему помешать пройти на эти посты. Но в конце концов он сделался специалистом по Достоевскому и в результате сделал докторат о Достоевском по-чешски, то есть его книги по-чешски были засчитаны для доктората, и он стал доктором Бемом, что в условиях заграницы было уже хорошо. Формально же он все время читал русский язык для начинающих, оставался лектором. А сам был очень начитанный человек, великий знаток русской не только истории поэзии, но и поэтики, то есть того, как пишутся стихи. Кроме того, у него был огромный интерес и любовь к живой поэзии, он приехал в Чехословакию из Варшавы, где также участвовал в литературной жизни: под его эгидой существовало общество «Таверна», где подвизались русские литераторы, а он выступал там как теоретик русской художественной прозы и поэзии.

По сути дела, Бем являлся хорошим литературным критиком, и было чрезвычайно интересно услышать его мнение. Он всегда стремился сказать по существу, совершенно объективно, не считаясь ни с личностью, ни с тенденциями автора. Бем просто разбирал произведение, которое читалось в «Ските», с точки зрения того, как оно написано: хорошо или плохо технически, если плохо — в чем отрицательные стороны, если хорошо — что именно хорошо, что следовало бы доработать и совпадает ли идея и форма произведения. Я много позже подружился с Сергеем Рафальским, который даже специально написал мне письмо, излагающее начальные, еще добемовские стадии развития «Скита» в Праге. И это верно, что играл роль целый ряд других авторов, до Бема, но Бем придал «Скиту» известную стабильность, он стал систематически вести журнал заседания: кто выступал, что обсуждали, как обсуждали. Эти материалы до сих пор якобы сохраняются в одном из архивов Праги, и когда-нибудь, вероятно, по этим материалам кто-нибудь напишет интересную работу.

Когда я пришел туда в 1927 году, «Скит» был живой организацией, весь актив его состоял, вероятно, человек из двадцати, я привык обычно видеть на собраниях человек четырнадцать — шестнадцать из членов общества. И туда приходили большие таланты (из них самый блистательный, как мы считали тогда, Вячеслав Михайлович Лебедев и не менее яркий, но более молодой Алексей Владимирович Эйснер) и целый ряд других прозаиков и поэтов. Когда я впервые там появился, мне все это очень понравилось: я слышал, как обсуждались стихи. Как раз читалась «Поэма временных лет» Вячеслава Лебедева, которая представляет собой одну из жемчужин не только эмигрантской, но и русской поэзии этого периода в целом. «Поэма временных лет» — о русской революции. Очень мало произведений, которые так трактовали бы тему и в такой высокой степени мастерства передавали бы то, что хотел выразить автор. Я был поражен и ошеломлен: то, что я слышал, явилось рождением поэтического произведения, написанного талантливейшим стихотворцем. Именно так это всеми и воспринималось. Весь «Скит» хвалил автора, и в то же время некоторые придирались к отдельным мелочам, даже к отдельным словам, по этому поводу вспыхивали споры, например: правильно ли употреблен такой эпитет и что он означает. Никогда не забуду такого сурового боевого крещения в «Ските» на опыте этой лебедевской поэмы.

Между прочим, Бем был очень мил и спросил нас — меня и Хохлова (мы пришли вместе), — пишем ли мы. Хохлов неопределенно что-то промямлил,

он, по-моему, не писал, я же сказал, что пишу, — я писал прозу, но не стихи. И Бем сказал: «Если вы пишете прозу, было бы интересно, если бы вы что-нибудь нам почитали». Это было заманчивое предложение, и я им воспользовался. Я написал рассказ «Младшая сестра», который в следующем, 1928 году был опубликован в Таллинне в первом выпуске альманаха «Новь». Я получал из Таллинна много разных писем, и среди них одно было от моей юной знакомой. В нем моя корреспондентка жаловалась, как она несчастна из-за того, что она — младшая сестра: старшие сестры живут более независимо, с ними все считаются, а с ней — никто. Это письмо и натолкнуло меня на идею написать рассказ о младшей сестре. Я читал этот рассказ в «Ските», он был встречен очень хорошо, все признали наличие у автора умения обращаться с материалом, отсутствие пустых фраз и хороший, выразительный язык. Но формальное принятие меня в «Скит» состоялось позже. Только в июне 1930 года я стал полноправным членом «Скита». Приняли меня, забегая вперед, за рассказ «Жена», который содержал скрытые выпады против некоторых членов нашего литературного содружества. Но это как будто не заметили или, если заметили, не подчеркивали.

Что же касается общей картины Праги, то мы — русские студенты — много общались между собой, естественно, что в чужом городе, населенном людьми иной национальности, свой круг, конечно, был тот, который говорил на русском языке. Это, в широком смысле слова, была русская колония. Затем отсюда шли уже наши специфические объекты: философский факультет или Институт кооперации сельского хозяйства и библиотеки, которые питали нас книгами. Но в более узком смысле главное было то, откуда именно приехали люди. Явочным порядком возникли румынская, польская и эстонская группа русских студентов, не говоря уже о латвийской и некоторых других. Это не означало, что мы держались все время вместе, но невольно чувствовали больше доверия, расположения, ожидали большего понимания от людей, которые вас знали или учились в той же школе в Эстонии, представляя себе, что такое эстонское русское общество.

Совершенно естественно поэтому, что к нашим первым ходокам, Володе Римскому-Корсакову и Косте Теннукесту, прибавилась еще одна фигура — Герман Хохлов, который принадлежал к саратовским Хохловым. Его родители были объявлены лишенцами, а он был вывезен в Эстонию, хотя учился не в нашей городской гимназии, а в частной, которую окончил в том же году, что и мы. У него был советский паспорт, неизвестно, на каких условиях он въезжал в Чехословакию, вероятно, никаких особых условий ему не ставили; он тоже записался в Кооперативный институт и на философский факультет. Хохлов поселился в Уезде Надлесы, в доме, в котором жили мы с Костей Теннукестом, в комнате за стеной, у других хозяев.

С одной стороны, это было интересно и полезно, потому что он был человек, явно глубоко интересовавшийся литературой и любивший устанавливать всевозможные контакты в том смысле, чтобы посещать литературные доклады, знакомиться с литераторами или поэтами. А с другой стороны, получилось так (и, думаю, в моих воспоминаниях необходимо об этом сказать) — он сыграл отрицательную роль в нашем коллективе. Он оказался человеком недобрым. Он не был идеалистом, как все другие, а обладал озлобленным, задиристым умом, даром интриги, любил натравить одного члена коллектива на другого, а потом с удовольствием наблюдать за развитием конфликта. В частности, он использовал полное отсутствие мудрости у Кости Теннукеста, который к тому же был в первом триместре болен, и то обстоятельство, что Теннукест не лучшим образом проявил себя в предыдущем году и на второй год уже не котировался ни среди студентов, ни среди преподавательского состава философского факультета, где учился.

А Герман Хохлов начал все это раздувать, очень ловко наступая ему на мозоли, и, в частности, когда обозначился мой успех, стал противопоставлять ему меня, а я был младше Кости, но уже чего-то добился на факультете, чего Хохлов достичь не успел, хотя, в сущности, он к этому и не стремился. Наоборот, на философском факультете приобрел скандальную известность, — когда, заполняя формуляр для экзамена (он тоже хотел освобождения от платы), вместо «řadny posluchač» — «действительный студент» — написал «žádny

posluc-hač», то есть «никакой слушатель». Это даже демонстрировалось на славянском семинаре, и он проявил себя как полный профан, не знающий терминологии! Тот же Плетнев заметил по этому поводу: «Это неплохо! Он действительно «жадный послухач» и студент никакой». Позднее у Ляцкого он немножко выдвинулся в семинаре, но главным образом не как докладчик, а как оппонент по некоторым докладам. Он совершенно не овладел чешским языком и в Кооперативном институте тоже ничего не делал, даже не сдал экзамены, которые сдавал я. По крайней мере, за эти два года я прослушал полный курс в институте, хотя и не писал дипломной работы. А он не сделал и этого. Костя был лентяй, склонный покутить, сходить в кино (кино тогда было чрезвычайно популярно, а он действительно хорошо знал режиссеров, артистов, ибо в Таллинне значительно чаще, чем мы, хаживал в кинематограф). Хохлов же продолжал свою разлагающую деятельность, он вовлек в это и Володю Римского-Корсакова и на Костю Теннукеста влиял, но самое неприятное для меня было то, что, быстро распознав меня как некий противовес себе, начал против меня определенную кампанию.

Рождество мы встречали в Оздравовне. На вечеринке присутствовали не только Володя и Костя Гаврилов, но появились Володина невеста Вера и ее старшая сестра Нюра, пришло много наших соседей, которых я тогда еще не знал по именам. Было очень весело, образовалось большое застолье. Во время ужина, когда все уже были немного навеселе, я вдруг заметил, что вблизи меня возникла какая-то странная сумятица и Володя Римский-Корсаков с Костей Гавриловым, которые, будучи хозяевами, почти совсем не пили или пили меньше других, вдруг схватили Костю Теннукеста, вытащили его во двор (была морозная декабрьская ночь) и пустили на него струю холодной воды из колодезной помпы. Потом его вытерли и, заперев в одной из комнат, уложили спать. Когда я спросил, что случилось, они сказали: «Пустяки, просто Костя перепил, и мы его приводили в себя...» Но еще в тот же вечер Хохлов мне сказал со своей улыбочкой: «Ну что ж, на этот раз вам повезло!» Я спросил: «В чем повезло? Мне вообще везет, я родился в сорочке» «Да, — продолжал он, — Костя хотел вас пырнуть финским ножом, но не успел этого сделать... Володя и Костя вырвали у него нож и окатили холодной водой, чтобы тот протрезвел. Почему у него такая ненависть к вам? Чем вы ему досадили?» На следующий день, когда Теннукест протрезвился, я спросил Володю, насколько серьезно то, о чем мне сообщил Хохлов, и Володя, немножко помявшись, признал, что да — Костя, кажется, хотел пырнуть меня ножом. «Почему?» — удивился я. «Ну этого я не знаю, очевидно, он тебя не любит» Я не стал дальше развивать с Костей эту тему. Все свелось к тому, что человек просто выпил лишнее. Во второй раз с Теннукестом произошла еще более печальная история. Это было весной, я готовился к экзамену по праву в Кооперативном институте, который должен был происходить на следующий день. Как раз пришел Костя Гаврилов, и я попросил его поспрашивать меня по вопроснику, который я составил, следя за правильностью моих ответов. Одним словом, мы были погружены в это дело, когда двери распахнулись и вошел пьяный Теннукест, а с ним Герман Хохлов, тоже навеселе. И Теннукест в этакой ложной манере мелодекламации сказал, указывая на меня: «Вот образец, сидит и учит, грызет гранит науки. Хочет быть умным, самым знающим, день и ночь учится». Я поглядел на него: «Знаешь что, Костя, у меня завтра экзамен, пожалуйста, не мешай мне, идите лучше в сад или на горку (там напротив была такая милая горка), идите туда с Хохловым, а мы придем туда с Костей Гавриловым, когда я закончу повторение материала». Теннукест воскликнул: «Ты еще будешь давать мне указания, как я должен поступить! Что ты о себе воображаешь!» И начал страшно ругаться. Герман Хохлов взирал на все это с явным удовольствием и хихикал, а Гаврилов в изумлении смотрел то на Теннукеста, то на меня. Костя не внял моим призывам. С руганью рванулся к стене, где у него висели разные эмблемы и знаменитый финский нож. Костя выдернул его из ножен и бросился на меня. Я даже не понимал, что все это происходит всерьез, но Костя Гаврилов вовсе не считал происходящее шуткой. Он действовал очень решительно: подставил ему подножку — и Теннукест рухнул с ножом в руке. Тогда Гаврилов вырвал у него нож, сказав, что есть предел всякому идиотству и нечего размахивать ножом, ибо это может кончиться плохо.

Тогда Хохлов встал и пьяным голосом сказал Теннукесту: «Вот видишь, я всегда тебе говорил, что для Андреева ты только подстилка, он вытирает о тебя ноги». Я был в совершенном изумлении. Но Костя Теннукест вдруг стих, как многие истерические натуры, решительные действия Гаврилова, очевидно, на него подействовали, и дело этим закончилось. Но после всего случившегося я понял, что больше жить вместе с Костей Теннукестом не могу, мне нужно постараться подыскать себе другое пристанище. Это было не так-то просто, осенью на некоторое время я получил комнату в Оздравовне, там, где жили Володя Римский-Корсаков и Костя Гаврилов. Но прожил там недолго, так как стремился попасть в Прагу, дабы сэкономить время, что мне и удалось.

Когда настало лето, мы поехали в Эстонию на каникулы, и тут выяснилось, что у нас нет прежней спайки ни с Костей Теннукестом, ни с Римским-Корсаковым. А Герман Хохлов лично мне был во многих отношениях странен, хотя тогда еще я не определил всей его сути и даже обвинял себя в том, что несколько преувеличиваю его отрицательное влияние на Костю Теннукеста.

Вместе с тем я был рад, что мы не поехали вместе. Зато с нами в Эстонию из Праги поехал очень милый человек, японец Микео Сато-сан. Это была интереснейшая фигура: он женился на русской эмигрантке в Харбине, которая была дочерью одного из предводителей тамошнего дворянства. От нее он имел сына, очень миленького, очень похожего на отца, совершенного япончика, очаровательно говорившего по-русски. Ее родители тем временем оказались в Праге, и она тоже приехала к ним вместе с мужем. Муж, как и мы, поступил на философский факультет. Но поступил позднее нас и ходил только на русские лекции. Он совершенно игнорировал чешский язык (поначалу мы даже не понимали, в чем дело, только потом поняли, что он приехал усовершенствоваться в русском языке). По-русски он говорил замечательно хорошо, без всяких грамматических ошибок, у него было превосходное произношение. В этом смысле он оказался человеком очень одаренным. Микео Сато-сан со своим сыном, женой, тещей и тестем тоже жил в Уезде Надлесы. И Сато очень мило держался, в частности очень хорошо относился ко мне, всегда со мной старался разговаривать, ездить и однажды спросил: «Куда вы едете на лето?» Я ответил, что еду в Эстонию. «Ах, в Эстонию, а что там?» Я ему рассказал, что там много русских, что я там учился, он страшно заинтересовался и говорит: «А можно мне поехать тоже?» Я говорю, что, к сожалению, не могу его пригласить к себе, ибо у нас только одна комната. Он пояснил, что для него это значения не имеет: «Я сниму номер в отеле недели на две, на три, хотелось бы туда поехать, меня все это крайне интересует». И он действительно поехал вместе со мной и Гавриловым.

Я был уже студентом и возвращался домой с известной славой, проявив себя не только в области изучения литературы, но и в Русском кооперативном институте, где сдал целый ряд экзаменов и все на отлично.

Для меня были совершенно очевидны все выгоды Праги. В те годы Карлов университет был местом притяжения лучших славистов Европы. Здесь было очень много не только чешских и словацких славистов, но и югославских, как, например, профессор Мурко, который являлся председателем важнейшей — для академической жизни — национальной организации, Славянского института в Праге, и редактором международного славяноведческого журнала «Slavia». Он был не чехом, а словенцем, но еще австрийской выучки. На лекциях он читал с закрытыми глазами и если не знал, как это сказать по-чешски, произносил по-немецки и тогда в удивлении открывал глаза. И слушатели (а их у него было очень мало), исполненные почтения, понимали, что это вполне естественно для человека, который много лет преподавал в Венском университете еще до того момента, как появилась Чехословацкая Республика. В Карловом университете, в частности на философском факультете, руководствовались очень верным принципом: лекции шли на разных языках. Вовсе не требовалось, чтобы все читали по-чешски. Поэтому русские читали по-русски, поляки по-польски, югославы по-сербски, болгары по-болгарски, а у некоторых были комбинированные курсы: кое-что читали и по-чешски. Крайне важным был общий принцип — студенты должны более или менее понимать лекции на разных славянских языках. Это оказалось не так трудно, как мы сначала предполагали; это была отличная идея — вы переставали бояться

чужого славянского языка и в конце концов не только очень хорошо его понимали, но и чувствовали.

В результате целый ряд русских преподавателей в Карловом университете вели свои занятия по-русски, что в значительной степени обогащало прежде всего нас, русских слушателей. Кроме того, целая плеяда русских преподавателей существовала в Русском кооперативном институте. Каждый вечер разнообразные лекции на самом высоком уровне читались в Русском свободном университете. В большинстве случаев их читали выдающиеся специалисты, и это служило великолепным дополнением к основным нашим курсам.

На второй год я начал посещать Философское общество, надолго сохранив привилегию присутствовать на его заседаниях. У меня завязалось личное знакомство с философом Сергеем Иосифовичем Гессеном, к которому в свое время мне дал рекомендательную записку Леонид Моисеевич Пумпянский.

Очень большое влияние на меня оказала литературная обстановка в Праге, и в частности не только разборы и диспуты на заседаниях «Скита», не только литературные лекции многих специалистов по разным секторам русского литературоведения, но и чисто личное общение. После того как я прочитал свой рассказ «Младшая сестра», у меня сразу объявился ряд литературных приятельств — меня заметили, в том числе и очень интересные люди. В той же деревне, где я обитал, жили два сравнительно молодых автора, один из них — поэт Вячеслав Лебедев, другой — талантливый прозаик Василий Георгиевич Федоров, женатый на обрусевшей чешке, очень милой молодой даме, которая души не чаяла в своем Васеньке.

Еще один важный аспект в жизни русской эмиграции в Праге составляла проблема Православной церкви.

Прага была единственным местом скопления русской эмиграции, где не существовало разделения на несколько епархий, тогда как в большинстве центров русского рассеяния действовали разные юрисдикции: или синодальная церковь, или церковь, подчиняющаяся Константинопольскому патриарху, ибо прямых подчинений Московскому патриарху за границей не было; если они даже и возникали, то только как персональные увлечения, но не как явление церковной жизни. В Праге же во главе Православной Русской церкви оказался (явочным порядком) епископ Сергий (Королев), который попал в Чехословакию не по своей воле. Он был религиозным деятелем на Холмщине еще до первой мировой войны, сотрудником архиепископа Евлогия, который потом в Париже сделался митрополитом. И эта его деятельность была окрашена истинно русским православием. Он старался повлиять на униатов, которые в XVI — XVII веках появились в пределах тогдашней Польши, чтобы те вернулись в лоно православия. Это отчасти удалось. Но с другой стороны, монастырь, где архимандритом тогда был о. Сергий, во время первой мировой войны эвакуировался в Россию. После окончания войны о. Сергий вернулся в Польшу, и тут оказалось, что монастырь частично разрушен поляками. И хотя о. Сергий был возведен в епископское звание патриархом Тихоном, в Польше ему не разрешили остаться, считая, что он пропагандирует православие, которое не совпадало с интересами Польской Республики. Поэтому его доставили на чехословацкую границу и пустили на все четыре стороны. Он приехал в Прагу, никого там не зная. Очевидно, это и была его жизненная миссия, ибо он остался в Праге надолго, сделавшись любимым возглавителем Русской Православной церкви, которая благодаря ему не претерпела раскола, как это случилось во многих других центрах русского рассеяния.

С владыкой я познакомился осенью 1927 года. Я пошел в день рождения моей матери (это как раз был день службы в церкви) и сказал, что хотел бы, чтобы в храме отслужили молебен. Моя просьба дошла до владыки, который вышел и спросил: «Почему вы хотите служить молебен?» Я объяснил, что это день рождения моей мамы. «А кто ваша мама, кто вы?» Владыка был очень заинтересован и отслужил молебен, а потом, много лет спустя, я узнал, что это произвело на него громадное впечатление, и он даже рассказывал об этом в разных местах, что вот, мол, какие еще бывают молодые русские люди, которые помнят о своих матерях и служат молебны в дни их рождения и именин. С этого момента у меня с владыкой установилась дружба, он меня запомнил и

приглашал заходить к нему по четвергам, когда у него обычно был большой прием для всех, кто хотел явиться.

...Так в размышлениях о прожитом в Праге учебном годе я плыл на пароходе по Балтике, приближаясь к Таллинну. По мере приближения к Таллинну меня невольно начинал волновать и лирический вопрос, связанный с этим городом. Ведь именно здесь жила юная Рита, которая прислала мне немало очень интересных писем. Она вообще была искусница писать письма. Я ей тоже отвечал как умел. Правда, как раз к весне письма от нее стали приходить все реже. И я даже сказал по этому поводу Косте: «Как странно, что приходит так мало писем!» Но он напомнил мне: «Ты забываешь, что она кончает гимназию». Ах да, об этом я как-то забыл впопыхах...

Словом, я все больше проникался желанием увидеть героиню моей лирической повести лета 1927 года. Наконец мы вошли в бухту, выросли церкви, налево уже виден был маленький Кадриорг. Я увидел вдали, на берегу, моих родителей, Костя стал махать руками, заметив, что пришли его сестры. Наконец вожделенный момент: мы на земле и мама и отец передо мной, они обнимают меня — их первенец, единственный оставшийся в живых, вернулся из первого своего годичного пребывания в далекой Чехословакии, в далеком университете, и теперь уж состоится разговор по существу, не то что в этих всегда торопливых и кратких письмах, в которых всегда чего-то главного не успеваешь дописать...

Приехал мой приятель Юра на велосипеде, он тоже очень мило меня приветствовал. Костя сейчас же отпочковался, а Юру мы отправили с японцем, потому что для него уже была зарезервирована комната, и мы договорились, что я на следующий день зайду за ним. Сначала мы отправились пешком, потом отец предложил взять такси. На такси мы в мгновение ока приехали в наш милый Екатериненталь. Первое впечатление от Таллинна — что все както уменьшилось: дистанции сократились, парки стали не столь грандиозными, какими казались прежде, дома явно сделались совсем маленькими и как будто все то, что заботило меня прежде, теперь виделось в перспективе. И в этой перспективе была своя, иная, нежели прежде, иерархия ценностей. Было два слоя впечатлений. Во-первых, крайняя радость от возвращения домой и ощущение полной безопасности в родительском доме. Во-вторых, это были мои личные дела лирического характера, которые неожиданно приняли совершенно другой характер, чем тот, о котором я мечтал, плывя на пароходе. Выяснилось, что лирическая повесть лета 1927 года хронологически ограничена и на лето 1928 года уже не распространяется: Рита весной вышла замуж. Это сначала произвело на меня очень сильное впечатление. Я даже несколько часов неподвижно пролежал на нашей кушетке. С тех пор я перестал верить женщинам. И подобное недоверие сохранил на долгие годы, оно определило мое отношение ко многим моим новым лирическим увлечениям. Я стал более осторожным и, может быть, более циничным, чем прежде, когда оценивал чувства будущих моих героинь.

Затем другой слой впечатлений захватил меня совершенно новой темой, которую принес с собой Сергей Михайлович Шиллинг. Он появился у нас довольно скоро после моего приезда и был страшно мил, даже курьезно внимателен, очень интересовался в подробностях всеми видами общественной работы в Праге различных русских организаций. В частности, я должен был читать ему целый доклад о Русском народном университете, ибо формально в Эстонии тоже существовал Русский народный университет, правда почти не действовавший, но перешедший в этот момент в ведение Сергея Михайловича, и он собирался возобновить его деятельность. И теперь Шиллинг выдвинул очень интересную идею: День русской культуры праздновался в Таллинне в октябре, хотя он и был связан с именем Пушкина, но его перенесли на начало учебного года, так как в мае шли экзамены и организовать празднество оказалось очень трудным делом, в начале же учебного года получался первый смотр всех академических сил. И Сергей Михайлович сказал, что обдумывал вопрос о том, какие шаги предпринять в этом отношении. До сих пор выходили газета «День русского просвещения» или сборничек «Ко Дню русской культуры», в которых выступало главным образом старшее поколение. И он говорит мне: «Знаете, мне кажется, что в этих сборниках все темы уже исчерпаны,

авторы те же самые. Получается, что они перефразируют самих себя, и это неинтересно. А в ходе ваших рассказов у меня шевельнулась такая мысль сейчас в голове — может быть, стоит сделать такое издание силами молодых, как вы думаете?»

Я сейчас же загорелся, Сергей Михайлович объяснил, что формальным издателем явился бы комитет Дня культуры, но настоящим гарантом издания был бы он сам. А я стал бы редактором, потому что знаю зарубежную литературную среду. Конечно, я дал согласие. Это показалось мне крайне интересным и сразу наполнило содержанием лето 1928 года. Уже был июль — у нас оставалось только два месяца для сбора материала. И мы это сделали. Я говорю «мы», хотя все, в сущности, создавал я. Сергей Михайлович в этом отношении был очень великодушным издателем. Однако он все же осуществил некоторые вещи, которые я сам не сделал бы, будь я полностью ответствен за издание. Во-первых, он настаивал на названии «Новь», и скрепя сердце я согласился, хотя мне оно не нравилось, потому что ассоциировалось с романом Тургенева и с определенными как бы народническими настроениями, — мне же хотелось дать иное название, но он в этом заглавии усматривал глубокий смысл. Второе явилось еще бóльшим ударом: он предложил эпиграф Короленко: «Но все-таки... все-таки впереди огни!..» По целому ряду соображений я сделал ему уступку, хотя считал, что такой эпиграф ослабляет наше издание, делает его более элементарным. Но, может быть, в этом была его тайная цель — что тогда издание привлечет внимание деревни. Такой эпиграф был доступен сельской интеллигенции, сельской молодежи. Сергей Михайлович объяснил мне, что мы не можем сделать чисто эстетский, оторванный от почвы, городской по материалу журнал. Мы должны стремиться к тому, чтобы он обнаружил интересные тенденции, если они есть у молодых, открыл юные таланты и в то же время послужил толчком к выявлению лица молодежи.

По общему мнению, издание получилось живым и сравнительно интересным. Кроме чисто технической работы, которая выполнялась мною, я написал передовую «Слава зодчим русской культуры». Статья иллюстрировалась целым рядом портретов различных юбиляров текущего года. Сергей Михайлович считал, что это делает издание более популярным, опять-таки равняясь не на изощренную читательскую среду. И тут он был прав: портреты понравились. Кроме этого, поскольку был юбилейный год Толстого, я написал о Толстом — не очень зрелую, но в каком-то смысле необычную статью «Да здравствует весь мир!», взяв слова молодого Николая Ростова в качестве названия. Исчерпать философию Толстого я не собирался, но хотел подчеркнуть в Толстом это признание м и р а, жизненного материала, который всех интересовал. И это мне удалось. Помимо этого я поместил в номере свой рассказ «Младшая сестра», который был хорошо принят. В «Нови» принял участие и Герман Хохлов, от которого поступило слабое, на мой взгляд, стихотворение, мы также поместили его статью о Есенине.

В «Нови» на правах дебютанта принял участие и Сергей Александрович Левицкий, будущий знаменитый философ, в то время еще совершенно безвестный студент, полный комплексов. Он написал краткую статью о Достоевском и озаглавил ее ужасно сложно, я предложил заменить заголовок и просто написать «О Достоевском» или «Заметки о Достоевском», чтобы работа не выглядела так тенденциозно. Неизвестный мне автор (я еще не был с ним знаком) впал в страшное нервное расстройство, почти со слезами умолял оставить так, как есть, иначе разрушается все, что он по этому поводу думает. Поговорив с Сергеем Михайловичем, мы решили, что, по существу, статья небезынтересна, и поэтому оставили эти странные монументальные заголовки, которые скорее годились в книге, а не в краткой журнальной заметке.

Для меня лично, как редактора, очень полезным оказалось знакомство с типографской техникой и со всем процессом набора, с выбором определенных шрифтов, заменой отдельных слов и т. д. Вся эта техническая сторона, которая раньше была для меня чисто отвлеченным процессом, теперь стала совершенно практической.

В личных отношениях с друзьями конец моего романа с Ритой ознаменовался как бы возрождением. Увлечение ею отделило меня от многих друзей, особенно от тех, которые стремились ухаживать за ней: они чувствовали себя

обойденными или оскорбленными соперниками. Теперь все это было в прошлом и уже не служило помехой, поэтому я с удовольствием возобновил целый ряд дружеских контактов.

Кроме того, в Таллинне было множество девушек, которые с удовольствием готовы были общаться со мной. Ретроспективно должен отметить, что я возбуждал определенные и очень сильные эмоции у Инночки Раудсеп, очень милой девочки, во многом большой противоположности Рите. Она проявляла постоянное внимание ко мне, достигшее кульминации в поступке ее отца, который был начальником движения эстонских железных дорог, то есть крупным инженером, получающим неплохое жалованье. Я уже готовился к возвращению в Прагу, сумму на отъезд мне опять собрала мой опекун Маргарита Карловна, и по расчету выходило, что это даст мне возможность жить еще полгода. А что будет дальше? Возможно, достанут что-нибудь еще, может, и нет, неизвестно. Однако я не собирался прерывать успешно начатое образование. И когда я прощался с Раудсепами, у которых много раз бывал и где все любили шутить, смеяться, веселиться, отец Инны вдруг говорит мне: «Я хотел бы что-то вам сообщить...» И повлек меня в свой кабинет, где объявил: «Вы сейчас уезжаете, и я слышал от Инны и от других, что у вас не столь блестящее финансовое положение, ибо в прошлом году вас материально обеспечили, а в этом пообещали только условное обеспечение. Позвольте же мне сказать следующее: когда-то в ранней молодости некто оказал мне большую поддержку, в какой-то момент дав сумму, которая мне очень помогла, позволив бесперебойно окончить курс. Я бы очень хотел, чтобы вы приняли такую же сумму от меня, ибо я знаю, что Инна к вам очень хорошо относится, и мы с Амалией Генриховной любим, когда вы приходите к нам, как вы шутите... Так что не примите это за какое-то вмешательство в ваши частные дела, а просто как акт дружбы... И в будущем, если когда-нибудь вы станете на ноги и у вас, возможно, возникнет такая же ситуация, когда надо будет кому-то помочь, вспомните о моем даре и сделайте кому-нибудь такой же презент. Вот мы и будем квиты». Я был искренно тронут подобной речью, тем более зная, что инженер Раудсеп вовсе не принадлежит к породе сентиментальных людей и не любит разбазаривать деньги. Я искренне поблагодарил и сказал, что столь неожиданный подарок для меня особенно ценен и что я могу его заверить, что никогда в прошлом году не кутил, не собираюсь кутить и впредь. Если же когда-нибудь мне представится подходящий случай, я вспомню его поступок в отношении меня и попытаюсь ему подражать. В общем, мы расстались, довольные друг другом, и он передал мне конверт, в котором оказалась немалая сумма в 200—300 чешских крон, что дополняло мой бюджет, позволяя бесперебойно прожить по крайней мере до января, учитывая уже полученную мной сумму от Маргариты Карловны.

Начиная второй год учения в Карловом университете, я должен был прочнее встать на собственные финансовые ноги. При всем расположении ко мне эстонских меценатов я уже не мог рассчитывать на их повторные благотворительные акции. Словом, мое будущее в этом отношении было темно и не ясно...

Я перестал жить с Теннукестом и переехал в Оздравовну, где для меня нашлась комната, здесь же жил и Костя Гаврилов, Володя Римский-Корсаков, и даже Костя Теннукест переехал туда. Этот переезд в Оздравовну для меня был только началом дальнейшего движения в Прагу.

Для того чтобы осуществить въезд в центральную Прагу, я повидался с русским специалистом по паспортным делам — доктором юридических наук Иваном Степановичем Яковеней, очень любезным человеком, который знал всевозможные юридические комбинации, приносившие его клиентам удовлетворение, а ему гонорар. Он устраивал прописки, обмен паспортов или визы в государства, не желавшие даже и слышать о въезде эмигрантов, хотя бы на самое короткое время. Побеседовав со мной, он сказал: «Да, это можно сделать, но обойдется недешево — нужно заплатить в нескольких инстанциях, то есть 150 чешских крон». Это составляло приблизительно половину того, что я получил в подарок от инженера Раудсепа, — видно, судьба не случайно даровала мне эти деньги. Я решил, что игра стоит свеч; дальше невыносимо было жить за тридевять земель, выматываясь каждый день до последнего. Теперь, когда я

приезжал в Оздравовну, ужина, который нам давала Федосья Ивановна, не было и нас больше не ждала теплая комната. Оздравовна была холодная, и приходилось все делать самому. Но, возвращаясь поздно вечером, вы уже ничем не будете заниматься, не станете даже печку топить, просто ляжете спать, накрывшись всем, что есть в комнате теплого. Словом, я уже чувствовал, что мне необходимо поскорее перебраться в Прагу, сократив эти ужасные поездки.

Евгений Александрович Ляцкий исполнил свое обещание относительно дополнительных заработков для меня, и дважды в неделю я стал вечерами преподавать на курсах русского языка при Свободном университете. Это был очень скромный гонорар, дававший еженедельно маленькую прибавку, но он оказался бы совершенно бессмысленным, если каждый раз мне приходилось бы тащиться домой десятки километров. Хотелось жить в центре города, где имелась масса других возможностей: вы могли поужинать, например, в столовой ИМКА, где были сравнительно недорогие обеды, могли пойти в еврейскую студенческую столовую, в которой имелась очень дешевая и хорошая еда, или в чешские студенческие дома, где все стоило дороже, но выглядело очень аппетитно. При моем нансеновском паспорте, выданном в Таллинне, каждый раз требовалась виза на въезд в Чехословакию, если же обменять его на чешский паспорт, тогда въезд сюда был бы автоматическим, а в Эстонию меня и так пустили бы — там жили мои родители.

Яковеня все разыграл мастерски: он взял мой паспорт, а через некоторое время вызвал меня, вернул паспорт и сказал, что все улажено, завтра я должен отправиться в деревню Мокропсы и там пойти к местному представителю регистрации иностранцев, он уже в курсе дела, возьмет у меня паспорт, а даст другой, с пропиской, будто я живу в Мокропсах. Этот паспорт мне необходимо сразу же привезти ему, Яковене, что я и проделал. Оказалось, что в паспорте все уже было вписано так, якобы целых два года я жил на Венкове, паспорт же только теперь обменен на новый и там значился другой номер, так что нельзя найти ни входящих, ни исходящих. Яковеня спросил только: «Где вы теперь живете?», и меня прописали в Праге-12, Бубенеч. Я нанял комнату, правда, безумно холодную, но другой в тот момент не было; утром у меня в кувшине замерзала вода. Однако «судьба Андреева хранила», я был молод, здоров и не простудился, несмотря на столь ужасные условия.

Приближалось Рождество, и у меня появилось много новшеств. Одна бытовая новость была та, что Жорж Докс, который жил с Темой Таварковским в самом центре Праги — Праге-2 (а я прописался довольно далеко оттуда), — уезжал на три недели к своей невесте Мусе (позднее она вышла замуж за князя Долгорукого) в Бессарабию. Муся была симпатичная, милая девушка, из очень зажиточной семьи и все время присылала Жоржу продуктовые посылки, а когда приезжала сама, привозила массу вкусных вещей. И Жорж мне предложил: «Если хочешь, иди живи с Темкой»... Конечно, я хотел — Тема был из очень дружественной мне семьи, он тоже порадовался, что я буду жить у него. Потом он сам на какое-то время уезжал. Словом, у меня получилось очень веселое и приятное Рождество, главное, теплое после того безумного холода, который продолжался еще довольно долго, но я уже не страшился его, ибо самую страшную стужу в декабре — начале января пересидел в теплой и приятной квартире.

Первый раз я встречал Новый год в условиях Большой Праги. Здесь этот праздник здорово отмечали. Прага любила праздновать Новый год: были и фейерверки и музыка играла повсюду. Главное, что потом наступал полицейский час (от половины двенадцатого до половины второго) и существовало этакое джентльменское соглашение: можно было хохотать и вытворять на улице что угодно (при условии, конечно, что вы никого не обижаете), а полиция на все смотрела сквозь пальцы. Мы с Темой и еще с какими-то его приятелями пошли на новогодний ужин в один из ресторанов, которые в тот вечер были переполнены! Так получилось, что ни у кого из нас не было с собой дамы, и мы вчетвером очень мило поужинали, выпили вина, потом гуляли по Праге, и нам было очень весело.

В то же время, то есть в конце 1928 года, произошло событие, определившее мою последующую жизнь. В ноябре я был на лекции, которая кончалась

в четыре часа, и в тот момент, когда мы уже выходили из зала, Жорж Докс сказал, что меня ищет и хочет видеть доктор Расовский. Я не знал, кто такой доктор Расовский, и отнесся к сообщению Докса довольно холодно. Я очень устал в тот день и ничего не ел с утра, когда, согласно договору, хозяйка моей неимоверно холодной комнаты давала мне кофе и рогалик. Передо мной стоял небольшого роста, худощавый, не очень красивый, но, видно, интеллигентный человек, который сказал: «Меня зовут Расовский, я секретарь профессора Калитинского, директора Семинария имени академика Кондакова». Надо признаться, что и к этому сообщению я отнесся очень прохладно, потому что никогда не слыхивал фамилии профессора Калитинского и что-то лишь очень смутное слышал о Семинарии академика Кондакова. Расовский сообщил мне, что профессор Калитинский хотел бы увидеть меня завтра для беседы, и если мне удобно, то можно было бы встретиться после лекций. Мы сговорились, что доктор Расовский придет за мной в четыре часа и поведет меня к профессору Калитинскому. Тогда я спросил: «А зачем я нужен профессору Калитинскому и о чем он хочет со мной говорить?» Расовский ответил: «Это он сам определит в разговоре. Думаю, он хочет осведомиться о ваших академических интересах и, может быть, предложить вам работать по линии Семинария имени Кондакова». Я поблагодарил за информацию, доктор исчез, я тоже отправился по своим делам. Те, кого я спросил в тот вечер и на следующее утро: слыхали ли они что-нибудь о Калитинском или о Семинарии академика Кондакова, мало что могли мне сообщить. Как будто дело обстояло таким образом, что академик Кондаков, который умер четыре года назад в Праге, был великим ученым, и поэтому в честь его продолжал работать этот Семинарий, а теперь был издан и его труд «Русская икона». Про Калитинского говорили, что он — московский профессор, крайне энергичный человек, который сумел осуществить издание «Русской иконы», а ныне занимается проблемами, связанными с научной деятельностью академика Кондакова.

На следующий день в четыре часа я опять пребывал в том же положении, что и накануне: мне не удалось пообедать, ибо не было денег, их осталось крайне мало; пришлось заплатить за паспорт, за комнату, предстояли еще платежи за разные бытовые вещи вроде стирки. Да и расписание лекций было такое, что в полдень времени хватало только на то, чтобы съесть рогалик и выпить четверть литра молока. В четыре часа снова появился доктор Расовский, и мы отправились через Карлов мост — красивейший, древнейший мост в Праге, полный всевозможных исторических фигур и символических зверей, — любопытное средневековое сооружение. Я предпочел слушать речи моего чичероне, а не говорить сам, да он меня особенно ни о чем и не спрашивал. Мы вышли на Малую Стра́ну и по узким средневековым улочкам поспешили наверх, поднявшись по огромной лестнице на Градчаны. Затем мы проследовали в район старых градчанских дворцов с чудесными сводами, тоже совершенно древнего характера. И как раз, когда мы шагали под этими сводами, доктор Расовский вдруг сказал: «Вот мы и прибыли». Это называлось Прага-4, и мы вошли в странный внутренний двор, где каждый этаж имел свою лестницу, балкон, было много квартир или комнат, открывались двери на эти балконы и оттуда лестница шла вниз: типичная, распространенная в Праге и, вероятно, во всех средневековых городах система построек. Мы поднялись на второй этаж и оказались в двух небольших комнатах: первая, куда мы вступили, была полна книг, которые я даже не успел рассмотреть, — просто лежали пакеты с новыми поступлениями, затем оказались в следующей, где тоже имелась масса книг, а также несколько столов и шкаф. Здесь помещался Семинарий имени Кондакова и жил его директор, профессор Александр Петрович Калитинский, а кроме того, Димитрий Александрович Расовский, который в этот момент был его секретарем. Здесь ощущалось приятное тепло, мне сейчас же дали чай и булочки с маслом, что тоже было очень приятно, ибо я страшно проголодался. А. П. Калитинский, как выяснилось, раньше являлся директором Московского археологического института и был женат на знаменитой Марии Николаевне Германовой, артистке Художественного театра. Возможно, что, уехав вместе с ней и попав в район действий Белой армии, он таким образом оказался за границей. При жизни академика Кондакова, который умер в Праге в 1925 году, Калитин-

ский оставался в его Семинарии, который посещали не только студенты, но и профессора, в том числе историк Георгий Владимирович Вернадский. После смерти Кондакова оба они решили продолжать его исследовательскую линию и сохранить Семинарий. Если раньше это был просто Семинарий Кондакова, то теперь он стал называться Семинарием имени Кондакова. Они выпустили великолепный сборник памяти почившего академика, которого специалисты высоко ценили, — академик Жебелев в своих очерках по истории русской археологии назвал Никодима Павловича Кондакова архистратигом русской археологии и русской истории искусства. Не говоря уже о том, что Кондаков сыграл крупнейшую роль в развитии мирового изучения Византии, поскольку первым смог дать хронологическую схему развития эпох византийского искусства, он изучил (что до него как-то не догадались сделать) византийские миниатюры в рукописях, которые все датированы, и после этого получилась схема искусства, потому что миниатюры отражали главные черты искусства той эпохи, в которую создавались. Кондаков во всех отношениях был фигурой огромной величины, в его честь ученые охотно представляли свои труды, старались продолжать работать в духе кондаковских теорий.

Кое-что мне кратко рассказал об этом Александр Петрович Калитинский, объясняя значения Семинария имени Кондакова, а рядом с ним сидели два молодых его помощника. Один из них — интеллигентного вида, с довольно нервным лицом и с усиками — был Николай Михайлович Беляев, историк искусства, второй — Николай Петрович Толль, который показался мне очень мрачным. В этот момент он был молчалив, немножко суров на вид, тщательно выбрит, волосы у него чуть вились, и поглядывал он на меня как бы несколько осуждающе: что, мол, вы тут изображаете из себя...

Николай Михайлович улыбался, а А. П. Калитинский был очень вежлив, крайне любезен и проницателен, время от времени задавал вопросы: что именно я изучал и почему и какие интересы у меня в дальнейшем. Я ему объяснил, что моя задача стать славистом — с упором на русский материал, на русскую литературу, и что пока мне пришлось заниматься новейшим периодом, а что касается минувшего периода, то в рамках факультета очень мало что делалось. Он все это благосклонно выслушал. Мы выпили чай, и он объявил, что теперь он покажет мне то, что, в сущности, определяет будущее существование Семинария Кондакова, а именно «Русскую икону», и очень кратко рассказал, как Кондаков собирал материал по этой «Иконе», как, будучи академиком, заказал ряд цветных клише в Праге перед войной, потому что проектировал издание «Русской иконы» в рамках Императорской академии наук. Сам Кондаков занимался изучением иконы тридцать лет, и его рукопись приехала с ним в эмиграцию. Оказалось, что за время войны чехи изготовили цветные клише и обратились затем в Советскую Россию, в Академию наук, говоря, что заказ исполнен, можете платить и получить клише. Академия наук ответила им, в лице каких-то легкомысленных представителей, которые вели переговоры с заграницей, что они не хотят брать цветные клише икон и у них нет средств оплатить заказ, сделанный еще в досоветский период. Чехи не знали, что и делать. Но в этот момент произошло совершеннейшее чудо, а именно: Н. П. Кондаков оказался в эмиграции, сначала в Болгарии, где его очень высоко ценили, ибо в одном из своих капитальных исследований (а они у него все были капитальные) — о археологическом путешествии по Македонии — он убедительно продемонстрировал болгарский характер македонской культуры, тем самым как бы оправдав исторические притязания Болгарии на македонскую территорию. Но сам он в Софии очутился в тяжелом положении. Болгария выступала на стороне Германии, была бедной страной, и Кондакову там нечего было делать. Он крайне нуждался, подумывал о переезде во Францию. Об этом узнал президент Чехословакии Томаш Масарик. В 1890-е годы Масарик выставил свою кандидатуру по славяноведению на должность профессора, а возможно, доцента в Санкт-Петербургском университете. И его кандидатура прошла, в частности, академик Кондаков ее поддержал. Но затем разыгралась история дипломатического характера. В министерстве иностранных дел встревожились, что это означало бы некую демонстрацию против Австрии. Ведь Масарик уже проявил себя как

чешский национальный деятель и по ряду вопросов находился в оппозиции к австрийскому правительству. Таким образом, выборы его в качестве профессора Санкт-Петербургского университета по славяноведению явились бы вызовом Австрии. В результате министерство иностранных дел рекомендовало министерству народного просвещения не утверждать кандидатуру профессора Масарика, выбранного преподавателем в Императорском Санкт-Петербургском университете. Тем не менее академики (в том числе Пыпин и Кондаков) выразили соискателю свое уважение, сожалея, что не смогли провести его кандидатуру. Масарик это запомнил и хорошо понимал трагедию русских ученых, когда после большевистского переворота они оказались не у дел и вынуждены были бежать за границу. Масарик постарался помочь этим ученым: по его инициативе был учрежден целый ряд стипендий для русских научных светил. Узнав, что Кондаков в бедственном положении, Масарик пригласил академика в качестве гостя Чехословацкой Республики, назначил ему персональную пенсию и устроил курс его лекций в Карловом университете, где Кондаков читал по-русски. В сущности, это был единственный синтетический курс по истории средневекового искусства и культуры. Кондакову было даже предложено вести индивидуальные занятия с дочерью президента — доктором Алисой Масарик, которая интересовалась историей искусств. Таким образом, Масарик сделал все возможное, а когда Кондаков умер, он с большой симпатией отнесся к идее дальнейшего изучения средневековья и Византии в том плане, в каком это делал Н. П. Кондаков. Поэтому президент постарался обеспечить ряд персональных стипендий, например для профессора Калитинского как директора Семинария имени Кондакова. Он добился, чтобы отдельным молодым ученым, только что окончившим университет, были предложены стипендии для дальнейшей научной работы. К ним относились Беляев и Расовский.

Эта помощь молодым ученым, по мысли Масарика, должна была быть работой для будущего: в один прекрасный момент Россия придет в более нормальное состояние, русские эмигранты из Чехословакии вернутся на родину и — если они получили образование в Праге, имели контакт с чешской культурой и с чехословацкими культурными и политическими кругами — это послужит на пользу обоим государствам. И он, кроме всего прочего, решил учредить при Кондаковском институте две стипендии для молодых, последние, по его мнению, могли бы стать такими учеными и оказались бы полезны для будущих сношений Чехословакии с Россией.

Как мне рассказал позднее сам А. П. Калитинский, узнав о подобном решении Масарика, он очень обрадовался и обратился за информацией в четыре места, чтобы ему назвали имя или имена русских студентов на философском факультете, если возможно — не старше второго года. Он спросил академика Францева, профессора Ляцкого, Сергея Иосифовича Гессена, с которым был в дружбе и знал, что тот много занимается проблемами педагогики, интересуется молодежными кадрами, и в-четвертых, обратился в Бюро русских студенческих секций. По философской секции нашим старостой был Жорж Докс. Профессор Калитинский и весь его штаб были поражены тем, что все четыре инстанции назвали одно и то же имя, то есть меня. Это столь изумило их, что сразу же решили меня вызвать, результатом чего и явилась миссия Расовского. И вот теперь я сидел перед профессором Калитинским. Когда мы с ним просмотрели «Русскую икону» и я вслух ничего не сказал, Александр Петрович произнес: «Мы все, господа, идем ужинать к княгине Наталье Григорьевне» — и объяснил мне, что княгиня Яшвиль, во-первых, большой друг покойного академика Кондакова и отчасти его ученица по иконописи, во-вторых, она деятельно работает по организации Семинария имени академика Кондакова и уже установила целый ряд иностранных контактов, могущих оказаться полезными для будущего.

Княгиня Яшвиль предстала передо мной как любезнейшая дама с проницательными добрыми глазами, уже очень пожилая, присутствовала также ее дочь, Татьяна Николаевна Родзянко, которой было, вероятно, лет около сорока. Она была замужем за старшим, кажется, сыном председателя Государственной думы Михаила Владимировича Родзянко. Позднее мне сказали, что нервность Татьяны Николаевны (у нее было породистое, интеллигентное

лицо, но она казалась очень взвинченной, иногда нервически хохотала) и глубокая седина самой княгини Натальи Григорьевны появились одновременно, когда в 1918 году в Киеве пьяной солдатней были убиты два только что вернувшихся из австрийского плена офицера: сын княгини Яшвиль и ее зять Родзянко. После этого княгиня поседела, а у Татьяны Николаевны появился этот нервический комплекс. Но я тогда ничего об этом не знал и был очарован прежде всего очень милым ко мне отношением, которое, в сущности, ни разу не встречал в Праге до сих пор, потому что имел контакты с людьми главным образом по чисто деловой линии. А здесь меня принимали очень любезно, с добротой, сразу усадили за стол и стали угощать какими-то очень приятными русскими незамысловатыми, но вкусными блюдами, дали вино, и княгиня поинтересовалась, как прошла наша беседа. Александр Петрович сказал, что беседой удовлетворен: он узнал, что надо, и, между прочим, заметил: «Вы знаете, вот Николай Ефремович посмотрел «Икону», но ничего не сказал по ее поводу. Я видел, что она произвела на него впечатление, но комментария не слышал».

Я даже немножко смутился и хотел объяснить, почему воздержался от комментария, — но опять промолчал. И это тоже оказалось к лучшему. Из разговора Толля, Николая Михайловича, Александра Петровича (Расовский помалкивал) и княгини выяснилось, что я, по-видимому, серьезный кандидат на это место, и Александр Петрович произнес: «Я полагаю, у нас не возникнет расхождений, а дальнейшую программу мы с вами разработаем. Вот дня через два вы, если сможете, приходите к нам в Семинарий днем. Тогда мы с вами сядем и разработаем план: что нам хотелось бы, чтобы вы взяли на себя вдобавок как объект вашего изучения. Полагаю, что у вас не будет возражений. Во всяком случае, в следующий раз я вам дам в письменном виде то, что мы хотели бы от вас получить и как мы представляем ваше включение в нашу работу».

Я поблагодарил их, еще не особенно уверенный в том, хорошо или плохо мое участие в ней. Я совершенно не понимал, что это будет за работа и смогу ли в ней преуспеть. Ясно было, что это уже не литература, в которой я силен, а, очевидно, нечто, связанное с более серьезными проблемами, материалистическими подходами к изучению древности, в частности иконописи, археологии, затем истории, но тоже несколько в другом аспекте, чем читал нам ее Александр Александрович Кизеветтер. Но об этом я пока ничего не говорил. Я был очень рад и видел, что все они замечательно милые и прекрасные люди, в чем потом убедился, — первое впечатление оказалось самое верное — все они дружески и хорошо ко мне относились, им, очевидно, нравились, во-первых, моя молодость и серьезность, мое нежелание попасть впросак на первых же шагах и даже моя осторожность, с которой я ел, хотя был безумно голоден. Я старался, однако, не набрасываться на еду и как можно осторожнее вести себя за столом, зная, что такие люди, как княгиня и профессор Калитинский, принадлежали к высокому кругу русской жизни, и здесь нельзя было показать себя неучем. Я нарочно это подчеркиваю: подобная осторожность была мне в те годы присуща, она, может быть, свойственна мне и теперь, но ныне, на закате жизни, меня менее заботит будущее, а тогда я считал себя хуже других и поэтому понимал, что следовало подтянуться, беря с них пример. Потом мы разошлись, и, кажется, им понравилось, что я поцеловал руку княгине и Татьяне Николаевне, поцеловал совершенно естественно, а не сделал это как заученный прием...

На следующий день я проконсультировался с близкими друзьями по линии землячества, и меня полностью поддержал, настаивая, чтобы я серьезно отнесся к сделанному предложению, Костя Гаврилов. Я не спрашивал ни одного из людей вроде профессора Ляцкого или того же Докса, не считая возможным с ними разговаривать в то время, и старался очень серьезно поразмыслить, как к этому отнеслись бы мои родители. И я подумал, что, возможно, в этом есть известный замысел судьбы, потому что у меня как раз кончаются деньги, несмотря на то, что Евгений Александрович Ляцкий очень любезно предложил мне у себя некоторые секретарские работы, а кроме того, я дважды в неделю преподавал на курсах русского языка при Русском свободном университете, но все это была только капля в море, жизнь оказалась го-

раздо дороже, чтобы жить хоть на каком-то уровне. Если бы мне предложили стипендию и, как Александр Петрович сказал, квартиру, которая была бы в том же доме, вероятно, тогда это явилось бы решением проблемы. Нарочно об этом рассказываю, потому что я был человек еще молодой, а такие жизненные проблемы решить в юные годы крайне трудно. Я не очень церковный человек, что всю жизнь было моим недостатком, но я человек верующий. И я очень горячо помолился в этот вечер, прося Бога вразумить меня и направить именно тогда, когда буду разговаривать, по-видимому, уже в более деловом ключе с профессором Калитинским.

Когда этот день настал, я был приятно удивлен всем тем, что случилось. Я пришел утром, как он и предложил, около одиннадцати часов, и увидел опять эти комнаты, опять все было в большом порядке и тепло. Доктор Расовский в этот момент упаковывал книги, выпущенные Кондаковским институтом, которые рассылались по разным адресам.

Мне все это представлялось интересным, и Расовский был крайне любезен, что же касается Александра Петровича, то он оказался просто обворожителен. Он вообще обладал большим шармом: очень высокого роста, породистость его чувствовалась и в лице, и в манерах, он был яркой индивидуальностью, на него всюду обращали внимание. Недаром за него вышла одна из самых первых красавиц Москвы — замечательная актриса Германова. Они обдумали все, и моя кандидатура прошла. Калитинский сказал мне следующее: во-первых, я получу комнату. Комнату эту, возможно, придется делить с другим студентом, которого пока нет, он предполагал, что пригласит русского студента, которого встретил в Польше, тогда тот будет жить со мной, но пока этой комнаты еще нет, студента тоже, так что я могу жить там, где хочу. А покуда я живу на стороне, буду получать 650 крон в месяц — для меня это было что-то невероятное, так как оказалось в два с половиной раза больше, чем сумма, которую мне присылали из Эстонии. И пока у меня не будет никаких специальных нагрузок, за исключением того, что меня просят приходить два раза в неделю помогать Расовскому с упаковкой книг. Тут существовало правило, что все члены Семинария выполняли и чисто технические обязанности.

Относительно перспектив на будущее. А. П. Калитинский предложил мне два варианта: первый — программа-максимум, то есть я перехожу на археологию и историю. Второй: программа-минимум — я остаюсь славистом и добавлю в свою учебную программу ряд новых предметов. «Но что вы сами думаете по этому поводу?» — задал он встречный вопрос. Я признался, что я человек очень осторожный. И поэтому думаю, что было бы нецелесообразно потерять те позиции, которые я завоевал. Слависты уже знают меня. Если же я перейду только на историю и археологию, то утрачу уже приобретенные и завоеванные здесь позиции. Это первое. Второе — это то, что я и сам собирался расширить программы, в частности в первую очередь — лекции по византийскому и русскому искусству: я уже записал их, принес индекс, показал, что хожу на них, но пока еще не сдавал. Если же они захотят, я смогу сдать и экзамены. Мое предложение им очень понравилось. Александр Петрович назвал его превосходным. И добавил, что они еще обдумают этот вопрос, но что он тоже склоняется к моему решению, которое считает наиболее реалистическим. Он подчеркнул: ему кажется, что если нужно добавить курсы для меня, чтобы я лучше себя чувствовал в рамках Кондаковского института, то в таком случае, может быть, целесообразнее сделать это не как курс в университете, а как дополнительный курс при Семинарии имени Кондакова. Например, конкретно: «Введение в археологию», Николай Петрович Толль порекомендует книги и проведет со мной занятия по этому поводу. Определенные задания по византийскому материалу — то же самое. На этом мы как будто и уговорились. Я стоял на той точке зрения, что лучше не раскидываться, а сконцентрироваться, прибавлять немного, но основательно.

К моему восторгу, 1 декабря мне заплатили 650 крон. Это совершенно кардинально решало всю проблему, и я мог себя чувствовать более надежно. Я написал обо всем родителям, прося их совета, и получил от них очень дружеский ответ, в котором они боялись принимать на себя решение, но полагали, что это хорошо.

Я нарочно остановился на этом эпизоде подробнее, так как он оказался важнейшим событием для меня в тот период, да и в конечном счете вообще в моей жизни. Я был застигнут врасплох этим великодушным предложением. В сущности, это могло служить основанием для гордости, что выбрали именно меня. Но в то время я такого чувства не испытывал, будучи очень обеспокоен, даже немножко напуган тем, смогу ли все это осуществить. Я видел перед собой очень знающих, убежденных людей, которые оказывают мне доверие, и это доверие побуждало меня к новым усилиям. С другой стороны, сильно менялась программа моей деятельности, ясно становилось, что Кооперативный институт отходит на задний план, я уже с большим трудом мог попасть туда на лекции, но продолжал и старался сдавать зачеты, чтобы за два года они были. И затем даже мои нормальные лекции подверглись давлению, ибо мне приходилось по утрам приходить в Семинарий два, а потом и три раза в неделю. Мои попытки переставить их на послеобеденные часы не увенчались успехом, так как все технические работы выполнялись до обеда, а уже потом все занимались своими научными проблемами. Это ставило меня в трудное положение, ибо я был еще студентом. Конечно, я мог не являться на какие-то лекции, но все-таки это представляло определенную опасность, так что мой путь далеко не был усеян розами, но в конце концов я эти трудности преодолел.

Передо мной возникало очень много новых, сложных проблем: как сохранить свободу, непосредственность студенчества и обязанности в отношении Семинария имени академика Кондакова? Признаюсь, я даже грустил по студенческой вольности, которая теперь казалась мне уже утраченной. На самом деле потом все образовалось и я сумел сохранить и свободное время, и разнообразные интересы, которые у меня всегда были, они так или иначе получили свое удовлетворение. Однако первые месяцы мне было трудновато, но, вероятно, это давало известную закалку характеру. Некоторые мне завидовали — я вытащил счастливый билет, но не думаю, чтобы многие из них смогли справиться со всеми трудностями, которые пришлось преодолеть мне...

В январе 1929 года прибыл второй претендент, которому профессор Калитинский решил дать стипендию, встретив его перед этим в Польше. Он скорее хотел дать эту стипендию кому-нибудь в Праге, но здесь не нашлось других кандидатов, поэтому он вернулся к этой никому не известной личности — Евгению Ивановичу Мельникову. Евгений Иванович был на два с половиной года моложе меня, но крупного роста, он окончил гимназию в одном из «трущобных», по его словам, уголков Польши. Отец его умер, у матери была еще дочь. Учился он в гимназии хорошо, диплом тоже был хороший, и когда приехал, то горел желанием заняться любой отраслью университетского знания.

Евгений Иванович был вселен в те же «полторы», как мы называли, комнаты, которые находились этажом выше основной канцелярии, библиотеки и склада изданий Семинария Кондакова, куда я приходил два-три раза в неделю помогать Расовскому в его почтовых обязанностях. Евгений Иванович был очень милый и любезный человек. За все годы, что я с ним жил (а прожил я с ним восемь лет в одной комнате), у нас не возникало конфликтов, хотя это свидетельствует не только о его хорошем характере, но и о моем. Мне даже было очень выгодно, что он жил со мной; он был домосед, редко выходил по вечерам, а если выходил, то лишь на какие-то общественные мероприятия вместе со всеми членами Семинария или же вместе со мной. Обычно он сидел дома и тем самым всегда отапливал помещение. Это было очень приятно, потому что когда я возвращался, то комната оказывалась хорошо протопленной, поддерживался огонь и вокруг была чистота. Раз в неделю к нам приходила уборщица, которая все мыла, но мы поддерживали ежедневный порядок. За все эти годы я не имел повода в чем-либо его упрекнуть. Держался он крайне деликатно, был очень скромный и честный человек.

Забегая вперед, скажу, что Мельников кончил программу максимум, его направили на археологическое отделение и он написал докторскую работу по классической археологии. Словом, проделал все, что от него требовали. Но, по существу, он остался филологом. Это был просчет профессора Калитинского, который искал археологов, а нашел филологов. Филологом Евгений Ива-

нович был отличным, выучил чешский язык лучше, чем кто-либо из членов Семинария Кондакова. И когда позже я уже вел Институт, то всегда мог на него положиться. Если он напишет чешское письмо, его не надо показывать чеху: грамматически и идиоматически оно будет удачно. Весь круг его интересов пошел по этим линиям — классическая археология оказалась для него тупиком, он сделал все, что мог, но у него не было инстинкта археолога, что очень быстро почувствовал Николай Петрович Толль, который как раз обладал подобным инстинктом, и даже покойный Н. П. Кондаков публично хвалил его в своем Семинарии, сказав, что у него данные настоящего археолога, ибо он видит, понимает, чувствует материал, так как археология — наука о материальных вещах, а не об отвлеченных, духовных проблемах. И Толль очень быстро почувствовал, что Евгений Иванович подпадает под другую формулу Кондакова, который сказал, имея в виду в первую очередь немецкую археологическую науку, что удивительно, как много на свете архиолухов и как мало археологов. Это немножко ядовитое обобщение Николай Петрович быстро распространил и на Мельникова, хотя довольно долгое время оказывал ему (покуда тот еще учился как студент) кредит и старался не сбить его с толку. Когда же Мельников начал работать над темой, этот кредит стал суживаться, ибо, по мнению Толля, обнаружилось: тот не понимает, что такое археология. Но это никак не отразилось на биографии Мельникова. Благодаря акции Масарика и профессора Калитинского он получил высшее образование, оторвался от русской почвы в Польше и превратился в хорошего ученого, преимущественно с филологическим уклоном, что я с интересом заметил по его публикациям, когда уже находился в Англии, а он продолжал оставаться в Чехословакии под советским контролем.

Димитрий Александрович Расовский, с которым мне пришлось довольно долго и близко сотрудничать во время моей работы в Институте имени Кондакова, впоследствии оказался для меня фигурой огорчительной. По своим качествам он был очень хороший человек: работоспособный, преданный делу, полный любопытства в своем подходе к историческим источникам, талантливый исследователь, поскольку я представлял себе объем его материала. Самой трудной чертой его было то, что он оказался не совсем искренним. Когда вы находитесь очень близко к такому человеку и должны с ним постоянно сотрудничать, то все время чувствовать его двойную природу крайне затруднительно. Начали мы с ним очень дружески, и, покуда я был студентом, он был чрезвычайно лоялен ко мне. Но позже, когда я стал доктором философии и действительным членом Института, выяснилось, что Димитрий Александрович не очень одобряет мои успехи в некоторых областях и по отношению ко мне занимает отрицательные позиции. У меня с ним было несколько столкновений личного характера, но долго это оставалось только между нами: он был очень хитер, а я не считал возможным мои личные проблемы делать достоянием гласности даже в пределах членов Семинария. Играло тут роль и то, что, хотя он считался хорошим ученым, старшие члены Семинария — Толль, а Беляев еще раньше — относились к нему без особенного энтузиазма. Признавая его ученые достижения, они довольно отрицательно оценивали его как человека. Что касается Калитинского, то Расовский определенно держался с ним подобострастно. Калитинский, по-моему, так и не понял сущности Расовского и поэтому оказывал ему большие кредиты. Ему покровительствовал также Георгий Александрович Острогорский, который играл большую роль в дальнейшей биографии Расовского. Княгиня Яшвиль всегда говорила (я много раз это слышал), какой он преданный человек, как хорошо работает, с каким достоинством держится. Факт, что он держался с подчеркнутым достоинством, выдавал его внутренние комплексы: он был редкостно некрасив, хотя у него было интеллигентное лицо, общий вид его напоминал вид ученого ослика мне всегда это бросалось в глаза, и не только мне, а целому ряду людей. И это отзывалось, по-видимому, на отношении к нему женщин, которые очень его уважали, но не очень стремились сближаться с ним лирически. И в этом отношении возникали всевозможные трения. Все это в конечном счете ерунда, лично я тоже, вероятно, был виноват в том, что не очень шел ему навстречу, но надо сказать, что был удручен его двурушничеством. Однажды я даже ему сказал: «Я вижу вашу тактику, вы хотите, чтобы я ушел из Семинария Конда-

кова, я не уйду и вас предупреждаю, но если вы будете на этом настаивать, сделаю это предметом гласности». Тогда он как-то сразу уходил вглубь, и интриги шли глубже, вообще он был интриган по природе. А в личной своей биографии он был не без героизма. Димитрий Александрович учился в каком-то кадетском корпусе в Москве, потом, когда все закрылось и стало невмоготу, он, рискуя Бог знает чем, прошел через Польшу и все границы (времена были еще аркадские и можно было пройти). Так он появился в Чехословакии, где тогда еще давали стипендии, и написал работу о Владимире Мономахе, в которой отстаивал нетрадиционную точку зрения, что Владимир Мономах отнюдь не был под властью религиозных влияний, а, наоборот, в своих сочинениях проводил весьма светские мотивы. Это точка зрения, которая теперь господствует, тогда была довольно новой и привлекла внимание Г. В. Вернадского, дав возможность Расовскому вступить в контакт с кругом Семинария Кондакова, где он оказался очень полезен, потому что работал не жалея времени. Он достиг своей цели, стал доктором, и весь вопрос для него теперь заключался в том, чтобы развивать дальше Семинарий. Это давало шанс и самому развиваться вместе с ним. На нас же он смотрел как на неизбежное зло. Позднее он был в полной оппозиции к Мельникову, а в отношении меня долго колебался, но в конце концов также перешел в оппозицию. Его трагическая смерть (он погиб в сороковом году) меня во многом с ним примирила...

Одним из важных членов Института — я все его называю «Институт», хотя это позднейшая форма организации этого учреждения, а вначале это был Семинарий имени академика Кондакова — являлся Николай Михайлович Беляев, я его встретил уже как доктора философии, он специализировался по иконографии — византийской и русской. Он оказался старше нас лет на десять. И был фигурой крайне любопытной: во-первых, очень нервный, живо реагирующий на то, что его интересует, не всегда достаточно уравновешенный в своем поведении; он готов был и попьянствовать, и в карты поиграть. От него веяло немножко личной неустойчивостью. Он был офицером Белой армии, сыном инспектора артиллерии генерала Беляева и племянником того Николая Тимофеевича Беляева, который стал известным историком по варяжскому вопросу, и жил сначала в Лондоне, а затем в Париже. Он происходил из очень интеллигентной среды и был высокообразованным человеком, это сразу чувствовалось, но малопригодным для работы с молодыми, потому что он как бы не понимал, что молодым надо дать время и позволить им постепенно накапливать знания, а не мгновенно максимально погружать их в материал. Я поэтому не стремился многое от него получить, но с интересом просматривал его труды. Тут он действительно зажигался, и было интересно узнать его мнение и проанализировать его методы.

Прежде чем нам с Мельниковым предоставили комнату, ее капитально отремонтировали, и одновременно Семинарий Кондакова получил возможность обзавестись в том же доме дополнительным помещением — большой комнатой, где находился А. П. Калитинский. Он иногда надолго уезжал в Париж, и тогда в этой комнате либо не ночевал никто, либо ночевали случайные люди. Там любил ночевать Николай Михайлович Беляев, хотя он был женат. И его жена Любовь Павловна, мне очень нравившаяся, всегда относилась ко мне с дружественным вниманием. Однажды я даже был у них на частной квартире, но Николай Михайлович вскоре разошелся с женой и перестал там жить. Впрочем, их личными делами я не интересовался. В Институте же Николай Михайлович обладал свойством быстрых дипломатических общений. Он довольно хорошо говорил по-французски и удовлетворительно по-чешски, так как получил степень уже в Карловом университете, что было полезно для нашего института. Кроме того, умел читать по-немецки. От него исходило очень полезное культурное влияние, он делал много интересных замечаний. Иногда он неожиданно приходил к нам и, как с досадой говорил Евгений Иванович, начинал «мешать работать», сидел часа полтора, совершенно не считаясь с тем, что мы заняты.

К нему очень хорошо относились и княгиня Яшвиль, и Татьяна Николаевна. Они справедливо считали его талантливым человеком. Но при этом Беляев являлся неуравновешенным и, я бы сказал, опасным для руководства человеком, ибо никогда нельзя было поручиться за то, что он действительно

проведет ту линию, о которой вчера говорили. Когда присутствовал Александр Петрович Калитинский (он прекрасно действовал на Беляева), тот занимал свое место и не выскакивал. Но если Калитинский был в отъезде, то начинались его выходки. Он погиб трагически, по нелепой случайности, хотя тут была своя закономерность для судеб этого ученого учреждения, к которому я по воле судьбы стал принадлежать.

Совсем другого типа человеком был Николай Петрович Толль, которого я сначала очень побаивался, а потом по-настоящему оценил. Толль по природе своей вообще был скептик, и первое, что он замечал, — что все плохо, все не то: и кандидаты не те, и знания их никуда не годятся. Но с другой стороны, он отлично понимал, что происходит с людьми, и, когда он мне дал, например, «Введение в археологию» и целый ряд археологических проблем, которые требовалось разработать, я это сделал на материале, которым он меня снабдил, а кроме этого еще что-то добавил. Затем был устный экзамен, и Николай Петрович, и Калитинский, и Беляев присутствовали с таким видом, что, мол, не стоит даже и время тратить на Андреева. И вдруг обнаружилось, что я все понимал, все разобрал. Когда Толль демонстрировал фотографии разных древностей, это тоже была часть экзамена, и довольно трудная. И оказалось, что и тут я далеко не профан: всякие древние вазы совершенно отчетливо сидят в моей памяти. Николай Петрович был удивлен. При этом он выяснил, что я прочел не только то, что он упоминал, но проштудировал целый ряд справочников (включая немецкие) и знал гораздо больше, чем он предполагал. Это его поразило, и он сказал: «Да, видно, что вы работали»... Калитинский очень меня похвалил, Беляев тоже признал, что это на уровне. После этого у нас с Толлем установились наилучшие отношения. Позднее Николай Петрович сыграл крупнейшую роль в выборе моей темы для доктората, и я ему крайне обязан. Я тогда плохо понимал, что, собственно, мне выбрать, чтобы это было связано и с древним периодом русской письменности, по которой я формально писал свою диссертацию, и с вопросом, что не был бы совершенно чужд Семинарию имени академика Кондакова. Он предложил тему «Дело дьяка Висковатого как литературное и идейное явление», и этот выбор оказался замечательным, потому что моя работа произвела известное впечатление и до сих пор не сошла со сцены. Она явилась совершенно новым методом соединения идейных проблем века, в данном случае XVI века, которым я занимался специально, с русской иконописью. Это было совершенно новое поле приложения сил, но подходом к нему я всецело обязан Н. П. Толлю. Он, назвав тему, дал мне полную свободу, и, когда я время от времени стал ему сообщать, как идет мое исследование, он оказался очень полезен мне и при обсуждении материала, и при том, что отлично видел правильность общего направления исследования. Это был тот инстинкт материала, о котором говорил Н. П. Кондаков и который у Толля действительно существовал. И он более, чем кто-либо, научил меня исследовательскому подходу внутрь, вглубь. Беляев прибавлял к этому знания, представления об иконописных типах, об эволюции отдельных композиций, что тоже было полезно. Но первенство здесь принадлежало Толлю, которого я очень уважал. К тому моменту, когда я с ним познакомился, он уже был женат на сестре Георгия Владимировича Вернадского, женились они, по-видимому, по взаимной большой любви. Как-то они пригласили меня ужинать, и, придя к ним, я был поражен, что у них дома все заведено по восточному обычаю: мебели не было. Николай Петрович в то время чрезвычайно увлекался Востоком, и все сидели на циновках и на каких-то нелепых подушках. Николай Петрович отлично готовил, между прочим, имелись и алкогольные напитки. Все оказалось чрезвычайно вкусным, но сидеть было крайне неудобно. Позднее, когда жена его окончила медицинский факультет, получила практику и у них появилось больше денег, они переехали в другую квартиру и там, слава Богу, вернулись к западному стандарту. Я даже шутя сказал, что вижу победу Запада над Востоком и приветствую ее, ибо, по-моему, сидеть в креслах или на диванах много удобнее. Николай Петрович, довольный моей репликой, заметил: «Что можно ожидать от вас, типичного западника!»

Сам он принадлежал к евразийцам, которыми увлекался одно время, и был в большой дружбе с целым рядом выдающихся евразийцев. Г. В. Вернад-

ский был евразийским историком. Петр Николаевич Савицкий (лидер евразийцев) играл большую роль, оказывая влияние на Н. П. Толля, как и на целый ряд других людей того времени. Знакомство с ним явилось большим приобретением для меня, так как я теперь попал в исследовательскую среду. И эта среда оказалась чрезвычайно мне полезной, она выковывала во мне совершенно неожиданно настоящего исследователя. Каждую пятницу, за малым исключением, устраивались заседания Семинария имени академика Кондакова, на которых присутствовали члены, а иногда приглашались специалисты, если был какой-нибудь специальный доклад, и происходили обсуждения новых появившихся книг. Разбирали важные этапы исследования членов Семинария, подвергая их строгому, конкретному, фактическому анализу. Это чрезвычайно помогало, меня поразило, что никто не обижался, даже если их критиковали. Во-первых, человек, которого критиковали, мог совершенно спокойно ответить. Во-вторых, в случае неотразимости критики он мог сказать: «Хорошо, я обдумаю этот вопрос и через некоторое время скажу, согласен ли я с вашей критикой». Такой подход мне казался правильным и конструктивным. Это был совершенно другой мир, это было больше чем университет, это была уже исследовательская ячейка, в которую мне посчастливилось попасть.

Особенное место занимал здесь А. П. Калитинский. Он был отличный организатор, прекрасный психолог, но и более того — он был крупнейший методолог, может быть, лучший методолог, которого я встретил в этот период своей научной жизни. Это было особое качество профессора Калитинского, его собственные работы, которые не были широкими по диапазону и стремились к большой детальности и, даже можно сказать, углубленной узости, если можно выразить таким образом сущность его исследовательских работ, — все отличались замечательной методологической выдержанностью. Поэтому обычно его теории невозможно было опровергнуть — нравится или не нравится, материал был продуман логическим образом и представлял собой нечто методологически цельное. И его собственные работы придавали ему ореол ученого высокого класса. Он может не знать подробностей отдельного вопроса, но всегда сразу увидит основу всякого подхода к любой теме — м е т о д. Этот метод у него был прекрасно разработан. Он был совершенно незаменим на заседаниях семинара, когда вдруг самым дружеским, спокойным образом, двумя-тремя вопросами — обычно вопросы, чтобы докладчик понял, а не со стороны ему сказали, — выяснял, что подход к данной теме не полностью продуман, что там есть уязвимые места, что надо пересмотреть подход или оснастить дополнительными материалами утверждения докладчика. Это было крайне полезно, так как, увлеченный фактическими подробностями, исследователь вдруг начинал понимать, что он допускает методологическое сужение базы или, наоборот, методологически неоправданно расширяет ее, что в научной работе одинаково опасно. Этому профессор Калитинский учил замечательно. Историческое общество он посещал регулярно, и я по его примеру тоже ходил туда и очень полюбил это собрание, а позднее даже был туда избран. Здесь Калитинский тоже мог поставить два-три вопроса, которые бросали очередного докладчика в жар и в холод, ибо ему становилась очевидна недостаточная продуманность его схемы и проблема повисала в воздухе. Калитинский вдруг выдергивал один кирпич из-под их ног, и все здание начинало кривиться и падать. А бывало и наоборот, когда его замечания как раз чрезвычайно поддерживали докладчика.

С большой яркостью вырисовывается в моей памяти замечательно интересный открытый диспут в Историческом обществе по поводу тайны старца Феодора Кузмича: был ли он Александром I или нет (незадолго до этого за рубежом вышли две книги на эту тему)? Русское историческое общество устроило открытую дискуссию со вступительным докладом доцента Саханева и при участии в прениях таких выдающихся знатоков, как профессор Кизеветтер, профессор Завадский, и других специалистов. Общая тенденция и докладчика Саханева, и главных оппонентов сводилась к тому, что нет доказательств, будто Феодор Кузмич был Александром I. Профессор Кизеветтер не без пафоса говорил, что Император Всероссийский не иголка, дабы его могли потерять в стоге сена, и что все это легенда. Профессор Завадский высказал соображение, что целый ряд доказательств тождества Феодора Кузмича и Александра I на

самом деле — произвольно подобранный материал, который может укрепить точку зрения верующих, но не может укрепить объективную истину. Профессор же Калитинский задал только два вопроса. Он сказал, что остается непонятным следующее: если это не Александр I, о чем как будто свидетельствует ряд косвенных доказательств, то кто же этот таинственный Феодор Кузмич? Покуда нет ответа на этот вопрос, легенда будет оставаться. Второй вопрос: почему, если в этом не было нужды, император Николай I немедленно после того, как он неожиданно для себя оказался на престоле, столько внимания посвятил обстоятельствам смерти Александра I? Почему целый ряд документов был затребован в Петербург? Почему были приняты странные военные меры предосторожности, чем это объясняется? Это мероприятие Николая I как будто свидетельствует о том, что правительство в чем-то не было уверено, чего-то боялось, но *чего* именно? Декабристское восстание уже было сломлено, с революционной ситуацией в России покончено — чего же они боялись?

Почему должно было быть такое чрезвычайное напряжение во всем, покуда останки императора Александра I везли из Таганрога и погребали в Петропавловском соборе? И это тоже нужно проанализировать, ибо подобные действия производят впечатление, что современники думали не так, как думают сейчас наши аналитики. И затем третий момент: А. А. Кизеветтер считает, что тайна не могла быть соблюдаема многими людьми. Но он, Калитинский, полагает, что на столь высоком уровне и при такой преданности императору, какая существовала, подобные тайны как раз *могли* удерживаться. И он сослался на ряд примеров из XVIII века, когда мы до сих пор не знаем точно целый ряд подробностей именно потому, что лица, которые об этом знали (их был небольшой круг), считали себя связанными молчанием. Под его методологическим воздействием выступил Н. М. Беляев, который не согласился с анализом портретов и посмертных масок, данным Саханевым, а заявил, что, наоборот, по его мнению, как историка искусства, они подтверждают тождество портретов Александра I и маски Феодора Кузмича, так как методологически, по принципам, принятым в истории искусства, они указывают на тождество названных лиц. Таково было беляевское дополнение. В целом оба выступления произвели большой эффект, и кажется, устроители были очень недовольны, потому что вдруг почувствовали себя, как всегда при выступлениях Калитинского, немножко в подвешенном состоянии именно потому, что последний опирался на методологию. Эта методологическая сила профессора Калитинского была невероятна и уникальна! Я никогда более не встречал в чистом виде столь четко разработанную методологию, как у Калитинского. Поэтому я ему благодарен по гроб жизни за то, что он в те юные годы направил мое внимание на важность методологии.

К сожалению, он вышел из нашей игры довольно трагически в 1930 году. Это произошло совершенно неожиданно и в разгар его деятельности. У Калитинского было довольно трудное личное положение. Его жена Мария Николаевна Германова, мать их сына, который учился в Швейцарии в те годы, красавица, бывшая артистка Художественного театра, покинула Александра Петровича, став подругой богатого индуса, который создал ей совсем иные условия жизни, обеспечив и ее сына в Швейцарии. Александр Петрович получал приличную, но не очень высокую академическую стипендию. Его сильно удручала создавшаяся ситуация, и, хотя он это скрывал, лица, близкие к нему, знали, что она гложет его день и ночь. Это было первое обстоятельство. Второе заключалось в том, что здоровье Масарика все ухудшалось, и предполагали, что скоро он уйдет в отставку. Становилось совершенно ясно, что, в связи с общим изменением отношения к Советскому Союзу в Чехословакии, под ударом окажется финансирование Семинария Кондакова в персональном его составе. Проблема, которую пока что Масарик еще предотвращал своей властью.

Следовало предусмотреть и попытаться как-то маленькую ученую группу Семинария Кондакова превратить в более открытый для общества Институт имени Кондакова, который широко поддерживали бы различные лица. Должны были появиться всевозможные группы членов: членов-благотворителей, почетных членов и действительных членов и вообще разные группы участников этого будущего Института, а главное, следовало на всякий случай найти

новые источники его финансирования. Калитинский очень много думал, писал, работал на эту тему. В какой-то момент появилась надежда, что Институтом заинтересуется художник Николай Константинович Рерих, который в это время здравствовал в Америке, где был создан музей его имени. Возникла идея, что Рерих примет на себя звание почетного председателя Института, а его директорами будут Калитинский и Вернадский. Планов появилось много, со всевозможными вариантами, но условие было одно: нужны деньги, без денег все так и продолжало оставаться нереализованным планом. Летом, когда я гостил у родителей в Эстонии, в газетах вдруг замелькали телеграммы, якобы с Калитинским что-то случилось, в какой-то момент даже предполагалось его похищение большевистскими агентами. Но оказалось, что он перенес нервный кризис и совершил или пытался совершить некий никак не соответствующий его личности поступок, за что и был арестован уголовной полицией.

Когда все это выяснилось, он пребывал в тяжелой душевной депрессии, и его отправили на отдых в Париж. В Прагу Калитинский уже не вернулся, хотя, надо отдать справедливость чешским властям, они отнеслись к нему очень гуманно, обеспечив его содержание до самой смерти. Это был большой удар для всего Семинария Кондакова, который еще не был реорганизован, и главное, в нем даже началась некоторая борьба за власть: кто станет следующим руководителем? Пока им оставался Калитинский, было естественно, что это он (до него был еще Г. В. Вернадский, и они составляли дуумвират). Вернадский, однако, находился в Соединенных Штатах и мог быть только духовным вождем. Предполагалось, что, возможно, больше шансов имел бы Толль, дабы стать хотя бы заместителем директора, ибо Толль много занимался научными изданиями Института, кроме того, он был археологом. Но Н. М. Беляев вовсе не собирался идти под Толля, а Толль под Беляева. Возник большой конфликт, который мало меня касался, так как происходил на высшем уровне, и все это главным образом легло на плечи княгини Яшвиль. Она со своей дочерью всеми силами стремилась смягчить и урегулировать проблемы. Николай Михайлович Беляев уже предпринимал, по-моему, отчаянные и не очень корректные действия. Он объявил решительную войну Толлю, не желая признавать увещаний Вернадского в письмах, отрицал роль княгини, которая стремилась найти мирный исход конфликта, и вступил в контакт с некоторыми чешскими профессорами, которые были не прочь поучаствовать в игре, поддержав Беляева, если тот введет их в формирующийся Институт Кондакова. Но как раз в этот момент, на исходе 1931 года, Беляев вдруг исчез. Оказалось, он погиб в канун Сочельника, 23 декабря, сбитый случайным грузовиком на улице. Тело увезли (по-видимому, при погибшем не оказалось даже документов), и его потом обнаружили в морге.

Это произвело на всех очень сильное — просто страшное — впечатление и разрешило весь конфликт, но *какая* судьба: почти греческая... Мы содрогнулись. Это очистило дорогу Н. П. Толлю, у него не было непосредственного конкурента. К тому же Толль и не собирался захватывать власть, он хотел иного, хотел найти директора для нашего Института Кондакова, который уже полностью начал переформировываться. У нас появился устав, заместителем директора Института стал Толль, а директора все не было. В конце концов его нашли. Это был Александр Александрович Васильев, русский профессор, академик, специалист по византийской и арабской истории, который выехал в Соединенные Штаты, но который согласился (даже не заезжая вначале к нам) возглавить Институт. Он появился позднее. Это разрешило проблему. Толль стал его заместителем, княгиня вошла в правление как казначей, ученым секретарем сделался Расовский. А я в этот момент уже почти окончил университет, а в Институте выполнял библиотекарские и разные другие функции, хотя главная моя задача была завершить свою докторскую. Забегая вперед, хочу с благодарностью вспомнить, что, несмотря на свое трагическое исчезновение, Александр Петрович остался в самых лучших отношениях и переписывался со всеми нами. Когда в 1932 году я опубликовал в пятом выпуске «Seminarium Condacovianum» часть своей докторской диссертации «О деле дьяка Висковатого», профессор Калитинский написал мне длиннейшее, интереснейшее и очень важное письмо, подробно анализируя мою работу, в котором очень ее одобрил.

Говоря о людях, игравших большую роль в Семинарии Кондакова и затем в Кондаковском институте, я должен назвать княгиню Наталью Григорьевну Яшвиль и в каком-то смысле даже поставить ее во главе всего коллектива. Это была необыкновенная женщина, которая, вероятно, уже едва ли может появиться в условиях нынешней России.

Трагическое событие в ее жизни — гибель сына и зятя в один и тот же день от руки пьяных большевистских солдат — произвело на нее такое страшное впечатление, что она, как я уже выше отмечал, сразу поседела и с тех пор никогда не снимала траура. Вся ее жизнь была удивительным сочетанием благородства, высоких идеалов и непрестанного разнообразного труда, княгиня не брезговала ничем, и все, к чему она прикасалась, получало какой-то оттенок благородства, ибо она работала от души, из чистых побуждений. Я совершенно не приукрашиваю ее нравственный облик, мне выпало счастье знать ее одиннадцать лет, и она всегда была воплощением доброты, мудрости и удивительной душевной ясности. Я с глубочайшим уважением и абсолютным приятием ее личности вспоминаю Наталью Григорьевну. Она проделала феноменально интересную жизненную дорогу: вышла замуж по любви за князя Яшвиль. А так как Яшвиль происходили из заговорщиков, которые убили Павла I, то в годовщину убийства императора, 11 марта, княгиня Яшвиль всегда т а й н о служила панихиду. Я это знал и даже сам дважды присутствовал на ней. Но это не было актом общественного лицемерия, это было глубочайшим душевным движением княгини, так как она и ее дочь — Татьяна Николаевна — считали участие их предка князя Яшвиль в убийстве Павла I актом не только антихристианским, но нелояльным в отношении императора, несовместимым с понятием монархизма. Княгиня же была монархисткой в самом благородном смысле слова, полагая, что есть высшая воля, которая даже при коронованиии недостойных людей смягчает их, в какой-то степени просвещая их духовную природу. Сознавая все это, она от души молилась о прощении грехов князя Яшвиль и, как мне кажется, полагала, что всякие трагические обстоятельства, которые выпали на ее долю, — это тоже какой-то рикошет от того огромного греха, который 11 марта 1801 года был содеян их предками. Поэтому она и замаливала этот грех.

Вторая ее черта — абсолютное бескорыстие. В прошлом чрезвычайно богатая помещица, она имела огромные имения, которые не обращала только в собственную пользу или в пользу семьи, но старалась поднять и жизненный уровень своих крестьян, полагая, что одного просвещения для этого недостаточно. Как человек, который хорошо знал крестьян и тогдашнюю русскую жизнь, она считала, что гораздо плодотворнее помочь конкретным людям изучить хорошее ремесло, стать мастером, например женщина, способная делать вышивки, сумеет внести свой вклад в искусство. Поэтому в своих имениях она устраивала кустарные школы, которые помогали воспитывать деревенских кустарей, часть средств она обращала на поддержку художников.

Во время первой мировой войны княгиня работала в Красном Кресте, как большинство аристократок той поры, и затем была послана с миссией в Австрию как представитель Красного Креста для ревизии лагерей русских военнопленных на территории Австро-Венгерской империи. При этом одним из мотивов ее командировки был тот, что она не знала немецкого языка. Она отлично владела французским и английским, но по-немецки не говорила. Это было сделано нарочно, чтобы лишить противную сторону возможности в чем-либо ее подозревать. Поездка эта во время первой мировой войны по Австро-Венгрии дала возможность княгине Яшвиль встретиться тогда с еще не подозревавшими свое будущее чешскими деятелями, которые теперь занимали в республике высокое положение, с удовольствием вспоминая внимание и простоту, с которыми княгиня Яшвиль относилась к ним, уважая в их лице представителей другой славянской нации. К тому же в ее имении на Волыни служил, кажется, в качестве управляющего один из членов будущего дипломатического чехословацкого корпуса Иосиф Иосифович Гирса. Его брат одно время был товарищем министра иностранных дел, а затем короткое время даже министром, играя важную роль в этом учреждении. Когда она попала в одну из волн эмиграции в Грецию, Масарик, узнав о ее бедственном положении, пригласил княгиню в качестве гостя Чехословацкой Республики, дав ей лич-

ное обеспечение, которое позволило ей жить, непосредственно не работая ради хлеба насущного, но, как я сам видел, снимать очень скромные полуподвальные помещения.

Княгиня Яшвиль много занималась изделиями художественного характера, которые затем продавала. А Татьяна Николаевна подрабатывала уроками английского языка, на который начинался все больший спрос и который в это время был достаточно редким явлением и в Чехословакии, и среди русской эмиграции. Роль княгини в отношении Семинария, а потом Института Кондакова состояла в том, что хотя она сама и не была ученым, но всей душой старалась помочь последним заниматься своей профессией. И так как для себя она ничего не искала, то могла просить у разных лиц обратить внимание на издания Института Кондакова, купить их, а позднее войти в качестве членов в общество, называемое Институт имени Кондакова. Она могла совершенно спокойно хлопотать в чехословацких инстанциях по этим делам, так как делала это не ради себя, а помогая другим. И эта ее роль и ее репутация имели первенствующее значение при подобных дипломатических акциях.

Что касается Института Кондакова, то она оказывала полное доверие всем, кто там работал, стремилась всеми силами создать духовную, психологическую обстановку, подходящую для такой работы, помочь каждому персонально, когда возникали кризисы, например конфликт между Н. М. Беляевым и его женой, или когда профессор Калитинский попал в очень трудное положение, либо когда возникли всякие сложности из-за столкновений между Беляевым и Толлем...

Возвращаюсь к 1929 году, который начался для меня уже в совершенно иных материальных условиях и под защитой и руководством Семинария имени академика Кондакова. По линии, принятой в беседе с профессором Калитинским, я увеличил количество посещаемых мной исторических курсов и даже ввел для пробы некоторые археологические предметы, чтобы понять, как и что делают по этой линии в условиях университета. В 1929 году у меня опять была большая удача в семинаре профессора Горака, где я читал о «Хаджи-Мурате» Толстого. Я довольно хорошо знал как предыдущую, так и новейшую советскую литературу на эту тему. Горак был удовлетворен моим докладом и дал мне награду — 75 крон. Думаю, это было справедливо, потому что сам по себе доклад был интересный, хотя в большинстве случаев опирался на чужие изыскания. В моем докладе о Гоголе собственных заключений было гораздо больше: Кроме того, для третьего выпуска «Seminarium Condacovianum» я готовил статью о Кондакове, основываясь на том, каким он предстает в письмах Чехова.

Эта тема всех заинтересовала и всем понравилась. Неопубликованными письмами Чехова я не располагал, не были собраны и все имеющиеся его письма, но печатался целый ряд чеховских высказываний о Кондакове. При этом я выразил Калитинскому пожелание по ряду пунктов запросить Ольгу Леонардовну, которая знала отношение Чехова к Кондакову. Я написал ей письмо, которое сопровождалось припиской А. П. Калитинского (он хорошо знал Книппер-Чехову как партнершу жены, М. Н. Германовой, в период работы последней в Художественном театре). Калитинский просил ее помочь мне, молодому ученому. Но никакого ответа не последовало. Однако удалось снестись с доктором Альтшуллером-старшим, знакомство с которым доставило мне большое удовольствие, потому что он лечил обоих моих дедов в Торжке.

Вообще он оказался очаровательным джентльменом, подлинным интеллигентом старой русской школы, который всем интересовался, ко всем был внимательным и все помнил. Публикация состояла из нескольких страниц добросовестной сводки. К ней я написал вступление, в котором постарался оправдать это собрание биографического материала о Кондакове. Самое забавное, что Кондаков, оказывается, в свое время в Ялте играл Пимена в «Борисе Годунове» Пушкина — такие забавные человеческие черты, которые раньше не были нам известны. Статья произвела известное впечатление, мои коллеги были поражены быстрым восхождением моей звезды, даже Герман Хохлов, как всегда, двусмысленно пробурчал: «Ну что же, вы существовали для того,

чтобы написать эту статейку». Я про себя все больше удивлялся его уже мало маскируемой неприязнью к моей особе. И хотя мне некогда было обращать на подобные реплики внимание, тем не менее это был факт.

В том же 1929 году началось мое личное общение с Марком Львовичем Слонимом. Слоним в это время уже не жил в Праге, где раньше был литературным редактором эсеровского журнала «Воля России». Его невесту сбил автомобиль премьер-министра: увидев Марка Львовича, она окликнула его и бросилась на улицу, не заметив мчащуюся машину, которую остановить было уже невозможно. Это так подействовало на Марка Львовича, что он покинул Прагу, перебравшись в Париж. Но он по-прежнему оставался редактором журнала и был тесно связан с эсерами, которых в Праге оказалось много: здесь находился центр их организации, и М. Слоним время от времени приезжал сюда, обычно выступая при этом с публичными лекциями. Мое знакомство с ним произошло на одном из литературных собраний в Земгоре. Он говорил о современной советской и эмигрантской литературе. Говорил интересно, плавно, без всяких записочек, великолепно владея словом. И главная идея его была: посмотрите, как это здорово, какая плеяда русских прозаиков, русских поэтов возникает в Советском Союзе, несмотря на сложности с режимом, а в эмиграции молодых очень мало. Он назвал Сирина-Набокова, который тогда назывался просто Сирин, назвал Газданова и, между прочим, Василия Федорова, пражанина. Заседание проходило в читальне Земгора, большой зал, пришло много народа, Слоним был известен как хороший докладчик и интересный обозреватель советской литературы, которой все страстно интересовались, но не поспевали ее читать. Василий Федоров тоже там присутствовал и даже покраснел от удовольствия, что его назвали среди актива молодой эмигрантской прозы.

Потом начался обмен мнениями. Председательствовал В. Г. Архангельский, эсер довольно видный, за председательским столом сидел также заведующий эсеровской читальней и библиотекой. Вопросы были довольно неинтересные. Вдруг неожиданно я услышал, что мне дают слово, — оказывается, я инстинктивно поднял руку. Я немножко струсил, но отступать было поздно, и я выступил. Отметил, что все, сказанное М. Л. Слонимом, очень интересно, мы ему благодарны за все. Но с одним пунктом я позволю себе не согласиться: нельзя назвать количество талантливых авторов из молодых за границей, так как у них нет возможности проявить себя как следует — им негде печататься, а когда это станет возможно и журналы будут принимать не только по тому признаку, что это знаменитый писатель из России, а и потому, что тут интересная проза, тогда выяснится и наш литературный актив. И Марк Львович сделал бы большое дело, увеличив количество печатающихся молодых авторов за границей...

Я сел и пребывал в ужасном состоянии, думая: «Боже мой, что я натворил, хорошо бы удрать!» Но удрать было трудно. Я сидел у окна, пришлось бы проталкиваться по ряду, поднять нескольких человек, сидевших в пальто, и тогда все обратили бы внимание на то, что я удираю. Словом, удирать я не стал. Потом я увидел, что Слоним спрашивает сидящего справа Архангельского и слева заведующего читальней о чем-то, а они оба только покачали головами. Я догадался, что он хотел установить мою фамилию, но сидевшие за председательским столом меня не знали. Когда он начал говорить, главный его ответ был мне, при этом он назвал меня «мой критически настроенный коллега». Тогда принято было в университетской среде всех называть «коллега», потому что большинство молодежи составляли студенты. Вначале Слоним довольно резко сказал, что с интересом слушал критику, но что во многих отношениях я совершенно не прав: толстые журналы — это не лаборатория для молодых авторов. Начинающий должен пробовать свои силы вне больших журналов, а когда обретет свой почерк, его примут и толстые журналы. Он напомнил, что как раз в 1928 году они начали устраивать конкурсы, уже выявили нескольких молодых авторов и начали их печатать. Из контекста его выступления можно было понять, что я довольно верно сказал по существу и что, конечно, следует приложить все усилия, чтобы расширить фронт молодых зарубежных авторов. Меня он похвалил, заметив, что было очень интересно и

приятно услышать молодой голос в аудитории и этот голос и то, что при этом было сказано, не просто критика, но конструктивная критика.

Это случилось в марте 1929 года, в ту пору стояла холодная погода. Позже, в начале лета, в июне, я получил приглашение от Слонима на литературный чай «Воли России». Литературные чаи «Воли России» — это было большое событие, там ко мне подошел Слоним, познакомился и сказал, что надеется на мое участие в их критическом отделе. И действительно, через некоторое время мне прислали из редакции книги, на которые я написал рецензии, а в 1930 году они начали печатать некоторые из них. Это меня подбодрило, а когда наступило лето, оказалось, что академические успехи у меня хороши, в отношении Кондаковского семинария тоже все обстоит благополучно. Вдобавок мне очень великодушно дали трехмесячный отпуск: июль, август и сентябрь.

Когда я приехал в Таллинн, мы стали уже планировать «Новь» № 2, который выходил в большем объеме, чем предыдущий, и мне пришлось кроме передовой написать целый ряд статей. Было очень много работы, но у нас уже имелся известный опыт, и номер, который появился к концу лета, получился удачный.

О своем знакомстве с Виктором Франком я уже писал в статье «Блуждающая судьба» («Новое русское слово», 14.X.73). Мы с ним моментально подружились, как это бывает в молодости, когда без всяких предисловий вы вдруг чувствуете расположение и полное доверие к человеку, становясь его другом. Мне наше знакомство было еще очень любопытно и потому, что я впервые встретился с человеком такого типа, высокообразованным, из интеллигентной семьи, ибо отец Виктора был великим русским философом.

При этом оба они по своим убеждениям являлись политическими консерваторами в хорошем смысле этого слова, что выгодно отличало их просто от реакционеров, которыми полна была Прага, или либеральных демократов, ратовавших за углубление человеческих отношений в сторону еще большего их раскрепощения. А оба Франка — отец и сын — были консервативны в своих принципах. Эта позиция Виктора Франка нашла свое яркое отражение в его статье «Пушкин в 1830 году», которая была напечатана в третьем номере нашей «Нови». Появление Виктора Франка несомненно способствовало расширению круга непосредственно общавшихся между собой людей, принадлежавших к эстонскому землячеству, и тех, что волей обстоятельств были вовлечены в этот круг. Включился в какой-то степени в него и Евгений Иванович Мельников, с одной стороны, а с другой — друзья и коллеги Кости Гаврилова — Лев Владимирович Черносвитов, очень милый человек, которого мы все звали дядей Левой, и Николай Алексеевич Раевский. Несмотря на то что оба были старше, они оказались в нашем круге. И этот круг вдруг пополнился совсем новым для нас явлением — берлинцем Виктором Семеновичем Франком, который на самом деле был москвичом. Весной 1930 года, когда я уже опять ехал через Берлин, появилась новая точка опоры: семья Франков. Виктор взял на себя представительство от имени нашей «Нови», которую мы проектировали издать опять осенью 1930-го. И в Берлине он уже как представитель «Нови» вступил в общение с целым рядом лиц, начиная с Сирина-Набокова, у которого попросил фотографию, поскольку предполагалось дать о нем в журнале статью. Виктор Франк связался с берлинскими поэтами, которые откликнулись на этот контакт и дали нам немало хороших стихов. Само собой разумеется, в третий выпуск «Нови» опять были позваны пражские авторы из «Скита».

Словом, этот номер «Нови» оказался до известной степени почти на уровне международного журнала. Ибо появился кое-кто даже за пределами Европы.

Я обратился к Сергею Михайловичу Шиллингу, который по-прежнему являлся нашим патроном и гарантом, уговорив его опубликовать в «Нови» состав ее редакционной коллегии. В первых двух номерах редакционная коллегия отсутствовала, подразумевалось, что редактирую ее я, но и мое имя как редактора тоже не упоминалось. А теперь мне подумалось, что нужно это как-то закрепить. И я даже немного перестарался, включив в редакционную коллегию, может быть, в известном смысле слова мертвых душ, которые как

литераторы себя никак не проявили. Я не знал, как долго смогу продолжать издание «Нови», приезжая из Праги, хорошо было бы, чтобы уже местные литераторы продолжили эту традицию. Тем более что у нас появились здесь интересные фигуры. Например, Ирина Кайгородова, которая уже когда-то выступала у нас со стихами, а теперь опубликовала хорошую рецензию на книжку Вячеслава Лебедева «Звездный крен». Вошел в редакционную коллегию Костя Гаврилов и еще кое-кто из молодых.

Третья книжка «Нови» получила отклики в прессе — пространно написал о ней критик Петр Пильский в рижской газете «Сегодня». Я лично очень много работал над этим номером как редактор. Мне принадлежала также передовая «Смена поколений и единство культуры», в основу которой была положена незамысловатая идея о том, что меняются поколения, меняются литературные вкусы, но незыблемыми остаются те принципы, на которых веками строилось здание русской культуры. Мне же принадлежал рассказ, написанный весной 1930-го, — «Жена», благодаря которому я и был принят в «Скит» как полноправный член.

Трагическая история с профессором Калитинским в Праге разыгралась во время моего отсутствия и лично меня никак не затронула. Но при этом глубоко потрясла всех, кто слышал об этом в подробностях. Но в целом благодаря княгине Яшвиль, а отчасти самому президенту Масарику все случившееся не получило широкой огласки и уладилось более или менее благополучно. Но тем самым, когда А. П. Калитинский перестал быть руководителем Семинария, еще более остро встал вопрос о перестройке. Все планы пригласить Рериха на руководящую роль отпали по целому ряду причин. Нужно было переделать сам Институт и усилить его академическую работу. В этом безусловная заслуга Н. П. Толля, который повел дело очень решительно, чтобы расширить контакты с целым рядом ученых, в частности с Георгием Александровичем Острогорским.

Это был молодой блестящий византолог, уже прославившийся целым рядом работ, которые самым положительным образом были отмечены в западноевропейской и в русской прессе. Он в это время был доцентом в Бреслау. А так как это было не очень далеко от Праги, мы приглашали его время от времени, по крайней мере раз в год, читать доклад, что вызывало определенный интерес, и мы могли даже предоставить ему большую аудиторию, а это помогало ему установить контакт как международно признанного ученого с некоторыми чешскими специалистами. Острогорский был очень милый человек, женатый тогда на русской. Их дочь, миленькая девочка, появилась позднее. И когда он приезжал, мы все очень радовались. Держался он хорошо, был действительно, что называется, человеком высокой интеллигентности и очень интересовался литературой. Он чрезвычайно чтил, в частности, Сирина-Набокова, понимая, почему этот автор — новое явление в русской прозе. У меня сразу нашелся с ним общий литературный язык.

Трагедия Беляева, случайно попавшего под грузовик в Праге, не только потрясла, но и сплотила весь коллектив: уход Калитинского, смерть Беляева явились чрезвычайно тяжелыми потерями в нашем личном составе. Позднее пришлось проститься и с Николаем Викторовичем Кузьминским, который был привлечен к работам кондаковского Семинария главным образом по составлению указателя для громадного труда Кондакова «Русская икона». Кузьминский много работал над указателем, но оказался фигурой не творческой. Знающий филолог, он не подходил к типу Семинария, так как ничего не написал, кроме докторской диссертации о деятельности Срезневского. Работу Кузьминскому давал Францев, который ему покровительствовал. После того как Кузьминский составил указатель, он перестал интересовать руководство Института. Постепенно все больше и больше падал интерес и к Мельникову, так как выяснялось, что он скорее филологический, чем исследовательский или археологический талант.

1930 — 1931 годы явились для меня эпохой большого творческого кипения. Ретроспективно я вижу, как много написал всевозможных рецензий, статей, откликов на литературную жизнь, в то же время я углубленно работал над тем материалом, который позже должен был лечь в основу моей диссертации.

Словом, даром времени я не терял. Мне было 22 — 24 года, и я ощущал подъем творческой энергии. Постепенно мое главное внимание сосредоточилось на докторской теме. Она представляла собой многочисленные сложности, отчасти естественные для каждого, впервые занимающегося исследованием, а во-вторых, специально для меня затруднительные, потому что моя диссертация впервые строилась не только на письменных текстах, но и на свидетельствах памятников искусства, иконописи. По существу, это был совершенно новый шаг. И тут я столкнулся со множеством затруднений, с моим незнанием текста и непониманием мною фона развития некоторых вещей в средние века. Мне пришлось прочесть много книг «вокруг» темы, чтобы уяснить, на чем и как я должен сосредоточиться. Это процесс очень мучительный, тут мне мало могли помочь мои ученые коллеги. Я шел во многом вслепую и только в 1931 году начал отдавать себе отчет, что именно в литературе, которую я собрал по своему вопросу, существенно, а что нет.

В конце 1931, а может, в январе 1932 года я сделал первое предварительное открытое сообщение в рамках Института на специальном заседании о проблемах, которые возникли у меня при изучении «дела дьяка Висковатого». Были приглашены некоторые специалисты: профессор Антоний Васильевич Флоровский, специалист по XVI веку, Евгений Филимонович Максимович и Николай Львович Окунев. Присутствовал и весь актив нашего института. Я читал доклад часа полтора. Я занимался детальной разработкой темы, но пытался определить, что, по-моему, произошло на самом деле и как неверно некоторые весьма авторитетные историки (даже Соловьев) ошибочно истолковали случившееся и, казалось, просто не понимали существа дела. Затем я предложил ряд возможных, чисто гипотетических, выводов, которые могли явиться целями или отдельными точками моего будущего подробного текста. Первым в прениях выступал Антоний Васильевич, который дал формулу, которая мне показалась очень ценной. Он указал на то, что в моем сообщении его восхищает прежде всего смелость мысли: я не порабощен (как часто бывает с начинающими исследователями) мнениями предшественников, но рассматриваю и пересматриваю их, опираясь на свое собственное понимание материала.

Он посчитал это важным, методологически существенным для исследования и, хотя возразил мне по ряду мелочей, которые казались ему еще не доказанными, в целом принял мою концепцию. На эту же тему говорил Николай Львович Окунев, который не касался общих методологических проблем, но сосредоточился на чисто иконописных деталях, в рамках которых я пока что действовал, и подтвердил некоторые мои наблюдения. Это было для меня тоже очень ценно. Наиболее скептичным оказался Евгений Филимонович Максимович, который сказал, что очень хорошо, что я делаю, но что ряд пунктов ему кажется не вполне доказуемым, как, скажем, новгородское влияние в Москве, через Сильвестра, и другие. Я должен был быть очень обрадован этими заявлениями, ибо, по существу, они не опровергали моей концепции, но совершенно естественно добавляли ряд подробностей к тому, что я наметил. Интересно отреагировал Н. П. Толль, который был весьма воодушевлен моим подходом к теме и реакцией ученых коллег на мой доклад. Он подчеркнул, что представляется существенным пересмотр или доработка целого ряда проблем, в частности XVI века, связанных с развитием русского искусства, и что в моей работе он чувствует как бы обещающее начало для такого подхода.

Я не только довел свою диссертацию до победного конца — частично она была напечатана в «Seminarium Condacovianum» (том V), — но и продолжил обзор целого ряда явлений, связанных преимущественно с иконами или фресками XVI века. И хотя мне не удалось завершить весь свой план по московскому периоду, поскольку пришлось покинуть Прагу, тем не менее я поставил и, в сущности, наметил очень важную сторону, до тех пор вовсе не изученную: отражение и движение идей Московской Руси в иконописных памятниках. Отчасти стало понятно, почему XVI век столь богат публицистикой, политическими трактатами, вопросами защиты православия, почему и в области иконописного творчества это тоже чрезвычайно важный этап, ознаменованный целым рядом новых понятий в иконописной практике именно идейного

порядка, с иным пониманием целого ряда вещей, которые до XVI века не нашли своего выражения в памятниках русских икон, а теперь стали бытовать и даже расширились. Возник целый ряд новых иконописных направлений.

К сожалению, когда я попал в Англию, то оказался оторванным от наших коллекций, от нашей великолепной библиотеки, которая помогала ориентироваться во всех деталях, и оказалось невозможным вернуться к этой исследовательской линии полностью. Поэтому я развил другие линии, также связанные с Московской Русью, но это линия существенная и правильная, как я думаю теперь, в перспективе, потому что это реальное явление той эпохи.

В декабре 1932 года моя докторская диссертация была принята, и я был допущен к устным экзаменам на звание доктора философии. Устные экзамены происходили в Праге в формах еще средневековых — это были ригорозумы, устные экзамены по общим предметам, т. е. история философии и основы психологии. Если вы не являлись чисто философом, у вас все равно был обязательный ригорозум, который продолжался час при комиссии. И затем по главным предметам — у меня ими формально оставалась славистика — ригорозум длился два часа и тоже в присутствии комиссии. Сначала сделал малый ригорозум, как это называлось, по истории философии. Все это требовалось сдавать по-чешски, а философия такой предмет, который, в сущности, знать невозможно: вы можете знать общее направление того или иного автора, но едва ли в короткое время сможете справиться с нюансами его мысли, что требует большого вживания в предмет и большого времени для освоения. Так как это был наш обязательный предмет, то мы делали минимум по нему, но все-таки требовалось сдавать ригорозум. Прежде всего нужно было выделить автора, который был бы специально для вас. Я случайно выделил (не зная, что буду в Англии) Хьюма своим главным автором. И более или менее подробно ознакомился с ним. Но кроме того предстояло знать всю историю философии. Тут мне существенную помощь оказал Сергей Александрович Левицкий. Он был Божией милостью философ еще до поступления в университет, а в Праге сосредоточивался главным образом на учении Н. О. Лосского и других идеалистов, вообще же считал себя учеником Лосского. Он знал историю философии, мог ориентироваться и разбираться в главных авторах. Он даже давал уроки, мне никаких уроков давать не захотел, а просто по-дружески помогал, и, признаюсь, это была очень существенная помощь: он, например, в подробностях прошел со мной того же Хьюма. С. А. Левицкий очень помог мне в усвоении немецких идеалистов — Гегеля, Шеллинга, которые для меня были сначала немножко туманны. Он знал все нужное, за исключением марксизма, но марксизм в те времена на экзаменах никто не спрашивал, это была политическая доктрина, которая историков не интересовала.

Я пошел на экзамен, где главным экзаменатором был профессор Козак, известный как весьма неприятный человек, я не только слушал его лекции в свое время, но и участвовал в его семинаре и очень его побаивался: Козак был элементарный позитивист и почему-то очень не любил русских эмигрантов, считая их реакционным элементом. К счастью для меня, Козак на несколько месяцев уехал в командировку, кажется в Америку. А те, кто меня экзаменовал, были в этом отношении люди безопасные, они просто проверяли уровень наших знаний, а не то, почему мы находимся в Праге, как Козак, который всегда старался задать русским кандидатам ехидные вопросы.

Экзамен прошел хорошо, я блеснул на Хьюме, мог очень правильно излагать Гегеля и даже сравнить его с Шеллингом и затем хорошо говорил о Канте, нужный вопрос был задан, так что тут все было в порядке. Еще мне задали вопрос по древней философии (кажется, о Платоне), на который я вполне хорошо ответил. Единственная ошибка у меня во время этого ригорозума состояла в том, что я путал термины «механический» и «механистический», не знаю даже, как по-русски это выразить. Разница мне была понятна, но из-за того, что все это было по-чешски и я устал, то сказал неправильно: «механический». Профессор меня поправил, я поправился и сейчас же опять сказал неправильно. Но они рассмеялись, и все кончилось хорошо. Итак, моя диссертация была принята, принят был малый ригорозум.

Оставался еще главный ригорозум. Его предстояло держать летом 1933 года. Это было серьезное дело и вообще, по существу, необъятное: тре-

бовалось знать, во-первых, основы славянской филологии, я же не был филологом, но все-таки они могли задать мне вопросы, и я должен был быть ориентирован. Во-вторых, все славянские литературы — школы и отдельных авторов, их произведения и главную критику о них. Это был вопрос энциклопедического напряжения памяти. После этого шла история. И нужно было знать всю историю. Поистине, необходимо обладать всеобъемлющими знаниями, отличной памятью и ясной головой, чтобы не спутать все это. Но я все годы очень хорошо работал и много знал. Тем не менее мне пришлось брать и записывать. Я избрал такую систему: листы. Допустим, вы пишете «Гоголь»: родился в 1809-м, умер в 1852-м, потом его главнейшие произведения, какая критика существует, как его рассматривают в XIX и как в XX веке, как оценивают в Советском Союзе, как за границей и т. д.

Я трудился днями и ночами, и чем больше работал, тем меньше знал — такое у меня было ощущение. К тому же в этот момент я испытывал к Ирине Вергун, которая перепечатывала мою диссертацию (таким образом мы познакомились), некие лирические чувства. Но я был так погружен в свои интеллектуальные занятия, что времени на ухаживание у меня не было, мое увлечение носило скорее отвлеченный, нежели конкретный характер. Тем более что Ирина была очень интересной девушкой, у которой имелась масса поклонников.

Накануне главного ригорозума я для контроля вытащил лист, на листе было написано: «Лев Николаевич Толстой», то есть автор, которого я великолепно знал, специально им занимался, но так и не мог вспомнить ничего, ни одного факта, относящегося к Толстому! Тогда я понял, что нужно остановиться. В этот момент пришла жившая неподалеку Ольга — Олечка Рябикова, дочь покойного генерала, начальника военной разведки русской армии. Мы были в хороших отношениях, даже некоторое время столовались у ее матери. И Олечка как раз пришла и застала меня в диком виде и говорит: «Пойдемте гулять, у вас такой сумасшедший вид, что вы умрете к завтрашнему дню. Плюньте на все и берегите свое здоровье...»

Меня поразили ее слова, которые совпали с содержанием открытки, присланной моим отцом, страшно рассердившей меня, в которой он тоже писал: «Плюнь на все, береги здоровье». Я тогда считал это неуместным юмором, но позднее вполне понял мудрость его подхода.

Во всех этих экзаменах, треволнениях была лотерея, на все существовала милость Божья: что вас спросят, как спросят... Наступил день ригорозума, стояла чудная погода, а я попал в переплет. Сначала меня спрашивали разные профессора. Францев был болен, он отсутствовал, но были Горак, он был и декан, и председатель экзаменационной комиссии, Ляцкий, профессор чешской истории, и еще один экзаменатор. Они не стали спрашивать все разом, а разбили вопросы, один экзаменуемый шел к одному, другой к другому — было три кандидата, и их разбрасывали между экзаменаторами. В конце концов я попал к Ляцкому, который задал мне несколько вопросов, на которые я отвечал ему по-русски, что было очень приятно. Он сказал: «Не волнуйтесь, у вас все хорошо, и вы, конечно, все прекрасно знаете, вы у меня проходите на „отлично"». Затем я попал к Гораку, который тоже хорошо знал меня и тоже спрашивал меня по-русски. Я даже несколько удивился, но решил, что это он, может быть, просто хотел показать перед комиссией, что хорошо говорит по-русски, а скорее всего, он сделал скидку для меня, поняв, что я очень устал. Он меня спрашивал разное, и я все знал, но на один его вопрос я не сумел ответить и до сих пор не знаю, что он хотел услышать. Он спрашивал меня о ранних польских романтиках, и я эту тему знал, отвечал хорошо. Он упомянул об одной теоретической работе. Я знал, что существует такая статья, которой сам никогда не видел. Я назвал ее и рассказал об основном содержании. Горак сказал: «Да-да, это все хорошо, правильно, а что там еще есть, какая важная мысль?» Я понятия не имел, какая мысль была еще, я рассказал то же самое, только иными словами, и он одобрительно кивнул головой и сказал: «Да-да, все это хорошо, хорошо, а что там еще есть?» Он был несколько разочарован, и позднее я сообразил, в чем дело: по-видимому, когда-то на лекции он это комментировал и подчеркнул, а я на этой лекции отсутствовал.

С чешским историком у меня произошел интересный спор, я знал все, что он спрашивал, и быстро начинал отвечать, а он меня останавливал и задавал новые вопросы. Потом он мне задал такой вопрос: «Скажите, вы занимаетесь Московской Русью?» — «Да». — «Какое влияние оказали гуситы на казаков?»... А я эту тему хорошо знал случайно, потому что с большим интересом читал специальную работу Ермолинского в «Трудах» одного из археологических съездов. В основу ее был положен совершенно иной тезис. Автор показывал, что никакие гуситы на казаков не влияли, но традиция табора, защищенного обоза как крепости, вокруг которой располагается конница, пришла из степей, бытовала у казаков и, скорее всего, оттуда перешла к гуситам, то есть получилось как раз обратное.

Я сказал, что общепринятая точка зрения именно такова, как считает профессор. Но есть специальная работа Ермолинского (профессор явно этой работы не знал), которая доказывает другое, и я стал ее излагать. Таким образом, у нас получился небольшой, но интересный обмен мнениями, на котором присутствовали Ляцкий и Горак. На этом ригорозум кончился, и нас всех выслали. Через минут двадцать вышел декан — Горак — и объявил, что я и другие кандидаты экзамен прошли: «Поздравляем вас, паны кандидаты, с получением доктората, а теперь уже официально отправляйтесь в канцелярию университета установить день, когда вам торжественно дадут докторскую степень».

После этого я пошел принять душ. Были хорошие душевые посреди города, дешевые, и я всегда раза два-три в неделю хаживал туда. Приняв душ, я уехал домой и лег спать прямо одетый. Когда я проснулся, то сообразил, что проспал: ведь Толль с женой пригласили меня на ужин.

Когда я позвонил и дверь открылась, то вспомнил: забыл, что все будут в смокингах! Ведь приглашены несколько дам, т. е. Ирина Вергун, старшая дочь Окунева, Ирина, и еще одна девушка — все в длинных платьях, Николай Петрович в смокинге, Ирина Владимировна, жена, в вечернем платье. Георгий Михайлович Катков в смокинге, Гаврилов тоже в смокинге! А я один Бог знает в каком костюме... Даже не в лучшем, а в рабочем. Я вырвался, сказал: «Сейчас вернусь!» Но меня схватили и никуда не пустили, заставили пить, и тут последовал еще один удар: подали раков, а я не знал, как их есть! То, что я не знал, как управиться с вареными раками, никак нельзя было показать: торжественный ужин в честь молодого доктора, а он держится дурак дураком — явился не переодевшись, да еще раков есть не умеет! Но мы выпили чего-то крепкого и приятного, так что все восстановилось и жаркое пошло уже совсем хорошо... Особенно приятно было, что кончилась эта каторжная штука, что вы получите звание доктора философии и вас все будут именовать «пане докторе».

Как потом оказалось, началась совершенно новая глава в моей жизни, ибо чехи очень любят чины, почитание, и «пане докторе» — это было уже нечто. И это «пане докторе» осталось со мной на всю жизнь, потому что я никогда так и не сделался профессором, оставшись с этим благоприобретенным званием доктора...

На другой день я получил официальное извещение из деканата: доктор Морхан, очень милый, любезный и веселый чех, извещал меня, что присвоение мне звания доктора философии произойдет 30 июня в Большом зале университета. При этом он сделал приписку, прося как можно быстрее вступить с ним в контакт.

Я отправился к нему на следующее утро, и он встретил меня с улыбкой: «Поздравляю вас со сдачей экзаменов, теперь скоро мы вас сделаем коронованной особой, но прежде вы должны мне доказать, что вы родились». И он принялся хохотать. Так называемый по-чешски «крестный лист» (акт о моем крещении) у меня не сохранился: все мои документы вместе с родительскими пропали в день погребения моей сестры в январе 1920 года, когда маленький чемоданчик с нашими деньгами и бумагами был украден. Я объяснил ему это. Он порекомендовал обратиться к православному епископу. Я пришел к владыке, пригласил его на торжественную церемонию и просил оформить документ. Владыка такие документы уже неоднократно оформлял, и все было готово через пятнадцать минут.

30 июня состоялась церемония. Стоял прекрасный день, и народу собралось довольно много, потому что производилось одновременно четырнадцать докторов. По чешской традиции профессора, которые проводили эту церемонию, были в великолепных мантиях, кандидаты же выступали в гражданских костюмах, без каких-либо псевдосредневековых плащей. Главным моим промотором (руководителем) был профессор Пражак, милый человек, он читал очень хороший курс по чешской литературе, а позднее, при немцах, возглавлял Национальный комитет, который руководил затем Пражским восстанием. Кроме владыки и архимандрита Исаакия из почетных гостей пришла графиня Панина, пришел Николай Иванович Астров, последний городской голова Москвы, А. Л. Бем, Е. А. Ляцкий, Горак сам участвовал в церемонии. Присутствовало множество моих коллег и все члены кондаковского Семинария, который стал уже называться Институтом. Мне поднесли много цветов, и я пребывал в недоумении, что с ними делать, но княгиня и ее сестра, матушка Вероника, которые сразу пошли домой, забрали их, а я отправился фотографироваться. Потом состоялся легкий обед, в котором приняли участие ряд моих друзей. Но главное, состоялся прием в Институте, в помещениях, где жил д-р Расовский и мы с Мельниковым. Было множество закусок, огромное количество вина, пришло много народу, начиная с хозяев нашего чешского дома, где мы жили студентами. К сожалению, отсутствовала Ирина Вергун, которая накануне уехала не то в Югославию, не то в Болгарию, но тем не менее веселье било ключом. Пришли приветственные телеграммы от моих родителей и некоторых друзей из Эстонии. Все с огромным интересом, включая меня самого, смотрели на мой докторский диплом, который выглядел очень импозантно, на пергаментной бумаге, весь текст по-латыни. Получалось примерно так: Николаус Андреевум, рожден в Петрополисе (вместо Петербурга) и т. д. Не удивительно, что копия диплома, которую во время войны я держал в бумажнике, много лет спустя вызвала недоумение и вопросы у майора госбезопасности, когда он выпускал меня из советской тюрьмы.

А теперь (я с удовольствием это подчеркиваю) все вокруг меня знали как студента, на их глазах я писал работу, появлялся в печати, танцевал на балах — и вдруг стал доктором: это несомненно достижение! Все другие доктора Кондаковского института уже давно произведены в доктора, никто не являлся свидетелем их подъема и славы. Здесь же общее мнение было таково, что это явный успех. Это и выразил в своем выступлении генерал Виктор Васильевич Чернавин, близко соприкасавшийся с делами Института и даже член его. Он сказал: «Николай Ефремович, поздравляю вас, вы завершили какую-то эпоху в вашей жизни». И это была правда, эта самая мысль содержалась в поздравлении А. П. Калитинского, в письмах моих родителей и моих друзей.

Затем Н. П. Толль мне сообщил, что Институт Кондакова избрал меня в действительные члены: я буду занимать пост библиотекаря и числиться членом-исследователем, передо мной открыты пути для научной работы и моя стипендия, которую выплачивала мне президентская канцелярия как студенту-кандидату, теперь переведена на меня как на молодого ученого. Это было очень приятное известие, вдобавок еще Институт предоставил мне длительный отпуск, учитывая, что я сильно устал и что мне следует немножко отдохнуть. Я попросил тогда перенести отпуск на осень, чтобы захватить рождественские праздники в Эстонии, то есть октябрь, ноябрь, декабрь. Это совпадало и с общими планами: летом уезжали в командировку Расовский и Толль. А мне надо было остаться до 15 или 20 сентября, вести очередные дела Института, сидя там почти в одиночку, ибо княгиня тоже уезжала. Это было хорошо и давало мне возможность немножко прийти в себя, подогнать мои литературные дела еще до отъезда в Эстонию. Между тем из Эстонии было получено письмо от С. М. Шиллинга, который предлагал мне прочесть курс лекций по современной литературе в Русском народном университете, главой которого он был и который время от времени устраивал открытые лекции. Подумав, я ответил согласием, и мы договорились, что курс будет называться «Русская литература после революции». Каждая лекция должна была быть двухчасовой с перерывом, т. е. два вечера будут посвящены советской литературе, а один вечер — эмигрантской.

Лекции давались на Медвежьей улице, в здании еврейской гимназии, куда переехала русская гимназия и где вечером происходили занятия Русского на-

родного университета. Когда я приехал в Таллинн, эти лекции уже были объявлены очень милыми афишами и я впервые именовался там «доктором философии Карлова университета в Праге». Это звание не все очень хорошо понимали, но видели, что это какое-то достижение, и я был там в то время фаворитом, так как оказался первым из плеяды тех молодых людей, которые уехали за границу.

Начало моих лекций случайным образом совпало с тем, что накануне Бунин получил Нобелевскую премию, и я, не всходя на кафедру, сказал несколько слов о Бунине, о значении его литературной победы. Поскольку Бунин пребывает в эмиграции, то это духовная помощь тем русским, которые находятся вне родной страны, но продолжают создавать такие ценности, что они привлекают внимание всего мира. Это был основной мотив, я говорил минут восемь—десять о творчестве Бунина стоя перед кафедрой, а потом уже взошел на кафедру и стал читать свой курс. Я начал со слов Троцкого, сказанных им в 1923 году (в книге «Литература и революция»), что, если в течение десяти лет не возникнет качественно новая литература, иного, не буржуазного, типа, это будет означать, что методы, которыми работали пролетарские писатели, неправильны. И я ответил ему в том смысле, что через десять лет все качественное в советской литературе выдержано в традициях русской классики, а остальное или голые эксперименты, или просто недостаточно художественно освоенный материал, который быстро умирал после появления в печати. В сжатом виде мои лекции были изданы в Таллинне ко Дню русской культуры в 1934 году...

Вернувшись в Прагу, я почувствовал себя уже человеком другого типа: учебный период кончился, теперь следовало перестраиваться на работу. И тут опять возникли сложности. Но прежде чем говорить о новых своих шагах, я хотел бы перечислить все то, что дал мне Карлов университет, назвать тех, кто способствовал моему образованию. От Карлова университета у меня остались самые светлые воспоминания. Во-первых, я хочу отметить парадоксальное явление: мне никогда не пришлось ничего платить за свое образование, в средней школе я всегда учился на высшие баллы, а так как мои родители были малоимущие люди, я освобождался от платы. Когда я приехал в Прагу, то благодаря договору между Эстонией и Чехословакией меня приняли в Карлов университет без экзаменов и специальных платежей, только за регистрацию меня в качестве студента пришлось заплатить. От платы же за обучение меня все время освобождали, так как я хорошо учился.

Во-вторых, университет отнесся ко мне страшно либерально, поскольку это вообще была крайне либеральная организация. Здесь вовсе не настаивали, например, чтобы все экзамены сдавались на государственном, то есть на чешском языке, но при этом совершенно правильно придерживались другой точки зрения: необходимо, если вы славист, слушать, а может быть, говорить и сдавать экзамены на разных славянских языках. Чехи хорошо понимали, что славяноведение — наука международная, и поэтому сам преподавательский состав на философском факультете Карлова университета в Праге уже указывал на международность дисциплин, связанных со славяноведением. То есть я, например, слушал, когда был еще студентом, лекции по польской литературе по-польски, по сербской литературе ряд лекций шел по-сербски, непременно читался по-болгарски обзорный курс и даже по-украински, хотя профессор Зеленко, будучи преподавателем-украинцем, старался больше читать по-чешски, чтобы привлечь внимание и чешских студентов. Это был очень хороший, широкий подход, который я отмечаю, потому что в целом ряде других университетов, даже позже во французских, например, этой широты подхода уже не существовало.

Что дали мне отдельные университетские курсы или отдельные университетские профессора? Например, философия. Философски они дали мне мало, но, начиная с терминологии, хронологии и определенных методов подхода к вопросу, я все-таки должен признать, что лекции и семинар оказались небесполезными. Благоприятное впечатление производили на меня лекции профессора Крааля, который хорошо читал и вообще был высокоинтеллигентным человеком. Но основы философского образования я получил, во-первых, на лекциях профессора И. Лапшина в Русском народном университете, где он читал введение в философию. Посещение его лекций было очень полезно. Кроме

того, я просто в качестве слушателя посещал занятия Философского общества. Это были открытые собрания, участвовать в дискуссиях я не посмел бы, но с интересом слушал, что мне впоследствии очень помогло и, так сказать, лишило страха перед философией.

Филологом я так и не сделался, но слушал лекции и посещал семинар профессора Вейнгарта по введению в славянскую филологию, что дало мне общую ориентацию, но Вейнгарт читал так сухо, не увлекая, что желания сделаться филологом у меня не возникло.

Большое впечатление произвели на меня сугубо ученые лекции профессора Мурко. Он чрезвычайно плохо преподавал свой предмет, его слушатели просто терялись. Курс, который я прослушал в первом триместре, на который меня почему-то записал Теннукест, оказался напрасной тратой времени: я тогда мало что понимал по-чешски и, конечно, не знал других славянских языков. Но на третьем году обучения я уже понимал его курс, а на четвертом появилось совсем другое восприятие лекций, ибо я улавливал все нюансы и интересовался сущностью того, что говорил Мурко. Специалистом по славянскому фольклору я так и не стал, но приобрел уважение к этой научной дисциплине и понял, почему многие ученые так стремились заниматься фольклором. Я же вместо фольклора занялся иконоведением — таков был ответ на понимание того, что подобная дисциплина полезна для слависта.

По русской истории я, конечно, прослушал вдоль и поперек все курсы, которые читались при мне Кизеветтером, специалистом главным образом по XVIII, а отчасти по XIX веку, и вполне тогда усвоил его точку зрения и методы. Но позднее, во время работы над докторской, я от них отошел. У А. Кизеветтера была чрезвычайно либеральная концепция, может быть, не всегда отвечающая духу фактов, которые я узнал уже позднее, когда стал заниматься научным исследованием. Он, например, очень отрицательно относился к Ивану Грозному, и лично к нему, и ко всей его эпохе, не без основания усматривая в ней множество зря пролитой крови и жестокости, которые, как известно, и составляли потом саму суть правления Грозного и суть опричнины.

Но меня в свое время заинтересовала точка зрения Р. Ю. Виппера в его книге «Иван Грозный» (Москва, 1922). Виппер рассматривал эпоху Грозного не только с точки зрения внутренних русских событий, как это было принято в отечественной историографии, а через призму событий, совершившихся в Европе в XVI столетии. Результат получился удивительно интересный и новый. Факты русской истории показались мне вдруг в какой-то мере эхом процессов, происходивших в европейских странах, и шли они, естественно, без всякого «сговора» между Москвой и Западом, просто потому, что такова была ведущая тенденция эпохи.

Это наблюдение Виппера поразило меня. И одновременно я прочел резкую и чрезвычайно, по-моему, несправедливую оценку его работы в рецензии А. А. Кизеветтера в журнале «Современные записки», где тот резко отрицал значение этой работы Р. Виппера, а позднее, когда я стал углубленно заниматься указанной эпохой, увидел, что рецензент явно был не прав. Это очень поколебало его авторитет в моих глазах. Он представлял собой замечательно разработанную, либеральную традицию истолкования русской истории, и его лекции с этой точки зрения были крайне интересны и важны, давая целостную концепцию развития России. Но мне всегда казалась несправедливой оценка им ряда явлений, в частности в московском периоде отечественной истории, и его чрезмерная суровость в оценке мероприятий правительства, которая иногда представлялась странной. Получалось так, словно бы правительство России вовсе не заботилось об интересах страны.

Любопытно, что позже мне довелось обмениваться мнением с рядом авторитетных специалистов, которые к лекционной манере А. А. Кизеветтера относились отрицательно. Одним из них был Н. П. Толль, вообще считавший Кизеветтера прежде всего кадетским оратором, а уже потом историком.

Что еще дал мне факультет? Я посещал разные курсы национальных славянских литератур и в большинстве случаев слушал их на разных языках. Но центром моего изучения оставалась русская литература, которой вообще на факультете отводилась главная роль. И тут мне нужно назвать трех людей: из чехов это был Иржи Горак, уже несколько раз упоминавшийся в моем рассказе, который читал курс сравнительной истории славянских литератур. В пери-

од моего обучения в университете это чтение сводилось к истории русской литературы, которую он читал начиная с эпохи Радищева и Новикова. Безусловно, концепция Иржи Горака не являлась марксистской, но была публицистически-радикальной. Он плохо понимал или совсем не понимал такие явления, как славянофильство, или литературу, связанную с проблемами Церкви, — об этом он упоминал только мимоходом. Даже при анализе Достоевского он не особенно интересовался его религиозными воззрениями, во всяком случае на лекциях. С моей точки зрения, это был несомненный минус, поэтому курс получался немножечко однобоким.

Зато он был очень хорошим оратором, мог прекрасно удерживать внимание слушателей, собирая большие аудитории, в том числе множество чешских студентов. Читал Горак по-чешски с большой экспрессией, при этом все время занимаясь пропагандой русского языка, что мне очень нравилось. Например, он делал такие заявления: «Русский язык — это царственный язык! Послушайте, какая полнота звука: «Бултых в воду!» В каком другом славянском языке вы найдете такое образное выражение?» В этом отношении он был интересный человек, мне нравилось, что он читал очень много русских текстов, хотя читал их довольно плохо. Воображая, что читает по-русски превосходно, он делал множество элементарных ошибок в ударении. Горак был председателем Общества по изучению Достоевского и очень много занимался русским фольклором, он вовсе не был, как некоторые злословили, мелкотравчатым академиком, а просто имел свои пропорции и свои критерии.

Я всегда с благодарностью вспоминаю его. Этот человек чрезвычайно, может быть, кардинальным образом помог мне в деле освобождения из советской тюрьмы. Он в то время был послом Чехословацкой Республики в Москве, и когда ему дали знать об этом (в частности, жена президента Бенеша по просьбе Института Кондакова написала, что я арестован), Горак предпринял чрезвычайный по тем временам акт. Конечно, он не мог вмешаться в распоряжения советских властей и специальных органов, но предпринял демарш в Министерство иностранных дел Советского Союза, в соответствующий его отдел, где заявил, что доктор Николай Андреев сохранял лояльность к Чехословацкой Республике во время немецкой оккупации. Это самое большое, что можно было сказать в мою защиту, ибо, следовательно, я не сотрудничал с немцами. Это и повлияло на решение советских властей освободить меня. Мое освобождение произвело определенный эффект в Чехословакии, среди русской эмиграции, и отчасти даже в Советском Союзе, где мое имя как ученого уже было известно...

Из русских славистов я должен прежде всего назвать академика, профессора Владимира Андреевича Францева. Он обладал нелегким характером, у него, кажется, была блуждающая почка, что вдруг вызывало его на необоснованные резкости. Он производил впечатление очень собранного и весьма активного академика, каким, по существу, и был. Францев великолепно знал чешский язык. Многие чехи (я это могу засвидетельствовать) даже удивлялись, что он говорит такой изысканной чешской прозой, на какой они уже не умеют говорить. Еще в 90-е годы он как студент-исследователь или, возможно, как доцент был прислан в Прагу и, будучи большим энтузиастом своей профессии и немного зная чешский язык, его усовершенствовал. Тем более что, как поговаривали, Францев был увлечен какой-то чешской девицей или молодой дамой, которая, впрочем, вышла замуж за другого, он же на всю жизнь так и остался холостяком, но чешский язык изучил великолепно. Францев написал несколько весьма основательных работ, широко используя материалы Чешского музея, неопубликованные источники, а кроме того, очень хорошо разобрался в чешском наследии XIX века. Он действительно был большим специалистом (не только для русских, но и для чехов) в области развития чешской литературной науки, в частности славяноведения. В Карловом университете Францев читал несколько разного типа курсов. Я лично не был восхищен им как лектором. Читал он скучновато. И читал все время на двух языках: начинал говорить по-чешски, потом переходил на русский, потом возвращался на чешский, а некоторые мысли повторял по-русски. Все, что он говорил, было очень конкретно и солидно, но он предпочитал не углубляться в материал, это было скорее чисто внешнее скольжение. По-видимому, Францев предполагал, что его студенты, особенно русские, настолько мало знают о Че-

хии и славяноведении в Чехословакии, что ограничивался более или менее элементарными фактами.

Францев с большой серьезностью относился к своим публикациям, они всегда выявляли большого знатока текстов. Он чуть ли не в деталях знал любую ситуацию, о которой писал, являясь больше исследователем, чем преподавателем. Я сам у него выдвинулся случайно на Грибоедове, потому что он в тот день был как-то более покладист. А когда я читал у него о Хомякове, как мне казалось, интересный доклад, то даже не успел дочитать его до конца: с первых же строк он стал мне возражать. Потом я сообразил, почему. Я допустил определенную ошибку: нужно было начать со ссылки на него (он что-то напечатал о Хомякове), я же решил блеснуть оригинальностью, так и не успев ничего сообщить. Это послужило мне уроком на будущее: я понял, что с Францевым нужно быть осторожным. Ко мне он относился хорошо, считал серьезным студентом, но, хотя я давал ему оттиски своих публикаций, уверен, что он никогда их не читал, ибо как-то раз, встретившись со мной, он случайно заговорил о моей работе, обнаружив полное ее незнание.

В целом В. А. Францев был почтенной фигурой, на лекциях я стал его уважать как очень знающего академика. Мурко был человеком такого же типа. Вообще на факультете имелся целый ряд людей, которые очень хорошо знали свой предмет, но увлекательно излагать его не умели.

Больше всего, положа руку на сердце, я благодарен Евгению Александровичу Ляцкому, который несколько раз сыграл положительную роль в моей судьбе в период, когда я учился в Карловом университете. До революции Е. А. Ляцкий был директором этнографического отдела Русского музея Императора Александра III в Санкт-Петербурге. Он совершал различные этнографические поездки, о которых позднее очень остроумно докладывал в Славянском институте, центральной тогда в Чехословакии организации, занимавшейся исследованием славянских проблем. Он ездил по северу России, и я предполагаю, что его этнографические занятия были на вполне высоком уровне. Кроме того, он печатался в так называемых толстых журналах. Еще в тот период, когда я залпом читал все толстые журналы в библиотеке русской школы в Таллинне, мне неоднократно попадалось его имя, но я не предполагал, что позже доведется хорошо его узнать.

Ляцкий написал большое исследование о Гончарове и принимал участие в ряде изданий, которые выходили под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского. Злые языки уверяли, что материалы о Гончарове он получил в приданое, женившись на дочери академика Пыпина, что Александр Николаевич Пыпин мол-де передал собранные им документы, которые не успел обработать, своему зятю. Так ли это, я не знаю. Возможно, какие-то материалы он и получил, но не это предопределило его работу. Он нашел также различные материалы о Чернышевском, опубликовав и их, так что, полагаю, здесь был некоторый процент злословия. После революции Е. А. Ляцкий оказался в Швеции и организовал там издательство «Северные огни», которое выпустило ряд книг русских классиков. Русская зарубежная школа в это время крайне нуждалась в подобных текстах. В ту пору он написал и монографию о Гончарове.

В конце концов президент Масарик пригласил Е. А. Ляцкого в Прагу. Злые языки опять же уверяли, что его пригласили и назначили ординарным профессором в Карловом университете по русской литературе отчасти потому, что со стороны Масарика это был жест благодарности за то, что в 90-е годы академик Пыпин, как и академик Кондаков, поддержал его кандидатуру в качестве доцента в Санкт-Петербургском университете. Так ли это, я не знаю. В мое время Е. А. Ляцкий уже был разведен со своей женой (или она умерла), и он женился на молодой ассистентке профессора Мурко, Виде Павловне, сербке из Белграда. Между ними существовала большая возрастная разница: ей едва ли не тридцать, а ему пятьдесят восемь. Завистники опять же уверяли, что он омолаживался и что доктор Воронов сделал ему какие-то прививки желез. Злословие против Ляцкого шло по двум линиям. Во-первых, его назначили в Карлов университет на очень хорошее место, в то время как другие, в том числе и очень крупные наши ученые, не получили назначения, оставаясь только научными работниками, не имея полного обеспечения. Во-вторых, когда он приехал в Прагу, ему предложили стать одним из директоров крупного государственного издательства «Пламя», которое просуществовало несколько

лет, выпустив десятки томов самого различного содержания. Поговаривали, что Ляцкий на этом тоже обогащался, а такого общественное мнение не прощало. К нему было скорее сдержанно-вежливое недружелюбное отношение, а за глаза его всегда поносили. Такое неприятно было слышать и лично мне, так как Ляцкого я видел в совершенно ином свете. На его семинаре о формалистах, где я присутствовал, когда читал Ростислав Владимирович Плетнев, меня глубоко поразило все, что я слышал от Ляцкого, и он сам казался мне очень значительным человеком. Он был первым профессором, который после моего доклада о Гоголе очень меня подержал и стал оказывать знаки большого внимания: время от времени давать работу, за которую платил. Например, делать для него корректуры, проверять рецензии, иногда он мне диктовал; все это носило спорадический характер, отнимало не так уж много времени, но оказывалось для меня очень полезным. Меня он очень поощрял, проявляя дружеское участие. Интересовался моей литературной деятельностью, всячески ее поддерживал. И даже говорил мне, когда я уже окончил университет и получил докторат: «Знаете, Николай Ефремович, я очень желаю вам найти свое подлинное призвание. А одно из ваших подлинных призваний — стать редактором большого толстого журнала. Вы разносторонне образованны, у вас хороший критический вкус, вы вполне могли бы быть редактором подобного издания».

Я воспринимал его слова как комплимент. Вообще он очень меня оценил. Он, как и Францев, назвал мое имя, когда Калитинский искал кандидата в стипендиаты, и несколько раз публично хвалил меня за выступления.

Конечно, у него имелись свои недостатки, но в целом Евгений Александрович оказывал на меня очень положительное влияние. К нему всегда можно было прийти за советом или помощью. И хотя Ляцкого всячески ругали, должен сказать, что с ним легче было иметь дело, чем, допустим, с Францевым или Гораком. Горак был очень любезный человек, но по-своему крайне упрямый, он не вникал в то, что говорил ему собеседник. Ляцкий же всегда слушал, всегда принимал во внимание чужую точку зрения.

Хорошее отношение Ляцкого и других моих учителей-славистов неожиданным образом выявилось в 1934 году, когда меня вызвал к себе Евгений Александрович. Он мне сказал: «Вы знаете, я вам сейчас сообщу нечто чрезвычайно важное: мы — Францев, Горак и я — обсуждали, кого следовало бы выдвинуть как доцента по русской и славянской литературе после того, как В. А. Францев, кажется, через два года уйдет в отставку. И можете себе представить, мы все сошлись на одном имени: это — вы». Я был страшно поражен: «Как я?» — «Да! Вы. И Горак, и Францев, и я согласились, что вы лучший и наиболее достойный кандидат, сохраните пока это в тайне, но начните разрабатывать тему. (Здесь, как и в немецких университетах, будущему университетскому профессору следовало написать специальную работу.) Какую работу вы можете взять? — И добавил: — Может быть, вам взять тему, связанную с Аввакумом? К Аввакуму теперь возник новый интерес, а вы хорошо знаете иконы. Поэтому тему можно было бы связать с иконами, а затем и литературные приемы Аввакума выявить. Подумайте и дайте мне знать. А мы в этом смысле сделаем заявление, деканат же принимает нашу точку зрения». Я поблагодарил Евгения Александровича и, конечно, поспешил уведомить об этом Толля. Николай Петрович тоже воодушевился: «Это замечательно! Вы, в таком случае, получили бы зацепку по чешской линии. Вы, конечно, оставались бы в Институте. И членом правления мы бы вас сделали, а в финансовом отношении были бы обеспечены от них, координация оказалась бы очень полезной. Для вас же это крайне важно: вы станете доцентом, а потом получите профессуру».

Никому из коллег я в то время ничего не сказал. Сообщил только Косте Гаврилову и родителям, что мою кандидатуру могут выдвинуть на место доцента. Меня вызвал также профессор Горак и беседовал на ту же тему, он пошел еще дальше, так как уже имел текст от моего имени, напечатанный по-чешски, где я выдвигал свою кандидатуру. Я подписал этот текст, ибо он сказал, что ему полезно иметь его при себе, дабы сразу провести безо всяких проволочек. На эту же тему со мной говорил и Францев, выразив надежду, что вскоре я официально буду провозглашен кандидатом и начну писать требуемую работу. Я занялся обдумыванием материала. Мне представились дово-

льно любопытные подходы к Аввакуму, я просмотрел литературу, наметил точки, которых, как казалось, мнения других исследователей еще не касались, обратил внимание на иконы и открыл довольно интересные вещи. Значительно позднее, в 1961 году, это было оформлено мною в статью о взглядах Аввакума на иконопись.

Ознакомление с литературой и обдумывание, куда и как повернуть тему, заняло у меня приблизительно месяц-полтора. У меня уже как будто начала намечаться концепция. Я с большим энтузиазмом занялся этим делом и почти набросал черновик, как вдруг меня снова вызвал Евгений Александрович. Он находился в крайне подавленном состоянии и заявил мне: «Знаете, Николай Ефремович, я опять призвал вас по важному вопросу. Предлагаю вам снять вашу кандидатуру на место доцента, которое мы вам предлагали». Я решил, что Ляцкий сошел с ума, и в полном недоумении спросил: «Евгений Александрович, извините, я не понимаю. Вы же сами полтора месяца назад приглашали меня. Теперь я как раз приготовился к разговору на эту тему. У меня даже имеются наброски, я собирался с вами серьезно побеседовать, а вы вдруг говорите, чтобы я снял свою кандидатуру. Почему, в чем причина?» Ляцкий ответил: «Вы — молодой человек, и в вашем послужном списке должно быть как можно меньше официальных отказов и неудач». — «Позвольте, при чем тут неудачи и отказы? Ничего не случилось, кажется?» — «Да, но может случиться. Вашу кандидатуру отводит министерство иностранных дел Чехословакии». — «При чем тут министерство?» — «Вот представьте себе, министерство иностранных дел, узнав о нашей подготовке, заявило, что преемником Францева нельзя назначать доцента из среды русской эмиграции. Нужно назначить советского или чешского ученого, дабы с советской стороны не было нареканий». Я изумился: «Но это же политическое вмешательство!» — «Да. Чехи, как вы знаете, сделали поворот в политике и даже Советский Союз признали де-юре. Масариковская линия отвергнута. А Бенеш считается реалистом, в связи с этим идет перестройка всего. Если вы не снимете кандидатуру, вас провалят. Это всегда можно сделать: назначат другую комиссию, а комиссия скажет, что вы недостаточно хорошо владеете чешским, что не знаете того, другого и третьего, что у вас отсталые взгляды. Бог знает что придумают...» — «А кто же будет кандидатом?» — «Кандидата нет, придется разукрупнить место. Вы могли бы занимать место Францева полностью, хотя бы и не в качестве еще действительного профессора, а только доцента, то был бы вопрос нескольких лет вашей практики. А чешского кандидата на это место нет, все чешские кандидаты не знают достаточно хорошо ни русского языка, ни русских предметов».

Я был поражен, это была катастрофа. Торможение моей академической карьеры по политическим причинам мне не удалось преодолеть впоследствии в течение всей остальной жизни. Я не сумел достичь профессорской кафедры, и это всегда объяснялось причинами, лежащими вне академического мира. В 30-е годы это было просто неприятно, позднее, в конце моей академической жизни, такое воспринималось еще болезненнее. Моя жена-англичанка, а позднее и дочь уверяли, что у меня преувеличенно обостренное отношение к этому, что мне следует быть благодарным судьбе: ведь я мог погибнуть в самых ужасных условиях в каком-нибудь советском концентрационном лагере, я же позднее оказался в великолепных условиях английского университета.

Я согласен: они правы! Но с другой стороны, считаю, что, несмотря на все данные, которыми обладал, чтобы в конце концов занимать профессорскую кафедру, я никогда этого так и не достиг, хотя на моих глазах немало посредственностей добились этих званий! Да и сам я устраивал на кафедры разных людей, например Ростислава Владимировича Плетнева в Монреале, меня же никто не устраивал, я был предоставлен самому себе. После этих трех моих пражских профессоров уже никто больше не заботился о том, чтобы я достойным образом продвинулся по академической стезе...

На фоне моих позднейших академических контактов я с особенным удовольствием и благодарностью вспоминаю моих пражских учителей, потому что все они были достойные люди и каждый по-своему представлял собой интересную и выразительную фигуру. Ляцкий во многих отношениях был остроумным преподавателем. Он не мучил нас, как некоторые другие профессора, библиографическими подробностями, которые писались на доске, или элемен-

тарными датами и именами. Он предполагал, что мы что-то знаем. Например, такую его фразу: «Император Павел I умер не совсем по своей воле» — я считал остроумной и содержательной. Он не собирался рассказывать нам, что император был удушен близкими ему гвардейскими офицерами, ибо мы это знали. Он просто прибегал к известному обобщению.

Я считаю, что Ляцкий был нам очень полезен. Мы не должны были и не шли прямо по его следам, но то, что он нам давал, формировало наши взгляды.

Позднее у меня даже произошло столкновение с ним. Я выступал в научно-исследовательском объединении. Заседание происходило в профессорском доме на Бучковой улице, и я докладывал о моих исследованиях в Псково-Печерском монастыре. Кажется, это происходило зимой 1937 года. Было много народа, оппонентом выступал Мстислав Вячеславович Шахматов, который порол необыкновенную чепуху: «Вот вы касаетесь Псково-Печерского монастыря и сосредоточиваетесь на XVI веке и поминаете XV. А что же раньше, почему вы не затрагиваете более ранний период истории монастыря?» На это я мог только холодно возразить, что монастыря до 1480-х годов не существовало. Ляцкий же выступал, заметив, что он меня этому не учил, ибо я до известной степени оправдываю Ивана IV в связи с историей Псково-Печерского монастыря, считая, что тут были всякие преувеличения историков. На что я ему возразил, заметив, что очень благодарен Евгению Александровичу за критику, но отвожу его главное замечание: было бы очень печально, если бы мы только повторяли наших учителей! Я очень признателен за то, чему он меня учил, но следует идти дальше, идти своим путем. Это произвело впечатление на аудиторию и на самого Ляцкого, который потом в разговоре со мной выразил надежду, что я не в обиде на его замечание. Видимо, он осознал, что был не прав. Обидеться я не обиделся, и, конечно, мы продолжали общаться, но позже, когда пришли немцы, это общение стало реже, ибо все научные издания закрылись. По чисто биографическим обстоятельствам мне не пришлось присутствовать ни на погребении академика Францева, ни профессора Ляцкого, и я всегда крайне сожалел, что не смог отдать им этот последний долг.

Но они сохранились в моей памяти как настоящие и дружеские руководители, которые всегда стремились максимально помочь мне. А теперь, когда у меня самого очень плохое зрение, когда я вынужден наговаривать эти ленты, не будучи в состоянии писать свои мемуары, я особенно часто вспоминаю Евгения Александровича, который столько лет страдал от подобного недуга. Я продолжаю сохранять преданную и благодарную память о нем. И когда в Праге отмечалось 100-летие со дня его рождения и профессор Хилл на славянском отделении в Кембридже позвала меня, попросив составить телеграмму по-чешски, я с громадным энтузиазмом сочинил в его честь телеграмму в сто слов. Эта телеграмма была отправлена и, надеюсь, доставила удовольствие его вдове и некоторым его друзьям, которые были еще живы...

1934 год ознаменовался целым рядом новых явлений: приход к власти Гитлера в Германии определил разные настроения во всей Восточной Европе. Георгий Александрович Острогорский попал в эту волну, у него была еврейская кровь, и он вынужден был искать другое академическое пристанище, которое нашлось в Белграде, где ему предложили кафедру по византоведению. И хотя Острогорский тогда не знал сербского языка, он принял это назначение и в течение, кажется, двух лет прекрасно овладел им.

1934 год заставил и меня уже иными глазами посмотреть на Прагу и на все, что происходило в Чехословакии. Во-первых, я достиг своей цели — был доктором, во-вторых, потерпел крупную неудачу в смысле дальнейшего академического продвижения, и это как бы располагало меня к известному скептицизму, хладнокровию и открывало какую-то перспективу. Я вдруг выпал из того горячечного процесса, которым жил с 1928 года, попав в Кондаковский институт, и теперь, шесть лет спустя, как бы подводил некоторый итог. Я посмотрел на Прагу — и что же я увидел?

Надо заметить, что вся так называемая русская акция в Чехословакии, то есть конкретная финансовая помощь русской молодежи и ученым, все это проходило под знаком неприятия Советского Союза. Президент Масарик не признавал де-юре советскую власть, а так как тысячи, даже десятки тысяч чехов, так называемых легионеров, проделали путь по взбаламученной револю-

цией России, сами принимая участие в антибольшевистской борьбе на Волге, в Сибири, все они были настроены против Советов. Это и явилось предпосылкой к тому, что подобная акция стала возможна. Легионеры прекрасно понимали: Советы не могут стать друзьями славян. Коммунистическая власть в корне отличается от национальных правительств. Поэтому если Россия и нужна в качестве опоры для других славянских государств, то лучше, чтобы она была антибольшевистской. Поэтому в Чехословакии и проводилась соответствующая политика, а коммунисты, в сущности, являлись гонимым меньшинством. Это был фон. Таким он был повсюду. Вся Восточная Европа, как и Чехословакия, была антибольшевистской. В 1933 году, когда я стал читать лекции в Таллинне, я столкнулся с большим давлением Советского Союза на культурную деятельность в Прибалтике. Мои лекции «Пути русской литературы после революции» произвели известное впечатление. Мне звонили, очень прося приехать с лекцией, из Нарвы — Михаил Иванович Соболев, из Юрьева — Владимир Сергеевич Соколов, директор городской гимназии из Печор Борис Константинович Семенов. Но ни одна поездка, ни одна лекция не состоялась: эстонская политическая полиция наложила на них запрет. Сергей Михайлович Шиллинг, мой патрон, хорошо знал начальника полиции Ивана Ивановича Кобана, который знал и меня, так как мы с отцом когда-то целую зиму кололи у них дрова. Сергей Михайлович учился с ним в одной школе, они были в очень хороших отношениях. И он спросил Кобана: «Почему вы не пускаете Андреева?» На что начальник полиции ответил: «Вопрос не во мне, вопрос в Советском Союзе. Если Андреев относится к Советскому Союзу положительно, это неприятно эстонцам. Если отрицательно, еще хуже: дипломатические инстанции заявляют, якобы эстонцы проводят „антисоветскую пропаганду"».

Вот почему, разрешив мои лекции в столице, местные власти не могли разрешить их в приграничных районах и в других городах: тем самым как бы подчеркивалось, что лекции не прокоммунистические и потому разрешены. Это прозвучало очень убедительно, но крайне поразило меня — получалось, что Прибалтика уже подпала под советское давление.

Чехословацкая Республика по инициативе французов тоже приняла просоветскую линию. Бенеш ездил в Советский Союз, и там его принимали с распростертыми объятиями. Он вывез оттуда замечательные иконы, которые ему подарили, и чехи де-юре признали советский режим.

Моя неудачная попытка стать преемником Францева продемонстрировала тот же усиливающийся страх официальных кругов перед СССР. И хотя никакого прямого давления с советской стороны еще не было, предполагалось, что могут начать давить. Это было первое изменение климата.

В Германии появление Гитлера, то есть антикоммунистического режима, все больше и больше выявляло просоветские настроения в Праге: СССР, мол, славянская держава! Доходило до абсурда: чехи, например, утверждали, что Сталин — самый великий славянин, который когда-либо существовал! А когда на одном из собраний мой приятель Гаврилов заметил по этому поводу: «Какой же он славянин, у него нет ни капли славянской крови, он грузин!», нас чуть не побили, так это не понравилось.

Конечно, я не застал первой стадии развития русской акции в Чехословакии, ибо это происходило до моего прибытия в Прагу — с 1921 по 1925 год. Потом эта акция постепенно пошла на убыль. Как раз с 1926—1927 годов возникало много ограничений для приезда новых русских в Чехословакию, и, когда я там появился, шаг за шагом уже шли сокращения масштабов этой гуманитарной помощи.

И те семь лет пражской жизни, которые я здесь описал, протекали под знаком постепенного свертывания подобной акции по всем направлениям. Единственное исключение составлял Семинарий Кондакова, который пользовался еще специальным вниманием президента Масарика.

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Прот. АЛЕКСАНДР ШМЕМАН

*

ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ

1969 — 1974

Из неопубликованного

«Давно уже я с духовным наслаждением слушал по «Свободе» в воскресные ночи, когда удавалось, проповеди «доктора философии отца Александра» (фамилия ни разу не называлась), — и поражался, как неподдельно, современно и высоко его искусство проповеди: ни ноты фальши, ни миллиметра натяжки, без пустой дани обязательной форме, ритуалу, когда слушателю становится неловко или чуть стыдно за проповедника или за себя, — всегда сильная, глубокая мысль и глубокое чувство...» — так в 1972 году в одном из частных писем А. И. Солженицын говорил о своем впечатлении от воскресных радиовыступлений о. Александра Шмемана. (Вскорости после высылки писателя из СССР состоялась его встреча с о. Александром.)

В 60 — 70-х годах еженедельно по воскресеньям звучавший на волнах «Радио Свобода» голос замечательного проповедника о. Александра был хорошо знаком и любим многими слушателями на территории тогдашнего СССР. Не будет преувеличением или патетической натяжкой сказать, что именно благодаря вдохновенному и благодатному слову о. Александра Шмемана не один человек сумел внутренне освободиться и выжить под прессом варварской и безбожной коммунистической идеологии, найти свою дорогу к Богу.

Выдающийся церковный деятель, богослов и историк, крупнейший литургист-реформатор протопресвитер Александр Шмеман родился в Эстонии, в Ревеле, в 1921 году. Учился во Франции, где в 1945 году окончил знаменитый парижский Богословский Институт. В 1946 году принял священство. А в 1951 году с женой и тремя детьми переселился в Нью-Йорк. После защиты в 1959 году докторской диссертации по литургическому богословию о. А. Шмеман в 1962 году становится деканом нью-йоркской Св. Владимирской семинарии. Учителями и наставниками о. Александра были такие знаменитые русские мыслители, философы и историки, как о. Сергий Булгаков, о. Георгий Флоровский, о. Киприан Керн, А. В. Карташев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, Г. П. Федотов.

Будучи последовательным ревнителем Православия, добрым и верным православным пастырем, о. А. Шмеман не смущался открыто и мужественно, по праву любви, обличать исторические грехи и заблуждения Православной Церкви, к числу которых он относил частую подмену живого напряженного богообщения выхолощенным и бездерзновенным обрядоверием, постепенное перерождение высокого богословия в косное догматическое комментаторство святоотеческих текстов и «преданий». Главное же отступление Церкви от своего призвания (отступление, берущее свое начало в Византии и повлекшее за собой многие трагедии в судьбах всего Православия, русского в том числе и в первую очередь) о. Александр усматривал в ее многовековой прельщенности идеей земного теократического Царства: «„Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше". Настоящая трагедия Византийской Церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях — она, прежде всего, в том, что настоящим „сокровищем", безраздельно заполнившим ее сердце и все подчинившим себе — стала сама Империя. Не на-

---

Публикация *С. А. ШМЕМАНА.*

силие победило Церковь, а соблазны „плоти и крови", земной мечтой, земной любовью заворожившие церковное сознание... Отравленная сама, Византия этим главным своим грехом отравила, увы, и тех, кто от нее принял христианское благовестие».

Между тем, по глубокому убеждению о. Александра, которое он не уставал высказывать: «Христианство никогда не отрицало ни блага государства, ни возможности просвещения его Светом Христовым. Но именно в том и состоял смысл явления в мире Церкви как общества, как видимой организации, что в ней открывалась ограниченность государства, развенчивался навсегда его абсолютизм, какая бы то ни была «сакрализация» его природы... Церковь открывает миру, что есть только две абсолютных ценности: Бог и человек, все же остальное, в том числе и государство, во-первых, ограничено по самой своей природе, по принадлежности до конца только «миру сему», а во-вторых, является благом лишь в ту меру, в какую служит Божьему замыслу о человеке... Отсюда постулатом христианского мира является не слияние Церкви с государством, а как раз напротив, их различие: ибо христианское государство только в ту меру и христианское, в какую оно не претендует быть всем для человека, определять всю его жизнь, но дает ему возможность быть членом и другого общества, другой реальности, иной по отношению к государству, хотя и не враждебной ему».

К этим утверждениям выдающегося богослова и проповедника не грех прислушаться сегодня в равной мере и Русской Православной Церкви и молодому российскому государству, совместно ищущим новые формы взаимодействия на пути рехристианизации и духовного роста нашей страны.

Не менее насущны для глубоко травмированного большевистскими экспериментами и поврежденного имперско-великодержавными соблазнами современного русского самосознания суждения о. Александра Шмемана о призвании России в христианском мире, о той ее миссии, которую она взяла на себя в прошлом столетии и которую, после всех революционных катастроф и потрясений, ей предстоит, Бог даст, продолжить и исполнить теперь: «Когда мы думаем о русской культуре, о великой русской литературе прежде всего, мы не можем не признать, что... обращение к Западу было не только неизбежным, но и необходимым. Только в этой свободной встрече с миром Россия стала сама собой, выросла во весь рост, нашла свое призвание, и призвание это — преодолеть тот страшный разрыв между „Востоком" и „Западом"... который составляет главный грех Христианского мира. В России много спорили о Востоке и Западе. Но на деле, сама собой, Россия являла ту давно выпавшую из европейского сознания истину, что само это противоположение ложное, более того, греховное — ибо есть ложь на изначальное единство христианского мира, духовная история которого восходит к чуду Пятидесятницы. Все лучшее, что создала Россия, было результатом внутреннего примирения „восточного" и „западного", то есть всего истинного и неумирающего, что вырастало в ней из византийских семян, но прорасти могло, только включившись снова в общую историю христианского человечества... От Хомякова... до русских философов и боеословов 20-го века... все очевиднее становится вселенская истина Православия — не „византизма", не „востока", — а именно всеобъемлющего, последнего христианского „синтеза"».

За последние годы, уже после смерти о. Александра, последовавшей в 1983 году, в России вышли его глубокие и новаторские богословские и церковно-исторические работы «Великий Пост», «Водою и Духом», «Исторический путь Православия». На страницах «Нового мира» (1994, № 3) был напечатан ранее не публиковавшийся доклад «Духовные судьбы России», прочитанный о. Александром в 1977 году на симпозиуме в городе Си-Клифф (штат Нью-Йорк).

Годом раньше, в 1993-м, московское издательство «Паломник» выпустило в свет репринтный сборник избранных «Воскресных бесед». Мы же теперь предлагаем нашим читателям некоторые из бесед, звучавших в свое время на волнах «Радио Свобода», но не вошедших в указанную книгу и публикуемых впервые.

Современник и сподвижник о. Александра прот. Иоанн Мейендорф однажды сказал о трудах другого крупного духовного мыслителя (также представителя «второго поколения» русского православного богословия, что и о. Александр Шмеман и сам о. Иоанн), В. Н. Лосского, что́ он, Лосский, смог открыть и показать миру: «Православие — не историческая форма восточного христианства, а непреходящая и кафолическая истина». В равной мере и с полным к тому основанием эти слова могут быть отнесены к богословской и проповеднической деятельности протопресвитера Александра Шмемана.

С. НИКОЛАЕВ.

1

О чем бы люди ни спорили, если, конечно, они спорят по существу, серьезно, они в конце концов ищут ответа на вопрос: в чем смысл жизни? для чего мы живем? Вопрос этот и составляет в последнем итоге тему культуры, то есть совокупности исканий, творчества, рефлексии человечества о самом себе.

Действительно, хотим мы этого или не хотим, но центральным фактом человеческого сознания, опыта и подсознания является знание человека о своей смертности. Я умру — по существу, это единственное безошибочное утверждение, какое я могу произнести. Все остальное, включая то, что произойдет со мною через пять минут, покрыто мраком неизвестности. Но вот этот основной факт неизбежного конца ясен и очевиден. Поэтому есть, конечно, доля правды в утверждениях, например, антирелигиозной пропаганды, что религия питается страхом смерти, невыносимостью для человека этого непонятного, но неизбежного конца. Только к этому нужно прибавить, что не одна религия, а в каком-то смысле вся культура, все творчество тоже питается этим же самым сознанием и знанием о смерти.

Можно сказать, что детство человека кончается в тот момент, когда он осознаёт свою смертность. Ребенок этого не знает и не осознаёт, и отсюда для него — возможность полного, беспримесного счастья, счастья, не знающего о своей мимолетности. Взрослый же человек — и это относится ко всем эпохам, ко всем культурам — сознательно или подсознательно, но определяется сознанием своей смертности. Для него вопрос: что значит эта жизнь, которая кончится? — приобретает решающее значение. И на последней глубине все, что он делает, является попыткой так или иначе, но преодолеть бессмысленность, ужас, неизбежность этой обреченности.

Нет, весь я не умру... —

так по-другому, но хочет сказать и каждый человек. И потому всякое изучение человека, человеческого общества, человеческой культуры, которое не принимает во внимание этой, можно сказать, трагической глубины, трагического измерения культуры, исканий, творчества, неполно, половинчато и в конечном счете ложно. Ибо, повторяю, совсем не только одна религия говорит о смерти, пытается ее объяснить и с нею примирить человека. То же самое делает, например, и любая так называемая идеология. Поскольку смысл и назначение идеологии — раскрывать человеку цель его жизни, деятельности, она тоже ищет прежде всего того, чтобы человек примирился со своей смертной судьбой и нашел оправдание своего кратковременного существования.

Нам говорят, например, что вред религии в том, что, перенося центр тяжести в иной, загробный мир, она отрывает человека от заботы об этом мире, делает его равнодушным к этой жизни. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, например, и о марксистской идеологии, которая цель человеческой жизни полагает в усилиях, направленных на идеальное общество будущего. Ведь это идеальное будущее — тоже своего рода другой, и даже загробный, мир, поскольку те, кто его строит и ради него умирает сейчас, сами-то его не знают и в нем не участвуют. Если религия во имя будущего призывает отказаться от многого в настоящем, то этого же требует и всякая идеология, направленная на какие-то идеальные ценности в будущем.

Французский неверующий писатель Марсель Пруст буквально довел себя до смерти теми нечеловеческими усилиями, которые он делал, чтобы закончить свой знаменитый роман «В поисках утраченного времени». И для него этот роман означал преодоление своей смерти, то есть бессмертие в творчестве. Поэтому спор, вечный спор идет не о загробном мире, не о том, есть он или нет его, а о том, в чем человек видит свое последнее назначение и, еще проще, как преодолевает он бессмыслицу смерти. Спор идет о реальности, о действенности того идеала, которым он живет и для которого он готов отдать свою жизнь. Ибо то, ради чего человек готов даже отдать жизнь, и есть то, что для него преодолевает бессмыслицу смерти. А это значит, что человек религиозен по существу. И если он отказывается от религии трансцендентного, то есть надмирного, Бога, то он необходимо принимает религию имманентного

бога, имя которому может быть социализм, история, культура — все что угодно. И тут и там мы имеем проекцию человеческой жизни в какой-то идеал, идеальное будущее, опытом, ежедневностью нам не данное. И тут и там, иными словами, мы имеем веру. И только она, только вера, каков бы ни был ее объект, по слову Евангелия, «двигает горами».

Давно пора понять, что материализм, например, — это тоже вера. Ибо сказать: материализм построит идеальное общество — это значит высказать априорное религиозное суждение. Объекты веры могут быть разными, но вера как движение человеческого сознания та же самая. Поэтому в мире идет спор не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто ни во что не верит, те просто оппортунисты и ловкачи, в конечном итоге выпадающие из сферы человеческой нравственности.

Особенность нашей эпохи не в том, что она менее религиозна, чем другие — это неправда, — а в том, что она в отличие от других религиозных эпох лишена единого объекта веры, одной системы религиозных ценностей, которые были бы безоговорочно приняты всеми. Наша эпоха, как ни странно это звучит, есть эпоха новых религиозных войн, ибо в ней сталкиваются разные религиозные идеалы, разные понимания смысла человеческой жизни. Прежние религиозные войны решались огнем и мечом, и мы знаем, что это решение провалилось. В наше время такое решение невозможно. Ибо если что-нибудь можно считать доказанным, так это как раз полную невозможность истребить и замолчать идеи. Превосходство идеи над силой есть, собственно говоря, потрясающее открытие Нового времени. Поэтому если сталкиваются на последней глубине разные теории о смысле и цели человеческой жизни, подлинный и свободный спор между ними все равно окажется единственным полем сражения. И победит в этом сражении тот ответ, который сумеет объять собой всю бесконечную глубину человеческого искания, человеческой жажды.

2

«Мир во зле лежит» — как не вспомнить этих слов святого Иоанна Богослова в Новом завете, когда смотришь на все то, что происходит и совершается в мире. Конечно, в каком-то смысле мир всегда лежал во зле. Всегда в нем сильные пожирали слабых, всегда было много несправедливости, страданий, жестокости... Но есть в нашем мире, в нашем времени нечто, что выделяет его из всех других эпох, что делает зло, торжествующее в нем, особенно кошмарным. Это зло есть та страшная ложь и двусмыслица, которыми в наши дни зло прикрывает и оправдывает себя, благодаря которым оно выдает себя за добро.

Когда какой-нибудь Чингисхан в древности завоевывал целые народы, сжигал города и насаждал царство своей дикой силы, он не оправдывался, он не заявлял всему миру, что он кого-то освобождает, кому-то помогает и вообще действует в согласии с высшей моралью и логикой исторического процесса. Завоевание называлось завоеванием, порабощение — порабощением и рабство — рабством. И от раба в то время не требовали, чтобы он каждую минуту заявлял, что он на деле свободен, а от гонимого — что он на деле освобожден. И потому жестокости было, возможно, даже больше, но вот этой лжи и лицемерия, буквально разъедающих наш мир, было гораздо меньше.

Между тем для человека, для каждого человека, каждой живой индивидуальной человеческой личности, а не отвлеченного «умопостигаемого» человечества эта ложь, это лицемерие в тысячу, в миллион раз страшнее, чем самое страшное лицо зла, не выдающего себя за добро.

В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» То, что происходит сейчас, наносит ужасный, непоправимый вред именно душе человеческой, то есть его внутренней целостности, может быть, даже лучше сказать — его человечности. Да, человек оказался и все время все больше и больше оказывается способным весь мир приобрести, нет предела его самоуверенности и его самодовольству. И вот — как ни страшно подумать — этот самоуверенный и самодовольный мир все больше и больше становится похожим на одну огромную тюрьму, в которой заключенным все время приказывается кричать о том, как они свободны, как

счастливы и как блаженствуют. И если долго так кричать, можно начать верить, что так оно и есть. В тот день, когда человек, видящий на стене тюрьмы надпись «Свобода», видит не тюрьму, а эту надпись, в тот день душа его повреждена. И вот именно перед этой опасностью мы стоим, и к ней привели нас десятилетия лжи. Лжи, в которой слова принципиально означают обратное своему изначальному смыслу. Лжи, в которой пропаганда, то есть именно извращение правды, становится главным, если не единственным, оружием. И если понять это, то постепенно становится понятным и то, почему главным врагом этой пропаганды остается неизменно религия. Почему небольшая книжка — Евангелие, — в которой говорится преимущественно о любви, о терпении, о прощении, жалости, оказывается для власть имущих коммунистов самой страшной, самой недопустимой из всех книг, написанных на земле.

Не будем себя обманывать: вопрос о Евангелии, вопрос о религии — совсем не для одних только верующих. Вера — это тайна души, это личный дар, принудить к которому никого нельзя. Но учение Христа, как оно записано в Евангелии, даже помимо личной веры имеет свое объективное содержание. И вот оно-то и является смертельной опасностью для всех тех, кто владычествует на земле при помощи лжи. Ибо это объективное содержание Евангелия в каком-то смысле и есть провозглашение п р а в д ы как единственной возможности, единственной основы подлинной человеческой жизни. П р а в д ы, стоящей над всеми частными интересами и соображениями, сколь важными, сколь решительными ни казались бы они людям.

Вот уже две тысячи лет Христос как бы беспрерывно говорит людям: у вас ничего не выйдет, вам ничего не удастся без правды. Перед каждым человеческим утверждением, словом, делом Он стоит как живая правда и поэтому судит их, вскрывает в них всякую ложь.

Вот строится колоссальная империя, и в жертву ей приносятся целые поколения, целые народы. Откуда мы знаем, что она строится на лжи и потому не имеет ценности в себе? От Христа. Ибо политик, экономист, философ, патриот, обыватель — каждый со своей точки зрения, каждый в своей перспективе — примет эту ложь и примирится с ней. Политик сошлется на ход мировой истории и интересы того или иного блока или класса. Философ докажет, что империя эта построена на истинной научной идеологии и потому имеет право на тактическую ложь. Патриот скажет, что родина, ее мощь, и слава, и величие для него выше всего на земле. Обыватель, наконец, признается, что для него его рубашка ближе к телу и он не будет рисковать своим маленьким житейским благополучием.

Но вот Христос. Достаточно раз вглядеться в Него, раз вникнуть в Его учение, чтобы в пух и прах разлетелись все эти лукавые доводы и оправдания и чтобы вошла в наше сознание и в нашу совесть одна чистая и высокая правда: «Какая польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит?» Какая польза и кому от империй, построенных на грубой силе, где только танки оказываются доказательством? Какая польза от идеологии, сводящей человека к удобрению странного безличного коллектива? Какая польза от патриотизма, закрывающего глаза на добро и зло?

«Вы слышали, что сказано, а Я говорю вам...» Так учит Христос — все время и везде искать прежде всего правды и тем самым находить в любых условиях жизни ту радость, которой, по Его словам, никто не сможет отнять и которая одна может дать нам подлинное, а не призрачное счастье. Поэтому ученик Христа и мог сказать: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Кто обладает правдой, кто ее ставит как мерило, ежедневное и ежечасное, всех поступков, всех мыслей, всей жизни, тот действительно обладает всем, ибо ему ничего не страшно.

В знаменитом монологе Бориса Годунова у Пушкина несчастный царь говорит про совесть:

> Но если в ней пятно
> Единое случайно заведется,
> Душа сгорит...

В нашем мире сгорает душа — на огне лжи, лицемерия и неправды. И только возврат к правде, возврат прежде всего личный, может прорвать эту

жуткую паутину лжи. Отдельные люди всюду уже начали этот возврат, и от нас, от каждого из нас, зависит мужественно и безбоязненно последовать за ними.

3

Мы живем в эпоху торжества идеологий. Идеология — ужасное слово, возникшее, в сущности, совсем недавно и уже почти непоправимо отравившее наш мир, нашу жизнь. Что такое идеология? Это учение или теория, не только выдающая себя за абсолютную и всеобъемлющую истину, но и предписывающая человеку определенное поведение, действие. В своей сущности идеология — это, конечно, эрзац, подмена религии. Но разница, и огромная, между религией и идеологией в том, что религия, вера — это всегда нечто очень личное, невозможное без глубокого личного и внутреннего опыта, тогда как идеология, всякая идеология, начинает с того, что она просто все личное отрицает и отвергает как ненужное.

Религия, вера всегда обращены к человеку. Идеология всегда обращена к массе, коллективу, в пределе к народу, классу, к человечеству. Цель, сущность религии в том, чтобы, найдя Бога, человек нашел бы себя, стал собой. Цель и сущность идеологии в том, чтобы подчинить себе без остатка человека, чтоб человек стал исполнителем и слугой идеологии. Религия говорит: какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей навредит? Идеология говорит: нужно весь мир приобрести для осуществления идеологии. Религия в другом человеке призывает видеть ближнего — идеология всегда направлена на дальних, безличных, отвлеченных людей. Повторяю: мы живем в эпоху торжества идеологий, их страшного владычества над людьми. В одном только нашем веке погибли десятки миллионов людей во имя отвлеченных, призрачных идеологий. И нет у человека сегодня более спешной и насущной задачи как отвержение и развенчание именно этого идеологического засилья, тирании над человеком идеологий. Но исполнить эту задачу можно, только если удастся над всеми идеологиями поставить, как всех их превышающую и ограничивающую, идею личности, а это значит — живого, конкретного, единственного и неповторимого человека.

Торжество идеологии привело почти к полному отмиранию этой идеи и стоящего за нею опыта. Опыт же этот, конечно, в первооснове своей религиозный. Только в религии, только из религии возможна идея личности — вот чего не понимают, не могут, не хотят понять современные люди, всё жаждущие спасения от той или иной идеологии. Мне скажут, что сама религия в эпоху своего торжества в истории очень часто попирала идею личности, что сам принцип прав личности, свобод и т. д. родился в борьбе с религией. Отчасти это правда. Но правду эту нужно понять во всей ее сложности.

Да, конечно, Христа распяли религиозные люди. Но распяли-то они Его как раз за то, что Он изобличил их религиозность как религиозность ложную, или, говоря нашим современным языком, изобличил их за превращение религии именно в идеологию. Ибо весь смысл конфликта Христа с теми, кто распял Его, сводился к одному. Он, Христос, человека поставил выше всего, сделал его, и только его, предметом любви, предметом как бы абсолютного внимания. А враги Христа от религии хотели порядка, спасения родины, самодовольства — чего угодно — и ради всего этого требовали слепого подчинения безличным законам.

Обо всем этом Христос не сказал ни слова. Как не сказал Он ни слова о государстве, обществе, истории, культуре — обо всем том, что извечно составляет предмет всех идеологий. Его внимание все время было обращено на живых людей, окружавших Его. Но Он даже не говорил об их правах. Он всего лишь только обратил на них свою любовь, участие, сострадание, интерес. И вот за это, за то, что Он живого человека поставил над всем в мире, Он и был осужден. Но в Его страданиях, смерти и Воскресении — и это пора понять — переродилась и сама религия. Из идеологии она стала живой силой, и над миром навсегда воцарилась идея личности.

Потом, в истории, и само христианство — это приходится признать — слишком часто вырождалось в идеологию, требовало себе слепого подчинения, служило побочным целям... Но все же не в этом его сущность. Сущность его — в евангельском образе Христа, в образе человека, обращенного к другому человеку, в нем видящего ближнего, в нем полагающего цель и смысл жизни. И нет в истории человечества другого обоснования личности. Нет ее в великой и глубокой греческой философии, нет ее в Риме, создавшем идею права, но раба не считавшего человеком. И конечно нет этой идеи личности ни в одной современной идеологии, занятой всегда человечеством, но ради человечества преспокойно уничтожающей миллионы людей.

Я утверждаю, что идея личности религиозна, потому что очевидно: если нет ее высшего обоснования, если человек не «сверху», а «снизу», если он всего лишь только мимолетное явление, то тогда действительно нечего о нем особенно волноваться и над миром царит тогда только закон больших чисел. Тогда уродов, и больных, и старых нужно уничтожать, тогда заботиться нужно только об естественном подборе. Тогда знаменитая «слезинка ребенка» Достоевского есть бессмысленная сентиментальность. Очень просто сказать это можно так: если нет Бога, то, в сущности, нет и человека. А есть только — безличная масса, о животном благополучии которой и заботится идеология, не считаясь с расходами. И об этом нужно думать, этому нужно ужаснуться, пока не поздно. Пока еще не заменена живая личность простым порядковым номером. Пока не стал еще человек действительно только винтиком все более сложной, все более огромной машины.

Вопрос о религии сейчас и есть прежде всего и превыше всего **вопрос именно о личности**.

4

Природная религиозность человека — вот о чем свидетельствует не только история человечества, но и внимательный анализ жизни, побуждений, исканий каждого отдельного человека.

Человек живет, по существу, по отношению к чему-то абсолютному, к чему-то, что он признает как высшую ценность, как норму и критерий своей собственной жизни и всех в ней оценок. Человек может, конечно, это абсолютно как бы заглушить, задавить в себе, но такого человека всегда было принято называть опустившимся. Следовательно, спор между верующими и неверующими идет не о том, есть ли Бог, но о том, что́ каждый из них считает Богом, чему отдает себя, ибо в том-то и все дело, что невозможно человеку, поскольку он подлинный человек, а не нравственная развалина, не отдать себя. И об этом хорошо писал Владимир Соловьев: «Ибо нет отрады не отдавшему себя».

Нельзя сказать даже, что для одних Бог — это понятие трансцендентное, то есть надмирное, а для других — имманентное, то есть в пределах этого мира заключенное, поскольку абсолют и тех и других не находится в сфере непосредственного эмпирического опыта. И с точки зрения этого опыта сказать «я буду вечно жить» или сказать «человечество построит когда-нибудь совершенное, справедливое и свободное общество» есть одинаково акт веры, акт убеждения, из ничего, кроме внутренней самоотдачи абсолюту, не вытекающий.

Но откуда и как возникает, как появляется в человеке сама эта жажда абсолюта, или, как мы называем, природная религиозность? — вот, по существу, единственно настоящий и нужный вопрос. Ибо действительно ничего, казалось бы, в самой природе, психобиологической структуре человека не объясняет ее и не является ее причиной. Биологически или медицински человек — это только высшая ступень животного, не правда ли? И какой игрой органических клеточек объяснить его духовную жажду, его нравственные требования? Логический порог так называемого научного атеизма в том прежде всего и заключается, что он, с одной стороны, все свои усилия полагает на низведе-

ние человека в разряд именно животного, к отрицанию в нем всего, кроме биологического детерминизма, а с другой стороны, все время утверждает, что эта редукция, это отрицание всякого детерминизма, кроме материалистического, и есть почему-то условие свободы для человека, условие его самоисполнения, условие построения им пресловутого общества свободы, справедливости и т. д.

Получается очевидная неувязка. Казалось бы, одно из двух: или человек в чем-то действительно и радикально отличен от всего остального в мире, до конца не сводим ни к биологии, ни к экономике, ни к материи, и тогда понятно и справедливо, что он ищет исполнения своей человечности в нравственных ценностях; либо же наоборот — как и все в мире, человек не свободен, не свободен ни биологически, ни социально, ни психически, а детерминирован — но тогда отпадают и все разговоры о его освобождении, переходе его «из царства необходимости в царство свободы». Либо весь мир, все в нем — это одно сплошное царство необходимости (а ведь к этому, ни к чему другому, сводятся все утверждения так называемого атеистического материализма), и тогда нужно откинуть всякий так называемый идеализм, всякую духовную и нравственную надстройку над ним. Либо же царство свободы — это другая, духовная реальность, и человек принадлежит к ней, или, вернее, является ее носителем, ее выражением и творцом. И тогда духовное и нравственное в нем не надстройка над материей, а определяющее начало его единственной, ни к чему в мире не сводимой сущности. В первом случае само искание абсолютной ценности есть абсурд, и не случайно, конечно, такие разные идеологи полного материализма, полного детерминизма, как Маркс и Фрейд, сходятся в одном: в выведении всех этих исканий снизу, а не сверху, развенчании их как автономных, то есть от ничего низшего не зависящих реальностей.

У Фрейда это сведение не только любви, но и религии, и творчества, и искусства — всего — к половой энергии. У Маркса — к формам экономических взаимоотношений. Фрейд, правда, имеет мужество сделать все логические выводы из своих предпосылок. Его учение глубоко пессимистическое: все искания, все абсолюты не только напрасны, но и вредны. Человек, если он хочет быть здоровым, должен понять иллюзорность всех своих надстроек и принять себя именно как животное. Маркс же этого мужества не имеет и, сведя человека к одной экономической базе, лишив его всего духовного и нравственного, вдруг ни с того ни с сего начинает риторику о «скачке из царства необходимости в царство свободы». Но скачок этот очевидно есть абсурд. Ибо как камень сам по себе, без вмешательства творческого замысла человека не может превратиться в здание или колонну, так и животный организм, если в нем не заложено духовное и нравственное начало, не может даже желать никакой духовной или нравственной свободы. Поэтому тот абсолют, то религиозное начало, которое мы находим даже и в построениях неверующих, в конце концов принимает форму контрабанды, а проникнув, по существу, в человека, разъедает и развенчивает это пресловутое неверие.

Ввиду всего этого так смешно звучат все развенчания веры и религии во имя якобы освобождения человека. Религия-де порабощает человека. Но не ясно ли, напротив, что религия как раз начинает с утверждения, что человек по природе свободен, то есть существо духовное и нравственное? Евангелие все целиком построено на предположении этой свободы. «Ищите, и обрящете»... Искание, жажда, то есть именно выражение свободы, суть априорная предпосылка всякого подлинного религиозного мировоззрения, в котором Бог является, если так можно выразиться, как гарант и основа этой свободы. Нет Бога — и человек животное, есть Бог — и, значит, есть она, эта абсолютная духовная, и нравственная, и неразрушимая, или, как говорит философия, онтологическая, свобода. Мы приходим к схеме, обратной той, что нам навязывается в качестве подлинно научного мировоззрения, ибо это мировоззрение оказывается фарсом и подтасовкой в самой своей сердцевине, а именно в утверждении, что оно есть свобода. Нет, имейте мужество сказать, что свободы тут нет и быть не может, и пока это не будет всем понятно, величайший фарс в истории человечества будет продолжаться.

5

В наших беседах мы много и часто говорили о христианском понимании человека, о христианском учении о человеке. И это, конечно, не случайно. Ибо за тем великим спором о религии, о Боге, который на глубине составляет главное содержание, главную тему нашего XX века, на деле всего очевиднее обозначается спор о человеке. «Скажи мне, что ты думаешь о Боге, и я скажу, как относишься ты к человеку» — вот предельная точная формула, с которой, в сущности, можно было бы обратиться к каждому. В мире, повторяю, сталкиваются два понимания человека, его природы, признания, цели и, наконец, содержания его жизни. Одно из них — атеистическое понимание человека, а другое — религиозное. И каждый человек должен вдуматься в сущность обоих, ибо человеку свойственно не только **поживать**, а свойственно также **задумываться** над целью своей жизни и **стараться жить** в соответствии с этой целью. Вот у нас уже десятилетиями насаждается и считается официально обязательным именно атеистическое понимание человека. Что же оно предлагает? Как определяет оно человека? Какую цель жизни провозглашает? Люди так привыкли к казенной риторике, столь оглушены ею, что им и на ум не приходит, что в основе атеистического понимания человека лежит элементарное, но тем более страшное противоречие: п р о т и в о р е ч и е как раз м е ж д у п р и р о д о й и ц е л ь ю. Элементарной истиной всякой науки является истина о соответствии природы и цели. Но атеистическое понимание человека эту истину фактически отрицает. Оно провозглашает, с одной стороны, некую высокую и абсолютную цель — всеобщее и абсолютное счастье, скачок «из царства необходимости в царство свободы». Оно и религию-то отрицает в первую очередь за то, что она якобы мешает достижению этой цели, выводит ее за пределы жизни, в какой-то иной, загробный мир. Ради достижения этой цели это атеистическое понимание человека зовет к борьбе, к жертвенности, к отдаче, если нужно, и самой жизни. Но вот — и здесь начинается противоречие — оно никогда не способно определить, в чем в конце концов будет состоять это всеобщее и абсолютное счастье, почему и как оно будет именно с ч а с т ь е м. Тут — полное молчание. Тут атеизму сказать решительно нечего. Он красноречив, только пока говорит о борьбе, о методах, о тактике, пока он как бы манит каким-то таинственным обещанием. Но почему же он оказывается неспособным это абсолютное, всеобщее, научное счастье хоть как-то описать и определить? Да очень просто. Потому что цели этой, по существу, **нет** в природе человека, как ее толкует атеизм. Атеизм приложил все свои усилия к тому, чтобы разрушить все то, что он называет идеализмом, то есть всякую духовную реальность. Нет ничего, кроме материи, и потому человек всецело определяется материей. Материя же, в свою очередь, определяется своими абсолютно безличными законами. Никакого понятия счастья из материи не выведешь, потому что это понятие как раз идеалистического и духовного порядка. Сама по себе материя ни к чему не стремится и никакой цели не имеет, кроме разве что той, что заложена в ее природе: расти, питаться, умирать. Материализм отрицает и ненавидит дух, но ставит человечеству своего рода духовную цель. И тогда приходится либо замалчивать содержание этой цели, либо же определять ее как бы отрицательно: отсутствие эксплуатации, отсутствие голода, отсутствие нужды. Хорошо. Все это — **отсутствие**. И тут скрывается, конечно, не только философская нищета этой идеологии, но нечто гораздо более страшное. Это страшное состоит в том, что в атеистическом учении о человеке **нет** как раз **самого человека**. Есть какое-то отвлеченное «человечество», какие-то массы, классы, но н е т л и ч н о с т и. **Счастливой же может быть только личность.** Нет, никогда не было и никогда не будет никакого коллективного счастья, потому что, в сущности, нет ведь самого коллектива — это отвлеченное, в конце концов, идеалистическое понятие. Растворяя человека в массе, атеизм тем самым отрицает его единственность, уникальность, неповторимость. И вот тут-то и проходит та черта, что противопоставляет атеистическое понимание религиозному пониманию человека. Ибо религия всегда начинает с личности. Только установив личность как абсолют, только наделив ее божественным смыслом и целью, приходит религия к человечеству. И там, где атеизм говорит: «Счастье каждого — только в счастье всех», — там религия

говорит: «Счастье всех — в счастье каждого». Ибо, повторяю, счастье, то есть наполненность жизни смыслом, светом, знанием, любовью, радостью — все это возможно только в личности. И конечно, последнее и вечное счастье — только в любви. Любит же человек — человека, а не человечество. Борьба, что все очевиднее развертывается на наших глазах во всем мире, — это борьба между личным и безличным пониманием жизни, истории, наконец и самого человека. И тогда понятно становится, почему такая ненависть направлена на религию, почему жаждет все безличное ее уничтожения. Именно она, религия, — последний оплот в этом мире личного. Если нет ее, этой абсолютной и единственной ценности личности, откуда взяться ее правам, почему нужно ее защищать и о ней заботиться, почему нельзя ее уничтожить во имя отвлеченного «общего блага»? Там, где воцаряется атеизм, там рано или поздно исчезает и эта забота о личности. Там начинается царство безличного, а в пределе — бесправие, насилие, террор и кровь. Многие, слишком многие этого еще не видят. И думают, что можно защищать личность, ее права, ее достоинство, ее жизнь, оставаясь материалистом. Нельзя. Ибо само знание о личности, или, вернее, ослепительное откровение о ней, приходит не «снизу», не из материи и даже не от науки. Оно пришло, оно всегда приходит и, верим, никогда не перестанет приходить снова в мир — только от Божественного Света.

6

Казалось бы, мы все говорим на одном и том же языке и, говоря на одном и том же языке, понимаем друг друга. Но так ли это?

Вот все эти дни я слушал и сам читал слова, произносящиеся в церкви во время Великого Поста. Слушал и думал: что значат они, что могут значить для современного человека? какое отношение имеют они к его языку? Вот цитирую почти наугад отдельные фразы и выражения: «Всечестное воздержание начнем светло, сияюще лучами заповеди, светлостью любви, блистанием молитвы, чистоты ощущением, благомужества крепостию...» И дальше: «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяния, кое ли положу начал, Христе, нынешнему рыданию?»

Ну хорошо, мне скажут, это по-славянски, а не по-русски и поэтому это не всем понятно. Но вот мы переведем — и все равно слова эти окажутся чуждыми нашему повседневному, обыденному языку. Все равно нет им места в нашем языковом обиходе. «Светлость любви», «блистание молитвы», «благомужества крепость» — ведь это не просто слова и понятия, это прежде всего воплощение, выражение, запись некоего опыта, а вот именно опыт-то этот и чужд современному человеку. Он слышит слова — и не понимает, слышит звуки — и не воспринимает. Он в этом не виноват, конечно. Ему с детства внушали, что никакого другого опыта, кроме того, что изложен в определенных книгах и записан на определенном языке, нет и быть не может; что все остальное — темный обман, тьма, и больше ничего.

Тьма... Но почему же тогда слова эти почти сплошь все — о свете? И не только о свете, но такие, что сами светятся, сами изливают свет? «Светлое время», «светло начнем», «очистим душу», «очистим плоть»... И еще: «Лучезарной Твоей молнией воссияй мне, Боже мой, триипостасный вседетелю, и домом сделай меня Твоей неприступной славы, светлым, и светоносным, и неизменным». Что это за «тьма», которая вся о свете, излучает свет, тоскует о свете и только светом и наполнена?

Но вот если после этих слов, после этих служб, до предела наполненных этой светлой печалью и тоской по свету, возьмешь в руки книги и газеты, в которых записан повседневный наш опыт, то моментально ощущаешь — почти физически — именно беспросветную темноту. Вдруг поражаешься: как могут люди так жить, и жить вот этими интересами, вот этими вопросами и волнениями? Как могут, как могли поверить они в такую скучную, беспросветно скучную социалистическую идеологию, всю жизнь человека сводящую к одной бездушной материи и к слепым, тоже бездушным, законам этой материи? А если так, то именно тут, в этом противоречии между языком этой идеологии, этого восприятия человека, с одной стороны, а с другой — языком

только что подслушанных, языком света и тоски по свету, — именно тут, говорю я, и возникает главный, последний вопрос: как могла в этой бездушной материи зародиться эта тоска по свету — как, где, почему возник тут этот опыт лучезарности?

«Сотвори меня домом Твоей неприступной славы, светлым, и светоносным, и неизменным». Никаким материализмом, никакой экономикой, никакой борьбой за существование не объяснишь возникновения этих слов, понятий, звуков, символов в человеческом языке и в человеческом сознании. Как не объяснишь ими стремления к святости, чистоте и совершенству, как не объяснишь ими той совершенно особенной и таинственной радости, что излучается от тех, кто этим стремлением живет.

Можно читать и перечитывать Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина — и всех их бесчисленных толкователей и комментаторов — и чувствовать всегда льющуюся из этих произведений ненависть и тьму. **Ненависть и тьму, и больше ничего.** Они все хотят сокрушить каких-то врагов и только в этой борьбе и в этом сокрушении видят смысл человеческой жизни. А последний, главный и всеобъемлющий, враг для них — это, конечно, вот этот **светоносный человек.** Человек, обращенный к верху, а не к низу, человек, вдруг на самой глубине своего сознания, в своем опыте нашедший, увидевший, познавший **свет.** Это последний враг идеологов-материалистов, потому что, если этот свет реален, ничего не остается от ненавистью и темнотой пронизанных слов этих учителей и их идеологии. Ибо тогда нельзя свести жизнь только к борьбе, только к экономике, только к диалектике эксплуатации и экспроприации, только к закону живота: пищи и насыщения. Тогда нужно искать другое объяснение человека, и этого-то больше всего и боятся схоласты и догматики материализма.

В нашем мире сегодня борьба идет совсем не между разными экономическими и политическими системами и идеологиями, совсем нет. Борьба идет между разными интуициями и восприятиями человека, между разными опытами человека. А опыт воплощает себя в языке, символах, понятиях, звуках. Слово «свет» можно ведь тоже свести, редуцировать к чему-то только физическому, материальному («электрический свет»). Религию ведь тоже можно свести к страху, суеверию и привычке. Все это можно сделать. Но когда это сделано, остается главное, и об этом главном и идет вечный спор.

Есть объяснения всего сверху и есть объяснение всего снизу, и вот тут-то не может быть ни примирения, ни компромисса. Материализм выбрал раз и навсегда объяснение снизу; с какой-то почти необъяснимой страстностью он хочет, чтобы все было низкого происхождения и все, решительно все, объяснялось самыми низкими причинами. И потому он не только отвергает, он действительно ненавидит объяснение сверху и стремится всегда и всюду уничтожить его.

Можно по-разному судить, кто и что побеждает на первый взгляд и по внешней видимости. Но достаточно войти в храм в эти светлые и светлой печалью пронизанные дни Великого Поста, достаточно вслушаться в слова-символы, которые звучат внутри храма: «...светел, и светоносен, и неизменен», — чтобы понять, знать всей душой и сознанием, что объяснение всему дается только сверху, что этот изливающийся на нас **свет** действительно **неприступен** и что не объять, не заглушить, не уничтожить его никакой тьме, идущей снизу.

7

Благоволение — вот, пожалуй, одно из самых важных, самых нужных слов, когда-либо прозвучавших на нашей земле. Его возвещали ангелы в ту далекую рождественскую ночь: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение!» Его с тех пор так часто произносили люди. Но сколько бы ни возвещали, сколько бы ни произносили, все остается оно таким же далеким и недостижимым. **Благоволение.** Благая, добрая воля. Воля — это то, что движет нами в наших поступках. Это та функция нашего сознания, благодаря которой мы приводим нашу жизнь в соответствие с нашими взглядами, нуждами, убеждениями. Про одного человека мы говорим, что у него «железная воля», про другого — что у него «слабая воля». И мы знаем, что если уж очень

хотеть чего-либо, то это желание становится возможным, достижимым. Так вот, что же такое эта «добрая воля», это благоволение, возвещенное, заповеданное людям в Евангелии? Это, конечно, прежде всего воля, направленная на добро, пронизанная добром. Обычно наша воля рождается в первую очередь из чувства самосохранения, из необходимости безостановочно бороться за жизнь, за существование. Либо же рождается она из стремления к успеху, к власти, силе, могуществу, богатству. Ежедневное добывание пищи, защита элементарнейших нужд: места, где жить, отдыха, хоть минимальной, но обеспеченности, — вот источник воли, с одной стороны. А с другой — вот эта самая похоть власти и силы. У одного вся воля направлена на то, чтобы сохранить и защитить себя, свое, у другого — на то, чтобы подчинить себе других, сокрушить их самозащиту. Вот формула мира. И эта формула превращает его на наших глазах, и уже веками, в настоящие джунгли. Воля против воли, человек против человека, сила против силы. «В борьбе обретешь ты право свое» — так с детства учат и воспитывают детей. Их учат одновременно и воспитывать в себе волю, и отдавать ее другим, тем, кто якобы руководит этой самой бесконечной борьбой. И мир наполнен поэтому страхом, страшным недоверием, безостановочной, постоянной мобилизацией воли. Чья воля окажется сильней, кто сдастся и уступит первый? И неудивительно поэтому, что многие, не выдержав этого постоянного напряжения, этого закона джунглей, начинают в самой воле видеть принцип зла и проповедуют полное отречение и отказ от нее. Такова, например, глубоко пессимистическая философия Шопенгауэра, немецкого философа прошлого века, философия, изложенная им в его книге «Мир как воля и представление». Под влиянием учения далекой Индии Шопенгауэр пришел к убеждению, что счастье невозможно без полного отказа от всякой воли, от всех желаний, что счастье, в сущности, совпадает с небытием. С растворением в безличной и, следовательно, безвольной природе и неким метафизическим самоубийством. Индусы называют это состояние нирваной. Нирвана — это полное отсутствие желаний, это отсечение всякой воли.

Вот так и противостоят одно другому два этих мироощущения и мировосприятия. То, которое весь мир ощущает как одну сплошную борьбу воль, борьбу не на жизнь, а на смерть. И то, которое во имя спокойствия отказывается не только от воли, но и от того, что волю определяет, — от личности.

Один человек — человек воли — говорит: «В борьбе обретешь ты право свое». Но ему отвечает человек, от воли готовый отречься: «Сердце тайно просит гибели, тихо просится на дно». И вот единственность христианства в том, что **оно в равной мере и с одинаковой решимостью отказывается от обоих этих мироощущений**. Оба их признает не только неправильными, но и глубоко искажающими природу человека. Оно провозглашает прежде всего, что человек есть личность, а личность — это то, что хочет, волеет, личность — это жажда и стремление. Личность — это в первую очередь и превыше всего воля. Но христианство провозглашает также, что воля, как и все в мире, пала, исказилась, извратилась, стала злой волей. Железная она или слабая — она все равно злая, ибо направлена почти всегда на себя и себе хочет либо спокойствия и равнодушия, либо власти и могущества.

Но приходит Христос и говорит больному, исстрадавшемуся и раздавленному человеку: «Хочу, очистись!» И в мир входит благая, добрая воля — **благоволение**. Добрая воля — это, следовательно, та воля, что направлена на другого, и направлена силой, светом и радостью любви. «И проходил Он через всю Галилею, возвещая Евангелие Царствия и исцеляя всякий недуг и всякую язву в людях».

Злая воля — это воля, оторвавшаяся от любви, направленная на то, что любви не заслуживает. Ибо в конечном счете христианство открывает, что любви, полной, беспримесной личной и настоящей любви, заслуживает только человек, только другая личность. Можно много, и долго, и очень красиво говорить о счастье человечества — и не любить человека. Этой псевдолюбовью к человечеству, к дальнему, наполнен мир. Но настоящая любовь всегда личная, от сердца к сердцу, от человека к человеку. И только этой любовью очищается и преображается воля. И только в этой любви от-

крывается наконец и то счастье, к которому всегда своей волей направлен, к которому стремится человек. Вот **эту любовь и возвещает благоволение.** Про себялюбие и эгоизм христианство говорит, что от них нужно отречься. Кто не отречется, тот не может быть учеником Христа. Но это отречение не нирвана, не безличное равнодушие, не бесстрастность индусского аскета, добившегося полного умерщвления воли. Это отречение и есть преображение воли любовью. И в этой любви к ближним, в заботе о них, в этой самоотдаче вдруг находишь себя и свое счастье. Об этом была великая радость, которую возвещали ангелы в ночь Рождества, когда пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»

8

Думая о Рождестве, готовясь к Рождеству, созерцая приближение его, не можешь, конечно, не остановить своего внутреннего взора на Матери Младенца, на Той, о которой говорит Евангелие: «Мария же слагала все эти слова в сердце своем».

Как мало сказано о Ней в Евангелии, но как наполнила Она собой эти два христианских тысячелетия человеческой истории! Каким неистребимым светом светит Ее образ! Какой удивительной любовью Она окружена. «Радуйся, ею же радость воссияет!», «Радуйся, заря таинственного дня!» Откуда пришли, возникли эти слова, этот порыв хвалы и ублажения? Но вспомнить о Марии — это значит не просто еще один раз указать на интересную подробность евангельской истории. Это значит вдуматься, вглядеться в целый огромный пласт христианского понимания человека.

«Скажи мне, в какого бога ты веруешь, и я скажу тебе, что ты думаешь о человеке, как воспринимаешь его» — с такими словами можно было бы обратиться к любому человеку. Мы думаем, что мы научно спорим о Боге, о том, есть Он или же нет Его, — нет. Мы спорим на деле о человеке, о его природе, призвании и последней судьбе. Ибо спор о Боге в конечном итоге невозможен. Ни верующий не докажет ничего неверующему, ни наоборот — никому не навяжет своего неверия неверующий. Но когда люди решают бороться с Богом и религией, когда мы видим их одержимыми какой-то странной ненавистью к самой **идее** Бога, то мы знаем, что дело для них не в Боге — ибо как ненавидеть Того, в кого не веруешь? — а дело для них в **человеке.** Ненавидят они по-настоящему не Бога, а верующего человека, и ненавидят за то, что он **по-другому**, совсем по-другому понимает, ощущает и переживает свою человечность. Если бы неверующий сказал: Бога нет, и как бесконечно жаль, что Его нет, ибо из веры в Него родилось и выросло самое высокое, прекрасное и драгоценное учение о человеке, ибо с Ним, с верой в Него связано все лучшее, все самое чистое и драгоценное, что было и есть на этой земле... Ибо тут красота, добро, любовь... Но нет, он именно это все и ненавидит. Почему? Да потому, конечно, что сам он по-другому видит человека. Как? Посмотрите кругом, вглядитесь в тот мир, в ту цивилизацию, что воздвигается вокруг нас этим человеком, отказавшимся, как он говорит, от всех суеверий, обманов и опиума религии. Это прежде всего **цивилизация без красоты.** Когда речь заходит о красоте, то ведут в музей и показывают иконы Рублева и вот снова — Марию, ее потрясающе скорбный, небесно-прекрасный лик на иконе Владимирской Божьей Матери; показывают суздальские храмы, предлагают слушать Баха... Ибо своей красоты в этой цивилизации нет. И нет красоты, потому что откуда же красота в этом учении о человеке как о продукте материи и экономических связей? Можно тысячу раз перечитать всего Маркса и всего Энгельса и ни разу не увидеть у них самого этого слова — **«красота».**

Нет, к этому человеку не обратиться со словами: «Радуйся, заря таинственного дня!» Тогда, конечно, нужно уничтожить того человека, про которого в молитве сказано, что он — образ неизреченной славы, что на нем отсвет божественной красоты.

Далее, это цивилизация внешнего технического успеха, но цивилизация без глубины. Человек *производит* — и призван только к тому, чтобы про-

изводить. Но какой же успех у Марии, например? Вифлеемская пещера в начале, молчаливое стояние у Креста в конце — вот все, что мы о Ней знаем. И нам этого достаточно, и мы знаем, что полнее, успешнее, прекраснее не было жизни на земле. Но если так, то какой жалкой кажется вся эта суета с производством, ее безостановочное воспевание, сведение к ней всей человеческой жизни! Опять нужно выбирать, и тот, кто не хочет, не знает этой внутренней жизни, ее смысла, ее глубины, поневоле должен возненавидеть самый образ Ее.

Цивилизация борьбы, силы, страха, гордости — где же все это в образе Марии? Только смирение, только любовь, только жалость, только всецелая готовность отдать себя... «И тебе оружие пройдет душу, чтобы открылись помышления многих сердец». Опять несовместимость и опять выбор. Но в результате этого выбора наполняется мир видением этой красоты, этого смирения, этого добра, этой человечности... А в результате другого выбора наполняется мир страхом, ненавистью, рабством и непроходимой скукой и серостью. «Мы наш, мы новый мир построим...» Построили. Из него бегут. Все к той же иконе, все к той же красоте. Все к тому же вечному образу — Мать и на руках у нее Младенец. Вечный образ подлинной человечности, что-то главное, основное, неистребимое в человеке. И некуда от этого образа уйти. И праздник Рождества и есть, по существу, праздник этого образа, праздник вот этой интуиции, этого восприятия человека. Когда-то в древности язычники отмечали этот зимний декабрьский поворот солнца на весну праздником рождества солнца. Потом пришло христианство и показало человечеству образ Матери с Младенцем, рассказало ему о смиренном Рождестве, о приходе в мир и к людям вот этой неземной красоты, добра, божественности. И стал этот древний праздник праздником солнца правды, того уже не только физического, но и духовного **Света**, от которого в конечном итоге зависит судьба человечества.

И сейчас снова на распутье человечество и не знает, куда идти. Ему сказали, что оно свободно и может идти куда угодно, ему сказали, что машины и наука могут все, что не нужно образа, не нужно неба, не нужно красоты, достаточно незыблемых законов производства. И вот оно не знает, куда идти, зачем жить. Оно в потемках, в страхе, в растерянности. Неужели же не поймет оно, что путь, и истина, и жизнь — не в благах цивилизации, а в чем-то **другом**, без чего человек рано или поздно задыхается? Об этом другом, но насущном, необходимом, вечном напоминает нам Рождество, к этому зовет образ Матери с Младенцем, его небесная красота и глубина. И если б могли бы и мы, как тогда Мария, «собрать все это в сердце своем», и этим жить, и от этого получать свет, радость и силу...

9

«Издалече пришли мы...» — говорят древние мудрецы, пришедшие поклониться никому не известному Младенцу. Никогда не перестанем мы удивляться этому таинственному событию Евангелия, никогда не перестанем задумываться над его таинственным, символическим смыслом.

Всегда были, всегда жили среди людей те немногие, которые не удовольствовались обыденностью, той жизнью — тише воды, ниже травы, — о которой в одном из самых горестных своих стихотворений говорит Блок. Люди, которых другие называют, в зависимости от обстоятельств, чудаками и пророками.

Но вот проходят годы и столетия, и то, что казалось бредом сумасшедшего, бессмысленной мечтой, становится самоочевидностью, входит в жизнь. Не заключается ли смысл евангельского рассказа об этих мудрецах, звездочетах, читавших звезды, знавших их язык и пришедших в Вифлеем, в этом таинственном несовпадении и противоречии между обывательским здравым смыслом и мечтой немногих избранников? Действительно, кто мог поверить в ту звездную ночь, что Ребенок, родившийся за недостатком дома в пещере, в семье нищего плотника, завоюет мир так, как не завоевывал его никакой мо-

гущественный властелин? Ведь вот пали с тех пор и исчезли с карты сотни империй, канули в вечность наполеоны, бисмарки, ленины, гитлеры, сталины, неизвестно за что умирали на полях сражений миллионы людей, а этот Ребенок продолжает царствовать...

Кто он? Бродячий учитель? Распятый на кресте преступник? Как могла эта странная, ни на что в мире не похожая жизнь, этот единственный, ни на что в мире не похожий образ занять такое место в истории? Историки и философы пишут тысячи книг о чем угодно, а на этот вопрос все равно никогда по-настоящему не ответят. А отвечают на него вот эти безумные мечтатели, одинокие мыслители, бродячие чудаки, которые ищут и жаждут только одного: не богатства, не славы, не власти, но только Истины, **последней и всеобъемлющей Истины.** Мир, общество, люди ничего не могут им дать и ничего не могут у них отнять, и потому они **свободны.**

Христос, например, не думал о том, запишут люди его слова или нет. Не заботился о том, чтобы устроить себе успех или будущее. Он говорил там, на берегу озера, среди безграмотных рыбаков, и таких же рыбаков выбрал, чтобы они ходили с Ним. Он говорил такие простые вещи...

Знал, что Его хотят убить, и пошел прямо на смерть, был распят с двумя разбойниками, вот и все. И это живет, как никакой другой образ, как никакая другая жизнь. Менялись формы человеческой жизни, сменялись культуры, все менялось. А сегодня, как и тысячу лет назад, смысл мира, и истории, и жизни в этой Жизни, только в этом Образе. Все это предвидели и понимали те три мудреца, издалече пришедших, склонивших свои головы, всю свою мудрость перед яслями вифлеемской пещеры. Нам скажут: выдумка! все это написали годами позже. Допустим. Что это меняет в существе вещей? Пусть не эти трое, но ведь тысячи, миллионы других людей проделали этот же самый путь ко Христу и в Нем нашли исполнение своих ожиданий, ответы на свои вопросы, всепокрывающую радость...

И прежде всего сама наша культура проделала этот путь. Не странно ли? Ни одного слова о культуре нет в Евангелии, об искусстве, литературе, науке... Но от этой пещеры, от этого холма с крестами, от этого таинственного утра, когда женщины услышали таинственное: «Радуйтесь!» — от всего этого начинается такое вдохновение, такая глубина, которой навсегда отмечено человеческое творчество. Один только пример: когда самое «передовое» и самое безбожное государство в мире, как оно само себя называло — СССР, — показывало миру достижения своего искусства, оно представляло миру не изображения Ленина с рабочими, а иконы Рублева и храмы. Аппарат пропаганды доказывал, что Ленин был величайшим в мире человеком. Но почему же он не вдохновил ни одного настоящего произведения искусства, которое не вызывало бы презрительного смеха у людей, действительно знающих искусство? Христианство не только вдохновило, но и внутренне преобразило искусство, наполнило его такой глубиной, такой жалостью, таким светом, перед которым померкло все. А человек, хотящий узнать о себе нечто глубокое, всматривается в эти лица; отсвет одного Образа пал на них. Он узнаёт в себе больше, когда всматривается в обнаженное пригвожденное тело, больше, чем во всех научных изысканиях. Вот, если так можно выразиться, объективное чудо христианства. Но мы всегда идем «издалече», когда идем к высокому и истинному, которое не различишь в суете жизни, в грохоте борьбы за существование. Оно требует от каждого из нас, чтобы мы хотя бы на короткое время стали мечтателями, чудаками, испытателями. «Ищите, и вы найдете, стучите, и вам отворят, ибо всякий ищущий находит...»

Почему нам внушают — властно и грубо, — что кто-то все нашел за нас, все определил и нам нужно только подчиниться, благодарить мудрое руководство за то, что обдумало все за нас, глупых? А вот Христос говорит: «Ищите!» Он всю нашу жизнь предлагает превратить в искание, ожидание, жажду. Он ждет от нас не слепого подчинения, а свободной встречи и свободного принятия. Он ждет от нас не пугливого обожания, а радостной любви. Не пустого и сухого морализма, а жалости и милости. Призывает не в общеобязательный и безликий рай на земле, а в **царство добра, света и истины...**

10

Христос воскресе! Еще раз суждено нам было дожить до этого праздника праздников и торжества торжеств. Еще раз предлагается нам принять в себя радость, равной которой нет на земле, свет, с которым ничто не может сравняться, почувствовать, увидеть, осознать то, чего, по слову апостола, «не видел глаз, не слышало ухо, что не приходило на сердце человеку, но что Бог приготовил любящим Его».

Христос воскресе! Как давно пытается мир сей развенчать эту потрясающую весть, лишить смысла это приветствие, это радостное восклицание. Нам не только пытаются доказать то, что не воскрес Христос, но и то, что Его самого никогда не было, что все это выдумка, обман, подделка. А между тем апостол говорит: «Если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». Лишите христианство этой пасхальной радости, отнимите у него Пасху — и что останется? Действительно, так мало... Останется смутное воспоминание о странном учителе, Его слова о любви и смирении, останется печальная история еще одной трагической неудачи. Останется циническая мысль: что может эта проповедь любви и братства в мире, в котором все равно всегда торжествуют пилаты и иуды, фарисеи и начальники, в котором все равно все и всегда построено только на силе, только на страхе, только на принуждении? И, собственно говоря, именно это и хотят доказать с незапамятных времен все враги Христа и христианства.

Уж тогда у креста, на котором мучился Он, стояли они, эти враги, и с усмешкой говорили: «Ты говорил, что Ты Сын Божий, так вот сойди со креста, и мы поверим Тебе. Уповал на Бога — так пусть Он поможет Тебе!» И Христос не сошел со креста, и Бог, по-видимому, не ответил на Его вопль: «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» И если этим воплем, этим страданием, этой смертью кончается христианство, то оно действительно конец всех надежд и всех иллюзий. Зло торжествует, окончательно и безоговорочно.

Перед ним сдается все: и слабые попытки Пилата соблюсти справедливость и любовь учеников, которые, бросив Его, бежали, и жалость, и мужество. И остается тогда только принять печальную логику, давно уже нашедшую свое выражение в так называемой народной мудрости: с волками жить — по-волчьи выть, сила солому ломит, своя рубашка ближе к телу... Воцаряется в мире тогда такая беспросветная мгла, что уже ничего не хочется как только **как-то** прожить эту короткую жизнь, пытаясь как можно чаще забываться, уходить от нее. Остается поверить отчаянию блоковского стиха:

Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы!
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!

Но вот приходит пасхальная ночь. Ночь, когда нет обманчивого света, когда все погружено в темноту, все, казалось бы, соответствует тому мраку, что царит на земле. И, как это повторяется каждый год на протяжении тысячелетий, собираемся мы в храм. И в нем тоже темно. И посередине — все тот же гроб с мертвым страдальцем. И тихо раздаются все те же печальные погребальные песни. Нам никто ничего не говорит и не объясняет: нет пропаганды, нет громких слов, нет утешений. Но мы не ждем человеческих слов и доказательств, они все равно никогда и ничего не доказали. И вот мы выходим из храма со свечами в руках. Какой слабый, какой прерывистый этот свет! И как мало его в этом во тьму погруженном мире!

Мы обошли храм и мы подошли к закрытым дверям. Вот так же когда-то очень давно женщины пришли ко гробу и спрашивали себя: «Кто отвалит камень от двери гроба?», ибо камень этот был весьма большим.

И над нами сегодня все тот же камень — камень неверия, камень мира, ни во что не верящего, живущего только изо дня в день, мира, в котором торжествуют только сила и страх.

Привален камень, закрыта дверь, и пытается ветер погасить слабое пламя свечей... Что можем мы против этой всемирной черноты, всемирной пустоты, мы, маленькая кучка людей, никем не признанных, над верой которых смеется и издевается мир?

Кто пережил эту минуту молчания, сомнения и маловерия тут, у этой закрытой двери, перед этим вечным камнем, тот знает, о чем я говорю. И вот старческий голос произносит только два слова, все те же два слова: **«Христос воскресе!»**

Два слова! Ни объяснений, ни доказательств. Этот голос только сообщает и возвещает: **«Христос воскресе!» И чудо совершается,** то же чудо, всегда то же. Несется в ответ радостный возглас: **«Воистину воскресе!»** И принимает душа, принимает сердце, принимает эти два слова что-то самое глубокое и подлинное в нас. Отступают и эта ночь и это молчание, и открывается дверь, и вступаем мы в ликование Пасхи, и узнаем знанием **несомненным** и **неопровержимым,** что еще раз на наших глазах **совершилась победа.** Победа над злом, победа над тьмой, победа над ненавистью, победа над страхом, победа над смертью. «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и жизнь жительствует...»

Обман, самообман, выдумка, легенда, психоз? Но неужели обман и психоз могут продолжаться две тысячи лет? Неужели так ничтожен и слаб человек, что те же два слова могут снова и снова торжествовать в нем над всей этой лавиной объяснений и обличений, что направлена на него и льется на него столетия?

Два слова, против которых нужно мобилизовать все возможности, чтобы разрушить их... Нет, нам нечего противопоставить всей этой злобе кроме вот этой пасхальной радости. Мы ничего не можем ни доказать, ни объяснить — **не можем и не хотим.** Но если есть на земле доказательство, то вот оно — пасхальная ночь, пасхальная радость, пасхальный свет.

«Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав!»

«Не бойся, малое стадо! Христос воскресе!»

«Не бойся, малое стадо!» Ибо поем мы в церкви сегодня: «Воскресения день, просветимся, люди, и друг друга обымем и рцем: „Братья!"».

Не бойся, малое стадо! Ибо возвещается сегодня победа всем слабым, всем маловерным, всем тем, кто постился и не постился, кто ждал и не ждал, кто желал этой победы и кто не чаял ее. Всем открыта дверь, на всех льется этот свет и эта радость: **Христос воскресе!**

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«СМЕРТЬ ПЕРВАЯ И ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОЕ»

Письма С. Н. Булгакова 1917 — 1923 гг.

Русская гуманитарная наука в долгу перед Сергеем Николаевичем Булгаковым. Но не в том, что касается исследования и публикации его главных философских трудов, — здесь, по крайней мере в последнее время, наблюдается плодотворное и качественное движение. Необходима и полноценная научная биография мыслителя, но нужда в ней, во всяком случае, не острее, чем нужда в биографиях Бердяева и Франка, Розанова и Мережковского, способных объединить историю их мысли с подробной и выверенной историей их жизни. Творческие биографии — вечная и постоянно усложняющаяся задача науки, с полной беспристрастностью отражающая уровень ее развития, результаты труда не одного поколения исследователей, приложение не одного исследовательского метода.

Наука в долгу перед Булгаковым потому, что до сих пор не донесла до читающей публики все редкое богатство его натуры, его яркое художественное дарование, позволявшее ему легко соединять философские умозрения со страницами «интимного дневника», строгое богословствование с эмоциональной исповедальностью. Вынося на людской суд свою личную духовную эволюцию, делая свою судьбу объектом публичного анализа, наконец, непосредственно аргументируя свою интеллектуальную позицию опытом собственной жизни, Булгаков, конечно, поступал так же, как и его многолетние друзья и сотрудники: П. Б. Струве, Н. А. Бердяев и другие. Но все они вместе этим нисколько не отличались от своей культурной эпохи, превратившей жизнь творческого человека в самостоятельное произведение искусства.

Однако если, например, символистское «пересоздание жизни» зачастую сопровождалось и намеренным биографическим мифотворчеством, и столь же сознательными мемуарными фальсификациями, то булгаковская исповедальность всегда оставалась подлинной и совершенно адекватной пережитому. Булгаков почти никогда не «пересоздавал» прошлой жизни. И тому прекрасным свидетельством служат его многочисленные частные письма, несмотря на свой богатый язык и содержательность остающиеся неизвестными широкому читателю. Более того, исследователь, читающий в архивах булгаковский эпистолярий, не может не заметить удивительной, иногда почти текстуальной близости написанных по горячим следам события писем с позднейшими его оценками и описаниями в философских трудах или воспоминаниях. Такова, например, история его думского депутатства, отпечатавшаяся в «Свете Невечернем» в тех же выражениях, что и в посланиях к многолетнему конфиденту А. С. Волжскому (Глинке). Такова же история принятия священства, рассказанная в мемуарных отрывках, собранных Л. А. Зандером в посмертные «Автобиографические заметки», и публикуемых ниже письмах к Волжскому и В. В. Розанову.

«Это была смерть первая и воскресение первое», — напишет Булгаков много времени спустя после рукоположения, совершившегося 11 июня (ст. ст.) 1918 года[1]. «Страстная седмица перед рукоположением состояла для меня в умирании для этой жизни, которое началось для меня с принятием моего решения»[2]. Так запечатлевшееся в памяти Булгакова принятие священнического сана совпало со временем его участия с августа 1917 по апрель 1918 года в Поместном Соборе Православной Всероссийской Церкви, когда национальная катастрофа соединилась с попытками устроения независимой от государства церковной жизни, начало гражданской войны — с внутренним освобождением Булгакова от гражданской, мирской жизни. «То было вступление в иной мир, в небесное царство. Это явилось для меня началом нового состояния

Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания *М. А. КОЛЕРОВА.*

[1] Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки. Изд. 2-е. Париж. 1991, стр. 24, прим.

[2] Там же, стр. 40.

моего бытия...» На рукоположении в Даниловом монастыре в последний раз собирались вместе и разные круги булгаковского общения, и различные общественно-политические и философские ориентации: М. А. Новоселов, Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский, А. С. Волжский, М. О. Гершензон, Л. И. Шестов[3]. Можно сказать, в Даниловом монастыре в последний раз собиралась дореволюционная культурная среда, в самом скором времени павшая жертвой исторических и политических разделений. Думается, что, говоря в письме к Розанову «мы побеждены... и по заслугам», Булгаков не в последнюю очередь имел в виду и культурное поражение своего круга, и историческое отступление «христианской общественности». «Да, Христианство не удается в истории, — писал он Розанову, — да и самая история не удается, как не удается более всего русская история, что не мешает быть русскому народу единственным по предназначению». Наблюдения «убивающих впечатлений русской жизни», «агония», «облежащая тьма» истории и действовавшего в ней «светского богослова» Булгакова, их обоюдная исчерпанность, «исторический Страшный Суд» — все это, подробно описываемое в эпистолярии, искупалось для Булгакова только одним, «чудесным», внеисторическим, — его личным пребыванием в «церковном деле». Логично, что и совершенно внеисторичными оставались его утверждения особой религиозной миссии русского народа.

Отправляясь в Крым и затем тщетно пытаясь прорваться через Киев в соборную Москву, Булгаков сохранял в центре своего внимания именно церковные дела. Показательно, что проведший с ним в Киеве целый месяц в активном общении (сентябрь — октябрь 1918 года) его давний сотрудник В. В. Зеньковский смог вспомнить обсуждение только «церковных тем»[4]. Потребовался весь горький опыт крымской жизни 1918 — 1922 годов, чтобы Булгаков начал осознавать недостаточность своей эсхатологии для церковного дела. В публикуемом здесь письме к Волжскому он вспоминал: «Когда мы расставались с Вами в Москве, казалось, что я уже вступил в последнюю и окончательную стадию жизни и что будет ровный и гладкий путь до конца... Но путь и здесь не оказывается гладким и исполнен новых задач...» Его личный опыт «...в страдные дни своего Крымского сидения под большевиками во время самого первого и разрушительного гонения на Церковь в России» учил, что «уход» и гражданская «смерть», сознание своей нравственной силы оказывались недостаточными для противостояния злу: «Пред лицом страшного разрыва церковной организации под ударами этого гонения, так же как и внутреннего распада, выразившегося в возникновении живой церкви, я испытал чувство страшной ее беззащитности и дезорганизованности, неготовности к борьбе»[5]. Первым выводом из этого сознания стали поиски чаемой дисциплины и цельности в католицизме, «...беспощадная самопроверка того, чем мы были в Православии, чем были и чем стали (на мотив «Что ты спишь, мужичок»). Живя в России, я с особенной мучительностью испытывал именно эту сторону, м. б., потому, что сам в свое время несвободен был от самодовольства исторического». Так Булгаков разъяснял одному из евразийцев духовные предпосылки своих межконфессиональных исканий. И заключал: «Для меня вопрос о религиозной воле и ее воспитании есть самый больной относительно русского Православия, — больше всего именно он мучил меня во время сидения под большевиками. И действительно более всего мы провалились на экзамене именно в отношении воли... Есть враг непримиримый и опасный: это расслабленность и мягкотелость, это предательство и малодушие, страшную картину которых являет теперешняя Россия — не в исключениях, но в массе. Народ наш с беспримерной легкостью и хамством предавал свою веру на наших глазах, и эту стихию предательства мы в себе ведаем, и на крестовый поход с этим драконом мы имеем поистине благословение от Православия»[6]. Так исторический мессианизм «богоносца» вытеснялся несомненно более реалистической (хотя столь же неисторической по своим пределам) миссией «исторической» (как говорилось в начале века) церкви. 18/31 декабря 1922 года на пароходе, увозившем его в изгнание из России, Булгаков записывал в «Дневнике», исподволь переосмысляя свое священство: «Для меня пророчествование — стихия, но одно пророчествование — дилетантизм жизни, несостоятельность. Надо найти себя в истории, реализовать себя в священстве»[7]. Наверное,

---

[3] Там же, стр. 42.

[4] Зеньковский В. В. Пять месяцев у власти. ГА РФ, ф. 5881, оп. 2, д. 354, л. 57 об.

[5] Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки, стр. 48.

[6] Цит. по: Колеров М. А., «„Братство св. Софии": „веховцы" и евразийцы (1921 — 1925)» («Вопросы философии», 1994, № 10).

[7] Булгаков С., «Из „Дневника"» («Вестник РХД», № 129 (1979), стр. 263).

только так агония, предшествовавшая его рукоположению, могла смениться «первым воскресением». Причем сами последствия религиозной проповеди, адресованной бывшему «богоносцу», осознавались Булгаковым как самостоятельная и во многом непредсказуемая по решениям проблема. «Нельзя безнаказанно приближаться к России и русскому народу», — говорилось четыре месяца спустя в его «Дневнике»[8]. Если в формуле «мы побеждены» гражданская война заставила резко расширить само «мы», то в «неудаче русской истории» ее события заставляли обнаруживать неудачу тех, кто не смог в ней «найти себя»: утопии рассеивались, историческая ответственность индивидуализировалась, вплотную приближаясь к любому, пусть даже оторванному от своей страны, проповеднику, вместо народа обнаруживающему перед собой сужающийся круг эмигрантов.

Письма печатаются по рукописным оригиналам, хранящимся в РГАЛИ: к В. В. Розанову — ф. 419, оп. 1, ед. хр. 377; к А. С. Волжскому — ф. 142, оп. 1, ед. хр. 198, лл. 281 — 294 об.; в последних сделаны купюры, относящиеся к личным делам Волжского, подробно обсуждаемым Булгаковым.

1

В. В. Розанову

22.XII.1917.

Дорогой Василий Васильевич!

Благодарю Вас за «Апокалипсис»[1] и за письмецо. «Апок<алипсис>» я прочел раньше. Здесь «Розановские» — последние страницы 2-го, где с прежней свежестью красок и яркостью свидетельствуется Ваш собственный... мистический социализм[2]. Да, это несомненно так, Вы — мистический социалист и переводите на религиозный язык то, что они вопят по-волчьи. Это — новый вариант первого искушения, искушения социализмом[3], и Вы снова приступаете к Тому, Кого Вы столь роковым образом *не* любите, с вопросом того, кто Его тогда искушал. Неужели же Вы сами этого не видите? или же видите, но таитесь? *Это именно* означает и Ваш новый поворот к еврейству «*и*» германству, — это не к Кабале, даже не к Талмуду и не к Ветхому Завету, но к Лассалю и Марксу, от коих отрекаетесь[4]. Это — воистину так, с той, конечно, разницей, что они оба — кроты и щенки по сравнению с Вами, — de rebus mysticis[5]. Это Вам с моей стороны в виде реванша за «позитивиста и профессора». Но Вы, конечно, правы, что между тоном и музыкой Апокалипсиса и всего Нового Завета, в частности Евангелиями, разница огромная, и, однако, и то, и другое об одном и об Одном, а Вам с Лассалем и Марксом, «немцами и евреями»[6], не за что прицепиться к «Апокалипсису». Да, Христианство не удается в истории, да и самая история не удается, как не удается более всего и русская история, что не мешает быть русскому народу единственным по предназначению. Слишком Христианство трудно, аристократично, художественно по своим заданиям, довольно одной неверной черты, и все рушится. Но оно прожжет историю в какой-нибудь точке (да и постоянно ее жжет), и начнется — «Апокалипсис».

Насчет о.«Павла»[7] всему, Вами сказанному, говорю: аминь, и без конца мог бы прибавить, но думаю, что здесь более приличествует молчание — для меня. Радуюсь, что повидал Вас после нескольких лет, надеюсь, вскоре и еще увидимся. Живется трудно и тяжело. *Мы побеждены,* как бы ни сложилась наша судьба, которая не от нас зависит, и по заслугам. Исторически чувствуем себя на Страшном Суде раньше смерти, истлеваем заживо. И все-таки —

---

[8] Булгаков С., «Из „Дневника"» («Вестник РХД», № 130 (1979), стр. 269).

все остается по-прежнему, русский народ должен быть народом-мессией, и к черту «немцев» и К°, да будут они ненавистны!

Привет семье Вашей. Жму руку.

С. Булгаков.

Посылаю, за неимением оттисков, номер журнала с некрологическими заметками[8].

2

А. С. Глинке (Волжскому)

24.XII.1917. Москва.

Милый Александр Сергеевич!

Поздравляю Вас с великим праздником Рождества Христова, да светит нам свет его чрез облежащую тьму. Сегодня я испытываю этот благодатный свет и мир, п<отому> ч<то> приобщился св. Таин и укреплен Трапезой Господней. По-человечески же невеселое для меня Рождество. Должен был ехать к своим, но не решаюсь подвергаться всем неверностям пути и переезда через несколько фронтов. Гдавное, вот уже две недели, как я отрезан от своих и не имею никаких вестей, как и они обо мне[9]. Но на все воля Божья, и слава Богу, что их нет со мною, на здешний холод и голод (лично я пока, впрочем, нисколько не голодаю). Я бесконечно виноват перед Вами своим молчанием, впрочем, извинительным. Эти месяцы пролетели для меня за соборной суетой[10]. Лично я, разумеется, был счастлив, что мог стоять при церковном деле, и это особенно спасало меня от убивающих впечатлений русской жизни. Но, должен сознаться, для «творчества» или просто для личной работы это — перерыв и некоторая отвычка, после которой необходимо умственно себя ремонтировать. Благодарение Богу, моя связь с церковным делом начинает упрочиваться: не знаю, хорошо ли это лично, — во всяком случае, это сложно, — но я избран в Высший Церковный Совет[11] и, значит, связан на 3 года с церковным правительством (кстати, это было бы лишним и уже решающим мотивом в пользу отклонения места в Учр<едительном> Собр<ании>[12], если бы нужны были эти мотивы). Впечатлений от церковного общества за это время у меня накопилась масса: можно сказать, что я знаю более или менее епископат, а также и белое духовенство, притом все-таки скорее [нрзб.]. Люблю их, только здесь чувствую себя в родной среде, в уюте, но... но все то, что мы знали про *себя* и раньше, с большей силой и отстоенностью даже остается и теперь. *Есть* — «новое ли религиозное сознание», или «третий завет»[13], или светская культура, но нечто радикально есть в нас то, что остается непонятным, закрытым, несуществующим. В конце концов, я имел приязнь или даже дружественность ко всем, с кем соприкасался, но в то же время оставался один. Сначала страдал от этого, затем привык и примирился. Кто же это мы, затерянные, перекликающиеся и друг другу загадочно близкие? Эрн ушел[14], уйдет еще один, другой, и останется последний, как я теперь, без семьи, под свист вьюги. И в то же время в душе спокойное, не гармонирующее с чувством личного бессилия, знание силы и правды своей.

Среди внешних (относительно) дел на Соборе теперь приступаем и к делу афонскому, к вопросу об имяславии, трепетно приближаться к земле священной[15]!

Как Вас Бог милует? как дети? не остаетесь ли без жалования, как, напр., о. Павел? Последний, б<ыть> м<ожет>, будет издавать «собрание сочинений»[16], излишне говорить, какое это радостное событие. Но за него всегда мне страшно: слишком прекрасен этот хрупкий алавастр мира драгоценного для этого мира! В <Сергиевом> Посаде теперь живет Розанов. Он стар, нуждается, слаб, но переживает снова рецидив жидовствующей ереси и вражды к Христу.

Об этом можете прочесть в выпускаемых им «Апокал<ипсисах> наших дней». Он вспоминал о Вас с теплотой, мы встретились ласково, хотя, по существу, он продолжает меня недолюбливать, по-своему и справедливо. Вяч. Ив<анович>[17] без Эрна как-то поблек, да вообще растерялся, что ли, только поблек. Да и живется трудно, Вера К<онстантиновна>[18] болеет. «Авва»[19] хлопочет с кружками, окормляет голубиц и голубей. Видал его мало, телефон же не действует. Господь с Вами и Вашими. Целую Вас.

О. Павел все проектирует издать сборник об Эрне[20].

Любящий Вас С. Булгаков.

3

21 мая 1918 года. Москва.

Дорогой Александр Сергеевич!

Пишу Вам в это число, прежде всего чтобы известить Вас, что желанное в этот день не свершилось. Меня постигло приключение, а именно в канун 11го, того дня, когда я условился быть у еп. Феодора[21], я, во-первых, получил предупреждение о «гостях», что до сих пор еще не подтвердилось, а во-2-х, в ту же ночь заболел, как оказалось, припадком аппендицита. 10 дней провел в кварт<ире> Хорошко[22] и лишь сегодня водворился дома, но пока на положении инвалида, с запрещением передвижения[23]. Поэтому все, естественно, откладывается, хотя и уповаю на милость Божию и надеюсь, что не надолго. Но теперь уже боюсь сроки определять. Да к тому же до сих пор не удалось материи достать, хотя о. Павел дарит мне одну свою рясу, что мне, конечно, особенно дорого.

Зато получил письмо из Крыма в эти дни, и от Муночки[24], такое хорошее. Они, слава Богу, живы и благополучны, теперь уже не подвергаются опасности. Но целую неделю над ними висела угроза быть вырезанными, а на один день это прямо намечалось. Все-таки факт тот, что спасли мне жизнь моих милых от лиходеев — немцы[25]. Как все это отразилось, могу только угадывать. Но, во всяком случае, огромная тяжесть с души моей свалилась с получением дорогой весточки. Во время жара я многое переживал в связи с предстоящим. Мне казалось, что я повергнут пламенным мечем херувима в мрак и трепет, и трепещу, тровасый, ко огню приближаяйся. С патриархом еще не говорил, эта неделя пройдет в выздоровлении.

Теперь о Ваших делах. Отн<осительно> предисловия к Д<остоевско>му я согласен и так, и так, — как укажет время и обстоятельства. Ко сборнику Лемана[26] едва ли нужно предисловие, не думаю даже, чтоб он сам этого захотел. Конечно, если бы возник вопрос, я согласился бы написать предисловие. Если я увижу Лемана — а это маловероятно в скором времени, то я его спрошу. <...>

Здесь был вскоре после Вас В. В. Розанов. Он тоже «виделся» с Леманом, поладил и нечто «получил». Ходил по всем московским домам. Жалел, что не повидал Вас. О. Павел бывает еженедельно на своих лекциях[27].

Удивительно теплые и ласковые слова Вы для меня находите в своих письмах, спасибо Вам! Сейчас перечел их и снова был заласкан ими.

4

31 мая 1918.
День Вознесения Христова.

Милый Александр Сергеевич! <...>

Мечтаю в начале июля, если только можно об этом сметь мечтать, вырваться к своим в Крым, — уж очень страстно хочется их видеть. Мысль о приезде к Вам приходится отложить, — уже 15го июня соберется собор[28].

Мое посвящение назначено еп. Феодором на дни св. Троицы (во диакона) и св. Духа (во иерея), 10го и 11го, в Даниловом монастыре. Патриарх уже наложил резолюцию на моем прошении, хотя официально ему не дано еще хода ввиду отъезда патриарха в Петербург. Трудности с добыванием материи и портными почти преодолены, хотя вообще количество *мелких* трений и трудностей как-то бесчисленно. Я живу, с одной стороны, в атмосфере чуда, когда порою снимается стена между мною и ушедшими и приближаются чувства 1909 года, моего первого «посвящения»[29], а с другой — нахожусь в агонии умирания, неисходного, ужасного, рокового. Порою так безумно болит душа и жжет тревога за своих, рождается надежда на чудо, чтó приедет Е<лена> И<вановна>, а то опять смиряюсь с волею Божией. Не знаю, что здесь закономерно, в порядке вещей, как встреча со «стражем порога», чтó принадлежит моей слабости, маловерию, малодушию. Чувствую свою вину и пред Вами, что я, а не Вы, приближаюсь к этому жребию, которого так недостоин. Надо бы писать многое, многое, чтобы Вы конкретно постигли мое состояние, но думаю, что не нужно, п<отому> ч<то> Вы и так понимаете. Для меня несомненно, что я уже *умер*, прежнего меня нет. Если бы почему-либо посвящение не состоялось, мне все равно нечем жить; я себя *изжил* окончательно и совершенно, не могу существовать вне нового рождения. Но о нем трепещу, не умею думать. И весь этот огонь палит меня на фоне всей обыденной суеты, забот, беготни. В воскресенье в р<елигиозно-> ф<илософском> об<щест>ве читаю прощальное (конечно, неведомо для публики) кармасиновское «mercі» — свои диалоги[30]. Все как-то мучительно больно. Просто не знаю, доживу ли, разве только милостью Божией. Не забудьте в молитвах, как и я Вас буду помнить в страшную и трепетную минуту. Боже, будь милостив мне грешному! Напишу Вам тотчас, если совершится. Да хранит Вас и семью Вашу Матерь Божия. Целую Вас. Люб<ящий> Вас С. Булгаков.

Порою посещает нечеловеческая тоска и тревога за Муночку гл<авным> обр<азом>, а затем так же чудесно отходит. Постигаю, чтó такое смерть.

5

$\frac{24.IV.}{7.V.}$ 1921. Олеиз.

Милый мой Александр Сергеевич! Христос воскресе! Не знаю ничего, ничего о Вас и Вашей семье. Да хранит Вас всех Господь и Его Пречистая Матерь! Уже три года, как мы отторгнуты друг от друга. Благодарение Богу, уже скоро будет и три года моего священства. Мы благополучны, теряли на целый год Федю[31], но он вернулся к нам. Целую Вас. Благословляю всю Вашу семью. Отзовитесь. Люб<ящий> Вас прот. С. Б.

6

17/30.IX.1921. Олеиз[32].

Милый Александр Сергеевич! Приветствую Вас лобзанием святых. Был бесконечно рад узнать, что Вы живы и, надеюсь, благополучны с семьей. Мне так и не удалось выбраться в Москву, — осел пока в Ялте на приходе, очевидно. Здесь буду и зимовать. Помимо возможности устроиться в Москве, мне необходим вызов и бесплатный проезд при сносных условиях, иначе с семьей не проедем. О том, как жил это время, в письме не расскажешь, благодарение Господу за все. Мы живы, здоровы и сейчас все вместе. Дайте весть о себе, авось Господь приведет увидеться. Всегда Вас и Вашу семью молитвенно вспоминаю пред Престолом Господним. Шлю всем Вам благословение и целую Вас горячо. Ваш С. Б.

Какой ряд могил за это время, что мы не виделись: В. В. Р<озано>в, В. К. Иванова, Т. А. Рачинская и др. Храни Вас Бог! Вспоминаю последнюю

встречу в Москве и всю Вашу любовь и дружбу в эти великие дни. Люб<ящий> Вас прот. С. Б.

Пишу Вам *второй* уже раз.

7

$\frac{19.III.}{2.IV.}$ 1923.

Христос воскресе, милый мой Александр Сергеевич!

Не знаю, донесут ли эти строки мою любовь и сердечную память о Вас. Внешне мы благополучны, т. е. были бы, если бы все были в сборе, но с нами нет Феди[33]. Сломала дорогой Е. И. ногу, но она уже срослась. Я еду на Прагу, там буду читать лекции и служить[34]. Пока адрес там: Tchechoslovaquie. Praha. Bubeneč. Havličkova. 36/IV, prof. G. Vernadsky[35], для меня. Здесь, думаю, найдется работы больше, чем хватит надорванных сил. Так что слава Богу. Но новая «проблематика» жизни, особенно церковной, обступает здесь и давит с силой неимоверной. Когда мы расставались с Вами в Москве, казалось, что я уже вступил в последнюю и окончательную стадию жизни и что будет ровный и гладкий путь до конца. В известном смысле это и верно, насколько это касается благодатного дара священства, который, хотя и не возгревал, хранишь как величайшую радость и святыню и ощущаешь как вторую природу. Но путь и здесь не оказывается гладким и исполнен новых задач и трудностей великих, пред которыми и стою. Мое позднее возвращение в Европу и стояние лицом к лицу с нею теперь, в этот момент жизни, с теми мыслями и настроениями, в которых я жил в Крыму, исполнено особой трудности и значительности. Но об этом не напишешь. Если може<те>, отзовитесь. Благословляю и <цел>ую так нежно, как <т>олько можно. Прот. С. Б.

---

[1] Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Вып. 1 — 10. Сергиев Посад. 1917 — 1918. Согласно датировке В. Г. Сукача, к 22 декабря 1917 г. вышли первые два выпуска, на которые мог отозваться Булгаков (см.: Сукач В. Г., «Комментарии» /в кн.: Розанов В. В. О себе и жизни своей. Сб. М. 1990, стр. 783 — 785; здесь же приведен отрывок из письма Булгакова/).

[2] См. главку «Апокалипсиса» «Последние времена»: «„Богочеловеческий процесс воплощения Христа" потрясается. Он потрясается в бурях, он потрясается в молниях... Он потрясается в „голодовках человечества", которые настали, настают ныне... В вопияниях народных. „Мы вопияли Христу, и Он не помог". „Он — немощен"<...> — Христос — мяса!» Понимание истории как процесса боговоплощения входило в основы философской программы христианско-социалистического «Христианского братства борьбы» (В. Ф. Эрн, В. П. Свенцицкий), к которому в 1905 — 1906 гг. был близок Булгаков.

[3] О первом искушении Христа в пустыне — искушении хлебами (Мф. 4, 3 — 4). Булгаков, согласно письму Пьера Паскаля И. С. Книжнику-Ветрову от 30 мая 1918 г., «теперь пугает искушением хлебами», причем трактующая социальный рабочий вопрос папская энциклика «Rerum Novarum» служила для него образцом такого искушения: Колеров М. А., Плотников Н. С., «Примечания» (в кн.: «Вехи. Из глубины». Сб. М. 1991, стр. 554).

[4] Об отношении Булгакова к левым увлечениям Розанова эпохи революции 1905 — 1907 гг. см. письмо к нему Булгакова от 30 декабря 1912 г и мои примечания: Булгаков С. Н., «Письма к В. В. Розанову» («Вопросы философии», 1992, № 10, стр. 152, 156).

[5] В мистических делах *(лат.)*.

[6] В феврале 1918 г. Розанов писал П. Б. Струве, посылая для опубликования в «Русской мысли» статью «Разговор с немцем»: «Тайная моя мысль, — а в сущности, 20-летняя мысль, — что только инородцы — латыши, литовцы (благороднейшая народность), финны, балты, евреи — умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России...» (Розанов В. В. О себе и жизни своей, стр. 680).

[7] О. Павел — Павел Александрович Флоренский (1882 — 1937).

[8] Вероятно, некролог: Аскольдов С., «Памяти В. Ф. Эрна» («Русская мысль», 1917, № 5-6, отд. II, стр. 131 — 134).

[9] Семья Булгакова жила в усадьбе Олеиз, близ Кореиза, в Крыму.

[10] Избранный на Поместный Собор Православной Всероссийской Церкви от мирян Таврической епархии, Булгаков с 15 августа 1917 г. принимал участие в работе двух сессий Собора (из трех).

[11] На выборах в члены Высшего Церковного Совета от мирян, состоявшихся в заседании Собора 8 декабря 1917 г., Булгаков набрал наибольшее число голосов и вместе с А. В. Карташевым и Е. Н. Трубецким стал действительным членом Совета; среди заместителей членов был избран Г. Н. Трубецкой.

[12] В ноябре 1917 г. Булгаков получил предложение баллотироваться в члены Учредительного Собрания от Орловской губернии, подобно тому как в 1907 г. он стал депутатом Второй Государственной думы от этой же губернии.

[13] Речь идет о религиозно-философской концепции Д. С. Мережковского, некогда отчасти разделявшейся и Н. А. Бердяевым, но не Булгаковым и не А. С. Волжским. Показательно, что по отношению к духовенству Булгаков находит возможным культурно консолидироваться с Мережковским, хотя единственный эпизод их сотрудничества оставался в далеком прошлом (1905 — 1906 гг.).

[14] Владимир Францевич Эрн умер 29 апреля 1917 г.

[15] О богословских спорах об Имени Божием, в 1912 — 1913 гг. приведших к образованию на Афоне имяславческой группировки, и ходе полемики в русской литературе, а также постановке вопроса на Соборе см. очерк игумена Андроника (Трубачева): Флоренский П. А. <Сочинения>. Т. 2 (У водоразделов мысли). М. 1990. Примечания, стр. 424 — 433. Об издательском проекте Булгакова и Флоренского, посвященном имяславию, см.: Голлербах Е., «Религиозно-философское издательство „Путь"» (1910 — 1919) («Вопросы философии», 1994, № 2, стр. 151 — 152). Собор, несмотря на надежды Булгакова, специальных заседаний, посвященных имяславию, не провел. Документы деятельности специальной подкомиссии, в которую вошел Булгаков, неизвестны.

[16] Речь идет о неосуществленном проекте собрания сочинений Флоренского в книгоиздательстве «Путь», первый том которого в 1918 г. должна была составить книга «У водоразделов мысли».

[17] Иванов Вячеслав Иванович (1866 — 1949).

[18] Шварсалон Вера Константиновна (1890 — 1920) — жена Вяч. Иванова.

[19] «Авва» — Михаил Александрович Новоселов (1864 — 1938?), глава кружка ищущих христианского просвещения, в который входили также Булгаков и Эрн.

[20] Проект сборника памяти Эрна, в котором должны были принять участие Булгаков, Флоренский, Гершензон и другие, остался нереализованным (Голлербах Е., «Религиозно-философское издательство „Путь"», стр. 146).

[21] Епископ Феодор (Александр Поздеевский; 1876 — 194/?/) — в 1917 г. настоятель Данилова монастыря.

[22] Имеется в виду близкая С. Н. Булгакову семья Хорошко: врач Василий Константинович, присутствовавший на рукоположении Булгакова, и его жена Мария Ивановна — им на дом (Остоженка, 8), в письме от 10/23 сентября 1918 г. из Киева М. М. Замятниной, Булгаков просит доставить записку М. И. Хорошко: ОР РГБ, ф. 109, к. 14, ед. хр. 6. Письмо Булгакова к В. К. Хорошко от 22 декабря 1914 г. с сокращениями опубликовано в «Новом мире» (1989, № 10, стр. 241 — 242).

[23] В середине мая 1918 г. большевики провели в Москве серию арестов членов ЦК и московского комитета кадетской партии, а также близких к ним общественных деятелей. Например, подлежал аресту, но избежал его, не вернувшись домой с защиты диссертации И. А. Ильина в Московском университете, П. И. Новгородцев. Булгаков вспоминал: «Я получил от Кн. Евг. Н. Трубецкого однажды поздним вечером дружеское извещение по телефону, в котором он меня на латинском (!) языке предупреждал, что я этой ночью буду арестован. Но когда я после этого лег спать, то почувствовал себя больным, поднялась температура с болями. Утром доктор определил припадок аппендицита, хотя и не настаивал на немедленной операции. Из своей квартиры мне надо было скрываться (хотя предупреждение Е. Н. и не исполнилось). Кое-как оправившись от припадка, я начал действовать: сначала обратился к Преосв. Феодору Волоколамскому, одному из Московских викариев, лично меня знавшему (и рукоположившему моего друга проф. о. Павла Флоренского), с вопросом, согласится ли он меня рукоположить во иереи. После его согласия я объяснил ему всю срочность этого дела ввиду моей угрожаемости (поэтому он от первоначального своего предложения провести некоторое время во диаконстве, узнав мое положение, и сам отказался). После этого я уже обратился к самому Патриарху Тихону с прошением о рукоположении, на что Святейший милостиво и без всяких возражений и согласился» (Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки. Изд. 2-е. Париж. 1991, стр. 38 — 39). Впоследствии именно болезнь послужила Булгакову и его друзьям как иносказательное обозначение угрозы ареста. В письмах из Киева от 10/23 сентября 1918 г. к М. О. Гершензону и М. М. Замятниной Булгаков вполне адекватно реагировал на мнение «докторов» Гершензона и Вяч. Иванова о пагубности для здоровья Булгакова возвращения в Москву, где разворачивался красный террор. См.: «В ожидании Палестины. 17 писем С. Н. Булгакова к М. О. Гершензону и его жене. 1897 — 1925» (в кн.: «Неизвестная Россия: XX век». Вып. 2. М. 1992, стр. 136, 142).

[24] Муночка — Мария Сергеевна Булгакова (1898 — ?), дочь Булгакова, студентка Киевского университета. Упоминающаяся ниже Елена Ивановна Булгакова (урожд. Токмакова; 1869 — 1945) — жена Булгакова.

[25] Крым, с середины января 1918 г. находившийся под советской властью, в середине апреля был оккупирован немецкими войсками.

[26] Имеется в виду запланированный к изданию в издательстве Г. А. Лемана и С. И. Сахарова сборник статей А. С. Волжского. 18 апреля 1918 г. Георгий Адольфович Леман сооб-

щал Волжскому о получении от Булгакова статей для названного сборника: РГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 243, л. 3. Проект этот не был реализован, но само издательство в 1918 г. издало: Булгаков Сергей. Тихие думы. Из статей 1911 — 15 гг. М. 1918; Блонский П. П. Философия Плотина. М. 1918; Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2-х томах. М. 1918; кроме того, книгоиздательство Лемана весной 1918 г. объявило программу «Библиотеки общественных знаний под общей редакцией П. Б. Струве», в которой были запланированы так и не вышедшие в свет в 1918 г. книги, например, «О сущности правосознания» И. А. Ильина, «История русской торговой политики» и «Пушкин как национальное явление» Струве, «Духовные основы общественной жизни» С. Л. Франка.

[27] Еженедельные поездки П. А. Флоренского в Москву были вызваны его преподаванием в Московской духовной академии, в 1918 г. перенесенной из Сергиева Посада в Москву.

[28] Третья сессия Собора началась 19 июня/2 июля и длилась до 7/20 сентября 1918 г. Булгаков в ней не участвовал, хотя и вспоминал, что выехал в Крым через две недели после рукоположения, то есть 25 июня старого стиля (Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки, стр. 43).

[29] Речь идет о смерти 27 июля 1909 г. маленького сына Булгакова Ивашечки, имевшей поворотное значение для его религиозного сознания. Об этом Булгаков писал неоднократно: Булгаков С. Н. Свет Невечерний: созерцания и умозрения. М. 1994 (1917), стр. 17 — 18, «Из интимного письма»; ряд частных писем: Г. А. Рачинскому (РГАЛИ; частично опубликовано В. В. Саповым в Примечаниях к «Свету Невечернему», стр. 369), Волжскому (РГАЛИ), Гершензону (ОР РГБ; опубл.: «В ожидании Палестины», стр. 131 — 133). О смертельной болезни сына и своем переживании «часа смерти-рождения» Булгаков писал и в письме к М. С. Шагинян (опубл.: Шагинян Мариэтта. Человек и время. История человеческого становления. М. 1982, стр. 226 — 227).

[30] Имеются в виду диалоги Булгакова «На пиру богов», вошедшие в знаменитый сборник «Из глубины» (1918). Дополнительных сведений о чтении их в московском Религиозно-философском обществе памяти В. С. Соловьева, назначенном на 3 июня 1918 г., не найдено. Прощанием с «русскою публикой» заканчивает свой рассказ «Mercì» персонаж «Бесов» Ф. М. Достоевского писатель Кармазинов (ч. 3, гл. 1).

[31] Федя — Федор Сергеевич Булгаков (1902 — ?), сын Булгакова.

[32] На обороте сложенного листа рукой Булгакова: «Александру Сергеевичу Глинке-Волжскому (чрез М. А. Новоселова)».

[33] Женатый на дочери художника М. В. Нестерова, Ф. С. Булгаков остался в Советской России.

[34] Булгаков на протяжении двух лет, в 1923 — 1924 и 1924 — 1925 гг., читал лекции по церковному праву на основанном П. И. Новгородцевым Русском юридическом факультете при Пражском университете.

[35] Вернадский Георгий Владимирович (1887 — 1973) — историк, сын В. И. Вернадского, с которым Булгаков состоял в доверительных отношениях. Например, 15 января 1921 г. Булгаков передал В. И. Вернадскому письмо, вполне характеризующее уровень их отношений, но не поддающееся внятному истолкованию: «Дорогой Владимир Иванович! Приветствую Вас и Ваших с новолетием и шлю свои благожелания. Писать много не хочется, да, пожалуй, и нечего, — сами знаете. Прошу Вас, если только можете, оказать мне услугу, которая могла бы вывести меня из затруднительного и неприятного положения. Я слышал, что Вы собираетесь уезжать и ввиду этого отказываетесь от ректорства. Если это так, то не откажите мне попросить своего заместителя сделать то, о чем я прошу Вас. Сущность дела Вам будет изложена подательницей сего письма. Ваш пр. С. Булгаков» (Архив РАН, ф. 518, оп. 7, ед. хр. 204, л. 3).

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АНАРХИЯ — МАТЬ ПОРЯДКА?

Прав, прав Феликс Икшин[1]: на коньке простодушного, ласкового реализма, оседлав которого Басинский сражается и с драконом модернизма, и с драконятами постмодернизма, далеко не уедешь. Ни в палатах русского ума не развернешься. Ни в пространствах российской истории не поместишься. Не стану утверждать — к чему лукавить? — будто назойливо-декоративное поигрывание этой цацкой, выдаваемой к тому же за знак устремления народного духа, не мешало мне радоваться его летучим, стремительным, азартным текстам. Мешало, увы, но я их, рассуждения, спокойненько вычитáла, как вычитáла в иные годы (из работ своих коллег) все-все соображения о природе, возможностях и т. п. соцреализма, — не все ли равно, при каких шумах времени вставлять в уши слипы? Шум — он всегда всего лишь шумовая помеха! Впервые произвести привычную сию операцию я не смогла, перечитывая, уже в сборничке «Сюжеты и лица», прошлогоднюю новомирскую статью Павла Басинского («Возвращение. Реализм и модернизм в конце XX века»), потому что именно в этой его работе впервые жесткая механистичность сюжета стерла до неузнаваемости не только прохожие лица, но и великие лики русской литературы. Я имею в виду в первую очередь, конечно же, Андрея Платонова, по хотению-велению П. Басинского возвращенного на тесный путь спасенья — от гениальных дерзостей и трагических искушений «Чевенгура» к «патриархальной простоте рассказа „Возвращение"».

Казалось бы, чего проще — следуй тобою же избранному правилу приличного литературного поведения, благородно и благодушно отражай в сюжетах и лицах замысел жизни, который уже так или иначе, но состоялся без твоего настырного участия. Так нет! Желание сотворить хоть какое-то подобие собственной концепции из кусков этой же концепцией умертвленной литреальности оказывается — почему бы? — соблазнительным! А в результате — копье, нацеленное в змия, превращается в бумеранг и поражает самого копьеметателя!..

...Сюжет с Владимовым («Писатель и его слова» — «Литературная газета», 15.6.94) возник уже после того, как «Сюжеты и лица» вышли из печати, иначе Басинский и его бы «вставил в книжку», и наверняка в качестве эпилога: текст, открывающий сборник, называется «Возвращение».

Вообще-то последний роман Владимова, при всей прозрачности его письма и благородной простоте замысла, оказался, как это ни странно, крепким орешком, даже для нашей острозубой — сплошь щелкунчики — критики. Такой разноголосицы, таких разных, прямо-таки диаметрально противоположных истолкований я что-то и не упомню.

Лев Аннинский (в «Новом мире») взял-углядел только свое, а все прочее отодвинул.

В. Кардин в «Московских новостях» честно-подробно пересказал текст слов, не заглядывая под поверхность.

Единственное, в чем сошлись почти все, так это в убеждении: автор «Генерала и его армии» идет дорогами войны, старательно ставя ногу в толстовский след. И вроде бы вправе так говорить, потому как Владимов и впрямь шагу не сделает, на Толстого не оглянувшись. Не оглядев себя в этом ЗЕРКАЛЕ. В зеркале с л а в ы, к р о в ь ю к у п л е н н о й. Так славно за гением следует — словно и впрямь наследует. И адъютант заглавного в романе генерала — Кобрисова, — некто Донской, наречен в точности как адъютант Кутузова: Андрей Николаевич. И мало что наречен, так еще и д е л а е т с е б я с князя Андрея! И Гудериан подписывает приказ об отступлении от Москвы не где-нибудь — в Ясной Поляне, в кабинете Толстого. А прежде чем подписать, разыскивает в библиотеке музея немецкий перевод «Войны и мира». И ординарец Кобрисова Шестериков чуть ли не с Платона Кара-

---

[1] См. рецензию Феликса Икшина на книгу Павла Басинского на стр. 250.

таева списан — такой же круглый. И Кобрисов, в начале романа, слушает донесения адъютанта в галифе со спущенными помочами, в нижней рубахе, попивая молоко из кринки и шевеля пальцами босых ног, ну прямо бери и сравнивай с простяком Кутузовым — тоже-де шокировал штабных неуставным поведением. И фигура Власова — спасителя Москвы и «предателя Родины» — развернута так (в профиль, силуэтом, наискосок — клином), чтоб не хотели, а вспомнили о трагической участи «изменника» Барклая.

Короче, если листать владимовский роман вприглядку и вприкусу, ничего, кроме отлично налаженных диалогических отношений с Львом Толстым, и впрямь не увидишь. Но ежели вдуматься, нельзя, по-моему, не заподозрить, что отношения эти при всей их почтительной субординации отнюдь не почтительны по существу. И даже — остроконфликтны. И диалог о том, что есть война вообще и русская война в частности, куда больше похож на спор (в лермонтовском, высоком, а не в бытовом смысле этого слова).

Недаром чуткая Алла Латынина, публикуя в «Литературной газете» рецензию П. Басинского, вынесла в аншлаг сюжет для рецензента проходной, мимоходный — «Владимов спорит с Толстым», — а для нее, видимо, несомненный и важный.

Да, действительно — Владимов спорит с Толстым.

Для Толстого *война и жизнь — вещи несовместные. По Толстому война — бедлам и хаос, где никто ничего предвидеть не может и никакой полководец — поэтому — ничем не руководит.*

А по Владимову: *жизнь войны ничуть не проще, не примитивней, в ней, может быть, заключена куда большая цельность, чем в жизни мира.*

И наука побеждать, по Владимову, не только наука и высокое профремесло, но еще и искусство, и исход войны, и большой и малой — за Киев-Предславль, — решает в романе (после сложения-вычитания всех составляющих — в итоге) всплеск русского оперативного гения и даже, может быть — это уже растворено в тексте, — общая талантливость русской жизни, в том числе и жизни военной («Наша русская жизнь гораздо талантливее». — А. П. Чехов М. П. Чеховой, 16 июня 1904 года из Баденвейлера).

Талантливей — не на уровне высшего командования. Не там, где властвует человек с чудовищным подбородком, твердо решивший спасти Россию ценой России. И не в самом низу, где шустрят шестериковы. Посредине. В промежутке между верхом и низом. Там, где делает свое мудреное дело «неприметный командарм» — Фотий Иванович Кобрисов.

Полистав «Войну и мир», Гудериан с особой разрешающей мыслью задерживается на Наташе Ростовой, приказавшей дворовым — выбросить фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Графинечка, дескать, объявила ему войну. Ход эффектный, не спорю, и рецензент «Красной звезды» Ю. Беличенко вполне в духе времени его использовал, назвав свой отклик на «Генерала и его армию» так: «„Русская графинечка" против танков Гудериана». А между тем, по-моему, это расхожее мнение Владимов не разделяет. У Владимова и Кобрисов, и семейство его, и ординарец его Шестериков, без лести преданный, в зиму с сорок первого на сорок второй заняты прямо противоположным — не выбрасыванием, а сохранением фамильного добра. О том, как обустроятся в дачной Апрелевке, — вот о чем говорят-мечтают. И дом возведут, и сад, мол, насадят, чтобы жить-поживать да добро наживать. Нет уж: в романе Владимова, в пространстве его изумления, Ростова-барышня — дама-ширма. И он недаром — недаром — притузил ее восхитительный патриотический жест апрелевской дачкой. А вдобавок еще и со знаменитой русской пляски графинечки хрестоматийный лак смыл. Пляшет сильно подвыпивший Кобрисов — восьмипудовая туша с красным бычьим затылком, — пляшет русского, в руке заместо платочка шелкового — замаранная «желеем» столовая салфетка. Не в дому — во поле, в поле картофельном, посередь Поклонной горы! Ах, как лихо, как стильно пляшет, так пляшет, что умиляемся, однако ж и смущаемся — уж не пародия ли он?! Конечно же — слегка, отчасти пародия, как всякое исполнение женской роли актером мужского пола. Сдвиньте эту отлакированную в стиле «советский ампир» декорацию, ширму сложите гармошкой — и откроется то, что в реальности, а не в литмифе, остановило танки Гудериана: танк «Т-34», чудо-машина, созданная безвестным, но гениальным русским конструктором. Кстати, смотрим мы на это русское чудо глазами Гудериана, и, ду-

маю, сделал это Владимов с очень однозначным намерением: «Поразило... изящество форм: наклонные плиты корпуса и башни, круглый ее лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы... Подойдя к этой чудо-машине... он (Гудериан. — *А. М.*) только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей... ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир». Это нельзя было превзойти... нельзя было даже повторить».

Совсем не толстовской кистью писаны и портреты главных героев. Даже круглый Шестериков, как выясняется, кругл лишь на скользящий взгляд. Задержитесь подольше, понаблюдайте за ним пристальней — и проглянет иное: жесткое и себе на уме. Да и Кобрисов, подразнив отдаленным сходством с Кутузовым, как доходит до дела, сбрасывает это сходство, как бекешу, превращаясь из почти увальня в сгусток энергии. И это преображение мгновенно меняет и структуру и походку романа: не подробная, медленная, а-ля Толстой эпопея, как обещали обманно первые главы, а сжатый, эскизный, лоскутный блицроман, прошитый-простроченный голой скоростью — и маршрутом — кобрисовского «виллиса». Дважды простроченный — с запада на восток в первых главах и с востока на запад в конце. И это отнюдь не формальное «стилистическое напряжение». Это именно сжатие. Сжатость сюжетного курка. Сначала с ленцой, с раскачкой, а с середины все туже и туже, чтобы выстрелить, выпалить т о ч к у в своем конце как пулю, как шаровую молнию в той последней главке, когда Кобрисов, уже, казалось бы, з а г н а н н ы й погоней, уже вроде бы выброшенный из большой войны в опалу, в никуда, к огурцам-помидорам дачной Апрелевки, — вдруг, сыграв в дурачка, сваляв ваньку, обыгрывает преследователей. Всех, одним махом. Включая Верховного. Чтобы бесприказно вернуться на фронт. И вернуть себе — свою армию, свою победу, свою долю мудреного дела.

Андрей Немзер (см. «Сегодня», 17.6.94), правда, полагает: никуда генерал от погони не ушел и «...Верховный одолел того Кобрисова, что мучительно рождался всю войну», — и я, хотя и толкую замысел судьбы героя иначе (мир, мол, ловил его, но не поймал), не могу при этом не видеть, что разрешающие возможности романа дают критику законное, художественно легитимное право и на такое умозаключение.

Так чем же отличается от этих перечисленных мной истолкований версия Басинского? А тем и отличается, что в данном случае умысел критика не просто деформирует замысел романиста — без искажений, увы, не обойдется ни одна, самая тонкая и бережная интерпретация, — но начисто его игнорирует, полагая при этом, что его, Басинского, умысел точь-в-точь совпадает с замыслом Владимова.

Напоминаю, по Басинскому: «Победа в войне, считает автор, была обеспечена теми еще не до конца распавшимися внутренними иерархическими связями в России, на которых и вообще держится мир как тонкий и сложный иерархический организм». Переведите модно упакованную теорему на язык нашенских реалий образца 1943 года (время действия «Генерала и его армии») — и выйдет при переводе, что молодой, дотошный, суперначитанный критик, не дрогнув, не усомнившись в легитимности подмены, приписывает Георгию Владимову самый примитивный, правоверный, в стиле Ивана Стаднюка времен приснопамятной «Войны», то есть самый простодушный, с т а л и н и з м, ибо если и было в «кремлевском горце» хоть что-то от гения всех времен и народов, так это упорство, с каким Верховный Иерарх строил, держал, украшал (орденами, позументом, системой привилегий и отличий) чудовищную египетскую Иерархическую Лестницу.

Вполне допускаю, что, публикуя свой отклик на выход в свет «великого романа» (закавыченные слова принадлежат не ему, а Немзеру), Басинский навёрняка знал, как отзовется-аукнется сшибка его слов со Словом о полках Кобрисова.

Но объективно его рецензия, этот «неряшливый памятник неряшливой эпохи», прочитывается именно так, и с этим уж ничего не поделаешь.

Однако: кто скажет — не является ли корежащая Басинского (и не его одного) тоска по порядку и иерархической крепи тайной мукой и следствием именно этой — нынешней — всеобщей неряшливости? Или — на худой конец — ее нательной, внутренней, стороной?

Алла МАРЧЕНКО.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ

*

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

Три черных томика. На твердой обложке белыми, большими, будто детской рукой писанными буквами — «Сергей Довлатов», и буквами поменьше — «проза». Печальный большеносый человек с крохотной, похожей на него собачкой. Издательство «Лимбус-пресс» в Санкт-Петербурге выпустило в свет три тома прозы Сергея Довлатова с чудесными рисунками Ал. Флоренского. Третий номер журнала «Звезда» за этот год целиком посвящен писателю. Что понятно. Простите за штамп: значение Довлатова в русской литературе трудно переоценить.

Среди философствующих и декламирующих, среди ораторствующих и «доходящих до сути» раздался обыкновенный человеческий голос.

Просто — речь, очищенная «от мировой скорби», речь, держащаяся интонацией, ритмом:

«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди» («Соло на IBM»).

Себе Довлатов отводил роль «рассказчика» — не более, но и не менее.

Писатель в крайнем своем выражении, в идеале и должен выбирать путь «платоновский» (я имею в виду Андрея Платонова) или «довлатовский». Или весь текст как на вновь рожденном языке, где каждое предложение выстроено, да так, что видны «швы» постройки, или просто — речь, просто — человеческий голос, рассказывающий истории.

Второй случай ничуть не легче первого. Легкость тоже чего-нибудь да стоит. Уметь не злиться, не проклинать, уметь улыбнуться навстречу озверелому варвару и не стать трусливым пособником варварства — тоже мужество... «Мюнхенский дух»? Или — компромисс и знание границ компромисса?

ОБ АНГАЖИРОВАННОСТИ И МОРАЛИ. С Сергеем Довлатовым — писателем происходило много забавного и парадоксального. Его часто принимали за того, за кого он себя выдавал.

Он был Гамлетом. А выдавал себя за Швейка.

Он слишком часто твердил о том, что искусство бестенденциозно и внеморально, — и почти в каждой своей вещи не мог не «поморализировать», не мог не «провести свою тенденцию».

«Зона»: «По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами... В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин. Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи... Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также — на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже — на мужчин и женщин».

Писатель Вик. Ерофеев назвал свое интервью с Довлатовым «Дар органического беззлобия». После смерти Довлатова написал статью, в которой поставил Довлатова в один ряд с писателями-аморалистами, внесоциальными «певцами зла» — Лимоновым и Вл. Сорокиным. Первое, кстати, ничуть не противоречит второму. Можно быть добродушнейшим, улыбчивым «певцом зла» и злым, занудливым, мрачным проповедником добродетели.

Но Довлатов не обладал «даром органического беззлобия», равно как и не был певцом аморализма. Он хотел бы, чтобы в нем ценили, чтобы в нем видели «дар органического беззлобия». На деле же он умел ненавидеть, умел наносить хлесткие, быстрые, сокрушающие удары (недаром он занимался боксом).

«Шестнадцать старых коммунистов «Ленфильма» готовы были дать ему рекомендацию в партию. Но брат колебался. Он напоминал Левина из «Анны Карениной». Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема. А именно, можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым. Старые коммунисты уверяли его, что можно» («Наши», гл. 9).

«Пикуль тоже отличился. Говорил на суде Кириллу Владимировичу Успенскому: «Кирилл! Мы все желаем тебе добра, а ты продолжаешь лгать!» Успенскому дали пять лет в разгар либерализма. А Пикулю — квартиру в Риге...» («Наши», гл. 5).

«Асоциальным», «внеморальным» Довлатов был столь же мало, как и «беззлобным». Просто он очень хорошо знал место «социальности» и «морали» и был слишком тактичен, чтобы выпячивать свою ангажированность. Мораль Довлатова совершенно незыблема. Каких-то вещей он просто не может себе позволить. И почти все его рассказы как раз и посвящены тому, что есть предел, который порядочный человек не переступит. Никогда, ни за что. Эрик Буш из «Компромисса» может написать лживую статью о капитане Руди — но быть стукачом? Выступить на процессе свидетелем обвинения?

Довлатов соблюдает необходимую меру сочетания сокровенности и эпатажа, такую именно, чтобы царапала души. Среди цинической бравады и чуть ли не вслух проговоренных отречений от «традиций русской гуманистической литературы» внезапно появляются совершенно гаршинские, вполне достоевские, толстовские строки: «Помню, я увидел возле рынка женщину в темной старой одежде. Она заглянула в мусорный бак. Достала оттуда грязный теннисный мячик. Затем вытерла его рукавом и положила в сумку. «Леньке снесу», — произнесла она так, будто оправдывалась. Я шел за этой женщиной до самой Лиговки. Как мне хотелось подарить ее Леньке самые дорогие игрушки. И не потому, что я добрый. Вовсе не потому. А потому, что я был виноват и хотел откупиться» («Филиал»). Такой прорыв сентиментальности, боли, жалости в смешной, разухабистый текст — удивительнейшая особенность Довлатова.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ: «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ». Один из самых своих смешных и антисоветских текстов (впрочем, этот текст можно воспринимать и как самый советский текст Довлатова), рассказ «Представление», завершается неожиданной патетической нотой... Только что шел сплошной бурлеск, яркое и безжалостное издевательство — и вдруг скорбная и страшная патетика, признание в любви э т о й стране, э т о м у народу...

В советском концлагере к 7 Ноября ставится пьеса «Кремлевские звезды». В роли Ленина — рецидивист Гурин, в роли Дзержинского — насильник Цуриков. «...Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько минут он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. «Кто это? — воскликнул Гурин. — Кто это?!» Из темноты глядели на вождя худые бледные физиономии. «Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?.. Неужели это те, ради кого мы воздвигали баррикады?»... Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все... Владимир Ильич пытался говорить: «Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!» Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем: «Замри, картавый, перед беспредельщиной! Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!»... Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел: «Вставай, проклятьем заклейменный...» И дальше в наступившей тишине: «Весь мир голодных и рабов». Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты. Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй, третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор: «Кипит наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов...» Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно... Вдруг у меня болезнен-

но сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. От слез я на минуту потерял зрение...»

Именно эта сцена дала возможность критику И. Сухих написать: «Если бы новелла была опубликована в эпоху ее написания (что представить почти невозможно, но из-за случайных проходных деталей...), она прекрасно легла бы в матрицу времени. Шестидесятнический мотив «возвращения к истокам» отчетливо явлен тут в причудливой парадоксальности фабулы: комиссары в пыльных шлемах — верьте мне, люди, — причудливая небывалая страна и проч. и проч.» («Звезда», 1994, № 3). Я допускаю, что трактовать эту сцену и эту новеллу можно и так. (Хотя считать ли диалог Гурина и главного героя «случайной проходной деталью»: «„Сколько же они народу передавили?" „Кто?" — не понял я. „Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским... Они-то и есть самая кровавая беспредельщина"»?) Но мне видится в этой новелле, и особенно в ее финале, нечто иное. Это «иное» можно представить, конечно, и как «шестидесятнический мотив», и как «честное, без капли вредительства предъявление себя (спеца, писателя) советской власти»...

Главное словами не скажешь, поэтому я постараюсь подобрать для этого «иного» некий кинематографический, что ли, эквивалент. В фильме «Калина красная» Шукшина есть такой кадр: лагерный клуб, концерт самодеятельности. На нас, на зрителей, надвигаются лица заключенных. Их много. И очень долгий общий план — у Шукшина это редкость. Кинокамера скользит по этим лицам — и тут замечаешь, что на стене клуба изображен фронтиспис с обложки первого издания книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Взвихренная толпа матросов, солдат, вытянутая цепочкой, — и движется эта толпа в ту сторону, откуда надвигаются на нас стриженые, усталые, слушающие песню заключенные.

Здесь не просто готовность стать советским писателем. Здесь понимание того, что некоторые нравственные основания для этого имеются. «От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил. А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие смущенные голоса. «Представление окончено», — сказал Хуриев. Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу». (Последний куплет «Интернационала» такой: «И если гром всемирный грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей».)

С. ДОВЛАТОВ И Б. СЛУЦКИЙ. Оксюморонное сочетание жестокости и жалостливости, боязнь высоких слов, красивости и поэтичность, держащаяся интонацией, ритмом, поэтичность, построенная на честном и правильном расположении одного верного, нелживого слова рядом с другим, — все эти особенности писательской манеры Довлатова вынуждают меня вспомнить поэта, которого вовсе не вспоминают в связи с Довлатовым. Бориса Слуцкого. Между тем имеются параллели в текстах, которые позволяют говорить по крайней мере о «типологическом сходстве». Отчаянное заклинание бывшего военного дознавателя, политрука Слуцкого: «Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно, только погодя бывает тошно, если вспомнишь что-нибудь оплошно. Кто они, мои четыре пуда мяса, чтоб судить чужое мясо?» — словно бы претворилось в спокойное замечание для себя бывшего лагерного надзирателя Довлатова: «Легко не красть. Тем более — не убивать... Куда труднее — не судить... Подумаешь — не суди! А между тем «не суди» — это целая философия» («Соло на IBM»).

В отношении Довлатова к Слуцкому было и жесткое отталкивание, жестокая карикатура. В повести «Заповедник», где достается всей современной русской литературе, появляется и Борис Абрамович Слуцкий.

«Заповедник» — книга-оправдание: почему я уехал. Почему я, российский литератор, попытавшийся остаться здесь, «у Пушкина», «при Пушкине» (главный герой повести, alter ego автора, Борис Алиханов работает экскурсоводом в пушкинском заповеднике), все же уехал, «оторвался»... В этой книге-прощании — и оправдании — сформулированы тенденции и принципы одного из самых смешных (со времен Зощенко) российских писателей: «Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма... Я согласен, больную парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться

ее страданиями, выражать их эстетически — низость... Человек 20 лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторым основанием взялся за перо... Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку... Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело — слово». И Довлатов придирчиво осматривает «владения» современной литературы. 1) Беспардонные халтурщики. «У писателя Волина ты обнаружил: «...Мне стало предельно ясно...» И на той же странице: «...С беспредельной ясностью Ким ощутил...» Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки...» 2) «Деревенская проза». «...Раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем... Хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее в основе — безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?» 3) «Ленинградская школа». «Шел дождь, и я подумал: вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая «школа» есть сплошное описание дурной погоды. Весь «матовый блеск ее стиля» — асфальт после дождя...».

В этом «реестре» непременно должен был появиться и бывший майор, русский поэт, неустанно подчеркивающий свой российский патриотизм и свое еврейское происхождение, подтверждающий не раз и не два свою веру и верность. «В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура — творение *отставного майора* Гольдштейна. На медной табличке было указано: Гольдштейн *Абрам Саулович*. И далее в кавычках: «Россиянин». Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебристой гуашью» (курсив мой. — *Н. Е.*). Это жестоко и вряд ли справедливо. Это какой-то «кавалеровский» выкрик.

ДОВЛАТОВ И КАВАЛЕРОВ. Довлатов, его «лирический герой», очень походил на Кавалерова из «Зависти» Юрия Олеши[1]. Неприкаянный, нищий поэт, который вынужден кропать, правда, не: «В учрежденье шум и тарарам... машинистке Лизочке Каплан подарили барабан» — но: «Человек родился. Ежегодный праздник — День освобождения — широко отмечается в республике», — понятно, что это хуже. Маргинал, ненавидящий деловых, устроенных хозяев жизни и пошлость. Правда, ненависть свою Довлатов умело маскирует. Ее не сразу заметишь. В жизни он иногда срывался: «Пригласил (Довлатова) на вечеринку. Публика — технари, мышление — клишированное... Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился в обыденность... Можно представить себе, что, чуткий на всякую банальность и пошлость, Сергей Довлатов, слушая болтовню за столом, в какой-то момент с ужасом и изумлением про себя воскликнул: «Где я? И с кем я?!» — и в благородном порыве... назвал собравшихся «бухгалтерами», что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным» (Смирнов-Охтин И., «Сергей Довлатов — петербуржец» /«Звезда», 1994, № 3, стр. 135/).Слышите отчаянный вопль Кавалерова: «Колбасник! Колбасник!» — и еще (далеко не самое обидное): «Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клистир...» (Олеша, «Зависть»)? В своих рассказах Довлатов сдержаннее. Он начинает новеллу «Куртка Фернана Леже» словами: «Эта глава — рассказ о принце и нищем. В марте 41-го года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я...» — а затем описывает свою нелепую, неустроенную жизнь («диссидентствующий лирик») и правильную, обустроенную жизнь своего друга детства («преуспевающий физик»), завершает же главу таким пассажем: «У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических. *Какая разница?*» Тогда становится ясно, что «принц»-то как раз Довлатов: ему достается королевская мантия — «куртка Фернана Леже», великого художника, мечтавшего рисовать на стенах зданий и вагонов. Разве может сравниться с этим даром какое-то там «кандидатство» физических или физико-математических наук? Такой рассказ мог бы написать Кавалеров, если бы ему досталась... шляпа Артюра Рембо.

---

[1] Автор благодарит Ю. Б. Новогрудскую за это наблюдение.

«МОЙ СТАРШИЙ БРАТ», ИЛИ О ТАКТЕ. Мне хочется перейти еще к одному писателю, чье влияние на Довлатова почти не зафиксировано, никем не отмечено. У кого еще литература так «вытекала» прямо из жизни, из бытовых и литературных неурядиц? Кто еще умел мелкий житейский факт преобразовать в факт литературный, эстетический? У кого бормочущая домашняя записка, отрывок из дневника становились поэзией? Кто сделал свою частную жизнь литературой? «На полемике с дураком П. Б. С. я все-таки заработал 300 р. Это $^1/_3$ стоимости тетрадрахмы Антиоха VII Гриппа с Палладой Афиной в окружении фаллов...» Читателя вовсе не интересует с а м а полемика, его восхищает эта запись как таковая. Здесь журнальная брань измеряется тетрадрахмами, так что кажется — в окошко редакционной конторы заглядывает сама Афина Паллада... Розанов? Довлатов всего один раз упомянул этого писателя, но зато в каком контексте! В главе о своей тетке Маре, корректоре и редакторе, он рассуждает о ненужности корректорской и редакторской правки, перечисляет «ошибки» дорогих для него писателей. Достоевский («рядом находился круглый стол овальной формы»), Гоголь («щекатурка»), Дюма («Три мушкетера», хотя их, безусловно, четыре) и, наконец, Розанов: «Как можно исправить у Розанова: «Мы ничего такого не плакали»?»

В русской литературе до сей поры, кажется, не было писателя, который мог бы вслед за Розановым произнести: «Я не такой подлец, чтобы рассуждать о морали» — и вслед за Слуцким проманифестировать: «Я был либералом, при этом гнилым, я был совершенно гнилым либералом, увертливо-скользким, как рыба налим, как город Нарым, обмороженно-вялым». Довлатов соединил две эти традиции: лепечущую, бормочущую домашнюю записку Розанова и четкую прозаическую черно-белую поэзию Слуцкого. Сделал он это на редкость тактично. Его вообще можно счесть одним из самых т а к т и ч н ы х писателей. Он умудряется начать рассказ о своем старшем брате экстравагантной, почти «олешинской» фразой: «Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером», а завершить его пронзительной лирической нотой: «В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться. Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград. И вдруг приходит посылка — оттуда. Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная майка с эмблемой олимпийских игр. И еще — тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции. Я задумался — что было у меня в жизни самого дорогого? И понял: четыре куска рафинада, японские сигареты «Хилайт», голубая фуфайка, да еще вот этот штопор». Эксцентрическая жестокая комедия («Время свидания истекло. Одного из зэков уводили почти насильно. Он вырывался и кричал: „Надька, сблядуешь — убью! Разыщу и покалечу, как мартышку... Это я гарантирую. И помни, сука, Вовик тебя любит"») становится признанием в любви старшему брату, его жизнелюбию, витальности...

Поначалу перед нами текст про хорошего скучного мальчика, про идеал, образец для подражания. «Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили — Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом... Боря стал победителем районной олимпиады... Боря вылечил раненого птенца... Боря собрал детекторный приемник (я до сих пор не знаю, что это такое)». Мы-то знаем: т а к и х мальчиков просто не существует. «И вдруг произошло нечто фантастическое. Не поддающееся описанию... У меня буквально не хватает слов... Короче, мой брат помочился на директора школы». А это уже ситуация из разоблачительного фельетона про то, как под маской хорошего мальчика скрывается злобный хулиган и пакостник. «Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Кто-то сказал... «Легавый пошел»... (Легавым звали директора школы — Чеботарева). Далее — мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию (вспомните — День физкультурника! — *Н. Е.*). И окатил Чеботарева с ног до головы...» Координаты сдвинуты. То, за что полагается хвалить и награждать, — скука смертная и неприличная ложь, зато достойный наказания поступок выглядит «исполненным (как написали бы в XIX веке) дикой поэзии».

Но главную эскападу Довлатов приберегает напоследок — и из текста про приличного мальчика (пародии на скучные советские книжки), из фельетона про

двурушника, прячущего свое истинное лицо, из восхищенного рассказа о нарушителе всех и всяческих запретов, сохраняющем ясную голову и знание необходимых приличий («попросил девчонок отвернуться... Умело вычислил траекторию»), вырабатывается едва ли не толстовское «срывание всех и всяческих масок»: «Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой: «Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..» В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель...» Это «а ведь кто бы мог подумать» особенно великолепно. Напомню: абзацем выше Довлатов почти незаметно, тактично предуведомил: «Легавым звали директора школы — Чеботарева». Довлатов слышит такт, ритм фразы так же безошибочно, как и такт, ритм человеческих отношений. Он рассказывает о своих приятелях чудовищные истории, не обижая их.

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ. Впрочем, здесь не один только «такт». Ленинградская полуподпольная богема не могла не почувствовать, что Довлатов — ее летописец. Нелепые Эрик Буш и Юра Шлиппенбах, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, поэты Анатолий Найман и Евгений Рейн, критик Андрей Арьев — вся довлатовская компания, все «наши», помимо их личных, индивидуальных особенностей увековечены в прозе Довлатова. «За наши судьбы (личные), за нашу славу (общую)!»

Редко какому писателю удавалось стать таким откровенным ангажированным певцом своего поколения, своего социального слоя, как это удалось Сергею Довлатову. Улица Рубинштейна, Фонтанка, Пять углов — уже «зафиксированы», остановлены во времени, как Егупец Шолом-Алейхема или Макондо Маркеса.

Это тем более любопытно, что мир Довлатова умер. Это был особый, особенный мир, о котором один циник говорил: «Жили как с перешибленным хребтом», а другой циник свидетельствовал: «Тот, кто не жил перед революцией, тот не знает, что такое счастье».

Мир Довлатова — мир кануна революции, когда все стены кажутся незыблемо прочными, а на деле они — трухлявы. Ткни — рассыплются.

Это мир Швейка. Он на редкость добродушен, этот мир. Циничен, лжив, ленив, но... добродушен. Майор КГБ Беляев, допрашивающий «диссидентствующего лирика» Бориса Алиханова, жандарм, чекист, гестаповец, оказывается таким же обормотом, пьяным и добродушным, как и допрашиваемый, что и позволяет Довлатову резюмировать: «...мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда...»

«Майор Беляев... покосился на дверь и вытащил стаканы: „Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно... если в меру..." Водка у него была теплая. Закусили мы печеньем „Новость"... Он повернулся ко мне: „...вот, например, проблема сельского хозяйства. Допустим, можно взять и отменить колхозы. Раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят ли они эту землю получить?.. Да на хрена им эта блядская земля?! ...Желаешь знать, откуда придет хана советской власти? Я тебе скажу. Хана придет от водки"... Мы снова выпили. „Идите", — перешел на „вы" майор. „Спасибо", — говорю... Беляев усмехнулся: „Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне". Уже в дверях он шепотом прибавил: „И еще, как говорится — не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой — и привет... У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят"».

Е. А. Тудоровская сравнивает эту сцену со сценой допроса советника Попова в сатирической поэме А. К. Толстого «Сон Попова» (Тудоровская Е. А., «Путеводитель по „Заповеднику"» /«Звезда», 1994, № 3, стр. 197—198/). Но мне это гораздо больше напоминает допрос Швейка жандармским вахмистром Фланеркой. У А. К. Толстого равно отвратительны и жандарм, и советник Попов. У Довлатова равно симпатичны и майор КГБ Беляев, и писатель Борис Алиханов. Два пьяных обормота, на фиг пославшие всякую идеологию и разговаривающие друг с другом по-человечески. На самом деле то был короткий миг, когда Вчера ушло, а Завтра еще не настало. Поэтому сейчас рассказы Довлатова читаются как истори-

ческие рассказы о прошлом, ибо мир его, мир обаятельных смешных чудаков, лентяев, пройдох, безобидных циников, пьяниц, — этот мир исчез. «Лишние», любимые герои Довлатова, нашли себе ниши. Лев Лосев пишет: «В России Довлатова «открыли» и государственные, и «неформальные» издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его *напугали:* «Звонит мне один, говорит: издам в течение двух месяцев, тираж триста тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь? А он говорит: а что продавать (в голосе Довлатова звучит восторженная интонация) — дам глухонемым по трешке, поставлю возле метро, и будут продавать» (Лосев Л., «Русский писатель Сергей Довлатов»). Это Довлатова-то напугали лихие парни, готовые заработать на его книжках? Довлатова, описавшего фарцовщиков Фреда и Рымаря и их грандиозно провалившуюся операцию с финскими креповыми носками?

Довлатову было чего испугаться. «Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин. Кричит: где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?» Это не реплики из современных фильмов режиссера Говорухина — это режиссер Шлиппенбах объясняет Довлатову замысел своего будущего фильма. Пока нищий неприкаянный парень бродит по питерским улицам с вышитым на сумке двуглавым орлом, поет в церковном хоре, объезжает лошадей, ошивается на кино- и телестудиях, он прекрасен как «лишний», как неудачник и маргинал. И мороз продирает по коже, когда этот «лишний» приступает к серьезной, «необходимой» политике. Социологи еще объяснят парадокс кануна революций. Мир нелепый, лживый, эксцентричный, но человечный, мир стен, только кажущихся мощными, рушится в одночасье — и прямо на глазах начинает формироваться совсем иной мир, начинают возводиться иные, вовсе не трухлявые стены. Присмотритесь, прислушайтесь к тем, кто нас пугает, послушайте их речи с легким налетом безумия — и признайтесь... да это же герои Довлатова, люмпены, чудаки, нелепые истеричные антикоммунисты, такие симпатичные в новеллах Довлатова, такие разрушительные в действительности. «Милота» «лишних» вмиг улетучивается, когда «лишний» может взять в руки булыжник или гранатомет.

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ. Довлатов и сам чувствовал, что мир его умер. Для нового мира Довлатову не хватало слов. «Иностранка» — прелестная кукольная комедия, почти диснеевский мультфильм. «Филиал» — печальное воспоминание о юности, о 60-х... книга о прошлом.

Довлатов впрямую сказал о подступающей «немоте паучьей», только никто не обратил на это внимания, поскольку Довлатов как никто умел скрывать «трагедии», выговаривать их между делом: «Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, я бы, наверное, прекратил журналистскую деятельность. Но с другой стороны, если бы я заработал огромные деньги, я бы литературную деятельность тоже прекратил. Я бы прекратил всяческое творчество. Я бы лежал на диване, создавал какие-то организации, объездил весь мир, помогал бы всем материально, что, между прочим, доставляет мне массу радости... Раньше я к ней (литературной деятельности. — *Н. Е.*) относился с чрезмерной серьезностью, считал, что это моя жизнь. Всем остальным можно было пренебречь, можно было разрушить семью, отношения с людьми, быть неверующим, допускать какие-то изъяны в репутации, но быть писателем. Это было все. Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья... Это оказалось самым важным». А ведь в «Зоне» Довлатов описывал, как литература спасает, становится важнее, чем жизнь; жестокий мир концлагеря отступает, отваливается от человека, поскольку его (этот мир) можно запомнить и описать, можно заковать в слова.

Довлатов — классик, не современный писатель, хотя «современность» его умерла буквально на наших глазах. Его проза — не актуальна, она — сентиментальна и ностальгична. Поэтому так печальны его последние рассказы («Встретились, поговорили», «Ариэль», «Игрушка»). Поэтому так часты повторения в его текстах. Довлатов повторялся и раньше, но то были особые повторы, так сказать, джазовые импровизации на темы жизни. Жизнь для Довлатова была роман, стихотворение, новелла. И сам он в жизни — «лирический герой» стихотворения,

главный герой романа: сначала Борис Алиханов, alter ego, а позднее (к чему это ненужное кокетство?) — «я-сам», Сергей Довлатов. Один и тот же жизненный факт он трижды пересказывает по-новому. Он словно бы откровенно демонстрирует читателям, как это делается, как жизненный факт становится фактом литературным. «Поплиновая рубашка» в «Чемодане», фрагмент из «Заповедника», глава в повести «Наши» — три версии одного и того же события: второй женитьбы писателя Сергея Довлатова. Начало новеллы «Финские креповые носки», описание любви Маруси Татарович и Цехновницера в «Иностранке», повесть «Филиал» — три версии другого события: первой любви писателя Сергея Довлатова. Довлатов как бы говорит: знаете, как получается эпос? как вырастают стихи и рассказы? Вот, глядите: характер жены — невозмутимое спокойствие, основательность, верность; характер первой любимой женщины — ветреность, особая женская (и потому извинительная) безответственность, неверность; характер главного героя остается неизменным; чуть-чуть изменяются фабула, сюжет, привходящие обстоятельства. Жизнь не более чем материал для литературы, необработанное сырье, хаос, которые следует преобразовать во вселенную искусства. Сейчас, когда опубликованы воспоминания друзей Довлатова, становится видно, как Довлатов извлекал сюжеты из жизни, «провоцировал» жизнь на создание «сюжетов». С. Пуринсон вспоминает ночную поездку в такси вместе с Довлатовым. Довлатов рассказывает шоферу длинную историю. Вот ее финал: «Встретил я его некоторое время спустя... Во Дворце работников искусств, в ресторане встретил. Подсел я к нему, поговорили немного, а потом я говорю: «Отдай мои сорок рублей». — «Какие сорок рублей?.. не брал я их у тебя взаймы... ты мне просто всучил их, и ничего я тебе отдавать не собираюсь». Шоферу не терпелось узнать конец истории. «Ну и что вы сделали?» Сергей помолчал немного и глухим печальным басом кратко ответил: «Я его убил». Руль в руках шофера дернулся, голова вжалась в плечи... машина заметно прибавила скорость... Когда «Победа» остановилась у дома на улице Рубинштейна и пассажиры вышли, писатель достал из кармана трешку и протянул ее шоферу... «Ничего не надо, ничего не надо», — торопливо пробормотал водитель, и машина, боком рванув с места, уехала» (Пуринсон С., «Убийца» /«Звезда», 1994, № 3/). Это готовый сюжет, и Довлатов не использовал его, кажется, только потому, что не хотел повторяться. Чехов уже написал рассказ с подобным сюжетом — «Пересолил». Довлатов не «отражает» мир в своих рассказах, а каждый раз как бы творит его заново, из «старых» материалов. О главном герое «Зоны» ни за что не скажешь, что где-то в Ленинграде у него есть девушка, в которую он безнадежно влюблен, и что эта любовь — стержень его существования. Главное в «Зоне» — зона, концлагерные отношения, причудливые, яркие характеры заключенных и охранников, все остальное — побоку... О главном герое «Филиала», писателе-эмигранте, вспоминающем в Лос-Анджелесе свою ленинградскую юность и юношескую любовь, не скажешь, что служил он, оторванный от своей беспутной Таси, в «зоне», в лагере. Главное в «Филиале» — юношеская любовь автора и удивительный характер Таси. Этот характер столь же удивителен, сколь и характер другой любимой довлатовской женщины. Наверное, еще и поэтому он трижды пересказывает истории своей второй женитьбы й первой любви. Он словно прикидывает, какой сюжет больше подойдет для этих женщин... Так Пруст подбирал наряды для своей Альбертины.

ЛИШНЕЕ И НЕОБХОДИМОЕ: «СТАРЫЙ ПЕТУХ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ГЛИНЕ». Лев Лосев замечает, что Довлатов знал секрет, как писать интересно. Причем секрет этот (я продолжу мысль Л. Лосева) заключался не в фабуле, а в самом языке произведения, в интонации рассказчика, в ритме повествования. В этом смысле Довлатова можно считать верным русской литературной традиции, ибо никакая другая литература не отвращалась так от острого сюжета, как русская реалистическая литература. Хотя полностью отлучить Довлатова от того, что Лосев в своей замечательной статье назвал «авангардизмом», вряд ли удастся. Овладевший секретом, как писать интересно поверх фабулы, помимо сюжета, Довлатов знал и еще кое-какие секреты. «...Авангардисты, — презрительно замечает Лосев, — прибегают к трюкам... Те, кто поначитанней, посмышленее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа...» Так и Довлатов делает это, но умело, почти незаметно.

В «Филиале» Довлатов вспоминает, как ездил купаться с любимой девушкой на ленинградское взморье: «Напротив расположился мужчина с гончим псом. Он успокаивал собаку, что-то говорил ей. За моей спиной шептались девушки. Одна из них громко спрашивала: «Да, Лида?» И они начинали смеяться». Услышали? Распознали «каркас древнего мифа»? Огромный мужчина, великан, богатырь, полюбивший ветреную женщину, ради нее поломавший свою жизнь, — Самсон? Дали-да? Услышали? И если услышали, то можете если не засмеяться, то хотя бы улыбнуться. В «Филиале» Довлатов пересказывает один из вариантов мифа о Самсоне и подсказывает читателю: «„...Да, Лида?" И они начали смеяться...»

В последнем своем рассказе «Старый петух, запеченный в глине» Довлатов на «каркас» классической истории о короле Лире «натягивает» современную фантасмагорическую историю о непредсказуемости судьбы («пока жареный петух в зад не клюнет» — эпиграф, который напрашивается из заглавия и содержания рассказа). Эта новелла кажется мне столь значимой для Довлатова, а история короля Лира так изящно вмонтирована в ее текст, что я позволю себе остановиться на последнем рассказе Довлатова подольше. В нем писатель еще раз сформулировал для себя что-то очень важное, сюжето- и смыслообразующее. Правда, важное это обозначено словом «лишнее». Итак, пожилому писателю-эмигранту в четыре утра звонят из полицейского участка. Мистер Страхуил просит внести за него «выкуп». «„Кто?" — не понял я. „Мистер Страхуил", — еще раз, более отчетливо выговорил полицейский. И тут же донеслась российская скороговорка: „Я дико извиняюсь, гражданин начальник. Страхуил вас беспокоит. Не помните? Восемьдесят девятая статья, часть первая. Без применения технических средств... Шестой лагпункт, двенадцатая бригада, расконвоированный по кличке Страхуил"».

Что ж, бывший лагерный надзиратель, ныне писатель-эмигрант, выручает из американской каталажки бывшего советского, ныне американского уголовника. «Страхуил нетерпеливо приподнялся: „Я на минуту отлучусь. Надо заправиться... Магазин за углом". — „...Это лишнее". — „Лишнее? — приподнял брови Страхуил. — Все у тебя лишнее, начальник! Кто знает, что в жизни главное, что *лишнее*. Вот я расскажу тебе историю про одного мужика. Был он *королем* шмона на Лиговке. И его наконец повязали. Оттягивает *король* что положено, возвращается домой. А у него *три дочери* в большом порядке. Упакованы, как сестры Федоровы. Старшая ему и говорит: „Батя, живи у меня... Вот тебе койка. Вот тебе любая бацилла из холодильника: колбаска, шпроты, разные ессентуки..."» (курсив мой. — *Н. Е.*).

Не правда ли, очень похоже на спародированного «Короля Лира», только не совсем понятно, для чего понадобилось Довлатову в рассказ о фантастической встрече бывшего заключенного и бывшего надзирателя вставлять эту историю. Рассказ Страхуила прерывается (как положено) на самом интересном месте. Писатель думает: «Господи, да я и без него все помнил. Прожитая жизнь только кажется бесконечной, воспоминания длятся одну секунду. Конечно, я все помнил». В бытность свою надзирателем он позволил расконвоированному Страхуилу и его приятелю поймать и испечь петуха. «Зеки вырыли ямку. Ощипывать петуха не стали. Просто вымазали его глиной и забросали сучьями. А сверху разожгли костер. Так он и спекся». Правда, за портвейном в поселок надзиратель зека не отпустил. «Это — *лишнее*... Это — *лишний* разговор». Зек презрительно оглядел меня и спрашивает: «Хочешь, расскажу тебе историю про одного старого шмаровоза?.. Был он *королем* у себя на Лиговке, и вот его повязали. Оттянул *король* пятерку, возвращается домой. А у него *три дочери* живут отдельно, чуть ли не за космонавтов вышедши. Старшая дочь говорит: «Живи у меня, батя. Будет тебе пайка клевая, одежа, телевизор...» *Король* ей: «Телевизора мне не хватало! Я хочу портвейна, и желательно «Таврического»!» А дочка ему: «Портвейн — это *лишнее*, батя!» Тут он расстроился, поехал к другой. Средняя дочь говорит: «Вот тебе раскладушка, журнал «Огонек», папиросы...» Тут я перебил его...»

Когда та же самая история «про короля Лира с Лиговки» повторяется в *третий раз*, в совершенно изменившихся обстоятельствах — теперь уже бывший надзиратель сам оказывается в тюрьме и чуть ли не под началом у Страхуила, — становится понятно, что эта история — ось всего рассказа, а стержень этой истории — слово «лишнее». «Едет тот пахан в законе к младшей дочери. Она ему: „Располагайся, батя! Вот тебе диван, места общего пользования, напротив — красный уголок".

Король ей говорит: „Не хочу я ессентуков, раскладушек и вашего общего пользования! Хочу портвейна белого, желательно „Таврического", ясно?!" А шкура в ответ: „Это, мол, лишнее!" Он ей внушает: *„Да лишнего-то мне как раз и надо, суки вы позорные!"*» Я выделил эту фразу, ибо это измененная, сниженная цитата из «Короля Лира»: «Сведи к необходимостям всю жизнь — и человек сравняется с животным» — мораль (если так можно выразиться) этого рассказа, а может быть, и всего творчества Довлатова. «Лишнее»-то и есть свобода. Преодоление необходимого — вот что такое «лишнее». По сути дела, все герои Довлатова и сам он взыскуют как раз «лишнего», не необходимого. Ибо они сами «лишние» и в «лишнем» поступке видят свободу, творчество, искусство. И объясняют свои «лишние», дикие поступки герои Довлатова почти одинаково. Старший брат (обгадивший директора школы): «Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев Легавого, я понял — сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать!» Эрик Буш (ногой выбивший поднос из рук жены редактора): «Пойми, старик! В редакции — одни шакалы... Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух... Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного — лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял — наступила ответственная минута. Сейчас решится, кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают остальные? Тогда я встал и пошел...»

ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ. «ЧЕМОДАН» И ЕГО КОНСТРУКЦИЯ. Повесть «Чемодан», в отличие от лирических, чуть ли не чеховских «Зоны», «Заповедника», «Филиала», едва ли не конструктивистское произведение. Недаром центром повести является глава «Куртка Фернана Леже». Куртка художника-конструктивиста, доставшаяся Довлатову, поминается и в другом рассказе цикла — так, что становится ясно, что такое для Довлатова эта куртка: «...Редактор... жаловался: „Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака". — „Я был в куртке". — *„На вас была какая-то старая ряса".* — „Эта не ряса. Это заграничная куртка. И, кстати, подарок Леже"». Именно так. «Ряса», знак принадлежности к высокому братству художников и поэтов. «Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели. Пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски... Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные». Но это — знак чистоты, а не грязи! Знак силы, а не слабости. Перепачканная в краске куртка оказывается даром, которым стоит гордиться, «приличный двубортный костюм» — подарком, которого приходится стыдиться. «Майор... спросил: „Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня?" — „Вроде бы, — говорю, — должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел... У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда..." — „Почему же у вас нет костюма?.. Вы же работник солидной газеты"... Тут вмешался редактор: „Я хочу раскрыть... маленькую тайну.: Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать"».

Кажется, все новеллы цикла «Чемодан» «рифмуются» подобным образом. «Приличный двубортный костюм» (мерзость, грязь, подарок КГБ) уравновешивается «Курткой Фернана Леже» (искусством, творчеством). Украденные у мэра Ленинграда «Номенклатурные полуботинки» «рифмуются» с отнятой у прохожего «Зимней шапкой». «Креповые финские носки», доставшиеся главному герою в результате неудачно проведенной «фарцовщицкой» операции, — и «Шоферские перчатки», оказавшиеся у Довлатова в результате неудачной съемки фильма про царя Петра, — тоже своего рода «рифма», ибо фарцовщики, как и Петр Первый, — ребята, рвущиеся на Запад, в Европу, распахивающие в мир если не окна, то по крайней мере форточки. Даже рассказ «Офицерский ремень» и тот соотносится с новеллой «Зимняя шапка». В «Офицерском ремне» главного героя оглоушивают бляхой с напайкой, в «Зимней шапке» — тяжелым «скороходовским» ботинком. И

только «Поплиновая рубашка» остается без пары, без «рифмы». Оно и понятно, ибо речь здесь идет о любви, единственной и неповторимой, о верности и судьбе, какие же тут «повторы» и «рифмы»?

Я полагаю, что «Чемодан» если не вершина творчества Довлатова, то по крайней мере произведение наиболее довлатовское. Это — чистая литература, беспримесная, аскетичная, упакованная как в «чемодан». Один раз у Довлатова уже мелькала такая скрытая «нисходящая» метафора: литература — «чемодан». В главе «Судьба» из повести «Ремесло» Довлатов описывает свою встречу (реальную или выдуманную) с Андреем Платоновым в Уфе в октябре сорок первого года: «Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе... Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями... Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, что там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал».

В «Чемодане» этот образ реализуется, метафора используется до конца. Чемодан жалких шмоток, которые писатель увозит с собой за границу, оказывается набит «драгоценностями». Вся жизнь уложена, упакована в этот «чемодан». Писатель увозит с собой свою Россию. Нелепый, почти шутовской, маскарадный гардероб: «финские креповые носки», «номенклатурные полуботинки», «приличный двубортный костюм», «офицерский ремень», «куртка Фернана Леже», «поплиновая рубашка», «зимняя шапка», «шоферские перчатки» (человек одет, экипирован как надо с ног до головы) — превращается в сборник прекрасных новелл, в одно из самых удивительных прощаний с родиной, какое мне доводилось читать. Мало у кого я встречал такое сочетание буффонады и щемящей жалости, печали. Я имею в виду финальную сцену рассказа «Шоферские перчатки». Рассказ этот рискует оказаться классикой, и все же я напомню его сюжет. Режиссер Юрий Шлиппенбах собирается снять фильм о Петре Первом, оказавшемся в (для нас уже историческом) Ленинграде. В роли царя Петра Шлиппенбах снимает Довлатова. Довлатов, обряженный в костюм Петра, подходит к пивному ларьку. И тут в смешной рассказ врывается печальная, странная лиричность: «Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново? Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям — измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?» А после — вновь бурлеск, который никакой не бурлеск — обычная нормальная жизнь: «Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили... Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу — железнодорожник кому-то объясняет: „Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем"». Мир настолько нелеп, что появление царя Петра в очереди за пивом никого не удивляет. Ну, царь и царь, что тут такого? Вот если без очереди лезет, да еще с кинокамерой... «Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным: „Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем — его дружок. Так что все законно"».

В этой новелле, кроме спокойного абсурда жизни, есть еще один, чуть насмешливый, чуть ироничный план... Ну а где же еще и быть царю Петру, революционеру на троне, бомбардиру, плотнику, зубодеру и прочая, прочая, как не среди плебса, простонародья, как не среди подонков? «Передо мной стоял человек... в железнодорожной гимнастерке. Левее — оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня... прикуривал интеллигент». Компания как раз для Петра Великого. «Все... Романовы... якобинцы и уравнители» (Пушкин). Потому-то забавно-символически выглядит последний диалог Юрия Шлиппенбаха и Довлатова. Особого «антагонизма» у «народных масс» царь Петр не вызвал, зато «человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство... Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными: «Ходят тут всякие сатирики...» — «Сфотографируют тебя, а потом — на доску... В смысле — «Они мешают нам жить»...» — «Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он там тюльку гонит...» — «Такому бармалею место у параши...» Энергия толпы рвалась наружу»

Юрий Шлиппенбах потерпел поражение, зато царь Петр одержал очередную победу: оказался соприроден очереди алкашей у пивного ларька, воистину «народен». «...Шлиппенбах говорил: «Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что-то вроде...» — «Полтавской битвы», — закончил я». Рассказ, начавшийся с пушкинской цитаты: «Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. „Полтава" была заложена конфетной оберткой. „Читайте", — нервно говорил Шлиппенбах. И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал: „Пальбой отбитые дружины, / Мешаясь, катятся во прах. / Уходит Розен сквозь теснины, / Сдается пылкий Шлиппенбах..."» — и должен был кончиться чем-то вроде «Полтавской битвы».

В «Чемодане» Довлатов полностью освободился от «литературности», описательности. Остался человеческий голос, рассказывающий истории. И только. Кажется, Солоухин писал, что лучше сырых рыжиков с солью он не ел блюда. Рассказы цикла «Чемодан» и есть такие «рыжики с солью». Чистый продукт. Можно было бы написать целую историю сказа в русской литературе — от «Левши» Лескова до «Чемодана» Довлатова. Как постепенно «сказитель» приближается к читателю, едва ли не сливается с ним. Лесковский «выдумщик и языкотворец», зощенковский «полудурок», платоновский «юродивый» и, наконец, советский «люмпен-интеллигент», такой же, как мы... Но попытайтесь пересказать новеллу Довлатова — и вы убедитесь, насколько это трудно, насколько обманчива иллюзия простого, примитивного, «неокрашенного» языка.

Этот «неокрашенный», «усредненный» язык — результат довольно любопытной эволюции. Довлатов скорее соединяющий, чем разрывающий разные линии литературного развития писатель, вот почему так интересно посмотреть его литературную «родословную». У Довлатова не отвержение русской традиции, а парадоксальное ее соединение с традицией американской. Рассказы Довлатова — это спираль и реторта литературного эксперимента, в результате которого появляется продукция массового потребления. Учителем Довлатова был Меттер, объясняющий: «Не думайте о «проходимости» своих рассказов. Запомните: напечататься — не главное. Главное — хорошо написать». Это пусть и вынужденная, но элитарная, эстетская позиция. И Довлатов — эстет, не позволяющий себе ни одной неотделанной, необработанной фразы. И. Соловьева написала о первых рассказах Довлатова, присланных в «Новый мир»: «...на рассказах Довлатова лежит особый узнаваемый лоск „прозы для своих"». Нам, прочитавшим «Иностранку» и «Чемодан», кажется странным это определение. Пройдя искус эстетизма, Довлатов оказался перед необходимостью масскульта. Ибо — Америка, рынок... «Ты — дерьмо, а не писатель, если ты пишешь неинтересно и тебя не печатают». Довлатов смог стать эстетским и одновременно массовым, демократическим писателем. Он бы не стал гордиться, подобно Вл. Сорокину, тем, что наборщики отказались работать с его книгой; напротив, подобно Гоголю, он бы гордился тем, что наборщики хохотали над его книгой. Вообразите себе Оскара Уайльда, научившегося писать, как О. Генри, Пруста, захотевшего, чтобы его «Поиски утраченного времени» читались в трамвае.

Довлатов соединяет разнородные вещи. Бориса Житкова и Франца Кафку, например. Ибо первое, что приходит на ум, когда думаешь о традиции, в которой сформировался Сергей Довлатов, — это советская детская литература. Он сам, будто посмеиваясь, подсказывает нам своих предшественников. «Воспоминания, которые следовало бы назвать — „От Маркса к Бродскому". Или, допустим, — „Что я нажил". Или, скажем, просто — „Чемодан"». «Что я нажил» — это ведь перифраза названий циклов Житкова «Что бывало» и «Что я видел». Прежде в «детскую наивность» уходили от «взрослой лжи». Пользуясь умолчаниями (ведь пишу для маленьких!), говорили о чем-то таком, в чем не рисковали признаться самим себе (см. анализ «Судьбы барабанщика» в статье М. Чудаковой «Сквозь звезды к терниям»). Довлатов поступал наоборот. «Детской наивностью» разрушал «взрослую ложь». Приемами детской литературы Довлатов пользовался не для того, чтобы что-то скрыть, а напротив — сказать все до конца, поставить все точки над «и». «Для себя» обэриуты писали мрачные, абсурдистские, жестокие произведения. В литературе для детей мрачный абсурд обэриутов, их кафкианский ужас перед жизнью превращались в прелестную добрую нелепицу. Довлатов умудрился соеди-

нить мрачные вещи обэриутов «для себя» с их светлыми, смешными вещами «для детей». Герой Довлатова — не то господин К., над коим зависло копыто государства, не то бывалый человек из «Что я видел».

ДОВЛАТОВ И ШАЛАМОВ. Не менее интересным кажется «примирение» в рассказах Довлатова «юго-западной школы», пышной, метафоричной, барочной, с суховатой сдержанностью, интеллигентностью ленинградской прозы. Довлатов освобождался от влияния «юго-западной школы». Еще в «Зоне» он мог позволить себе шикарный бабелевский жест: «В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемыми коридорами». Уже в «Компромиссе» таких «вызовов на ринг» классиков он не устраивает. Подобно Шаламову он мог бы сказать о себе: «В бабелевской «Конармии» я вычеркивал все пышные прилагательные. Рассказы продолжали жить и без «девушек, похожих на ботфорты», «пожаров, горящих, как воскресенье»...» Кажется, что Довлатов подобным образом вычеркнул из знаменитого хлебниковского «Зверинца» все многословие, весь водопад метафор сдавил в ровное русло нескольких образов. Из пятистраничной поэмы получается страничка в повести «Филиал». «Где носорог носит в белокрасных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный». Это — Хлебников. «Уссурийский тигр был приукрашенной копией Сталина». Это — Довлатов. Он снижает метафоры, «очеловечивает» их. «Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты, с движением человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья». «Мы остановились перед стеклянным ящиком, в котором шевелился аллигатор. Хищный зверь казался маленьким и безобидным, слóвно огурец в рассоле. Его хотелось показать дерматологу». Довлатовское описание можно было бы счесть даже пародией на Хлебникова, если бы не почти хлебниковские сравнения: «Цесарки разноцветным оперением напоминали деревенских старух... «Павлин!» — воскликнула Тася. Загадочная птица медленно и осторожно ступала тонкими лапами. Хвост ее расстилался, как усеянное звездами небо». Был еще писатель, выросший в преодолении «юго-западной школы», писатель, чьи рассуждения кажутся порой удивительно сходственными с рассказами Довлатова. Шаламов... «Три странички на машинке — много, — рассуждал я тогда... — Идеалом считался двухстрочный рассказ: «Привидений не бывает». — «Разве?» — сказал мой сосед и исчез. Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное — деталь или подробность, описанная ярко. Проза будущего — проза бывалых людей...» Писатель «не Орфей, спускавшийся в ад», но «Плутон, поднявшийся из ада». Мне неизвестно, читал ли бывший надзиратель эти литературоведческие (или этико-эстетические) рассуждения-рекомендации бывшего зека, но вольно или невольно следовал им неукоснительно. Отказывался от витиеватостей, зато запоминал детали, яркие, не требующие пояснений детали, которые писатель должен запомнить, даже если он едет на велосипеде с похмелья на допрос в КГБ: «Двери почтового отделения были распахнуты. Здесь же помещались кабины двух междугородных телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами, жестикулируя, выкрикивала: «Татуся, слышишь?! Ехать не советую... Погода на четыре с минусом. А главное, тут абсолютно нету мужиков... Многие девушки уезжают, так и не отдохнув». Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авторучку...»

«АНТИУЧИТЕЛЯ». Еще интереснее, чем «литературные учителя» Довлатова, его «литературные антиучителя» — те, у кого он учиться не намерен и чей опыт для него целиком отрицателен.

При всем своем внимании к цитатам и аллюзиям Довлатов, например, в повести «Наши» никак не обыграл фамилию своего деда, еврея из Владивостока Исаака Мечика. Довлатов просто не замечает эту литературу. А если и замечает, то только для того, чтобы пренебрежительно обронить: «Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. *Иначе все будет слишком уж литературно. Как в «Донских рассказах» Шолохова».*

Один раз Довлатов перечисляет писателей, чей опыт его вдохновляет «наоборот»: «Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров — Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер». Но это ни в коем случае не кумиры Довлатова. Краткость для него не только свидетельство таланта, но и свидетельство уважения к читателю: «Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек: «Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?» — «Да, — говорю, — однако сам еще не прочел». — «Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю». Я дал. Затем подходит Горышин. Затем... Раевский... Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три. Я стал его читать. Страницы (после девятой) были не разрезаны. Трудная книга. Но хорошая. Говорят» («Соло на ундервуде»).

В «Записных книжках» Довлатова есть наблюдение, а может быть, и правило, которому он следовал: «Самые яркие персонажи в литературе — неудавшиеся отрицательные герои (Митя Карамазов). Самые тусклые — неудавшиеся положительные (Олег Кошевой)». У Довлатова вроде бы и нет отрицательных. Все люди — люди, и он, человек, не берется судить людей. Напротив, он о б л а г о р а ж и в а е т людей своим искусством. Довлатов в большей мере «лакировщик действительности», чем это принято считать. («Следующие два фрагмента имеют отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров — тупое и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным...» /«Зона»/). Тем более интересно появление отрицательного персонажа у Довлатова, безжалостный «литературоведческий» памфлет. Я имею в виду одну из последних статей С. Довлатова «С кем воюет Юрий Бондарев», в которой писатель формулирует то, от чего сам освобождался, описывает собственные «муки немоты», собственные поиски единственно верного слова: «Я понял, с кем воюет Юрий Бондарев — не с евреями, империалистами, стилягами или наркоманами: Юрий Бондарев воюет с русским языком, он, как всякий... писатель, борется со словом, преодолевая слово, пытается выразить этими непослушными, коварными, ускользающими от него словами — не важно что, лишь бы справиться с этим наваждением, с этой морокой, с этой одержимостью, только бы не сгинуть окончательно под нагромождением тяжелых, упрямых, безжалостных слов, только бы не сдаться, не капитулировать под натиском такого знакомого, такого любимого, такого трудного, такого недоступного ему русского языка!»

Мне кажется это симптоматичным: в своем литературном (да и политическом) враге Довлатов узнает самого себя. Недаром вольно или невольно он цитирует те именно громоздкие, неудобоваримые пассажи Ю. Бондарева, каковые кажутся просто отрывками из не слишком удачной рецензии на его, довлатовские, произведения: «Ничтожные ценности мелкого быта, натуралистические подробности, комья грязного белья вместе с интимными предметами туалета и немытыми тарелками возведены на пьедестал, как сама реальная реальность жизни, как глубина познания, как ужас бытия...» Довлатов пародирует этакое скопление красивых слов. Демонстрирует свое умение выстраивать длиннющие периоды не хуже, чем Бондарев: «Тогда Юрий Бондарев начал работать над словом, варьировать слова, нагромождать их друг на друга, со скрежетом и грохотом выстраивать из этих слов цепочки фраз, иногда падать ниц под грузом этих слов, вновь подниматься, ронять эти слова, подобно кирпичам, на свои израненные ноги, рыдать в бессилии и снова браться за работу...» Но в этой насмешке, в этой пародии мне слышится признание родства, близости всех, кто так или иначе пытается справиться не с миром, но со словом, с языком, с речью...

С.-Петербург.

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

АРХИВИСТЫ И НОВАТОРЫ

Der Zeitgeist

Приятель — спасибо ему, благодетелю, — одарил меня первым томом сочинений Бергсона, изданным два года назад. «Многие метафизические трудности, — читаю, — зарождаются... из-за того, что мы смешиваем умозрения и практику...» Мысль автора «Материи и памяти» нам пригодится. Мы ведь и собираемся рассмотреть частный случай соотношения памяти и материи — книгу, смысло-образующие/разрушающие свойства ее структуры, воздействие филологической формы на художественное содержание... Спустя четыре страницы, при полной гармонии пагинации, вижу: «Солнце... озарило его бедра, поджатый живот и темный, налитый горячей кровью фаллос, торчащий из облака рыжих волос. Она испуганно содрогнулась...»

Сознаюсь — я тоже. И в содрогании этом был оттенок какого-то — садомазохистского? — удовольствия. Даже вот прозаичная книгопечатня, подумал я, а не только нынешняя филология, безмысленно подражает искусству, порождая такие как бы набоковские, как бы розановские куншткюки. Жаль, подосадовал (точней — *подесадовал*) я, столь образцово разительный экземпляр типографского дефекта, кентавр чистого бессознательного — храню его на почетнейшей полке библиотеки! — не попался в руки, ну, например, П. Басинскому, пожаловавшемуся недавно в «Литературке» на засилие этих *гад*ких, от слова «змий», обольстителей — Василия и Владимира[1]. Жаль, ибо, в отличие от целомудренного копейщика-рептилиеборца, винить этих несомненных властителей вкуса (лишь взгляните на их имена!) и угадчиков будущего в окружившем нас если и «литературном», то все равно — почти механическом — безобразии я не склонен.

«Вот-вот, банальный брак замечтавшейся переплетчицы», — скажете вы, заскучав.

Все же не соглашусь. Помесь интуитивизма с натурализмом, философского сочинения — с лоуренсовским хахалем леди Чаттерли, умозрения — с практикой представляется мне чуть ли не культурологическим символом нашего времени. Оно ведь — такое, хотим мы того или нет. И, будучи таким, стирающим ценности и вписывающим на их место принцип смешения и подмены, оно — не хуже, но, разумеется, и не лучше иных. А подброшенное газетной критикой напоминание о славных писателях прошлого, между прочим, и успокаивает: результат творчества, всегда хамелеонствующий под колорит эпохи, определяется, в конце концов, вовсе не этим колоритом.

Но и свойства времени нам интересны. Посмотрев в зеркало, мы решим: Бердяев, кажется, поторопился с провозглашением «нового средневековья». Возможно, в сфере реального делá обстоят как-то иначе, но в культурном сознании, с его постмодернистской индифферентностью и ленивой мечтой о рукотворном «конце истории», царит сегодня нечто напоминающее упоительно долгий закат эллинизма. Самое подходящее чтение нынче — Гиббон, его нескончаемая «История упадка и разрушения Римской империи». Самое утешительное занятие — слагать, по совету Верлена, акростихи забытья, выстраивать полые палиндромы регресса; и «Новое

---

[1] Павел Басинский, «Адъютанты их превосходительств» («Литературная газета», 16.12.93).

литературное обозрение» не так, может быть, и не право, предоставляя такого сорта стихосложению все остающееся после филологических изысканий место.

Подражая достойному подражанья «Минувшему», верней — творчески развивая традицию этого альманаха, старомодно и скромно державшегося еще в смысловых рамках собственного названия, мы, исследуя Лианозово, чертковский кружок, дерптскую летнюю школу структуралистов, не только занимаемся вивисекцией неостывшего вчерашнего дня, но и нетерпеливо стремимся расширить зону литературо*ведческой* культурной инициативы на день сегодняшний, переводя живых еще авторов, как завещал Барт, в разряд употребимых и «мертвых». Мы играем в научные публикации «неопубликованных» стихотворений здравствующего и дееспособного сочинителя[2] или — на манер эмигрантских изданий — сопровождаем текст сноской о том, что он печатается вопреки воле его создателя[3]. И правильно, ибо если история пресеклась, то мы уже просто живем в архиве — и, будучи, по сути, мертвы, вправе теперь заняться самоархеологией и автоархеографией. Архив этот, правда, малопривлекательно отдает жилконторой, но таков уж «der Zeitgeist» — дух времени, его сорный и соросный ветер, по которому важно держать нос.

Контаминируя Бродского и Галковского, можно сказать: настал «бесконечный конец перспективы».

Империя, и — шире — Атлантида атлантической цивилизации, длит свое, начатое, наверное на рубеже веков, умирание. Кесари сменились тетрархами. Вот-вот, мнится, явится василевс ромеев, и множественность поздних божеств претворится в осознанное — осмеливаюсь судить лишь об эстетике — триединство. Конечно же — классицистическое... Но все это — завтра. А сегодня, наоборот, рабы, превращающиеся в колонов, радостно переселяются из бараков «больших идей» в недорогие индивидуалистические домики одноэтажного мультикультурализма. В будущем их, поверьте, ждет не один крестовый поход, не одна война с сарацинами. Вернется, возможно, и знаемая из медиевистики набожная анонимность средневекового переписчика. Но сейчас, раскрыв выбранную наугад книгу, видишь диаметрально противное — воинственное самовыражение позднеримского компилятора, алчное вожделение заждавшегося наследника умирающей тетушки-цивилизации...

Вы вольны иронически усмехнуться — наше доморощенное, в духе эпохи, культурологизирование на большее и не претендует. Но не случайно, подозреваю, в «Литературных памятниках» (М. 1993) наконец напечатан Авсоний — поэт-книжник, поэт-филолог, словно изживший в себе античность «концептуалистским» и неулыбчиво-пародийным «Свадебным центоном», где все самое дорогое сердцу нормального классического латинянина превращено, попросту говоря, в ничто, в «дырку от бублика». Где уж до него Пригову и Кибирову!.. Недаром, думаю, переиздан Плутарх — героическое надгробие греко-римского самосознания. И недаром, добавлю, это переиздание отмечено смущающим знаком времени — незалатанною прорехой. Когда из преамбулы к примечаниям, принадлежащим перу Михаила Леоновича Гаспарова, узнаёшь: в книге «сохранено и послесловие патриарха нашей классической филологии С. И. Соболевского»[4], но не обнаруживаешь его, перелистав оба тома, вот тогда-то и понимаешь, в какие удивительные времена нам посчастливилось жить.

А живем мы в величественную эпоху полного краха, в эпоху праха и крох, в эпоху внезапно образующихся расщелин и незаметных глазу лакун, заполненных призраками, — в царстве еще не понятого «минус-приема», под сурдинку и без объяснений скрадывающего привычные детерминизмы реальности. Нас обступает пора оговорок и опечаток, распада коммуникаций смысла — на фоне невообразимого прежде расцвета формально-коммуникативных средств. Всякая появляющая-

---

[2] Файнерман М., «Из неопубликованного». Вступительная статья Б. Колымагина («Новое литературное обозрение», 1992, № 1).

[3] Речь идет о публикации стихов Ст. Красовицкого в подготовленных В. Кулаковым материалах «Мансарда окнами на запад — Москва, 50-е...» («Новое литературное обозрение», 1993, № 2) и «Отделение литературы от государства» («Новый мир», 1994, № 4).

[4] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-х тт. М. 1994, т. 1, стр. 654.

ся ценность, закаталогизированная в качестве единицы информации, бесследно тонет в разлившемся информационном, но, по существу, как раз становящемся все менее информативным океане знаков и литер, — тотчас же по возникновении списывается в необозримый архив. От европейской античности — просветил меня образованный друг — сохранились, за малым включением, только школьные хрестоматии. От наших дней останется все — до последней точки в петите, и никто никогда ничего не найдет, да и не станет искать.

«Есть ценностей незыблемая скáла / Над скучными ошибками веков», — писал молодой Мандельштам. Не поколеблена ли сегодня вера в существование этой шкалы, если самые очевидные ценности, подвергаясь на наших глазах размыванию, делаются неявными? *«Венецианской* жизни, мрачной и бесплодной», — произносит с телеэкрана драматическая актриса, и мне это нарушение ценностного размера не кажется уже забавно безалаберной белибердой, следствием простительно простодушного нежелания внимательней посмотреть в книгу. Это страшит, ибо никакой уверенности в устойчивости самого текста, что попробую показать ниже, у нас уже нет. Страшит потому, что как бы не «про себя» и не для себя мы стали читать. Потому, что живая память как бы замещается мертвой материей искусственного интеллекта. Вышеприведенная оговорка означает ведь только одно: словно в компьютере, считывание информации — даже той, которая раньше никогда и не убиралась в «память», а на правах ценности неисчезающе пребывала в сознании, — начинается лишь тогда, когда в ней возникает неотложная прикладная необходимость.

Лишенные так многим наскучившего ценностного флогистона, или — лучше сказать — эфира, а еще правильней — вкуса, мы становимся заложниками счетной машины.

Les Fleurs du Mal

Впрочем, оценивая довольно критически сегодняшнюю «авангардную» текстологию и архивизированную беллетристику, я нисколько не забываю о том, что Юрий Тынянов — а читатель заметил, конечно, наш заголовок, вполне в Zeitgeist'e, перевирает название его знаменитого сборника, — был, как и вообще деятели «формальной школы», не чуждавшиеся подчас рискованных и завиральных идей, человеком авангардной культуры.

Только, в отличие от нынешних «авангардистов» и архивистов-новаторов, авангардность людей тыняновской генерации — тех, которых мы всерьез помним и ценим, — была подлинной, умеющей вовремя отделить практику от умозренья, а главное — не ретроспективной. Крайне наивно считать авангардность преодолением неавангардной традиции, тогда как единственно настоящим и стóящим современным авангардизмом может быть лишь отрицание предшествующего авангарда. Очевидный пример — поэтический ампир 30-х годов. Или отчетливо классицистический филологический подвиг «формалистов» — первое издание Большой серии «Библиотеки поэта» (которая, кстати, во времена мультикультурализма никому как бы и не нужна)...

Что же касается ненароком нами подсмотренных и, увы, бесплодных объятий архивистики и компьютерной игротеки, то они — вовсе не авангардного, а андеграундного, подпольного происхождения; своего рода милая графомания — профессиональное заболевание люмпенизированного, «лишнего», во всех отношеньях несчастного советского архивиста. С большой нежностью относясь к большинству архивных работников, не могу скрыть: жалость в искусстве — вещь странная, гоголевская, сквозь гомерический хохот. На героя «Шинели», а совсем не на пушкинских «архивных юношей» похож наш канцелярист хранилища литер; на любимого поздней Ахматовой Иозефа К. Забавно было бы почитать сочинения г-на Башмачкина!

Доперестроечные архивы являли собой кладбища, полные текстов, эксгумация которых была строго запрещена. Поэтому вскрытия производились подпольно, с риском для жизни. Эта террористическая эстетика ночных чтений и бдений, блюдечного вызывания великих теней (доверительно сообщающих, как и положено по

жанру, идиотические банальности), ступенчато-дробных передач рукописей за кордон и — наконец — книг, изданных в YMCA-PRESS с очень понятным хаосом приложений и дополнений, — эстетика эта оказалась настолько привязчивой, что от свойственной ей деструкции трудно избавиться и теперь, когда всему этому нет причин. Она приманивает, быть может, еще и лежащим на ней отсветом неподдельного героизма. По большей части, правда, — чужого.

Подменяя живое воспоминание мертвым столоверчением и словно спеша оправдать нашумевшее некогда проскуринское словечко, эта полуночная эстетика продуцирует ущербных и проблематичных персонажей — «метафизических монстров», сказал бы Набоков, — наделяет расползающихся на глазах дракул именами любимых писателей. Особенно — в силу композиционной специфики — это затрагивает поэзию. Прежде всего — поэзию нашего века.

«Умер Блок», — записывает Кузмин в дневнике. «Умер Кузмин», — начинает Лидия Гинзбург повествование «Мысль, описавшая круг». Умерла Лидия Гинзбург... Сверх того, что мое субъективное ощущение случившегося с нами крушения ценностей как-то увязывается со смертью Гинзбург, даже датируется ею — 1990 год, отслеженная последовательность означает еще вот что. Да, человек смертен. Но всех умерших мы в состоянии прямо или опосредованно вспомнить живыми — умозрительно воскресить. Греки недаром породнили муз с Мнемозиной, богиней памяти. Человеческая способность творческого подражанья Творцу — отблеск небесного в косной природе, залог бессмертия. И тем омерзительней и страшней рукодельное передразнивание Божества, бездарные опыты практических лжевоскрешений: от вампирической федоровской утопии и спиритизма — до изготовления целлулоидных голливудских упырей и типографских «метафизических затруднений». У наблюдателя таких негодных попыток нет иного выхода кроме как, подражая манновскому Гансу Касторпу, встать и включить свет.

Включим. Но и сделав это, мы уже никогда не сможем забыть увиденного — дорогих черт, искаженных вмешательством чуждой деструкции; а миллионные тиражи беспамятно воплотившихся «возвращенных», в отличие от жалобного призрака Иоахима Цимсена, не испарятся... Посмотрим же с состраданием на эту материализовавшуюся потусторонность.

Вот нерлеровский Франкенштейн... виноват — Мандельштам. О нем нам уже доводилось писать[5], но являются новые модификации этого глинобитного Голема — и когда попадает в руки его очередной вариант, я испытываю уже чисто филателистический жар, азарт коллекционера диковин — как, неужели опять?.. И всякий раз приходится изумляться — опять!..

Нет, меня больше не занимают мелочи текстологии нерлеровских изданий, столь впечатлявшие в ранних[6]. Нужные запятые — отдадим должное П. Нерлеру — постепенно возвращаются на свои места, ненужные — исчезают, и мандельштамовские стихи, переставая выглядеть заумью, вновь обретают свойственное им осмысленное выраженье лица. Капля, как говорится, и камень точит. Со всем, в конце концов, можно смириться. Даже — с реанимированной П. Нерлером строчкой в стихотворении «Концерт на вокзале», выпущенной поэтом в последней прижизненной публикации. Рекомендую, впрочем, не забывать: строка эта — призрачная, проблематичная, ее воскрешение никак не объяснено[7].

Всерьез же меня интересует одно: когда этот как бы приватизировавший «мертвого автора» составитель откажется наконец от им же самим созданного стереотипа — открывать собрания великого лирика забавными по своему художест-

---

[5] Пурин А., «Пиротехник, или Романтическое сознание» («Нева», 1991, № 8).

[6] Мандельштам О. Избранное. Таллин. 1989; Мандельштам О. Стихотворения, переводы, очерки, статьи. Тбилиси. 1990.

[7] Речь идет о строке «Горячий пар зрачки смычков слепит». В комментарии А. Д. Михайлова и П. Нерлера можно прочесть по этому поводу: «С<тихотворения, 1928>, стр. 153 — 154, с пропуском ст. 22 и датой «1921» (вписана в авт. экз. С.)» (Мандельштам О. Сочинения. В 2-х тт. М. 1990, т. 1, стр. 493). Не ясно, что именно подразумевается под единственным числом «вписана» — строка, дата? Иных объяснений причины, по которой стихотворение публикуется в ранней редакции, нет.

венному уровню опытами пятнадцатилетнего мальчика, напечатанными в школьном журнальчике под псевдонимом Фитиль?[8] А в тех из подготовленных Нерлером книг, где корпус мандельштамовской лирики экстравагантно прорежен мандельштамовскими же эссе о поэзии, — еще занятней: завершается изысканно виртуозный эстетический манифест «Утро акмеизма», написанный в 1912 — 1913 годы, и начинаются сочиненные «под Надсона» подростковые опусы:

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплакав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

В чрезмерном таком восторге по поводу, в сущности, жалкой архивной находки последних лет есть, согласитесь, что-то башмачкинское. И ладно б — какое нам, собственно, дело до имиджа архивиста, да только милая простоватость странным образом переносится и на имидж поэта. Больше того, беллетристическая филология тут такова, что составитель оборачивается этаким Гоголем, до слез насмеявшимся над созданным им глуповатым персонажем, который с порога начинает читать нам свои школьные сочинения. И этот художественный образ юродивого закрепляется П. Нерлером от издания к изданию, год от года. Настойчивость, с какой составитель придерживается примитивно-хронологического принципа расположения стихотворений[9], убийственного для поэта XX века, когда «книга стихов» стала важнейшим литературным приемом, меня попросту удручает.

Понятно, что в случае Мандельштама — трагической судьбы самого поэта и его рукописей, сложной поэтики, непростого человеческого характера — текстологические и составительские решения объективно сопряжены с большим риском ошибки. Но предпринятый П. Нерлером полный демонтаж ранних мандельштамовских книг, стирание из контекста самих их названий — «Камень», «Tristia», представляющих собою значимые смысловые узлы, замена структуры хронологическим рядом текстов, пронумерованных как архивные единицы хранения, наконец — выдвижение им в авангард «пыльной дороженьки» (место которой — не в арьергарде даже, а в обозе приложений) — все это ничем не оправдано. Трудно понять: зачем, зафиксировав в двухтомнике 1990 года достаточно разумный и оптимальный в зоне возможного составительский вариант, П. Нерлер снова и снова переступает ее черту? Но в наши деструктивные времена вообще затруднительно удержаться в рамках.

Издержки свободы, ее оборотная сторона... Чем иным объяснить филологическое разрушение другого поэта — Иннокентия Анненского, с необычайной легкостью произведенное в 1987 году И. Подольской — после полувековой относительно бестревожной жизни его наследия?

Анненский неожиданно умер 30 ноября 1909 года, не успев завершить подготовку к печати своей главной поэтической книги — «Кипарисовый ларец» Оформление рукописи было закончено сыном поэта В. Кривичем, на протяжении последних месяцев жизни Анненского помогавшим отцу в этой работе. Уже в апреле 1910 года сборник вышел в свет в московском книгоиздательстве «Гриф».

Новация И. Подольской, повторенная в 1990 году Н. Богомоловым[10], состоит в том, что она выстраивает состав «Кипарисового ларца» в соответствии со списком, обнаруженным и опубликованным в 1978 году другим исследователем — Р. Тименчиком. Список этот, написанный рукой жены пасынка поэта О. Хмара-Барщевской, содержится в ее письме к Кривичу от 7 февраля 1917 года. Он, по предположению Р. Тименчика, представляет собой копию собственноручного плана Анненского, который, однако, никак не мог быть им составлен позднее чем за полгода до смерти.

---

[8] Очередной случай — в кн.: Мандельштам О. Собрание сочинений. В 4-х тт. М. 1993, т. 1.

[9] За исключением двухтомника 1990 года.

[10] Анненский И. Избранное. М. 1987; Анненский И. Кипарисовый ларец. М. 1990. Отмечу, что в обоих изданиях «даты и обстоятельства» изложены корректно и профессионально.

Достаточно беглого взгляда на все эти даты и обстоятельства, чтоб оценить — сколь исчезающе малой вероятности правдоподобия хватает нынешним филологам для смешенья чужого, в данном случае — тименчиковского, умозрения с собственной практикой. Ничего им не стоит не только, образно говоря, разобрав часовой механизм, собрать его затем по своему разумению, но и тиражировать это сомнительное изделие в количестве трехсот тысяч экземпляров — самое массовое на сегодня издание Анненского! Вопрос лишь — какое время оно показывает?

«Баллада», «Прерывистые строки», «Нервы», «Дальние руки», «Моя Тоска»... Не воображайте, будто я, мучительно взвешивая в душе каждый шедевр, тщусь отобрать для некоей всемирной сверхантологии пять-шесть самых гениальных стихотворений поэта. Нет, я просто перечисляю вещи, не вошедшие в модернизированный «Кипарисовый ларец». Ключевое значение поэтики Анненского для поэзии постсимволистов общеизвестно — невозможно даже представить себе, какой была б эта поэзия, когда б перечисленные стихи не появились в книге 1910 года... Зато открывается новаторский ларчик весьма незатейливо — и вполне, замечу, созвучно нерлеровской «пыльной дороженьке» (какой-то филологический заговор!) — квазитургеневским стихотворением в прозе: «Я — чахлая ель, я печальная ель северного бора...»

Да, Анненский не держал корректуры своей второй книги, но в некотором смысле за него ее держала молодая Ахматова. И есть вещи, которые не стоит ломать — «лучше» и «правильней» все равно не получится. Разве что пространство культуры станет еще чуть более призрачным и опасным для жизни. Для жизни, кстати сказать, того же филолога.

«Ошибка памяти. Это — строфа из стихотворения И. Анненского «Одуванчики», не вошедшего в Трилистники»[11], — не может удержаться от примечания к безукоризненно верному тексту мемуариста Т. Дубинская-Джалилова, попавшаяся, словно в капкан, в созданный Подольской причинно-следственный парадокс. Какой Набоков выдумает такой шахматный ход, такую сшибку памяти и материи?

Не вульгарные одуванчики — бодлеровские Цветы Зла!.. Между прочим, наше время, в его культурном аспекте, типологически напоминает декадентско-символистское десятилетие — со своими не только Брюсовыми и Вяч. Ивановыми, но и со своими Модестами Гофманами — в филологии, Черубинами — в литературе. И, может быть, где-нибудь в Гатчине или — еще б сильней — в Лианозове тайно живет новый Анненский, который завтра всех этих тусовщиков и разгонит... А пока нам является призрак Анненского прежнего. «И то же, что я, и не то же», — смущенно говорит призрак, склонясь над книгой. «О царь Недоступного Света, / Отец моего бытия, — вопрошает он, — Открой же хоть сердцу поэта, / Которое создал ты *я*?»

Der Zeitraum

Кто из пишущих застрахован от путаниц и ошибок? Никто. И сами по себе фактические ошибки просто скучны. Занятны лишь случаи превращения их изобилия в новое качество — квазихудожественное, пародийное, искажающее пространство и время. Пожалуй, только сборники Анненского и Кузмина, подготовленные Е. Ермиловой[12], обогащают нас такими неожиданными и острыми ощущениями.

Кузмин тут словно играет в «орлянку» на верную дату собственного рождения, но проигрышны — и реверс и аверс. Анненский, как если бы он перешел в католичество, умирает по григорианскому календарю. «Форель разбивает лед» (Л. 1929) печатается в инфернальном городе — Петрограде. «Посмертные стихи Иннокентия Анненского» (1923), попеременно сбиваясь со «стихов» на «стихотворения», так и не могут прочесть своего титульного листа до конца. Хрестоматийное «Мои предки» названо лаконично — «***». Том Анненского в «Библиотеке поэта» (1959) приобретает сиамского близнеца, который, однако, на два десятилетья моложе. А Ольга Николаевна Арбенина-Гильдебрандт берет себе еще один сценический псевдо-

---

[11] «Серебряный век». Мемуары. М. 1990, стр. 126.

[12] Анненский И. Стихотворения. М. 1987; Кузмин М. Стихи и проза. М. 1989.

ним — *М. К. Арбенина.* Последнее, все знают, стихотворение царскосела «Моя Тоска» («тоска», ясное дело, со строчной[13]) в малодисциплинированном строю стихотворений стоит четвертым с конца...

Но парадоксальней самих ермиловских книжек отклик на одну из них Л. Селезнева. Он, в частности, пишет: «Культура комментария здесь достаточно высока. Примечания к стихам кратки, но существенны. Отсутствуют неаргументированные датировки стихотворений»[14] Последняя фраза — просто высшего пилотажа, поскольку в рецензируемом издании Кузмина нет вообще ни одной датировки.

Впрочем, не только датировок нет в этом сборнике, но и собственно Кузмина. Составительница, движимая желанием изобразить поэта «лихим ярославцем» или вторым Клюевым, старательно вымела из подборки почти все стихи с упоминаниями реалий столичной жизни, с какими-либо намеками на существование театрального и изобразительного искусства, вообще современности. Всякий, кто хоть раз читал Кузмина, догадается, какой это титанический труд. И что должно получиться в итоге.

Увы, не Клюев. Клычков... Но с какой стати Кузмин должен становиться Клычковым? Что-то тут есть олейниковское, обэриутское. Ежели — не лебядкинское...

Совершенно иного Кузмина показывает нам высокопрофессиональный А. Тимофеев[15]. Пространные, содержательные комментарии. Сама культурность. Сама точность. Вплоть до ударения, заботливо проставленного над шатким названием третьей книги стихов — «Глиняные голу́бки». Алфавитный указатель стихотворений. Аппарат... И в то же время — чистой воды уфология, этот спиритизм наших дней: доскональные чертежи НЛО, дотошнейшие описания марсиан.

Перед нами — триумф составительского самовыражения, упоенный отчет архивиста о произведенных им в кузминоведении разысканиях, — отчет, вся структура которого, ни на секунду не позволяющая читателю усомниться в том, что сочинителя тут два, аршинными буквами «авангарда» информирует нас о сокровищах, найденных А. Тимофеевым в еще полных чудес хранилищах.

Таинственные, удивительные документы; свидетели прошлого!.. Это, во-первых, три бессистемно записанных, ретроспективных и параллельных друг другу перечня стихотворений (у одного не хватает к тому же конца), запроданных Кузминым в голодном 1918 году издателю Н. Михайлову, по всей видимости, намеревавшемуся в дальнейшем заставить поэта сложить эти стихи в некое «Избранное»... Воплощая чистое и мимолетное умозрение — ну какой литератор не писал в своей жизни пустопорожних заявок и не заключал призрачных договоров! — А. Тимофеев всерьез перепечатывает известные всем тексты в последовательности обретенных им списков — и именует это «Петроградскими изборниками 1918 года». Таковых — три... Без сомнения, был бы четвертый, если бы Н. Михайлов еще раз не пожалел денег для бедствующего поэта.

Во-вторых, ничего не разыскивая уже в архивах, составитель просто «реконструирует» текст умозрительного переиздания книги «Параболы» (Берлин. 1923) по опубликованным ранее письмам Кузмина к выпустившему эту книгу в свет Я. Блоху. «...Там обозначены «Параболы», — пишет Кузмин о могущих попасться на глаза Блоху, намеревавшемуся печатать книгу вторым изданием, анонсах издательства «Academia», — но Вы этим не смущайтесь. Во-первых... договора еще не заключено, во-вторых, их наверное не разрешат, в-третьих, я бы выкинул треть стихотворений и заменил бы их новыми, так что были бы «Берлинские Параболы» и «Ленинградские Параболы», что, конечно, довольно нелепо». В следующем письме: «Если будете переиздавать «Параболы», мне бы хотелось включить туда стихи, написанные между «Лесенкой» и «Новым Гулем»...»[16].

Всего этого, не имевшего никаких материальных последствий, для новатора-архивиста вполне достаточно, чтобы — с каким-то даже пугающим автоматизмом:

---

[13] Как и у Н. Богомолова.

[14] «Литературное приложение», № 11, стр. 6; «Русская мысль», 2.11.90.

[15] Кузмин М. Арена. Избранные стихотворения. СПб. 1994.

[16] Цитирую по книге, составленной А. Тимофеевым (стр. 405), в фактологической добросовестности которого не сомневаюсь.

1) по авторскому списку произведений Кузмина установить стихи, хронологически написанные им после поэмы «Лесенка», но ранее цикла «Новый Гуль»; 2) дать этому комплексу текстов название — «Между „Лесенкой" и „Новым Гулем"» — и приложить его к известному тексту «Парабол»; 3) назвать всю получившуюся конструкцию *«Ленинградскими параболами»*.

За вычетом частностей — почему все-таки «Ленинградские», а не «Берлинские»? почему второе слово не с прописной буквы? — это «конечно, довольно нелепое», параболическое иносказание составителя почти ошеломительно. Во всяком случае, на его фоне последующие компоненты книги Тимофеева — Кузмина «Форель...», как бы для подтверждения благовоспитанности и поддержания хорошего тона напечатанной без нововведений, и довольно посредственные ранние стихотворения, уже и без того введенные в исследовательский оборот составителем[17], — кажутся пресноватыми.

Зато необычайно изобретательно придумано А. Тимофеевым название книги — «Арена», вызывающее парадоксальные, ресторанные, опереточные, цирковые и пробирнопалаточные реминисценции («Апрель январский, Альбер, Альбер, / «Танец стрекоз», арена мер!»). Но искусство филолога тут маргинальное, цирковое искусство: эквилибриста, жонглера, фокусника. Мне же, увы — консерватору, хотелось бы, по старинке, видеть текстолога, составителя, публикатора не циркачом, не двуличностно слитым медиумом, не соглядатаем, демонстрирующим читателю — в текстологическом смысле — «Кузмина в халате», наконец — не опереточным костюмером. Хотелось бы видеть его, простите, приличным портным, шьющим «мертвому автору» пристойный костюм по фигуре, пусть даже — по моде, но ведь не для маскарада же! Уточню — не гробовщиком, не Прокрустом...

В противовес религиозной (и эстетической — пушкинской, моцартианской) надежде на бессмертие сегодняшняя мечта о «конце истории» предполагает всех закопать, слить с косным, родить обратно — в тот, уже помянутый нами, «бесконечный конец перспективы», который неотступно стоит перед взором ее идеологов. О, даже не о Викторе Ерофееве или Владимире Сорокине — с полными фекалий шаландами их прозы, с их стилистическим сдвигом утомившегося музейного копииста, заставляющего вдруг конфетных шишкинских мишек иллюстрировать учебник сексопатологии, — даже не о них я говорю; эти вообще промахнулись. Даже не о действительно достойном писателе Евгении Харитонове — более точном, собравшем в посмертном своем двухтомнике[18] десятка два Дантов (или — Дантесов?) от «авангарда» и андеграунда, как бы решивших немного потусоваться среди теней. И не об однофамильце его, первом лауреате русского Букера, — какая еще лакмусовая бумажка нужна для определения кислотности наших литературных вкусов! — с квазиархивным его, разыскательским «Сундучком Милашевича»... Нет, — о тех, кто всерьез находится в апогее сегодняшнего признания — даже страшно произнести имена! — о всей нашей вышедшей из подполья культуре, об историческом п р о м е ж у т к е.

«Опять он под Тынянова чешет», — отметит уставший читатель. Не только, есть тут еще аллюзия. Даже — две.

Первая. В комментариях к подготовленному им совместно с В. Эрлем двухтомнику Александра Введенского М. Мейлах очень доходчиво пишет по поводу названий главок («Где» и «Когда») последнего, иначе не озаглавленного, произведения обэриута: «Заглавия эти... имеют, несомненно, концептуальное значение Zeitraum'a, оцененного sub specie mortis»[19]. Немецкое слово, у Мейлаха — в значении «пространство-время», переводится так же, как «промежуток»; латынь — как «с точки зрения мертвеца».

Вряд ли это наукообразное эсперанто поразило бы нас в другом контексте. Но тут структура издания такова, что оно напоминает практикум по лингвистике, если не по информатике. Исповедуя, видимо, обэриутскую заповедь «Искусство — это шкап», составители создают даже не шкаф, а метафизическое устройство для хра-

---

[17] «Новое литературное обозрение», 1993, № 3.
[18] Харитонов Е., «Слезы на цветах». В 2-х кн. («Глагол», 1993, № 10).
[19] В в е д е н с к и й А. Полное собрание произведений. В 2-х тт. М. 1993, т. 2, стр. 201.

нения информации о Введенском — подлинный гимн архивно-новаторского восторга. Как и иерархию канцелярий кафкианского «Замка», не только описать, но и познать его невозможно. Скажу лишь, что все предметы и предметики здесь многократно пронумерованы, зафиксированы на осях координат. Есть «произведения» под удивительнейшими нумерами: 37-bis-a, 50-bis(1 — 3), 51 — 58... Но весь этот практический структурализм, несмотря на его квазихудожественную сложность, оказывается совсем не искусством, а моделью того самого «суб-цайтраума» — банальной мертвецкой. Искусство — если и шкаф, то не тот, который с грохотом вытаскивают на пыльную сцену. Нет, — зеркальный, набоковский, бережно извлекаемый из фургона. В нем отражаются ветви деревьев и небо.

Вторая аллюзия. Есть у Кузмина таинственное стихотворение о Zeitraum'е. Оно называется «Добрые чувства побеждают время и пространство» и описывает некую неназванную «вещицу», способную утешать, возвращать прошлое, приближать отдаленных друзей. Загадку расшифровать почти невозможно, а может быть, и не нужно. Но очевидно, что «вещица» эта прямо связана с высоким, духовным — искусством, Моцартом, музыкой... Нам, однако, жителям промежутка, добрых чувств словно не у кого занять. И вот, обратив, видимо, внимание на упомянутые в стихах «продолговатые», по Фрейду, предметы — посох, флейту, кларнет, устремив взор в некую метафизическую промежность Zeitraum'а, А. Тимофеев пишет в своем примечании буквально следующее: «...Загадка может быть разгадана путем обращения воображения к сокровенным тайнам человеческого тела»[20]. И тут, как вы сами понимаете, — «конец перспективы»...

А ларчик между тем открывается просто — ибо и не закрыт ни на какие замки. К чему все эти филологические усилия персонажей Крылова! Отгадка проста, она в том, что искусство, душа, память чуть отличаются от неодушевленной и не доброй материи, из которой в любой момент и в любом месте может выпростаться лоуренсовский конец безжизненной пошлости. Отличаются тем, что живут экзистенциальными ценностями.

«Я настаиваю на том, — писал столетье назад наивный мечтатель Ницше, — чтобы наконец перестали смешивать философских работников и вообще людей науки с философами, — чтобы именно здесь строго воздавалось «каждому свое» и чтобы на долю первых не приходилось слишком много, а на долю последних — слишком мало. Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы и сам он стоял некогда на всех тех ступенях, на которых остаются и *должны* оставаться его слуги, научные работники философии; быть может, он и сам должен быть критиком и скептиком, и догматиком, и историком... и моралистом, и прорицателем, и «свободомыслящим»... Но все это только предусловия его задачи; сама же задача требует кое-чего другого — она требует, чтобы он *создавал ценности*».

С.-Петербург.

---

[20] Кузмин М. Арена, стр. 453.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОН ГОВОРИЛ ОТ ИМЕНИ РОССИИ

Только что отгремели славные столетия: Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Маяковского. В столетиях наступил перерыв. Пошли семидесятипятилетия. Первым был Галич. За ним — Слуцкий.

«В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. <...> Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылался на Некрасова. <...> Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке» (И. Эренбург, конец 50-х).

«В пятьдесят лет спешить не хочется. В то же время понимаешь, что торопиться — надо. Хочется быть добрее, терпимее. Из этого желания выросло название книги «Доброта дня». В то же время на злобу дня реагируешь с все возрастающим нетерпением» (Б. Слуцкий, 1973).

«Теперь его нет, но каждый из нас, кто еще не потерял веры в завещательную силу слова, остался наедине с оставленной им поэтической исповедью. Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни: назвать его великим. Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени» (Евг. Евтушенко, апрель 1986).

«Вóт вам положительный герой. / Не оттуда он, куда глядели, / появился — толстый и седой, / как он сам писал. И в самом деле — / вóт вам настоящий фронтовик, / не из этих, после драки ловких, / вóт вам, говорю, передовик / производства строк металлоемких» (О. Хлебников, 1987).

«В этом писательском фонде / Все единицы хранения / Кровят, / Как кровили на фронте / Все фронтовые ранения» (Д. Сухарев, 1989).

Я привел пять отзывов о Слуцком, включая самоаттестацию поэта, и все они, за исключением евтушенковского некролога, обедняют его поэзию, сводя ее к грубому реализму, к злобе дня (пусть даже и в личине доброты), к фронтовой простоте и прямоте. Такой подход был неверен даже в 1950 году, когда Слуцкому перевалило лишь за тридцать. (Другое дело, что в 1950-м Эренбург мог и не знать таких стихотворений, как «У Абрама, Исака и Якова...» или «Деньги пахнут грозным запахом...», написанных раньше.) Тем более односторонне и неточно так подходить к срокам работы поэта над сборником «Доброта дня». Потому что к этому времени уже написаны: «Счастье» («Словно луг запáх...»); «Зоопарк ночью»; стихотворение, начинающееся строфой: «Не верю, что жизнь — это форма / существованья белковых тел. / В этой формуле — норма корма, / дух из нее давно улетел»; «Вот и проросла судьба чужая...» (пронзительное трехстрофье, посвященное жене, юной, здоровой, любящей); «Про евреев» с его саркастичнейшим финалом: «Пуля меня миновала,/ Чтоб говорилось нелживо:/ „Евреев не убивало!/ Все воротились живы!"» Много позже, но все-таки тоже д о «Доброты дня», Слуцкий напишет стихотворение «Люблю антисемитов, задарма/ дающих мне бесплатные уроки...». Оно выглядит несколько залихватским, это «признание в любви к антисемитам», ибо, как, несомненно, понимал и сам поэт, антисемит «достанет» еврея если не «точностью лимитов», то своим непрестанным бубнением: «Евреи — люди лихие, / Они солдаты плохие: / Иван воюет в окопе, / Абрам торгует в рабкопе». Слуцкому такое вдвойне обидно: и потому, что он сам заслуженный окопник, и потому, что Абрамом звали его отца. «...Абрам — / отец, Абрам Наумович, бедняга. / Но он — отец, и отчество, однако, / я, как отечество, не выдам, не отдам», — напишет Слуцкий в начале 70-х. О мотиве происхождения, не менее важном для Слуцкого, чем для Э. Багрицкого, еще будет сказано.

А чтобы коротко охарактеризовать эволюцию еврейской темы у Слуцкого и вместе с нею — мотива п р а в о т ы («Я говорил от имени России, / Ее уполномочен правотой...»), пожалуй, лучше всего воспользоваться аллегорией из раннего опуса «У Абрама, Исака и Якова...», у которых «сохранилось немногое от / Авраа-

ма, / Исаака, / Иакова — / Почитаемых всюду господ». Слуцкий «военный» и «сразупослевоенный» хотя и памятовал о своем еврействе, тем не менее был убежден, что его безупречное поведение на войне дает ему бесспорное право и «в новой должности — поэта / От имени России говорить». Слуцкий же поздний, «послепятидесятилетний», твердо знает: несмотря ни на какие заслуги, «на русскую землю права мои невелики»: «И если неумолима родимая эта земля, / все роет окопы, могилы глубокие роет, / то русское небо, дождем золотым пыля, / простит и порадует, снова простит и прикроет. / Я приподнимаюсь и по золотому лучу / с холодной земли на горячее небо лечу». Горький, не правда ли, полет!

Скажу несколько слов об одном из героев поэзии Слуцкого, воспетом в ряде отличных стихотворений (не называю их циклом, поскольку они написаны в разное время и связаны «не по службе, а по душе»).

Стихотворение «М. В. Кульчицкий» («Одни верны России потому-то...») можно назвать многострадальным. Я не знаю другого поэтического текста (ни у Слуцкого, ни у кого бы то ни было), над которым цензура издевалась бы три десятилетия и к которому в изданиях этих долгих лет прибавлялось бы не в час по чайной ложке — по полустрофе в десятилетие!

И то сказать. Если в «Голосе друга» мертвые приглашаются выпить «во здравие живых» (этакое загробное «жизнеутверждение», выраженное в стихах афористичных, точных по мысли и маршево-четких по ритмическому рисунку), в «Кульчицком» — еще более парадоксальное оплакивание гибели лучшего друга, и не самой гибели, а того, что она случилась *не там и не так*. Вот последняя строфа, опубликованная лишь в 1986 году в упомянутом выше некрологе Евтушенко (тогда как первая сиротски приютилась в «Дне поэзии 1956 года»): «Я не жалею, что его убили. / Жалею, что его убили рано. / Не в третьей мировой, а во второй. / Рожденный пасть на скалы океана, / Он занесен континентальной пылью / И хмуро спит в своей глуши степной».

Я хочу более внимательно приглядеться к этим поразительным по откровенности строчкам. Нет сомнений в том, что Слуцкий как никого другого в своей жизни любил и почитал Кульчицкого. «Писатели вышли в писатели. / А ты никуда не вышел, / хотя в земле, в печати ли / ты всех нас лучше и выше. / А ты никуда не вышел. / Ты просто пророс травою, / и я, как собака, вою / над бедной твоей головою» (стихотворение «Просьбы»). Что бросается в глаза при первом же чтении финальной строфы «М. В. Кульчицкого»? Ее нескрываемый, манифестальный, воинствующий *милитаризм*. Стало быть, Слуцкий — милитарист? Нет же, но в молодости все они были милитаристами и не просто *знали* («Недаром за полгода до начала / Войны мы написали по стиху / На смерть друг друга. Это означало, / Что знали мы...» — «Декабрь 41-года. Памяти М. Кульчицкого») о приближении второй мировой, а прямо-таки *призывали* ее — на свои же головы. Тот же Кульчицкий писал в тридцать девятом: «Наши будни не возьмет пыльца. / Наши будни — это только дневки, / Чтоб в бою похолодеть сердцам, / Чтоб в бою нагрелися винтовки, / Чтоб десант повис орлом степей, / Чтоб героем стал товарищ каждый. / Чтобы мир стал больше и синей, / Чтоб была на песни больше жажда» («Будни»).

Тем-то и сильно это лапидарное — двадцатипятистрочное — стихотворение-эпос Слуцкого, что происходящее в нем психологическое перевоплощение тридцатишести-тридцатисемилетнего зрелого поэта в себя же, зеленого юношу, не просто артистично, но — мистично. Всей кожей ощущаешь, как мертвец, *хмуро спящий* в своей глуши степной (то есть он как бы не совсем мертвый и *хочет* переиграть свой финал и только тогда успокоится навеки, когда примет *правильную*, по своему росту, смерть), просыпается, расправляет плечи и, отряхнув с ног своих континентальную пыль, семимильными шагами устремляется к скалам океана... Патетическая картина!

Кстати о будущем. Есть у Слуцкого, преимущественно позднего, и такие «современные размышления» (название баллады, навеянной смертью Сталина) по поводу третьей мировой, которые не связаны с мистическими предначертаниями Рока. Например, «Кнопка». Тут не мистицизм, а... натурализм. «Вижу, вижу, чувствую контуры / этой самой, секретной комнаты. / Вижу кнопку. Вижу щит. / У щита человек сидит. / <...> Дома ждут его, не дождутся. / Дома вежливо молят мадонн, / чтоб скорей отбывалось дежурство,/ и готовят пирамидон». Все мирно, почти идиллично. Но ведь кнопка-то эта такого свойства, что «как нажмут — пре-

вратятся в тучки/ океаны и в пыль — поля». В общем, «довертелась земля до ручки...».

«Кнопка» оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это, конечно, версификация «от рассудка» (пускай и остроумная, с озорной парафразой известной строчки «А до смерти четыре шага» и со смешной рифмой: мадонн — пирамидон). С другой же... Видимо, на какой-то стадии создания стихотворения теплое чувство сопричастности этой довертевшейся до ручки земле растопило лед рассудочной мастеровитости и продиктовало автору два сильных заключительных четверостишья сродни светлым и грустным фантазиям Рэя Брэдбери.

Другой аспект апокалиптических медитаций Слуцкого соотнесен уже не с мировой, а с отечественной историей. «Обе стороны письменного стола» — очень «слуцкая» вещь и по настроению, и по «строчечной походке». Речь — о «стародавнем бедствии», а именно о... следствии, о том, пыточном, следствии 30—40-х годов. С глубоким унынием и, главное, приятием констатирует Слуцкий, что сильнее всех — и палачей и жертв — бездушная сила вещей, в каком-то смысле сам этот письменный стол, некогда обеими сторонами воспринимавшийся в качестве символа власти, а на самом деле — как «вещь в себе» — не более чем деревяшка.

В общем же и целом, резюмируется в стихотворении «И лучшие, и худшие, и средние...», несмотря на то что «воли, кроме доброй, вовсе не было, / предупреждений вой ревел в ушах / <...>, мир все же в бездну свой направил шаг».

Вторая строчка этого стихотворения — обобщающая: «весь корпус человечества». Слуцкий всегда любил обобщения и перечисления. Тут сказываются две черты его интеллектуального облика, окрасившие и дар поэта в свои цвета: страсть к систематизаторству и демократизм (не декларативный, а подлинный, естественный, как дыхание).

Любимый знак препинания раннего Слуцкого — двоеточие. В «Зоопарке ночью» оно «разделяет» общее («И глухое сочувствие тихо во мне подымалось») и частное («Величавость слонов, и печальная птичья малость, / И олень, и тюлень...»). И так же в «Мосте нищих»: «И ко мне обращаются сразу <...> / Все: чернявые и белобрысые, / Даже рыжие, даже лысые...» А еще есть стихотворение, которое так и называется «После двоеточия» и в котором внутренние монологи, произносимые разными людьми «вечером после рабочего дня / По дороге в отдельные и коммунальные берлоги», предваряются словом «двоеточие» как заголовком.

На что хотелось бы обратить внимание? Для Слуцкого (повторяю: раннего), вообще говоря, нет ничего зазорного в понятиях «общежитие», «коммунальная берлога», даже «общественная уборная». «Мы учили слова отборные / Про общественные уборные, / Про сортиры, что будут блистать, / Потому что все злато мира / На отделку пойдет сортира, / На его красоту и стать» («Золото и мы»). Он и вырос-то в человеческом муравейнике, «в тени завода», над музыкальной школой, где его будил «быстро поспешный перебряк», и насладился послевоенными советскими банями, где «ордена сдают вахтерам», и належался в послевоенных советских больницах, где «за спиною шлепанцев шарканье, / У окна вся палата с утра». Он не ощущает скученность как несчастье, а, напротив, подобно своему любимому Маяковскому, счастлив, что он — этой силы частица. (Маяковский, правда, чтобы преодолеть последствия скученности, носил в кармане мыло.)

И в искусстве, чужом ли, своем, Слуцкий видит прежде всего объединяющую силу — «общелюдскую суть» (из стихотворения «Я в первый раз увидел МХАТ...» — о представлении «Дней Турбиных» в 1935 году). И — снова точь-в-точь как Маяковский — с радостью отдает свой дар «безъязыкой улице»: «Я себя не ценю за многое, / А за это ценю и чту: / Не жалел высокого слога я, / Чтоб озвучить ту немоту, / Чтобы рявкнули лики безмолвные, / Чтоб великий немой заорал...»

Иногда народолюбие Слуцкого становится безоглядным и, я бы сказал, бездумным. Взять, к примеру, стихотворение «Толпа на Театральной площади...», завершающее первую книгу его стихов — «Память». На поверхностный взгляд, оно чем-то напоминает Пастернака, его «На ранних поездах». Пастернаковские «бабы, слобожане, / Учащиеся, слесаря» взяты в сугубо бытовом повороте, и, когда говорится, что «и новости и неудобства / Они несли, как господа», имеется в виду лишь та черта советского простонародья, какую принято называть раскованностью (спустя весьма короткое время она превратится в хамство). Не то у Слуцкого. Его

«косоворотки аккуратные» претендуют на роль высшего судии и ценителя прекрасного и даже смотрятся в это прекрасное как в зеркало: «...то с горделивым удивлением / Россия на себя глядит».

...Постепенно, однако, двоеточие у Слуцкого отодвигается от восклицательного знака, все больше сближаясь с вопросительным. Во второй половине 60-х годов написано стихотворение «Категориальное мышление...», в котором, кажется, поэт сводит счеты с самим собой. Теперь синонимом слова «обобщение» выступает у него «упрощение». «Мегаломания» опротестовывается, «любая личная трагедия/ катастрофе мировой равна». Пусть это всего лишь парафраза Гейне, но содержащийся в ней смысл Слуцкий выстрадал самостоятельно.

Дальше — больше. Еще лет через семь-восемь поэт манифестально дистанцируется от народа. Объяснит он это так: я «гну свое», а народ «пока от блаженства хохочет/ Над мошенством своих шутов». Сказано точно и — резко. Тем более резко, что в себе самом Слуцкий с трудом преодолевал эту же болезнь социальной ангажированности, или, проще говоря, партийности.

«Все лозунгам я верил до конца...» — самоосуждающе провозгласил Слуцкий в период XX съезда, но означало ли это, что уже тогда он был на пути к исцелению? Отнюдь. В большом цикле «Когда мы пришли в Европу», написанном тогда же или даже позднее, классовые критерии еще вовсю правят бал, «рабочего братства юные корни / Крепче братства словесных корней» (речь идет об освобождении советскими войсками Софии). Того хуже гимн харьковским тополям. С уморительнейшей серьезностью автор «Тополей» выдает сентенцию, от стыда за которую у него сгорели бы уши, вспомни он ее на склоне лет: «Да, тополь был необходимым признан — / Народом постановлено моим, / Что коммунизм не станет коммунизмом / Без тополиных шелестов над ним». И даже в одном из первых своих стихотворений на лагерную тему — «Лопаты» — Слуцкий неуклюже, с истинно советской глухариной бестактностью восславил «самоотверженный» труд «основателей этой державы», коим — «ничего! Им лопата не новость».

Конечно, в зрелые годы поэт сумел сказать свое веское слово и об этой стороне жизни (нежизни!) нашего многострадального отечества. Чего стоит одна только баллада «Шуба выстроена над калмыком...», посвященная судьбе репрессированного калмыцкого поэта Д. Кугультинова: «Переизданный, награжденный / Много раз и еще потом, / Многократно переведенный, / Он не щурится сытым котом. / Нет, он смотрит прямо и точно / И приходит раньше, чем ждут: / Твердый профиль, слишком восточный, / Слишком северным ветром продут»! Когда же общественная духота стала совсем невыносимой (середина 70-х), у Слуцкого изверглось стихотворение, которым он окончательно расквитался с лозунгами. Приведу его полностью:

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и кромешный
запах лжи.

Четырежды повторенное «лжи», и нехитрые рифмы к этому слову «рубежи — ржи» (даже такая необходимая материя, как рожь, здесь и л ж и в а, и р ж а в а!), и четырежды же воспроизведенное «может быть» (ясно становится, что оно н е м о ж е т б ы т ь), и жужжание (нужной, неизбежной), и шипение (тошной и кромешной), и резкое — с пяти стоп до двух — укорочение размера в последнем стихе, — все это созидает стихо-СТРОЕНИЕ по образу и подобию своего зодчего — Бориса Слуцкого. Слуцкий, особенно поздний, виртуозно владел всеми средствами русской стиховой культуры. Он пользовался разнообразнейшими системами рифмовки и, может быть, больше, чем кто-либо другой из современных ему поэтов, опроверг известное сетование Маяковского насчет дефицита рифм. У него есть рифма «примитивная» глагольная: *поворачивается — оборачивается, носить — сносить.* Омонимическая: *собиравшийся* (человек) — *собиравшейся* (тучи), *откупался* (в водоемах) — *откупался* (полужизнью), *ставить* (пластинки) — *ставить* (голову на карту). Диссонансная: *пережито — парашюты, пожилой — пожалей, землёю — землёю,*

субъект — собьёт. Составная: *забаву — за банкой.* «Корневая»: *годами — гадали, космос — конус.* Изысканно-замысловатая: *напрочь вали — напророчествовали, Хлебникова — нет никого.* Великолепны неологизмы Слуцкого: *эпохоупорный* (аттестация ахматовской стойкости), *цветнопрически* и *цветночулки* (у варшавянок в одноименном стихотворении). И его уподобления: «В ее каморке оседала лесть, / как пепел после долгого пожара» (из еще одного стихотворения, посвященного Ахматовой).

В высшей степени оригинален и самобытен подход Слуцкого ко многим избитым жизненным коллизиям. Эта его черта в связи со стихотворением «9-го Мая» отмечена К. Чуковским (в его письме к автору). Тут можно еще раз вспомнить и «По обе стороны письменного стола» (все писавшие на эту тему в качестве «наблюдательного пункта» выбирали одну сторону — ту, у которой зубы «повыбили», совершенно игнорируя другую — у которой они «повыпали»). А в балладе «Горожане», касаясь демографической ситуации в России («Постепенно становится нас все больше, / и все меньше становится деревенских»), поэт мастерски фокусирует всю суть происходящего в одной детали: в первой строфе у него «поет по утрам все снова и снова / городской петух — толстобрюхий будильник», а в третьей — «бывшие деревенские дети / начинают смеяться над бывшей деревней, / над тем, что когда-то их на рассвете / будил петушок — будильник древний». Особенно замечательно в этом отношении трехстрофье «Памяти одного врага». Здесь автор скорбит о смерти врага, «который вел огонь / в сторону мою без перестану». Скорбит, во-первых, потому, что «раньше было сто врагов. / Нынче девяносто девять стало», а «сотня — цифра все-таки круглее» (шутка, конечно). Но, во-вторых (и это уже серьезно), потому, что: «Сколько лет мы были неразлучны! / Он один уходит в ночь теперь. / Без меня ему там будет скучно. / Хлопнула — по сердцу словно — дверь». То есть и твои враги становятся частью тебя самого, и что-то в тебе необратимо утрачивается с уходом каждого из них...

В связи с многочисленными упреками Слуцкому (при его жизни) в чрезмерной прозаичности его стиха хотелось бы сказать лишь одно: даже и в этом Слуцкий «гулял сам по себе». У него есть стихи, демонстративно украшенные подзаголовками, уточняющими «жанр»: очерк, рассказ, воспоминания и даже статья! Эта самая «статья» и называется подходяще: «О Л. Н. Мартынове» — да, вот именно «о» и «Л. Н.». Так стихи это все-таки или проза, того «хуже» — публицистика? Внешне — по композиции, лексике и фразеологии (там есть даже такая фигура непоэтической речи, как знак «— ?», обозначающий молчаливый вопрос) — конечно, второе, но ведь это все — элементарнейший камуфляж. (Помнится, и сам Мартынов попотчевал однажды своих читателей стихотворным «трактатом» «Проблема перевода», набранным как сплошной, прозаический, текст... и тем не менее остающимся в памяти многих как одно из лучших л и р и ч е с к и х произведений поэта.) На самом деле это еще какие стихи, а что до прозаизмов, то, как сказано задолго до Слуцкого, «таков мой организм».

Да, относительно Слуцкого ответственно можно утверждать, что ему пошла впрок учеба у великих русских поэтов — от Пушкина и Некрасова до Маяковского и Заболоцкого, а также и прозаиков, на родстве с одним из которых он особенно настаивает. Тут я возвращаюсь к мотиву происхождения, вскользь затронутому в начале этих заметок. У Слуцкого есть два программных опуса, рассматривающих проблему опять-таки «с обеих сторон некоего стола». Первый так и называется «Происхождение» и извлекает мед поэтической истины из того вполне житейского обстоятельства, что дед поэта был учителем русского языка: «Родословие не пустые слова. / Но вопросов о происхождении я не объеду. / От Толстого происхожу, ото Льва, / через деда». Второй — своего рода ответ антисемитам: «Стихи, что с детства я на память знаю, / важней крови, той, что во мне течет. / Я не скажу, что кровь не в счет: / она своя, не привозная, — / но — обновляется примерно раз в семь лет / и, бают, вся уходит до кровинки. / А Пушкин — ежедневная новинка. / Но он — один. Другого нет». Может быть, мысль здесь излишне прозаизирована, да и Пушкин в роли «ежедневной новинки» не вполне уместен. Может быть. А все-таки лучше не скажешь: «Стихи, что с детства я на память знаю, важней крови, той, что во мне течет». Эта дюжина слов, по мне, перевешивает «многотонные» разглагольствования разного рода почвенников и репатриантов о так называемом голосе крови. (Впрочем, и Слуцкий, как мы видим и в этом стихотворении, и во многих других, от своей крови не открещивается.)

С проблемой самоидентификации соприкасается проблема свободы. В самом деле (и Пушкин тут очень кстати), разве не связано тесными узами чувство свободы с сознанием себя не эллином, не иудеем, не монархистом, не социалистом — личностью?! Слуцкий, по своему происхождению (не столько национальному, сколько социальному) и воспитанию воспринявший всю коросту несвободы, которая культивировалась партией Ленина — Сталина, немало сил потратил на освобождение своей отдельно взятой души из царства л о ж н о й необходимости. Здесь нет возможности во всех деталях проследить поучительнейшую эволюцию твердокаменного homo soveticus в просто homo (без всяких уточняющих и тем самым у м а л я ю щ и х определений). Достаточно указать начальную и конечную точки этого долгого пути. Вот два рядом стоящих стихотворения: «Современник» и «На краю у ночи, на опушке...». Они не такие уж ранние (и почему-то — но только не по цензурным соображениям — при жизни автора не публиковались), но бог ты мой, какие зашоренные и просоветские! «С каждым годом люди — веселей...», «Из карточной системы / Мы в солнечную перебрались, / Но с достиженьями теми / Нисколько не зарвались...» — свят, свят, свят!.. Но в последние месяцы активного сочинения стихов (февраль — март 1977 года) написано вот что: «Революция — ты Большая. / Ты для маленьких — нехороша» («Царевич»). В самом этом прописном «Б» столько холода! (Я уж не говорю о том, что в этой вещи Слуцкий задолго до теперешних Больших плакальщиков по убиенном царевиче Алексее посвятил его памяти слова ласковые и нежные: «Ты был самый неловкий и квелый, / а таким ускользнуть не дано. / <...> Хоть за это, хоть за это, / если не перемена в судьбе, / от какого-нибудь поэта / полагался стишок тебе».)

...И пришло время сказать о том цикле стихотворений Бориса Слуцкого (и это уже настоящий ц и к л), который посвящен памяти его жены Татьяны Борисовны Дашковской, ушедшей задолго до пятидесяти и страдальческой смертью своей погрузившей безутешного вдовца в девятилетнюю тьму. Но перед тем вызвавшей в его творчестве ослепительную вспышку света, которая затмила все созданное им до той поры и сделала Слуцкого действительно великим поэтом.

В большой русской поэзии до 1977 года существовали (существуют — они вечны!) еще только два подобных феномена: «денисьевский» цикл Тютчева и «фадеевский» Марии Петровых. Слуцкий, писавший свой нескончаемый реквием исключительно для самого себя, никак не рассчитывавший (до расчетов ли ему было!) на его публикацию, н е р а б о т а в ш и й над этими обжигающими стихами, чтобы довести их до «кондиции», совершил творческий подвиг. (И, как видно, непоправимо подорвал этим свою психику, не рассчитанную на такие сверхперегрузки.) Говоря об этих стихах, я воздержусь от цитат. Какое-либо демонстрирование мастерства, жертвенной любви, высокой духовности, а именно эти качества необыкновенно проявились в «Танином» цикле, кажется мне бестактностью. Но без колебаний я рекомендовал бы включить его (по крайней мере такие вещи, как «Я был кругом виноват, а Таня мне...», «Последний взгляд», «Каждое утро вставал и радовался...», «Небольшая синица была в руках...», «Мне легче представить тебя в огне, чем в земле...») в школьные хрестоматии.

Какое же место отвести Борису Слуцкому в русской поэзии? Думается, у него есть право отнести к себе слова Мандельштама из письма Тынянову от 21 января 1938 года: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». При жизни Слуцкого нередко оспаривалось само право этого стихотворца на звание русского поэта. Тому виною были его «прозаизмы», его — тогда уже немодное — тяготение к «маяковскому» стиху, его риторичность и декларативность, его «советскость», наконец. Сегодняшние российские юдофобы тем более отказывают мертвецу, чей отец был Абрам, в праве именоваться русским поэтом (в крайнем случае — русскоязычный!). Но спросим себя: а судьи кто? Неподкупный судья — Время — вынесет в отношении Слуцкого свой не подлежащий обжалованию вердикт. И, как это не раз случалось, писания всех недругов и хулителей останутся не более чем сноской в комментариях к его творчеству.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ.

Мааль-Адумим (Израиль).

ШУЛЬГИН И ЕГО АПОЛОГЕТЫ

2 марта 1917 года вечером в вагон-гостиную императорского поезда на станции Дно вошли двое: Александр Гучков, лидер октябристов, и Василий Шульгин, лидер правой оппозиции. Они прибыли за манифестом об отречении Николая II от престола. Петроград был в руках мятежников. Но на фронте наверняка набралось бы достаточное количество офицеров и солдат, готовых откликнуться на призыв императора пойти на запасные полки, засевшие в столице и всадившие нож в спину державы, сражавшейся с внешним врагом. Ленин, Троцкий, Урицкий, Зиновьев и другие вожди будущей «пролетарской революции» находились тогда за тридевять земель. Зато Шульгин, убежденный монархист, был рядом с царем — естественным возглавителем борьбы с мятежниками. Кому же, как не ему, в роковой час поддержать монарха, дать достойный совет?! После отбытия Гучкова и Шульгина в Петроград царь ночью записал в дневнике: «Кругом измена, трусость и обман». А через двенадцать лет после этой встречи с императором изменивший присяге Шульгин в эмиграции напишет книгу, в которой обвинит евреев в национальной катастрофе.

Семь десятилетий «еврейский вопрос» был под запретом. Семь последних лет он свободно обсуждается в газетах, журналах, на телевидении. Переизданы «Протоколы сионских мудрецов». Юнцы у продавцов книжных киосков интересуются, нет ли «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Коммунисты и националисты объединились во имя спасения России от «мирового сионизма». Мутной волне вражды к евреям противостоит цвет русской интеллигенции: Александр Солженицын, Сергей Аверинцев, Дмитрий Лихачев, Вячеслав Вс. Иванов... Ну а народ? По прикидкам Ильи Константинова, в минувшем году в митингах Фронта национального спасения участвовало 7—8% юдофобов от общего количества собравшихся. Если прибавить к этому такое же количество сочувствующих, то получится, что приблизительно каждый шестой на этих митингах был втянут в орбиту антисемитских настроений.

Между тем уже три года прошло с тех пор, как значительная часть российского еврейства перешла в ведение «ближнего зарубежья». В самой же России евреев осталось не более 500 тысяч. На Украине крупнейшие партии (интеллигенция — еще с 60-х годов) не только не приемлют юдофобства, но заявиви о моральной ответственности украинцев за геноцид евреев в годы Великой Отечественной войны. В России, однако, для национал-патриотов «еврейский вопрос» и завтра будет стоять в повестке дня, хотя моих соплеменников к началу третьего тысячелетия не много наберется... Исход совершается на глазах у всех. Каждая семья, уезжая, прощается с соседями, сослуживцами, друзьями — теми, кто не может не задуматься над драмой русских евреев, не может не сопереживать их расставанию со своей выстраданной русскостью, которую большинство из них сохранит в сердце навсегда.

У нынешних поколений россиян нет личного опыта притеснений, испытанных ими со стороны евреев: последние еще полвека назад были низведены до положения граждан второго сорта. Этим и объясняется, почему вопреки писаниям Ю. Лощица, или Т. Глушковой, или владыки Иоанна Санкт-Петербургского неприязни к евреям не прибавилось. В ходе так называемого пролетарско-интернационального эксперимента за семь десятилетий изменилась и демографическая ситуация: поветрие смешанных браков привело к появлению сотен тысяч носителей «еретических» генов. Таким, что ли, откликаться на призывы «бей жидов!»? Россияне отдают себе отчет в истинных причинах усиления напряженности в отечестве: одни за сохранение, в сущности, советских принципов хозяйствования, доведших страну до ручки, а другие за рыночную экономику, за институт частной собственности. Одни за старую добрую (еще в брежневские времена расцветшую) коррумпированность, а другие за укрепление правопорядка, реальных прав личности.

Спрашивается, при чем здесь «еврейский вопрос»?

Оказывается, вот при чем. В конце 1992 года издательство Национально-республиканской партии со штаб-квартирой в Петербурге выпустило книгу Василия

Шульгина «Что нам в них не нравится». В предисловии кандидат исторических наук Юрий Морозов, партийный идеолог, охарактеризовав влияние еврейства на «общественно-политическую и социокультурную жизнь» как центральную проблему России XX века, предоставил слово редактору израильского журнала «Возвращение» Авигдору Эскину. «Тип обрусевшего еврея, порядочного человека, идеалиста и бессребреника, — пишет он, — никогда не сможет предложить правильный рецепт страждущей России (здесь и далее разрядка моя. — *Г. Ш.*), ибо даже себе самому не нашел лекарства от беспочвенных метаний». Он, ассимилянт, не способен понять, что «одной из основных сегодняшних трагедий (России. — *Г. Ш.*) является превращение слова «патриот» в ругательство...» Наконец: «Ассимилянты, ратующие за свободу разложения личности и общества, должны знать, что их позиция, антиеврейская по своей сущности... подрывает шансы на подлинное сближение между Россией и Сионом». Итак, Юрий Морозов предпочел вслед за Эскином усмотреть в русском еврействе преобладание ассимиляторских настроений. Между тем евреи, уходя в русскую среду обитания, отнюдь не стремились порвать со своей национальной культурой и если в советские годы не знали ни идиша, ни иврита, ни Библии, то лишь благодаря сталинской политике «дружбы народов» с ее показными «мероприятиями»... Эскин совмещение евреем любви к Израилю с любовью к России называет «беспочвенными метаниями». Что ж, метания, как говорится, имеют место, если под этим подразумевать душевную боль, вызванную недоброжелательством, которое «ассимилянт» встречает со стороны шовинистических кругов как России, так и Израиля. Еврей, по Эскину (и согласному с ним Морозову), «никогда не сможет предложить рецепт страждущей России». Но все дело в том, что он теперь, да уже и давно, ничего и не хочет предлагать! Русское еврейство по горло сыто спасателями России, начиная со «своих» кадетов и кончая «своими» большевиками, короче, своими отщепенцами... Мои соплеменники живы надеждой на созидание патриотическо-демократической России, стоящей на страже прав человека, и решительно отвергают утверждение редактора журнала «Возвращение» (и солидарного с ним Морозова), будто бы евреи — сторонники «разложения личности и общества» российского. Вообще Авигдор Эскин тему «Сион и Россия» рассматривает исключительно под углом российско-израильских отношений. Но те из евреев, кто остается в России навсегда, жизненно заинтересованы и в другом: будет ли правопреемница Советского Союза нетерпима к расовым предрассудкам?

Если прежде Агитпроп, критикуя оппонента, часто прибегал к услугам «объективного мнения» зарубежной печати, то Ю. Морозов следует этой же традиции: свои мысли об антипатриотичности русского еврейства излагает устами израильского публициста...

«Удивительную ценность» книги Шульгина Морозов доказывает, между прочим, и ссылкой на теорию Льва Гумилева. «Химерная полиэтническая конструкция, при которой один этнос живет в теле и за счет другого этноса», отнесена Гумилевым к «самым... разрушительным типам взаимовлияния народов». И еще: «Русское тело с головой еврейского «ассимилянта» — не здесь ли кроется секрет удивительной живучести в нашем обществе пещерной русофобии и не менее отвратительного антисемитизма?» — риторически спрашивает Морозов. Однако в природе симбиоз организмов различных видов обычно выгоден обоим. То же самое наблюдается и во взаимоотношениях этносов. Еще ни один народ, живущий на территории другого, не паразитировал, не жил за счет народа-хозяина. Это в полной мере относится и к народам, не имеющим своего государства, например к цыганам. Ведь русские цыгане безусловно привнесли нечто ценное в духовную культуру дворянства, да и других слоев общества... Конечно, между пришлым народом и коренным, бывает, возникают трения. Так, в Европе еврейские ремесленники, купцы и финансисты теснили «аборигенов». Обустраиваясь всерьез и надолго, европейское еврейство наступало повсюду на любимую мозоль этносов-суверенов. В России аналогичный конфликт на рубеже двух последних столетий осложнялся выдающимся участием евреев в революционном движении. В результате «русское тело» на одно послеоктябрьское десятилетие (1917 — 1927) действительно оказалось... с еврейской головой. Но не обрусевшей по-настоящему, а интернационально-марксистской головой, в принципе отрицавшей любые национальные начала!

В ответ на приглашение журналиста С. Литовцева высказаться «честным людям, имеющим мужество объявить себя антисемитами», Шульгин справедливо удивился: почему для этого нужно «иметь мужество»? Ведь даже еврей Литовцев считает: антисемит может быть честным человеком. Да, может. В России было немало великих людей, не питавших к евреям симпатий. Антисемитизм Пушкина, Гоголя, Достоевского я воспринимаю как факт прискорбный, но ни в коем случае не мешающий относиться ко всем трем классикам с глубоким уважением. Вникая в их нелюбовь к евреям, нахожу в их наблюдениях нечто верное, поучительное для меня. Антисемитизм особо отвратителен, когда его используют как подмену, как средство, с помощью которого политики стремятся разрешить затруднения, возникающие в собственном народе, за счет евреев, делая их козлами отпущения. А в остальном, ради Бога, не любите евреев.

Антисемитизм, по Шульгину, бывает трех видов. Первая часть его книги посвящена расовому. Мир двигается инстинктами. В основание расового антисемитизма положен инстинкт самосохранения. Смешение рас противопоказано человечеству, ибо «дает отрицательные результаты», и, значит, вполне естественно, что черносотенец «чует опасность в евреях для своей расы». Не станем придираться к автору, спутавшему «расу» с «народом», и пойдем дальше. Черносотенцы, отмечает Шульгин, исходят из того, что «еврейская кровь... гораздо сильнее» и при смешанных браках возникает «опасность поглощения» иудеями русской нации. Но мы-то сейчас, в конце XX века, знаясь с детьми, внуками и правнуками, выросшими в таких семьях, констатируем, что русский народ из-за этого никак не потерял своего национального лица. Вообще в каждую нацию была влита изрядная доза чужой крови — угро-финской ли, татарской ли, немецкой ли... Хорошо это или плохо, судить не нам. Есть Бог, попустивший сие. Хотя Шульгин иного мнения. «Беспристрастных судей, которые бы стояли над расами... нет», — заявил он. Впрочем, Шульгин самого себя считает «плохим расовым антисемитом»: с детства-де дружил со сверстниками-евреями...

Зато он — по собственному признанию — отменный антисемит политический и во второй (основной) части рассматриваемой книги подробно анализирует этот тип юдофобства. Причем Шульгин предостерегает: дореволюционную разновидность политического антисемитизма не следует путать с послеоктябрьской. Если первый издавна возник на Юго-Западе (с центром в Киеве), то второй, новейший, из-за «„еврейского засилья" на верхах революционной стихии» приобрел общерусский характер, и его центром стала Москва. И это правда. В 20-е годы и в столице, и в крупных городах евреи действительно были «спинным хребтом компартии». В историческом очерке о политическом антисемитизме Шульгин порой неточен в расстановке акцентов, что можно оставить без внимания, но нельзя пройти мимо его главной ошибки: антисемит с дореволюционным стажем, он не заметил субъекта, героя своей публицистики! Сознавая, что антисемитизм «грозит страшными бедами двум народам» (евреям и русским), он, в сущности, ничего не знает о духовном мире еврейства, его фольклоре, религиозных учениях, нравах и обычаях. Всю жизнь болея «еврейским вопросом», Шульгин изначально не захотел вникнуть в смысл иудейского бытия. Ведь для этого нужно было снизойти до общения с евреями не вне, а внутри их родной среды...

Между тем, будучи одной из ветвей диаспоры, русское еврейство сложилось в самобытный народ, живший по законам Торы. Терпеливо снося многочисленные притеснения властей, этот народ не переставал мечтать о социальном равноправии, о выходе из большого гетто, каким была «черта оседлости». В конце прошлого века часть молодежи потянулась к идеям Чернышевского, а затем — к марксизму и, таким образом, привнесла в так называемое русское освободительное движение свои темперамент, энергию, волю. Но не следует забывать, что другая часть молодежи, порывая с гетто, избрала путь созидательный: пополнила ряды русской интеллигенции в качестве врачей, инженеров, юристов, художников, книгоиздателей... В обоих случаях, оказавшись за пределами своей среды, молодежь ослабила, говоря языком Шульгина, «национальное тело» русского еврейства. В ходе гражданской войны многомиллионная община молилась о примирении в «русском стане», о прекращении братоубийства, помогая всем, кто попал в беду, независимо от партийной и национальной принадлежности. На долю общины выпало немало

страданий от бесчинств как белых, так и красных. Хотя на волне крушения империи тысячи молодых ашкенази уверовали в Интернационал, это еще не дает основания утверждать, что евреи «овладели душой русского народа» и сделали революцию. Душой русского народа овладели коммунисты — особая порода людей. Стоит вспомнить слова Сталина: «Мы, большевики, — люди особого склада». Выходцы из разных наций, они в условиях подполья и эмиграции сложились в наднациональную секту, глядящую на мир с точки зрения марксизма. Так называемые пролетарские революционеры вытравили в себе народные начала жизни, сходные, в общем-то, и у русских, и у евреев, и у поляков... Шульгин же, проигнорировав «большой народ» еврейства, распространил свойства его отщепенцев на все «национальное тело». Ошибку Шульгина сегодня повторяют его последователи...

Сказанное, однако, не означает, что евреи — без вины виноватые и что им не в чем каяться. Есть, есть грехи! Русское еврейство не нашло в себе, на мой взгляд, достаточно сил, чтобы противостоять распаду общины. Во время революции многие из нее увлеклись идеями Третьего Интернационала, влились в ряды РКП. Забыв о Боге, преисполненные радости от обретенной культурной автономии, носясь со своей молодой литературой, евреи как-то не очень задумывались о бедственном положении, в котором оказались русские и их культура, их интеллигенция, дворянство, офицерство, духовенство... В студенческих аудиториях тон часто задавали евреи, не замечавшие, что их интеллектуальное пиршество идет на фоне опустошений в стане основного народа страны. Что греха таить, на протяжении десятилетий евреи гордились теми своими соплеменниками, кто в революцию сделал блестящую карьеру, и не очень-то задумывались над тем, как эта карьера связана с реальными страданиями русского народа. Итак, есть в чем покаяться, но я что-то не слышу голосов, зовущих к очищению. Вот почему я с пониманием читаю у Шульгина: «Для русской души нет ничего более отвратительного, чем упорное, жестоковыйное еврейское запирательство, нераскаянность...» К сожалению, нередко слышишь: «Мы, евреи, столько добра сделали России — и вот благодарность». Было бы смешно, если бы не было так грустно. Поразительно единодушие, с каким мои соплеменники отрицают какую-либо свою провинность в русской истории XX века!

Хотя сознание вины и потребность ее искупления глубоко индивидуальны, но в известные периоды эти чувства могут возникать и на почве причастности к своему этносу. Ведь личность и народ — понятия взаимопроникающие и взаимообусловленные. В эпоху войн, смут, революций массы втянуты в одинаковые чувствования по отношению к событиям, затрагивающим основы их существования, так что не исключено ощущение ответственности за поступки функционеров — выходцев из своего народа. Поэтому стремление к покаянию, к очищению (коль скоро для этого есть основания) может стать личным побуждением, осознанным или безотчетным, для значительной части этноса. Когда же меня недоуменно спрашивают: «Как можно каяться в том, чего сам не совершил?», я задаю встречный вопрос: «А как можно гордиться тем, чего сам не совершил?» Скажем, многие евреи гордятся творчеством Исаака Левитана... В том-то и штука, что на каждом из нас — отсвет репутации предков, отсвет национальной судьбы, и помимо нашего желания в годы социальных катаклизмов каждый с особенной силой ощущает связь поколений, ответственность за деяния других.

В 1929 году, предсказывая, что «при совместном жительстве русские и евреи будут находиться в состоянии борьбы», Шульгин тревожился, обретет ли «русско-еврейский поединок» цивилизованные формы. Начавшаяся Великая Отечественная война в самом деле сразу же выявила враждебное отношение большой части коренного населения к евреям: в последних видели либо носителей ненавистной советской власти, либо ее прихлебателей. Из второй мировой войны еврейство вышло сломленным, наполовину физически уничтоженным. Затем Сталин разгромил еврейскую интеллигенцию, закрыл театры, издательства (а школы ликвидировал еще в середине 30-х). Так евреи заплатили за свои иллюзии первой четверти века. Но, сделавшись вновь преследуемыми, они опять стали пользоваться сочувствием тех многочисленных русских, чьи сердца не поражены злобой. Обладатели дискриминационного «пятого пункта», олицетворяющего в паспорте желтую звезду Дави-

да, они, сами того не сознавая, встали на путь искупления *своей доли* вины за случившееся с Россией в 1917 году[1].

Согласно Шульгину, политический антисемитизм — сердцевина русского юдофобства. Ведь центральные области империи, в отличие от Украины и Белоруссии, сравнительно недавно познакомились с евреями. Последние, по утверждению Шульгина, уже в начале века захватили университетские кафедры, прибрали к рукам печать и через нее осуществляли «руководство умственной жизнью страны». Во главе оппозиционных сил как правого толка (кадеты), так и левого (социал-демократы) опять же стояли евреи. Следовательно, «мозг нации... привыкал мыслить по еврейской указке». Иначе и быть не могло, растолковывает автор книги «Что нам в них не нравится»: русское «национальное самосознание еще не очень твердо», так что не может не уступать еврейской воле и сметке. Как видим, в стремлении доказать правоту своей концепции Шульгин не щадит самолюбия собственного народа, характеризуя русских как аморфную массу, которой «нужен вожак». В противном случае начинаются распри. И вообще народ русский — лишь конгломерат племен, объединенных языком. Читаешь страницу за страницей — и сам собой напрашивается вывод: редактор газеты «Киевлянин» не только проглядел истинных евреев, но и подлинных русских! Его духовное зрение как-то так устроено, что обращает внимание лишь на евреев, выломившихся из еврейства, и на русских, пренебрегших русскостью.

О нет, Шульгин вроде бы и не опускается до ссылок на «Протоколы сионских мудрецов»! И все-таки «еврейское всемирное правительство» для него «рабочая гипотеза». Не случайна и зацикленность на фигуре Якова Шифа. Имя этого американского банкира по сей день мелькает в национал-патриотической прессе, когда заходит речь о жидомасонском заговоре. Но даже из книги Шульгина ясно: Шиф не только банкир, но и общественный деятель, видный сионист, то есть еврейский патриот, пекущийся о судьбе русского еврейства. Давая деньги на революционные цели, он искренне думал, что ослабляет не Россию, а самодержавие, сковывающее творческие силы и русских и евреев. Вчитаемся в телеграмму Якова Шифа, отправленную Павлу Милюкову 17 марта 1917 года: «Позвольте мне в качестве непримиримого врага тиранической автократии, которая безжалостно преследовала наших единоверцев, поздравить... русский народ с деянием, только что им так блестяще совершенным... с таким патриотизмом. Бог да благословит вас»...

Православному Шульгину и Священное Писание не указ. Порой он кощунственно восстает против Библии. Например, русскую революцию сравнивает с «кровавой мистерией, которую впервые поставил великий Мардохей». Кстати, о книге Эсфирь вслед за Шульгиным вспомнил и Шафаревич: «Тысячи лет... в праздник Пурим праздновалось умерщвление евреями 75 тысяч их врагов, включая женщин и детей... до сих пор в Израиле по этому поводу происходит веселый карнавал». Но разве в 1944 — 1945 годы народы антигитлеровской коалиции не радовались сокрушительным бомбардировкам союзнической авиацией германских городов? Конечно, радовались не гибели сотен тысяч, а тому, что бомбардировки приближают крах фашизма. Вот так и евреи в праздник Пурим ликуют не по поводу умерщвления врагов, их жен и детей, а в честь избавления от угрозы уничтожения народа Израиля!

Шульгин вроде бы осторожен в выводах: употребление в маце крови христианских младенцев называет клеветой, но затем как бы мимоходом упоминает о существовании «целой литературы, утверждающей, что такие факты действительно были», да только у него, Шульгина, нет времени «вдаваться в эти дебри». И далее допускает, что, возможно, были... единичные случаи ритуальных убийств! Вот и верь аннотации: «Автор с присущими подлинному интеллигенту тактом и деликат-

---

[1] А другая (большая) часть вины лежит на самих русских, что не раз признавали выдающиеся отечественные умы. Нам бы всем сейчас поступать по Солженицыну: каждый человек пусть рассказывает о своей вине и каждая нация — «о своем участии в грехах». Поэтому предпочитаю говорить о русской вине мимоходом, так как полагаю, что это делать должны русские. Во время смуты не считаю для себя возможным вмешиваться в дела русской совестливости.

ностью разбирает вопрос о роли евреев в судьбах России, ищет пути сближения народов»...

Шульгин не мог не ознакомиться с трудами Николая Бердяева, Георгия Федотова, Ивана Ильина, других русских философов, которые в связи с революцией и крахом державы ставили вопрос о русской вине. Отголоски их мыслей, хоть и в изуродованном виде, слышатся в рассматриваемой книге. Так, для Шульгина «большевизм — дитя *азиатской бескрайности* — сидит в каждом из русских в той или иной степени». Русская душа? Но ведь буквально через месяц-другой после октябрьского переворота все народы империи спохватились, да было уже поздно. Антихрист мертвой хваткой вцепился в горло страны. Трагедия народов, имевших несчастье попасться на удочку социальных экспериментаторов, обусловлена не их национальными особенностями, а изощренностью идеологии тоталитаризма. Скажем, злодеяния полпотовцев, уничтоживших треть собственного населения, о чем-нибудь да говорят!

Однако вернемся к Шульгину. Русская вина — русской виной, но евреи, как он пишет, «напоминают Паука... ткущего паутину», а русские напоминают «беспомощную Муху». Даже еврей, чья душа «наполнена русской культурой», все равно станет «разрушать действенную русскую силу», которая «стоит ему (например, Б. Пастернаку? — *Г. Ш.*) поперек дороги, которая в его (например, Мандельштама? — *Г. Ш.*) самых сокровенных мыслях русская, а на самом деле — еврейская». Если сие есть политический антисемитизм, то каков тогда утробный? И чего стоят после этого рассуждения интеллигента Шульгина о «запретных ударах», о том, что «следует пуще евреев бояться собственной совести»?

Третий тип антисемитизма — иррациональный — в сущности, у Шульгина смыкается с первым. В том смысле, что не поддается объяснению и должен восприниматься как данность. Просто автор утверждает: евреи «в пастыри» русскому народу не годятся, — и «это из тех ощущений», которые называются «иррациональными». Господи, да разве один народ нужен другому в пастыри?! Но кому что дано. Шульгину дано априори считать евреев исчадиями ада. ЧК, по его мнению, — орудие их агрессивных национальных устремлений, а не опора интернационально-коммунистической власти, как было на самом деле. Вернадскому же, Солженицыну, Степуну дано отмечать активное участие евреев в русской смуте, не делая из этого нелепых выводов о злокозненных замыслах еврейства в отношении России... Федор Степун, побывавший в начале века в Вильно и там проникнувшийся «живой жалостью к еврейству и стыдом за царскую инородческую политику», в то же время никак не мог «увидеть живого смысла в том, что внук виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие русской земли и русского мужика, ежеминутно ссылаясь на Карла Маркса, спорили друг с другом, в каких формах рязанскому, сибирскому и полтавскому крестьянству надо владеть своей землей». Степун и сочувствует евреям, и досадует на них, но каждое его слово пронизано любовью. Для него евреи — частица человечества, которой он не может не дорожить.

Несмотря на формальное осуждение «отвратительного антисемитизма», Национально-республиканская партия, как видно, не может обойтись без образа врага-жида, коль скоро переизданную книгу Шульгина снабдила не объективным комментарием, а хвалебным предисловием. Чем обвинять (устами израильтянина, бывшего не так давно москвичом) нынешних русских евреев во вмешательстве в чужие дела, правильнее было бы вести с ними открытый, для обеих сторон трудный, но конструктивный диалог...

Вот уже несколько десятилетий по установившейся традиции юноши и девушки из ФРГ приезжают в кибуцы — жить, работать, общаться с израильтянами, чьи деды в 30-е годы бежали с берегов Рейна. Верю: придет пора, и русская молодежь (возможно, и те, кого сейчас хватает лишь на подсчет евреев в органах ГПУ — НКВД; в книге Мельгунова «Красный террор» я сам посчитал: на 38 русских, украинцев, латышей аж 17 наших фамилий!) отправится в Израиль. Не только паломниками в Святую Землю, но и в основанную сионистами страну, у которой есть чему поучиться. Сионисты, однако, ошибаются, утверждая, что у русского еврейства есть всего два пути: либо исчезнуть, раствориться в «чужом» народе, либо вернуться на историческую родину. Убежден: никогда не переведутся соплеменники, избравшие третий путь. А именно: оставаться вкорененными в Россию, от-

давая все силы великому делу ее возрождения, но при этом пользуясь обретенным правом приобщаться к собственным национальным ценностям, усматривая именно в такой двусоставности души свою самобытность, свое своеобразие, свое место в мире восточноевропейского славянства. И да поможет им Господь!

На обложке книги — эмблема НРПР: святой Георгий Победоносец на фоне двуглавого орла в сочетании с наименованием партийного издательства — «Хорс», названного так, по всей видимости, в честь восточнославянского бога Солнца. Что ж, в XX веке уже была партия, стремившаяся заменить Христа пантеоном языческих, национальных богов. К чему это привело, известно каждому.

Здесь я хотел было поставить точку, но газеты (в начале мая) сообщили новость: издательство «Русская книга» приступило к печатанию «Что нам в них не нравится». Срочный заказ. И вот сейчас (в августе) держу в руках изящный томик в твердом переплете с золотым тиснением. Тираж 15 тысяч экземпляров. Мне остается лишь добавить, что труд Василия Шульгина вышел в серии «Мыслители России»...

Григорий ШУРМАК.

СЕМЕЙНАЯ ЧЕСТЬ ИЛИ ИСТИНА?

В прошлом году в «Новом мире» (№ 4) появилась моя статья, доказывающая подлинность всех 23 писем Горького В. И. Анучину, опубликованных в 1941 году в «Трудах Самаркандского госпединститута». 20 апреля этого года К. М. Азадовский через «Литературную газету» ответил мне. Константин Маркович не понял (или не захотел понять, или я недостаточно четко выразил свою мысль) мой главный аргумент. Он состоит в ответе на вопрос: что стало с подлинниками писем? Если бы Л. В. Азадовская в свое время ответила на этот вопрос, то спора между мною и Азадовскими не возникло бы.

О судьбе документов говорится в письме В. И. Анучина редактору «Литературного наследства» Г. А. Смольянинову от 24 мая 1935 года:

«Глубокоуважаемый Геннадий Алексеевич,

Препровождаю Вам два случайно уцелевших письма Алексея Максимовича — они были на столе у жены для выписок (это № 16 и 22). Передайте их в Лит. Музей. Тут же прилагаю стихотворение, приписываемое «К. Р.», в полное ваше распоряжение, хотя оно у Вас, вероятно, имеется.

Меня, по распоряжению прокурора, приказано временно оставить в покое, — я снова трудоспособен и потому начал работу для Вас. Я пришлю Вам и подлинники и копию с примечаниями писем ко мне Бахметьева, Шишкова и Гребенщикова, а также письма двух последних Потанину. Там много материалов, которые очень пригодятся Вам при комментировании писем Алексея Максимовича»[1].

Итак, во-первых, указанные в письме № 16 и 22 (после сличения текстов сохранившихся автографов с опубликованными под соответствующими номерами письмами) указывают на то, что в редакцию «Литературного наследства» была послана та же подборка, что позднее увидела свет в «Трудах...». Во-вторых, из письма мы узнаём, почему в Архиве Горького хранятся лишь два подлинника. Остальные (21 письмо) были отобраны у В. И. Анучина сотрудниками НКВД (Л. В. Азадовская признала как горьковские лишь 6 писем, но не выяснила, куда делись недостающие 4 подлинника). В-третьих, и после акции НКВД редакция «Литературного наследства» не оставила намерения опубликовать письма, и В. И. Анучин еще не возражает против этого (позднее Василий Иванович ответил отказом на аналогичное предложение «Красной нови» — см. мою предыдущую статью в «Новом мире»).

До письма от 24 мая 1935 года в Москве уже было известно о случившемся в Самарканде. Сразу же, по горячим следам, 15 мая 1935 года В. И. Анучин послал

---

[1] РГАЛИ, ф. 14, оп. 1, д. 8, л. 3.

в «Литературное наследство» копию написанной под диктовку НКВД «подписки» о том, что он ни от Горького, ни от Ленина никаких писем никогда не получал (К. М. Азадовский приводит этот документ, но не говорит, что он написан под диктовку НКВД и для НКВД). В сопровождающем копию «подписки» письме говорилось: «Посылаю Вам идиотский документ, ценой которого приобретаю покой, столь мне необходимый. Все письма Ал. М. уничтожены»[2].

О чем свидетельствует «подписка»? Она является доказательством того, что В. И. Анучин состоял в переписке с Горьким и Лениным. «Подписку» же эту потребовали те, кто отобрал у законного владельца документы. Она была нужна им для того, чтобы он не мог требовать возвращения документов.

К. М. Азадовский, как и его мать, считает, что В. И. Анучин хотел «прикрыться «священными для каждого советского человека» именами Горького и Ленина». Но это взгляд 60-х и более поздних годов. В 30-е все обстояло иначе. За близость к Ленину люди платили жизнью. Василий Иванович хорошо понимал ситуацию в стране. Несмотря на приглашение В. Я. Шишкова, он поехал из Казани не в Ленинград, а в Самарканд, на окраину империи, где ему, бывшему эсеру, только и возможно было выжить.

Обосновывая свою позицию, Л. В. Азадовская заявляла: «Главная фальсификация Анучина — его собственная биография»[3]. Одним из основных моментов в ней был придуманный, как считала исследовательница, факт знакомства с Ульяновым-Лениным. О первой встрече (в марте 1897 года в Красноярске) опубликованы воспоминания. Пытаясь опровергнуть их истинность, Лидия Владимировна выясняла, где в это время находился В. И. Анучин, но смогла высказать лишь догадку: «Можно <...> предположить, что Анучина в марте 1897 г. в Красноярске не было»[4]. Единомышленник Л. В. Азадовской Б. В. Яковлев приводит такой аргумент: «Датируя свои «воспоминания» о Ленине февралем 1924 года, Анучин, однако, не выступает в печати ни в год кончины Владимира Ильича, ни в одну из других ленинских дат <...> При жизни А. М. Горького, Н. К. Крупской, П. А. Красикова и других близких Владимиру Ильичу людей Анучин не смел не только публиковать свои измышления, но даже намекать на них <...> Только после трагических событий 1937 — 1938 годов, после ареста и гибели В. М. Крутовского, Б. З. Шумяцкого и других красноярцев, он почувствовал себя застрахованным от нежелательных свидетелей»[5]. В действительности Василий Иванович неоднократно пытался обнародовать воспоминания. В конце концов 31 мая 1938 года он решился обратиться к Сталину. В письме, сопровождавшем мемуары, говорилось:

«...я намеренно остановился в своих воспоминаниях только на штрихах, характеризующих Вл. Ил. как человека, а он и в мелочах оставался великим.

При многократных отказах принять для печати мои воспоминания были приведены следующие соображения:

1. «Автор снизил образ Ленина — необходимо добавить моменты, рисующие его в качестве вождя» (РАПП).

2. «Ваши воспоминания ровно ничего не прибавляют к биографии В. И. Ленина» (Н. Бухарин).

3. «Для того, чтобы писать о великом человеке, нужен особый слог, а ваши заметки написаны косноязычным языком обывателя» (К. Радек).

4. «И бессодержательно и бездарно» (Клочков)»[6].

На документе стоит виза помощника Сталина А. Н. Поскребышева: «т. Адоратскому». Он в то время был директором Института Маркса — Энгельса — Ленина. Из института Василий Иванович получил следующий ответ: «Сообщаем, что Ваши воспоминания <...> направлены в Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б) и будут храниться в секторе Ленина. При работе над составлением биографии В. И. Ленина Ваши воспоминания будут использованы»[7].

---

[2] РГАЛИ, ф. 14, оп. 1, д. 8, л. 1.

[3] Азадовская Л. В., «Анучин в Сибири. Легенда и факты» («Фольклор и литература Сибири». Омск. 1976. Вып. 3, стр. 146).

[4] Там же, стр. 147.

[5] Яковлев Б. В., «Фальсификатор В. И. Анучин» («Сибирские огни», 1965, № 11, стр. 115 — 116).

[6] РЦХИДНИ, ф. 4, оп. 2, д. 83, л. 1.

[7] Там же, л. 19.

По всей видимости, благодаря этому письму воспоминания увидели свет в 1940 году.

Факт письменного обращения В. И. Анучина к Сталину был Л. В. Азадовской неизвестен. Но она не могла не знать о существовании воспоминаний Е. П. Пешковой, так как они приведены на страницах 189 — 190 третьего тома широко используемой Лидией Владимировной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» (М. 1959) и в упоминаемых ею двух изданиях сборника «В. И. Ленин и А. М. Горький». Вот что вспоминала Екатерина Павловна о событии, случившемся 20 октября 1920 года: «Алексей Максимович перевел разговор на литературу <...> говорил о писателях Сибири <...> о Василии Ивановиче Анучине. При упоминании имени Анучина Владимир Ильич рассказал, как он встретился с ним в Красноярске по пути в ссылку в село Шушенское и тот водил его в Юдинскую библиотеку».

Отрицая факт встречи в марте 1897 года в Красноярске В. И. Анучина и В. И. Ульянова, Л. В. Азадовская обвиняет во лжи не только сибирского литератора, но и Е. П. Пешкову. Когда Лидия Владимировна готовила к опубликованию в «Новом мире» свою работу, Екатерина Павловна была еще жива. Почему же исследовательница не сочла нужным с нею побеседовать и обо всем расспросить?

В заключение еще раз подчеркну: у В. И. Анучина не только не было мотива для расширения своей переписки с Горьким, но и времени для изготовления фальшивки экстра-класса, которой, как пишет К. М. Азадовский, «он обвел вокруг пальца и влиятельного <...> В. Д. Бонч-Бруевича, в те годы директора Литературного музея, и опытных горьковедов». Копии были предоставлены редакции «Литературного наследства» практически тотчас после запроса. Как я уже указывал в первой статье, просьба о присылке писем была направлена в Самарканд 25 февраля 1935 года, а 7 апреля (прошло чуть более месяца!) все 23 письма уже лежали на столе редакции «Литературного наследства».

Е. Н. НИКИТИН.

От редакции. Опубликовав уже два выступления Е. Н. Никитина по вопросу о подлинности писем Горького В. И. Анучину, мы не предполагаем дальнейшего обсуждения этой темы на страницах «Нового мира».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1993 — 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

Наложенным платежом журнал не высылается.

«НМ».

КОРОТКО О КНИГАХ

*

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. Сюжеты и лица. М. «Гуманитарный фонд». 1993. 119 стр.

Если в плавании по морю житейскому искусство уподобить кораблю, то критик будет боцманом. И не важно, куда проложен курс корабля — к дому или к другим берегам, — боцману не до того. Главное — поддерживать порядок на палубе. Именно такая действенная установка определяет тон первой книги известного уже критика Павла Басинского. Собранные здесь статьи и рецензии напоминают некий устав духовной службы, где по пaраграфам разложено, что хорошо, что плохо и почему.

Итак, что же такое «русский реализм» и каковы обязанности писателя-вахтенного? Вот точная формулировка: «Это степень доверия к Божьему миру и его сокровенному смыслу. Задача художника не «изучать» жизнь и людей, ни тем более «изменять» их <...> но — благородно и прозрачно отражать их «замысел» (не художником сочиненный) в тех самых формах, в которых этот «замысел» уже состоялся в мире». Сказано более чем прямодушно — ничего не трожь, зря не умствуй, делай как прикажут, короче: живи по уставу — завоюешь честь и славу.

Разного рода сомнения следует отмести — и то, что устав придумывают все-таки люди, и что записано там много неясного. Нужны «простота», «безыскусственность», «сосредоточенность», «чувство совершенной истины жизни». Доверяешь окружающему — реалист, не доверяешь — модернист, а модернистом быть ой как негоже: «Даже если он не агрессивен в отношении к миру <...>, а признает его таким как есть <...>, он все же органически не доверяет миру, не любит его, не знает о его «замысле» и даже просто боится его. Движителем его творчества является более или менее сознательный пессимизм: желание сотворить хоть какое-то подобие собственного мира из кусков мертвой реальности, или мертвых культур...» Вот так! Остается, правда, неясно, действительно ли так проста, безыскусна русская литература прошлого века, на которую в качестве аргумента ссылается Павел Басинский...

Никто не сомневается в добрых намерениях критика, и все же... — а вдруг выйдет по анекдоту: боцман ошибся, торпеда прошла мимо, но команда оказалась в воде. Критерии для оценки предложены достаточно расплывчатые и водянистые — душа, замысел, промысел. Зато методы, которыми открывают глаза на Божье совершенство, слишком уж действенны: «...иногда думаешь: хорошо бы книжку его сжечь, сотворив над нею прежде добрую молитву». Тут не надо называть автора, достойного столь резких мер, тут при желании подставить можно любую фамилию.

Но вот загвоздка: ругает ли критик, как ругает Приставкина, Пьецуха, Проханова, хвалит ли, как Светлану Василенко, защищает, как защищает Горького, — слова одни и те же, пряного посола, интонация та же. В общем, палуба должна быть надраена, койки застелены. Вот кончим рейс, тогда... Главное, чтобы все было просто, естественно, духовно. И цитаты Павел Басинский, ненамеренно щеголяя начитанностью, приводит, словно строки устава, доказывая что-то ему одному очевидное. Всякие излишности и символика им исключаются раз и навсегда. В итоге простота иной раз оборачивается бедностью, причем бедностью намеренной, желанной.

В разделе «Excentricus» есть маленькие заметочки о «Незнайке на Луне» как романе-антиутопии, о Книге рекордов Гиннеса, которую понесут вместе с «Дон Кихотом» для оправдания человечества перед Богом, есть тут и такие строки: «В настоящее время «Кулинарная книга» — единственный в своем роде пример «чистого искусства», лишенного какой бы то ни было «задачи», не говоря уж о «партийной» принад-

лежности. Ее прозрачный стиль вкупе с таким же прозрачным содержанием, где вещь равна вещи, а смысл равен смыслу, где ничего не описывается, но только называется, где, наконец, Божий мир предстает в тех самых формах, в каких и был задуман изначально, поражают воображение и вызывают чувство ностальгии <...> мир, в котором хочется жить».

Может быть, автор смеется?

Легко высмеять такой мир или просто вспомнить анекдот о том, как чукча однажды попросил политического убежища в магазине «Березка», но не стоит. Ведь если отринуть эксцентрику, то почему бы не понять иначе? Как некогда воздвиглась радуга знамением, что потоп закончился и больше не повторится, так у нас появление подобной книги всегда совпадает с моментом некой гипотетической стабильности, когда ханжество и агрессивность системы пытаются умерить самих себя, по крайней мере сделать вид, что волны потопа пошли на убыль: так было перед самой войной, было сразу после войны, было в пятьдесят втором, и всякий раз «Книга о вкусной и здоровой пище» переиздавалась, она символизировала будущее счастье.

Всегда существует этот второй план, за вещью стоит символ. Потому-то и странно, когда умный, энергичный, образованный критик говорит о цельности, простоте и гармонии с боцманской непререкаемой приказной интонацией. За уборкой палубы можно и не заметить, что совершил кругосветное плавание.

Феликс Икшин.

*

ИГОРЬ ГОЛОМШТОК. Тоталитарное искусство. М. «Галарт». 1994. 296 стр.

От английского до русского издания книги Голомштока прошло всего четыре года. Изданная наконец на языке оригинала, книга эта все та же, но уже как будто иная. Речь не идет, конечно, о качестве иллюстративного материала, столь важного во всякой книге по искусству (русское издание сильно переделало: вместо постраничных иллюстраций и большого «Альбома тоталитарного искусства» в английской версии здесь — тридцатистраничная вклейка в основном черно-белых репродукций), не в полиграфии, однако, дело. Изданная в этом году в Москве, книга попала в совершенно новый культурно-исторический контекст. Разумеется, все ее достоинства сохранились: скрупулезная историко-искусствоведческая проработка близких культур Советского Союза, нацистской Германии, фашистской Италии и Китая представляет несомненную ценность, так же как и систематизация огромного материала такой, кажется, далекой, но такой все еще живой культуры, окружающей нас в пространстве (от столичного метро до сельского клуба) и во времени (в памяти каждого с детского сада и школы отпечатались знакомые артефакты).

Книга Голомштока явилась завершением целого этапа в исследовании тоталитарной культуры на Западе. Все плюсы и минусы сформировавшейся в русле этой научной традиции методологии отчетливо видны сегодня, когда кризис традиционного двумерного подхода (как советского, так и советологического) стал очевидным.

Знаменательно, что параллельно с книгой Голомштока издана уже на трех языках (в Германии, Франции, США) книга Б. Гройса о «тотальном искусстве сталинизма», где тот же объект демонстративно изъят из истории и в шутовском колпаке постмодернистических трюизмов о «конце истории» и «выпадении из времени» представлен как предтеча Вл. Сорокина и Л. Рубинштейна. Характерно и то, что обе столь разные, если не сказать — противоположные, книги строятся на одной и той же посылке: «тоталитарное искусство» рождается из авангарда. Несомненно, книга Гройса — своеобразная реакция на ту научную и культурную традицию восприятия «тоталитарного искусства», которую как бы замыкает книга Голомштока. Это позволяет поместить обе книги в один ряд. Если из одной переменной вычесть вторую (из книги Голомштока книгу Гройса, а не наоборот, поскольку за Голомштоком — научная традиция, а за Гройсом — почти чистая негация), уравнение даст в остатке несколько преодоленных, кажется, самим временем моментов.

Скажем, насколько продуктивна сама концепция «тоталитаризма»? Как известно, она ставилась под сомнение западными историками еще в 60-е годы. Восходящая к классическим работам Ханны Арендт, концепция эта оказалась сама по себе достаточно «тоталитарной», поскольку не считалась с внеполитическим пространством режимов,

с пестротой исторической картины, возникающей в каждой «отдельно взятой стране».

В этой связи насколько правомерно утверждение (ставшее в книге Голомштока едва ли не исходной посылкой сопоставлений): «...характер исходного сырья, будь то культ фюрера или вождя, догмат расы или класса, естественные законы или исторические закономерности, имеет примерно такое же значение, как свекла или пшеница при перегонке спирта: они придают определенный привкус конечному продукту, который в принципе оказывается тождественным. И не только конечный продукт: сходными оказываются и рецепты его изготовления (тоталитарная эстетика), и технология его производства (тоталитарная организация)». Собственно, вопрос состоит в том, на каком уровне исследования культуры работает подобная схема и насколько глубоко на этом уровне те или иные национальные культуры могут быть поняты. Сошлюсь хотя бы на ставшую классической книгу немецкого литературоведа и философа Клауса Тевеляйта «Мужские фантазии», в которой на огромном материале нацистского искусства раскрывается «коллективное бессознательное» именно искусства третьего рейха, так что, например, культ молодости и силы или обнаженное тело в нацистском искусстве имели свои источники и их нельзя ни спутать, ни тем более отмахнуться от разницы при сопоставлении, скажем, с советским искусством. Здесь вопрос порога, за которым зыбким становится сходство, но начинается собственно разговор об искусстве, а не о политико-идеологических па власти. Китайское искусство при этом не случайно вовсе выпадает из сопоставлений, поскольку помимо внешнего институционального сходства говорить всерьез о похожести не приходится, если, конечно, не редуцировать искусства до схематической типологии «формаций» и — в пределе — до политики.

Почти в самом конце книги Голомштока, там, где речь идет о жанре парадного портрета, натыкаешься на фразу, вдруг заставляющую ощутить, насколько изменилась ситуация в стране, и вспомнить, что книга писалась в конце 80-х годов на Западе; фраза эта странно звучит в издании 1994 года: «...если ситуация в Советском Союзе не изменится коренным образом, мы еще увидим яркие художественные образы Горбачева на трибунах, на съездах, среди рабочих и — кто знает? — может быть, даже на фронтах Великой Отечественной войны». А почему все-таки не довелось увидеть? И другой вопрос, куда более актуальный: не увидим ли кого другого, а если (не дай Бог) увидим, чем объясним такое появление? На авангардных художников списать уже не сможем. Придется обращаться к истории «отдельно взятой страны», а значит — выйти то ли к ее массовым вкусам, то ли к «коллективному бессознательному».

Как бы то ни было, на этом пути в поисках логики исторических превращений искусства XX века нам не пройти ни мимо тех закономерностей, что столь подробно исследованы в книге Голомштока, ни мимо тех вопросов, которые эта книга возбуждает.

Евгений Добренко.

Дюкский университет, США.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

PLAMIA. Paques. 1994. № 89. 48 p.

Бюллетень, выпускаемый христианской ассоциацией «Пламя», с 1961 года объединяет тех, кто имеет желание осуществлять контакты между православными и католиками, между русскими и французами. Ассоциация работает согласованно с Центром русских исследований св. Георгия в Медоне (см. «Зарубежная книга о России». — «Новый мир», 1993, № 11) и устраивает для своих членов конференции, поездки в Россию, проводит общие молитвы об объединении христиан. Бюллетень ассоциации посвящен проблемам России, а также проблемам экуменизма.

Издание, насчитывающее уже почти девяносто выпусков, кажется, в России вовсе никому не ведомо: во всяком случае, ваш обозреватель держит его в руках впервые. К сожалению, по единственной книжке трудно составить внятное представление о том, насколько публикуемые в бюллетенях материалы представляют самостоятельный интерес для отечественных исследователей и ученых-гуманитариев. На основании оказавшегося в нашем распоряжении благодаря любезности издателей номера можно предположить, что бюллетень ориентируется преимущественно на французского читателя, интересующегося вопросами русской религиозной культуры: для пасхального номера переведены на французский язык некоторые документы, отражающие состояние религиозно-общественной жизни в России, — открытые письма о. Глеба Якунина патриарху Алексию II, письмо патриарха председателю Государственной думы, а также фрагмент послания президента России Думе, в котором раскрываются принципы взаимоотношений различных религий и конфессий в светском государстве, которым Россия отныне намеревается быть.

Открывает же аннотируемую книжку пространная статья известного ученого Алена Безансона, посвященная творчеству Казимира Малевича. (Как явствует из редакционного предисловия, в предыдущем номере печаталась статья о Василии Кандинском.) Внимание именно к этим художникам объясняется, конечно же, не симпатиями отцов иезуитов к авангардной живописи: супрематизм интересует издателей и автора в первую очередь как одно из направлений идеологического искусства. Соответственно в статье наряду с анализом изобразительных экспериментов Малевича рассматриваются и некоторые его теоретические работы, выходящие далеко за рамки непосредственно эстетики.

Определенный интерес для отечественного исследователя может представить и воспроизведенная в бюллетене работа о. и. Павла Пирлинга о князе П. А. Вяземском, напечатанная в 1920 г. в «Revue Pratique d'Apologetique». В связи с учебой Вяземского в иезуитском колледже автор касается истории иезуитов в России, их высылки в начале XIX в. и отношения ко всему этому русского образованного общества.

И последнее. Книжка журнала открывается некрологом о. Антония Элана, в последние годы бывшего настоятелем общины св. Георгия в Медоне. Обозреватель, старавшийся познакомить читателей «Нового мира» с деятельностью этой общины, члены которой отдавали свои силы и знания взаимопониманию двух культурных миров — России и Европы, считает возможным выразить от своего имени и от имени всех, кто хотя бы раз пользовался медонским гостеприимством, искренние, хотя и запоздалые (вследствие продолжительности технологического цикла) соболезнования родным и сотрудникам о. Антония.

Адрес ассоциации: Association PLAMIA 1 Rue Alber de Mun 92190 Meudon France.

А. Н.

КНИЖНАЯ ПОЛКА (8)

*

И. С. Аксаков. Письма к родным. 1849 — 1856. Подготовка текста Т. Ф. Пирожкова. М. «Наука». 1994. 653 стр. 3000 экз.

Иван Ахметов. Стихи и только стихи. Избранные стихотворения 1968 — 1992 годов. М. Издательская квартира Андрея Белашкина. 1993. 96 стр. 1500 экз.

Уильям Берроуз. Голый завтрак. Роман. Перевод с английского Виктора Когана. М. Журнал «Глагол». 1994. 304 стр.

Выход этой книги воспринимается как несколько затянувшаяся отработка издателями «шоковой» литературы XX века. «Голый завтрак» мог претендовать на славу и судьбу «Лолиты» или «Тропика Рака» исключительно смелостью в выборе тем (наркомания, сексуальный беспредел), но отнюдь не художественным уровнем. Сегодня представляет интерес больше для литературоведов, изучающих, в частности, историю движения битников. Возможно, поэтому издатели снабдили текст романа предисловием, в котором имя Берроуза густо обложено ссылками на Босха, Томаса Вулфа, Нормана Мейлера, Уитмена и других, а также поместили в конце книги материалы судебных заседаний, иллюстрирующих скандальную историю появления «Голого завтрака».

Алексей Дидуров. Солдаты русского рока. М. МП «Русь-90». Государственный республиканский центр русского фольклора. 1994. 192 стр. 15 000 экз.

Еще одна книга известного рок-поэта. Состоит из двух частей, в первой — рассказ автора о друзьях и коллегах (Гребенщиков, Цой, Башлачев, Шевчук, Майк...), во второй — поэтическое творчество самого Дидурова.

Сильва Капутикян. Идет зима. Стихотворения, поэма. Переводы Е. Николаевой, В. Корнилова, А. Налбандяна. Предисловие В. Оскоцкого. М. «Academia». MCMXCIV. 203 стр. 3000 экз.

Попытка возобновления одного из самых знаменитых издательских знаков «Academia». Предполагается издание писателей отечественной литературы XX века. Вслед за книгой Капутикян ожидается том избранного Даниила Хармса.

Валентин Катаев. Алмазный мой венец. Повести. М. АСТ-Пресс. 1994. 400 стр. 35 000 экз.

Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. Перевод с итальянского, примечания, послесловие А. Махова. М. «Пенаты». 1993. 495 стр. 5000 экз.

Юлия Пивоварова. Охотник. Роман-сказка в стихах. М. Издательская квартира Андрея Белашкина. «Гилея». 1993. 100 стр. 2000 экз.

Э. Сетон-Томпсон. Лесные рассказы. Перевод с английского М. Ланиной. СПб. Культ-Информ-Пресс. 1994. 210 стр. 50 000 экз.

Сказки американских писателей. Перевод с английского. Составитель Ю. В. Ковалев. СПб. Лениздат. 1993. 526 стр. 100 000 экз.

Фирдуоси. Шахнамэ. В 4-х томах. Издание подготовили Ц. Б. Бану-Лахути, А. А. Стариков. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути. М. «Ладомир». «Наука». 1994. 3000 экз.

Том 1. От начала поэмы до сказания о Сохрабе. 675 стр.

Том 2. От сказания о Ростеме и Сохрабе до сказания о Ростеме и Хакане Чина. 643 стр.

Том 3. От сказания о битве Ростема с Хаканом Чина до царствования Лохраспа. 591 стр.

Том 4. От царствования Лохраспа до царствования Искандера. 458 стр.

Ювенал. Сатиры. Вступительная статья, комментарии В. С. Дурова. СПб. МАГИК-Пресс, Алетейя. 1994. 221 стр. 10 000 экз.

●

С. Абрамович. Предыстория последней дуэли Пушкина. Январь 1836 — январь 1837. Послесловие Ю. М. Лотмана. СПб. Дмитрий Буланин. 1994. 344 стр. 10 000 экз.

Ю. А. Бахрушин. Воспоминания. Подготовка текста, вступительная статья, комментарии Н. Сочинской. М. «Художественная литература». 1994. 702 стр. 20 000 экз.

В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Репринтное издание. В 4-х томах. М. Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1994. 10 000 экз.

Том 1. Введение в церковную историю. 234 стр.

Том 2. История Церкви в период до Константина Великого. 474 стр.

Том 3. История Церкви в период Вселенских соборов. Часть 1. Церковь и государство. Часть 2. Церковный строй. 340 стр.

Том 4. История Церкви в период Вселенских соборов. Часть 3. История богословской мысли. 600 стр.

История литературы Латинской Америки. Конец XIX — начало XX века. 1880 — 1910-е годы. Главный редактор Н. И. Балашов. М. «Наследие». 1994. 658 стр. 1000 экз.

Владимир Марков. О свободе в поэзии. Статьи, эссе, разное. СПб. Издательство Чернышова. 1994. 368 стр. 3000 экз.

Автор, Владимир Федорович Марков, — выпускник Ленинградского университета 30-х годов, оказавшийся после войны на Западе, профессор Калифорнийского университета, оригинальный поэт и известный литературовед, знаток русского авангарда. Основу книги составили работы: «Поэзия Михаила Кузмина», «О Хлебникове», «О свободе в поэзии», «К вопросу о границах декаданса» и др. Своеобразие Маркова-литературоведа, по мнению автора предисловия Юрия Линника, в академическом уровне исследования при наличии собственной «поэтики исследования», родственной «поэтике авангарда».

Г. Медзмаришвили. Встречи с Анастасией Цветаевой. М. «Праминко». 1994. 24 стр. 1000 экз.

Неизвестный Толстой. В архивах России и США. Рукописи. Письма. Воспоминания. Наблюдения. Версии. Составитель и редактор Инна Борисова. М. АО «ТЕХНА-2». 1994. 528 стр.

Книга эта — своеобразный итог давних (с 1953 года) творческих связей журнала «Новый мир» с Музеем Л. Н. Толстого в Москве. В нее вошли не публиковавшиеся ранее редакции отдельных глав «Войны и мира», «Анны Карениной», «Исповеди» и 17 писем Толстого, а также письма Александры Львовны и переписка Ремизова, Цветаевой, Шаляпина, Бунина, Репина, Мережковского с Татьяной Львовной. Публикуется более ста малоизвестных фотографий из фонда Музея Л. Н. Толстого и других архивов.

Николай II. Воспоминания. Дневники. Вступительная статья, составление, примечания, подготовка текста Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина. СПб. «Пушкинский фонд». 1994. 559 стр. 15 000 экз.

Размышления о России и русских. Штрихи к портрету русского национального характера. Далекие предки I — XVII вв. Составитель С. К. Иванов. М. «Прогресс — Культура». 1994. 463 стр. 5000 экз.

Обширные цитаты из русских летописей, книг историков и географов разных эпох, мемуаров, частных записок и писем образуют повествование о зарождении и развитии русского национального характера. Составитель Иванов использовал свидетельства более чем ста лиц, среди которых философы, писатели, дипломаты, путешественники и просто современники и свидетели прошедших времен. Список их начинается с Аверинцева и Константина Аксакова и заканчивается именем опричника Ивана Грозного, наемника из Вестфалии Генриха Штадена.

Составитель **С. Костырко**.

SUMMARY

*

Poetry section contains poems by Elena Akselrod, Marina Borodnitskaya, Lev Kotyukov, Oleg Khlebnikov and Herman Getevich.

The second volume of Victor Astafyev's war novel «Gursed and Murdered» is continued (to be finished in issue No 12).

We are also publishing a story by Igor Klekh, «Hibernia. Germa», originated from the author's journey to Germany.

Two essays, «Ecological Conservatism: a Chance for Survival» by Sergei Zalygin, and «Ecological Values: Three Approaches» by Julius Shreider, occupy the publicistics section.

In the section «Diaries. Memoirs», Pavel Zaitsev's «Notes of a Water-Meadow Dweller», with a foreword by Yury Kublanovsky, and Nicolai Andreyev's memoirs titled «Years in Prague», with foreword by Ekaterina Andreyeva, are being published.

The section «Religion and the Modern World» presents «Sunday Sermons» of Dean Alexander Shmeman which were broadcasted by «Svoboda» radio station in 1969 — 1974.

In «Publications and Reports» there are some previously unpublished letters of the Rev. Sergei Bulgakov, dated 1917 — 1923 (publication of Modest Kolerov).

In «Comments» Alla Marchenko enters into polemics with the reviewers of a recent war novel of Georgy Vladimov, «The General and His Army».

The section «Literary Griticism» offers an essay by Nikita Eliseyev, «The Voice of Man», discussing Sergei Dovlatov's prose, and another by Alexei Purin, «Archivists and Innovators».

In the «Editor's Mail» you can find materials by Mikhail Kopeliovich (Israel), on the poetry of Boris Slutsky; Gregory Shurmak's, on a new edition of Vasily Shulgin's antisemitic book; and E. N. Nikitin's, on the authenticity of Maxim Gorky's 23 letters to V. I. Anuchin.

In «Briefly about Books» Felix Ikshin reviews a collection of critical essays by Pavel Basinsky; Eugene Dobrenko — Igor Golomshtok's treatise on the totalitarian art.

Our traditional sections «Foreign Books About Russia» and «Bookshelf» are also to be found in the issue.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ СТАТЬЮ МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА «ГОСУДАРСТВО И РЫНОК»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким** (зам. главного редактора), **С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.94 г. Подписано к печати 8.09.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 29 000 экз. Зак. 3283. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

8 НМ № 11 ЭО

Индекс 70636

ДО КОНЦА 1994 ГОДА И В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. **Письма из Поднебесной** (путевые записки);

ЛЕОНИД БЕЖИН. **На пороге гуманитарного века** (записки сентиментального историософа);

В. БОГОМОЛОВ. **Алина** (повесть);

АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ. **Urbs et orbis** (городская цивилизация в России);

Академик В. В. ВИНОГРАДОВ. **Письма к жене.** 20-е годы;

М. О. ГЕРШЕНЗОН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Воспоминания. Письма (публикация М. И. Фейнберг);

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО. **Искусство принадлежать народу** (формовка советского читателя);

В. ЗАЛОТУХА. **Великий поход за освобождение Индии** (кинороман);

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. **Воспоминания о П. Л. Капице;**

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. **На круги своя** (империя и цивилизация);

АНАТОЛИЙ КИМ. **Новый роман;**

Н. КОРЖАВИН. **В соблазнах кровавой эпохи** (воспоминания, часть вторая);

МАРК КОСТРОВ. **Дульные тормоза** (рассказы о независимой северной армии);

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ. **Государство и рынок;**

АНДРЕЙ НОВИКОВ. **За десять лет до фашизма;**

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. **Неизданные рукописи.** Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

БОРИС ХАЗАНОВ. **Exsilium** (эссе);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Русская опера и геополитика;**

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. **Воскресшее слово** (материалы о советских писателях из архивов КГБ и Прокуратуры СССР);

Д. ШТУРМАН. **После Катастрофы** (по страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»);

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА, АСАРА ЭППЕЛЯ и других авторов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1995 ГОДА!

ISSN 0130 — 7673 Новый мир, 1994, № 11, 1 — 256